

НОРМАН МЕЙЛЕР

БЕРЕГ
ВАРВАРОВ



издательство
амфора

«Берег варваров» (1951) — один из самых спорных романов классика американской литературы Нормана Мейлера (1923–2007), действие в котором разворачивается в эпоху «холодной войны» на фоне кафкианских и оруэлловских декораций.

- [Норман Мейлер](#)
- [Глава первая](#)
- [Глава вторая](#)
- [Глава третья](#)
- [Глава четвертая](#)
- [Глава пятая](#)
- [Глава шестая](#)
- [Глава седьмая](#)
- [Глава восьмая](#)
- [Глава девятая](#)
- [Глава десятая](#)
- [Глава одиннадцатая](#)
- [Глава двенадцатая](#)
- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Глава тридцатая](#)
- [Глава тридцать первая](#)
- [Глава тридцать вторая](#)
- [Глава тридцать третья](#)
-
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)



Норман Мейлер

Берег варваров

A handwritten signature in cursive script that reads "Norman Mailer". The signature is written in dark ink on a light background.

Перевел с английского В. В. Правосудов

Издательство выражает благодарность Фонду Нормана Мейлера за содействие в приобретении прав

Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»

Глава первая

Посвящается Джин Малакэ

Скорее всего, я был на войне. У меня за ухом — след от раны, длинная узкая полоска кожи, на которой не растут волосы. Впрочем, сейчас, когда я немного оброс, прикрыть этот дефект не составит труда даже для самого неумелого парикмахера. Другое дело — шрам у меня на спине. Здесь будет бессилён даже искусный цирюльник. Чтобы скрыть этот шрам, потребуются скорее услуги портного.

Глядя в зеркало, я вижу в нём лицо куда более красивое, чем то, которое, по всей видимости, принадлежало мне изначально. У меня есть все основания полагать, что прямым носом, скульптурным подбородком и гладкими, правильной формы скулами я обязан мастерству какого-то ваятеля, так и оставшегося неизвестным для меня. Бесполезно смотреть на себя в зеркало и гадать, всегда ли принадлежали мне эти каштановые волосы и серые глаза: я ничего не знаю и ничего не помню. Я не знаю даже, сколько мне лет. Я уверен, что мне никак не меньше двадцати пяти; вполне возможно, что я даже старше, но стараниями тех, кто меня спасал и выхаживал, из зеркала на меня глядит молодой человек без единой морщинки.

Было время, когда я отчаянно пытался вспомнить, что же произошло и когда все это случилось. В какой-то момент мне даже удалось нарисовать для себя вполне правдоподобную картину с разбившимся самолетом и языками пламени, врывающимися в мою кабину. Не успел я свыкнуться с этим, как самолет каким-то неведомым образом превратился в горящий танк, в чреве которого я был заперт заклинившим люком; вслед за этим воображение рисовало передо мной совершенно иную картину: горящий дом и пылающую балку, обрушивающуюся мне на спину. Эти не то фантазии, не то воспоминания следовали друг за другом, нанизываясь на единую нить, как бусы или четки; гранаты, снаряды, бомбы, — я и сейчас могу представить чуть ли не сотню подобных картинок, но скорее всего все случилось совсем иначе.

Время от времени в моей памяти всплывают какие-то воспоминания. Доверять им я бы и сам себе не советовал. Я, например, абсолютно уверен, что мои родители умерли, что вырос я в детском доме и всегда, всю жизнь, был очень бедным. Тем не менее иногда у меня возникает ощущение, что по крайней мере мать я помню, а кроме того, мне кажется, что какое-то нормальное образование я все-таки получил. Считается, что глухие живут вовсе не в мире тишины: их звуковое пространство заполнено до предела мириадами шумов, причем порой резких, назойливых и неприятных: грохотом, скрежетом и даже колокольным звоном; темноту, в которой существуют слепые, озаряют невидимые нами вспышки и сполохи; так и для меня память никогда не была непреодолимой стеной; она скорее играла роль рулетки, которая наугад, по воле случая оживляла то важнейшие события моей жизни, то какие-нибудь ничего не значащие пустяки. Все они смешивались в моей черепной коробке, и зачастую я не мог отличить элементарного, заурядного происшествия от образа, рожденного лишь порывом моей разбушевавшейся фантазии; да что там, иногда я даже не мог отличить прошлого от будущего; подробности моей собственной жизни смешивались и терялись в биографиях других людей — таких разных и в то же время так похожих одна на другую. Я никогда не был уверен, действительно ли таили иное событие происходило со мной или же я лишь придумал его. Для меня оставалось загадкой, знал ли я того или иного человека на самом деле или же, например, читал о нем в книге. Невозможно было выяснить, бывал ли я в какой-нибудь стране или же представляю ее себе по рассказам кого-то из знакомых. Накопившиеся лет за десять газетные новости были для меня в равной мере близки, как что-то очень личное, и далеки, как не

имеющие ко мне никакого отношения древние легенды. Даже те города, где я скорее всего когда-то жил, не значили для меня больше, чем те места, побывать в которых мне совершенно точно не доводилось. У меня не было своей личной истории, а значит, вся история принадлежала мне. Жаль только, что досталась она мне в ужасающем состоянии. Лишь изредка моему разуму удавалось вырвать из мешанины скопившихся в памяти обломков нечто вразумительное и неплохо сохранившееся. Но, бог ты мой, как мало было в моем распоряжении этих здраво понимаемых фрагментов и какую огромную, бесконечную мозаику-пазл мне предстояло сложить.

Было время, когда я прикладывал огромные усилия, чтобы восстановить свое прошлое. Я затеял интенсивную переписку с секретариатами соответствующих государственных учреждений; не раз и не два я отклонялся от нужного мне маршрута, следуя по улице за незнакомыми людьми лишь потому, что мне в какой-то момент казалось, будто тот или иной человек посмотрел на меня с любопытством; я штудировал списки фамилий и вглядывался в бесконечную череду фотографий. После очередного дня, потраченного на подобные поиски, я ложился на кровать и пытался вычленивать из бесконечного вихря догадок и предположений хоть что-то более или менее похожее на правду. Сколько времени, сколько сил и нервов было потрачено на эту адскую работу, а в результате я сделал для себя лишь один-единственный вывод: прошлого у меня нет, а следовательно — нет и будущего. У слепых обостряется слух, глухие учатся по-новому видеть, я же получил в качестве компенсации за утраченное прошлое и новое зрение, и способность очень хорошо слышать; нет ничего удивительного, что главным в моей жизни стало настоящее. Так, наверное, и должно было случиться.

Поскольку настоящее разворачивается во времени и стремительно уходит в прошлое, я стал жадно заполнять память всем тем, что случилось со мной на прошлой неделе или месяц назад; это стало моим жизненным опытом, подчеркну — *всем* моим жизненным опытом. Настоящее и недавнее прошлое стали моим внутренним опытом, пусть ограниченным и даже во многом ущербным; как бы то ни было, но год спустя после того, как я осознал себя в этом мире — без имени, без биографии, без всего того, что есть у каждого нормального человека, — я уже мог вполне сносно скрывать дефекты своего сознания, неплохо маскируясь под тех самых нормальных людей. Я жил как отшельник в пустыне, который в поте лица своего отрабатывает наложенную на него епитимью и ждет божественного знака, свидетельствующего о прощении. Дело это было практически безнадежное, — я и сейчас глубоко сомневаюсь, что когда-либо смогу вновь обрести прошлое в виде воспоминаний или свидетельств о моих личных детстве и юности. Зато я смог, как мне кажется, неплохо и вполне логично выстроить для себя хотя бы скелет другой, общей для всех людей истории. Дело это оказалось далеко не пустым и бесполезным: я не просто худо-бедно нашел для себя место в окружающем мире, но и в некотором роде сумел гармонично вписаться в пространство и время. Впрочем, не уверен, что это именно те слова, которыми нужно было бы передавать то, что тогда происходило.

Сейчас, когда я стал писать, мне порой приходится сравнивать себя с другими людьми, которые на моем месте вынуждены придумывать себе новое имя, судьбу и биографию, и порой мне кажется, что я нахожусь в несколько более выигрышном положении: я тренировался в этом искусстве долгие годы, старательно придумывая как самого себя, так и свое прошлое. Кроме того, мое сознание не отягощено воспоминаниями о давно ушедших и, конечно же, лучших годах моей жизни. Ну и тяжело же им, наверное, приходится — тем, другим, которые берутся за то же дело, что и я. Интересно было бы знать, какие фантазии будоражат их разум?

Одно из видений посещает меня с завидной регулярностью. Похоже, у меня в голове сложился своего рода механизм, действующий до смешного просто: стоит мне начать забывать эти картины, хранящиеся в глубинах подсознания, как спускается невидимый курок и моему

внутреннему взору предстает все тот же образ.

Я вижу путника. Причем этот человек — определенно не я. Он средних лет, довольно полный и, как мне кажется, только что приехал куда-то, проделав долгий путь на самолете или, например, на поезде. Теперь он стоит на вокзале или у выхода из аэропорта, что, впрочем, совершенно неважно.

Он очень торопится домой. Его багаж чуть задерживается, что приводит человека в некоторое раздражение; наконец формальности закончены, ему отдают чемоданы, он немедленно останавливает такси, кладет вещи в багажник, говорит шоферу адрес и, облегченно вздохнув, усаживается поудобнее на заднем сиденье. Все вокруг пронизано ощущением мира и покоя. Человек чуть лениво поворачивает голову, разглядывая из окна машины детей, играющих у обочины дороги.

Только теперь он начинает понимать, как он, оказывается, устал; его дыхание становится учащенным и сбивчивым. Чтобы отвлечься от этих неприятных ощущений, он достает газету и начинает читать ее, но — странное дело — буквы пляшут перед ним и сливаются в какие-то бесформенные пятна. Человек откладывает газету в сторону. Внезапно и даже коварно на него наваливается отчаяние. Он пытается бороться: ничего, просто дорога была тяжелая и долгая. Устал, успокаивает он себя и вновь смотрит в окно.

Оказывается, такси едет вовсе не туда, куда ему нужно!

Что же делать? Вроде бы все просто: подними руку и постучи в стекло, отделяющее пассажирский салон от шофера, но путник почему-то понимает, что сейчас не время отвлекать водителя от дороги. Вместо того чтобы сказать, куда ехать, он вновь выглядывает в окно.

Он живет именно в этом городе, но почему-то никогда не видел этих улиц. Архитектура здесь странная, да и прохожие одеты как-то необычно. Он пытается прочесть какую-то вывеску, но внезапно понимает, что она написана буквами неизвестного ему алфавита.

Он прижимает ладонь к груди — словно пытаюсь утихомирить бешено бьющееся сердце. Все это просто сон, думает он, стараясь поудобнее устроиться на заднем сиденье такси. Все это мне снится: город, такси и все, мимо чего мы проезжаем. А машина тем временем едет дальше.

Я кричу на него. Все не так, вы неправы, ору я, но он меня не слышит; этот город — самый настоящий, надрываюсь я, он материальный, а машина, в которой вы едете, — это история. Я кричу ему эти слова, а изображение тем временем начинает на глазах рассыпаться на куски.

Вечер сменяется ночью, и я сижу один, передо мной горит свеча. То, что еще недавно казалось фантазией и выдумкой, становится вполне реальным. Да, в мою комнату проведено электричество, но света в ней давно нет. Время идет своим чередом, а я все жду у двери, прислушиваясь к раздающимся за нею шагам других жильцов. Они уходят на работу — в ночь. Через четырнадцать часов они вернуться обратно.

Вот так слепой ведет за собой слепого, а глухой изо всех сил пытается докричаться до глухого, желая предупредить его об опасности. В конце концов их голоса растворяются в пустоте.

Глава вторая

Я так полагаю, что даже у волшебного сундучка должна быть ручка, чтобы переносить его с места на место. Вот только если уж сундучок оказался открыт, вряд ли стоит тратить много времени на рассматривание хотя бы и самой удобной ручки. Меня гораздо больше занимает то, что находится внутри. Так вот, если я начну свой рассказ с Вилли Динсмора, это потому, что он во всей этой истории сыграл роль ручки; и я, который до поры до времени был не волшебником, а всего лишь его подмастерьем, довольно быстро забыл о нем.

Давайте-ка я расскажу о том, как жил в те времена. В моем распоряжении была койка в общежитии — одном из тех, которые как грибы вырастают там, где поблизости друг от друга находятся дешевая столовая и спортзал. Строятся подобные, с позволения сказать, жилища в соответствии с тезисом, что люди, особенно молодые и не обремененные семьей, должны испытывать величайшее наслаждение, находясь в обществе себе подобных. Меня изрядно замучили сменявшие друг друга соседи, и я вновь ощутил то совершенно особое чувство одиночества, которое возникает у человека, когда ему отказывают в праве на частную жизнь, не давая возможности хотя бы недолго побыть одному. Будь моя воля, я бы ни за что не жил в таких условиях, но на тот момент выбора у меня не было. В тот год я еще практически не получал писем, да и знакомых, общение с которыми не ограничивается приветственным кивком головы при встрече, у меня было раз-два и обчелся. Я как заведенный работал то здесь, то там, в основном на должностях, прямо скажем, не требующих особой квалификации; притом я с регулярностью, удивлявшей и меня самого, еженедельно откладывал на будущее немалую для меня сумму в десять долларов. Подогревала меня в этом упорстве мечта стать писателем, причем я был уверен, что она осуществится пусть не в самом ближайшем, но во вполне обозримом будущем. В общем, говоря писательским языком, я надрывал задницу, чтобы заработать себе на первый в жизни литературный аванс. В мои планы входило скопить пятьсот долларов и подыскать себе недорогую комнату: подсчитав не раз и не два все до последнего пенни, я пришел к выводу, что если мне удастся найти угол меньше чем за пять долларов в неделю, вышеупомянутой суммы мне хватит на полгода, а за это время я успею написать свой роман или по крайней мере начать его.

Собрав казавшуюся почти магической сумму наличными, я стал искать недорогое местечко, где можно было бы уединиться для творческой работы, но вскоре убедился, что все подобное жилье стоит гораздо дороже, чем я могу себе позволить. Тридцать, сорок долларов и больше в месяц — таких комнат было вокруг пруд пруди, но я прекрасно понимал, что при такой квартплате мои сбережения иссякнут слишком быстро. Я уже совсем было отчаялся, как вдруг Вилли Динсмор, поморочив мне голову в течение нескольких недель, все же согласился уступить свою съемную комнату.

Динсмор был драматург. Кроме этого, у него были в жизни еще две ипостаси: муж и отец; работать дома в таких условиях у него не получалось. и потому он решил обзавестись творческой мастерской и подыскал меблированную каморку в доме на Бруклин-Хейте ^[1]. Как-то раз он обмолвился, что собирается уехать на все лето и, естественно, на эти месяцы снимать комнату не будет. Я просто вымолил у него обещание предупредить меня о своем отъезде и похлопотать, чтобы освободившуюся комнату сдали именно мне. В то время наше знакомство было фактически шапочным, но я сделал все от меня зависевшее, чтобы не терять Динсмора из виду. С моей подачи мы стали, можно сказать, добрыми приятелями. Дело того стоило: нора Динсмора обходилась ему всего в четыре доллара в неделю. Ничего сопоставимого по цене с этой комнатой я за все время поисков не обнаружил.

Время от времени я заходил к Вилли в гости и с жадностью стоящего в очереди клиента находил все новые и новые преимущества его съемного жилища. Впрочем, не стоит забывать, что в те времена удивить и порадовать меня было нетрудно. Я, конечно, понимал, что жить мне предстоит на верхнем этаже прямо под крышей, а для вентиляции у меня будет всего одно окно, выходящее на задний двор соседнего многоквартирного дома с неизбежной пожарной лестницей и бельевыми веревками. И все же мне и в голову не могло прийти, какой душной, а главное — навевающей уныние дырой могут стать для меня эти «апартаменты».

Комната была крохотная и узкая, не больше восьми футов в ширину. Чтобы подойти к окну, нужно было буквально протискиваться между кроватью и письменным столом. Стены уже много лет не красили, и вся их поверхность была сплошь покрыта волдырями и трещинами отслаивавшейся краски. Штукатурка и вовсе отваливалась от потолка целыми пластами; в одном углу виднелась решетка потолочной дранки. Оконная рама и подоконник буквально почернели от сажи, летевшей со стороны порта. Тросик фрамуги был сломан, и приоткрытая секция окна всем своим весом опиралась на пару пустых пивных банок. В общем, даже за четыре доллара в неделю эту комнату едва ли можно было назвать хоромами или хотя бы уютным гнездышком. Впрочем, я был от нее в восторге.

Я садился на кровать и смотрел, как Динсмор перекладывает свои бумаги, стряхивает пыль со стола прямо на пол и трет ладонями лицо. Он был невысокий, плотно сложенный и больше всего любил сидеть верхом на стуле, как на боевом коне; подбородок он при этом укладывал на верхнюю перекладину спинки. В такой позе он походил на футбольного судью на линии; даже его физиономия, напоминавшая морду собаки боксера, не могла разрушить этот образ. Я ему о себе практически ничего не рассказывал, и не потому, что не хотел, а просто в то время у меня еще не сложилась эта привычка. Впрочем, многого Динсмору и не требовалось: он довольно быстро убедил себя в том, что я вернулся с войны, а я так и не собрался поведать ему, что на сей счет существуют некоторые сомнения. Вилли был по уши доволен придуманной им легендой. Как и большинству писателей, люди были ему на самом деле совсем неинтересны, но он с превеликой охотой раскладывал их по полочкам и ящичкам в соответствии со своими дидактическими запросами. Меня он, по-видимому, с самого первого дня знакомства поместил в папочку с надписью «Послевоенные проблемы».

— Это ведь не шутки, парень, — говорил он мне. — Позор для страны, что люди живут в маленьких комнатухах, набившись туда, как селедки в бочку; я уж не говорю о том, что многие из вас, бывших солдат, — его голос даже звучал как-то по-особенному, когда он говорил о ветеранах войны, — даже когда женятся, вынуждены жить вместе со своими родственниками или родней жены просто потому, что не в состоянии купить или снять себе хотя бы маленькую отдельную квартиру. Во всем виноваты огромные проценты по кредитам, за счет которых жирует весь бизнес, связанный с недвижимостью; это преступление — то, что мы сражались против фашизма и не вымели поганой метлой фашистов, обосновавшихся в нашем собственном доме, но знаешь, Майки, я тебе серьезно говорю: эти люди совершают большую ошибку, они подрубают сук, на котором сидят; я уверен, что ветераны долго этого терпеть не будут.

Я так и не понял, верил ли он в то, что говорил, или пытался таким образом оправдать поверхностность своих пьес. Самой слабой стороной его произведений был тот шапкозакидательский оптимизм, который охватил общество во время войны; это опасное настроение странным образом сохранилось в умах и чаяниях многих писателей и драматургов на многие годы после окончания военных действий. Недостаток политической грамотности и неспособность к настоящему критическому анализу они подменяли хорошо отработанным навыком раскладывания всех процессов, происходивших в обществе, по динсморским категориям. Уже позднее я осознал, что это явление было первым шагом на пути к большей

примитивизации искусства и литературы: вот хороший парень и плохой парень, и все их поступки predetermined заранее, буквально с первой страницы. Еще тогда, даже не понимая толком, что происходит, я уже догадывался об опасности людей, подобных Вилли Динсмору.

И все-таки Вилли обладал неким талантом: он не только умел держать нос по ветру, но и знал меру. Его излюбленным героем по-прежнему был юный солдат-антифашист, вернувшийся с войны и произносящий в кульминационной сцене длинный монолог о том, за что он воевал и о каком будущем грезил в окопах. Тема эта была, конечно, не нова, но, в конце концов, морализаторство и повторение избитых истин еще никогда не вредили драматургии, и Динсмор не без успеха клепал одну за другой свои пьесы, которые я, взяв грех на душу назвал бы сиквелом одного-единственного произведения, главный герой которого, все тот же молодой ветеран, обращается к аудитории с манифестом насчет того, каким бы он хотел видеть мир, где предстоит расти и жить его детям.

Наверное, сейчас я уже могу признаться, что даже тогда, в молодости, не был в полной мере очарован обаянием и талантами Вилли. Другое дело, что я действительно преклонялся перед тем, чего ему удалось добиться в этой жизни: у него был дом, семья и имя с определенной репутацией. О любом из этих трех слагаемых я мог только мечтать. Кроме того, у Вилли было передо мной еще одно преимущество: ему в этой жизни все было понятно. По-видимому, его мозг отказывался воспринимать те вопросы, поиски ответа на которые заняли бы больше десяти секунд.

— Есть «да» и «нет», — мог ни с того ни с сего заявить Вилли, — есть страны прогрессивные, а есть реакционные. На половине земного шара средства производства принадлежат людям, а на другой половине правят фашисты.

На это я попытался было возразить:

— Знаешь, легко сказать, что почти во всех странах меньшинство населения присваивает себе результаты труда большинства. Но может быть, это и неизбежно, может, на этом и основывается любое общество.

В ответ Вилли криво усмехнулся и с сочувствием посмотрел на меня. Я уже давно заметил, что стоило мне возразить, как он тотчас же менял тему разговора.

— Возьми, например, театр. Он ведь прогнил насквозь, а знаешь, Майки, почему? Потому что там все полностью коммерциализировано. Нам сейчас снова нужен народный театр, где билет стоил бы не больше четверти доллара, театр, тесно связанный с профсоюзами, театр, куда можно было бы водить школьников, чтобы они учились жизни. Я имею в виду настоящий театр рабочего класса.

— Абсолютно с тобой согласен.

— Весь вопрос в том, как вернуть театр народу. Не забывай, в былые времена классический театр всегда был прогрессивным искусством. Искусство — это одна из форм народной борьбы.

Рассказывать так подробно о Вилли в общем-то не было особой необходимости: я просто хотел набросать портрет человека, впервые упомянувшего при мне имя и описавшего портрет Беверли Гиневры; данное им описание этой женщины еще долго сохранялось во мне даже после того, как я получил возможность убедиться в его неточности и излишней упрощенности. Если бы в те годы соображал получше, я не стал бы всерьез относиться к суждениям Вилли о людях: взятые с потолка, они имели мало шансов оказаться справедливыми: с таким же успехом можно рассчитывать, что камень, брошенный наудачу в невидимую цель, попадет именно туда, куда нужно метателю. С другой стороны, легко сказать — соображай получше. Кто бы в те годы стал прислушиваться к моим соображениям. Не следует забывать, что, глядя на меня, люди считали, будто перед ними юноша не старше двадцати лет, и относились ко мне соответственно: я очень часто ощущал себя как подросток, которого лишь по чистой случайности занесло в мир

взрослых людей — сплошь незнакомых и к тому же таких разных. В общем, в ту пору я был склонен принимать чье-либо частное мнение за объективную истину.

Впервые Вилли упомянул при мне имя Гиневры, видимо, для того, чтобы воспользоваться им как трамплином и перейти к своей очередной нравоучительной лекции.

— Когда-нибудь, — пригрозил он, — я напущу на тебя хозяйку. — Вилли сделал драматическую паузу и повертел перед собой стул. — Вот это женщина, вот это характер. Подожди, Майки, ты еще ее узнаешь, и помяни мое слово: как только ты поймешь, что это за фрукт и что ей от тебя нужно, ты сам будешь держаться от нее подальше.

— Почему?

— Останешься с ней наедине — и тебе не поздоровится. — Очередная эффектная пауза. — Гиневра — нимфоманка.

Помню, при этих словах я ухмыльнулся.

— Не поздоровится, говоришь? А с тобой что она сделала, Вилли?

— Ничего. Она не в моем вкусе. Старовата для меня, да и толстовата. — Он не безбрезгливости поджал губы. — И потом, Майки, внебрачные половые связи видятся совсем по-другому, когда ты женат; я имею в виду психологический аспект подобных отношений. Сам понимаешь: семья, дети; в общем, я просто не могу позволить себе подхватить какую-нибудь заразу. Разок не уследишь — а там, глядишь, слепота, паралич и прочие радости. Я хоть в армии и не служил, но научно-популярного кино про венерические болезни насмотрелся. — Он покачал головой. — Помнишь, показывали одного парня, у которого от какой-то инфекции язык отнялся? Он совсем говорить не мог, а только свистел. Нет, блин, нам диспансеры по всей стране строить нужно, особенно на Юге. Я прошлым летом поехал по южным штатам, материал для пьес собирал. Господи, если б ты знал, в каком невежестве они там пребывают!

Он потер подбородок, явно намереваясь проповедовать и дальше.

— Ситуация у нас в стране просто ужасная, люди живут в чудовищных условиях: трущобы, детская преступность. В общем, сложишь это все вместе и получаешь приговор нашему обществу, особенно если учесть его психологическое состояние. Возьми ту же Гиневру или еще кого-нибудь в том же роде: это же не человек, а ходячая проблема, а если точнее — потерянный человек с точки зрения психологии. Лично я в этом уверен. По крайней мере, Майки, я могу встать на ее точку зрения и понять, что она по этому поводу думает. На самом деле все заключается в том, что она одинокая. Был момент, когда она стала раздавать мне некоторые авансы, намекать на переход наших отношений в другую плоскость, но ты ведь меня знаешь, я за словом в карман не полезу. Пара шуточек, пара хорошо подобранных ехидных экспромтов — и все стало на свои места. Может, я и задел ее чувства, но это уже, сам понимаешь, не мое дело. Люди всегда хотят, чтобы о них думали хорошо, вот и она стала рассказывать, как она видит эту ситуацию, словно оправдывалась: наверное, лучше бы она этого не делала. Я только лишний раз убедился в своей правоте. Интеллектуальные ресурсы у этой женщины весьма ограничены, а то немного, что имеется, расходуется на огромное количество работы, которое ей приходится делать, чтобы поддерживать свой сарай в приличном состоянии. В общем, типичная судьба американской домохозяйки — вариант сказки о Золушке, только рассказывается она задом наперед. Если бы ты знал, у скольких женщин припрятаны про запас байки о том, как у них было все хорошо в юности и как они дошли до такой жалкой жизни. Готов поспорить, что она выписывает какой-нибудь женский журнальчик вроде «Правдивых историй».

— Тебя послушать — так расхочется не то что общаться, а даже знакомиться с таким убожеством.

— Да нет, в смысле сексапильности у нее все в порядке, но она просто слегка чокнутая. Если честно, у меня даже были насчет нее кое-какие соображения, но все пришлось отложить в

долгий ящик, когда я выяснил, что она, оказывается, замужем. Самое смешное, что мужа ее я так и не видел, но сам понимаешь — заводить шашни с женщиной, муж которой живет в этом же самом доме... не очень-то красиво.

Вот таким образом Динсмор заочно представил мне женщину, в чьей власти было предоставить мне его уютное гнездышко. Ожидание несколько затянулось, и представьте, каково же было мое удивление, когда в один прекрасный день Вилли явился ко мне в общежитие и объявил, что все-таки уезжает за город. По правде, к этому времени я уже стал подозревать, что он успел договориться о комнате с кем-нибудь из своих более близких знакомых. Не веря своим ушам, я быстро оделся и наскоро позавтракал в столовой; Вилли сидел напротив и стряхивал сигаретный пепел в мой соусник.

— Тут такое дело, — сказал он. — Я-то, конечно, обеими руками за тебя, но кто ее знает, эту Гиневру, может, она кому-то уже пообещала комнату. Чтобы не промахнуться, мы с тобой должны придумать план.

— Надеюсь, он сработает, — заметил я.

Мы вышли на улицу и направились к дому, где он квартировал. Для июньского утра воздух был достаточно свежий, тротуары не успели раскалиться под лучами солнца, и в таких комфортных условиях я обратил внимание, что окрестные кварталы из бурых кирпичных домов выглядят очень даже пристойно. В воздухе пахло листвой и даже свежей травой; мне не составило труда вообразить, какими были эти места лет этак пятьдесят назад: с окружавшими особняки садами и увитыми плющом вековыми стволами и изгородями. Мы шли по улице, которая вела к прибрежным скалам, докам и гавани. По другую сторону пролива маячили в утреннем мареве шеренги небоскребов. Ниже по течению виднелся океанский лайнер, маневрировавший перед заходом в док.

Миссис Гиневра, как я выяснил, занимала полуподвальную квартиру, дверь в которую, как и следовало ожидать, находилась под парадной лестницей дома. Заходить туда нужно было через отдельную калитку в ограде, минуя лужайку — естественно, крохотную, но неестественно утрамбованную и каменистую. Земля здесь была настолько плотной, что на ней не росло ровным счетом ничего, даже сорняки. Динсмор нажал на кнопку звонка, и я услышал раздавшийся за дверью звон.

В квартире послышались шаги, а затем повисла пауза. Человек по ту сторону двери явно чего-то выжидал и не горел желанием общаться с незваными гостями. Наконец раздался резкий голос:

— Кто там?

Вилли назвал, и я услышал звук медленно отодвигаемой щеколды: долгий скрежет одной железки по другой.

— Да давайте, давайте, — хрипло и недовольно подбодрил Вилли, — вы что думаете, нам время девать некуда?

— А, это вы, — проскрипел в ответ женский голос. — Какого черта вам нужно? — Дверь наконец приоткрылась, и в образовавшейся щелке появились короткие толстенькие пальчики, а затем и пара глаз и кончик носа. — Вечно вы приходите, когда я больше всего занята.

Мало-помалу в щели между косяком и дверью появилось наконец почти все лицо нашей собеседницы. Кроме того — от неожиданности я даже вздрогнул — на свет божий явились две завитушки необычайно рыжих волос.

— Выходите же. Позвольте представить вам моего друга и собрата по перу Майки Ловетта. — Это представление Динсмор адресовал не столько хозяйке, сколько дверному косяку который с его места был виден гораздо лучше, чем лицо женщины.

Я поздоровался, чувствуя себя довольно глупо, и почувствовал, что глаза женщины просто

впились в меня.

— Очень приятно познакомиться, мистер Ловетт, — произнесла она неожиданно мягким, даже почти сладким голосом телефонной барышни. — Надеюсь, вы простите меня за столь затрапезный вид.

С этими словами она распахнула дверь резким и даже, я бы сказал, торжественным движением — будто срывая покрывало со вновь открывающегося памятника. Я пришел в замешательство. Виноват в этом, впрочем, был Динсмор: это он неправильно подготовил меня к тому, что мне предстояло увидеть. Она была очень даже симпатичной на вид; по крайней мере, на мой тогдашний вкус, она была вполне ничего; впрочем, и тогда я был готов согласиться, что своей привлекательностью она была обязана в первую очередь не банальной красоте, а скорее наоборот, ярким и даже кричащим штрихам в своем облике. Нужно сказать, что в тот самый первый момент я увидел прежде всего роскошную копну рыжих волос и лишь затем — женщину под этим огненным стогом. При этом я не мог не обратить внимания на то, что при каждом движении она старательно виляла бедрами. Руки и ноги, действительно короткие и полноватые, как ни странно, производили впечатление вполне изящных; не было тяжести и в ее лице, а стройности талии могла бы позавидовать и женщина гораздо более грациозной комплекции.

— Пока оденешься, приведешь себя в порядок, с ума сойти можно, — проворчала она. — Господи, вам, мужчинам, так повезло, что вы сумели избавиться от работы по дому.

Эти слова она начала произносить все тем же бархатным голосом телефонистки, но к концу фразы постепенно перешла на повышенные ноты и последние слова выкрикнула уже как самая настоящая базарная торговка; замолчав, она на несколько секунд закрыла глаза, а затем широко открыла их, взмахнув ресницами и напустив на лицо выражение притворного простодушия. Она явно полагала, что эта несложная мимическая игра должна произвести на нас если не ошеломляющее, то уж по крайней мере глубокое впечатление. Однако, учитывая тот факт, что глаза у нее от природы были слегка навывкате, я покривил бы душой, сказав, что ее гримасы могли сослужить в такой ситуации добрую службу.

За мгновения, прошедшие в молчании, взгляды Гиневры и Динсмора успели станцевать целый менуэт из намеков, умолчаний и недосказанностей; наконец между ними даже промелькнуло что-то вроде короткой произвольной улыбки. Я стоял слегка в стороне, и мне удалось разглядеть хозяйку чуть повнимательнее. Точно определить ее возраст было бы затруднительно, но я был уверен, что ей меньше сорока.

— Да, тяжела женская доля, — улыбаясь во весь рот, согласился Динсмор. Голос его, впрочем, скрежетал при этом не хуже напильника. — И все-таки, несмотря ни на что, выглядите вы неплохо... очень даже неплохо.

— Ах, перестаньте. — С того момента как нас представили друг другу, хозяйка, похоже, потеряла ко мне всякий интерес, однако тут она положила руку на бедро и развернулась в мою сторону. — Если бы я купилась на его комплименты и дала этому парню волю, — сказала она, — он бы уже через две минуты забрался ко мне под юбку.

— А вы все мечтаете, — подмигнул ей Динсмор.

Она добродушно рассмеялась, и у меня возникло ощущение, что, не будь меня тут рядом, она пихнула бы Вилли локтем в бок. Она поджала тонкие губы, но это не слишком изменило добродушное выражение, застывшее на ее лице; дело в том, что слой помады был не только нанесен на сами губы, но и обводил их широким внешним контуром, — в те годы так красились многие женщины, подражая считавшемуся очень сексуальным типажу девушек-моделей с обложек модных журналов. В случае Гиневры эти две пары губ — тонкие естественные и пухлые дорисованные — нередко действовали в противофазе, впрочем, оживляя тем самым ее

мимику.

— Ох уж мне эти писатели, — сказала она, — каждый считает себя совершенно неотразимым.

Динсмор картинно заломил руки, разыгрывая пантомиму отвергнутого любовника; затем, посчитав преамбулу завершенной, он перешел к делу, и его голос зазвучал совершенно иначе.

— Слушайте, Гиневра, вы человек проникательный и прекрасно понимаете, что мы пришли к вам не просто так. Нельзя ли попросить вас об одном маленьком одолжении?

— Что такое?

По тону вопроса мне стало ясно, что слово «одолжение» не вызывает у домохозяйки никаких приятных ассоциаций.

— Я тут на пару месяцев уеду и освобожу комнату. Как насчет того, чтобы на это время пустить туда Майки?

Она нахмурилась:

— Между прочим, если комната освободится, я подам объявление и сдам ее новому жильцу. За то же время я заработала бы больше долларов на пять.

— Ну почему стоит заговорить с вами как с квартирной хозяйкой, как разговор обязательно переходит на тему прибылей и убытков? — Вилли погрозил ей пальцем. — А если мы представим это дело иначе: я просто продолжаю платить за комнату на условиях нашего прежнего договора. А Майки поживет у меня. По-моему, все абсолютно законно.

Хозяйка пожала плечами:

— В этом я вам помешать не могу.

— Тогда к чему всякие обманы и запутанные комбинации? Парень просто перебирается сюда и платит вам напрямую. — С этими словами он позволил себе даже шлепнуть домохозяйку пусть не по мягкому месту, но хотя бы по бедру. — Соглашайтесь, будьте хорошей девочкой.

— Уж эти мне писатели, совсем меня со свету сжили, — язвительным тоном произнесла она. — Не успеешь от одного избавиться, как тут же еще один явится.

— Мне бы действительно очень хотелось снять у вас эту комнату, — сказал я и проникновенно улыбнулся.

Ощущение было такое, что она не то изучает, не то экзаменует меня. Выждав еще пару секунд, она сердито кивнула и заявила:

— Ну ладно, договорились. Вы должны будете платить каждый четверг четыре доллара, причем оплата вперед за следующую неделю, и никаких возражений по этому поводу. И чтобы я за вами не бегала насчет оплаты. — Все, что касалось финансовой и организационной сторон дела, было сказано сухим и строгим тоном: впрочем, уже в следующую секунду, словно желая спасти хорошее мнение о себе, она вздохнула и несколько виновато прорыла: — Ну не могу я позволить себе ходить к вам лишний раз и напоминать о квартплате. У меня, между прочим, и без того забот хватает. И вообще, видит бог, я беру совсем небольшие деньги и не прошу за это даже благодарности; мне вполне достаточно простого понимания с вашей стороны.

— Я обязательно буду платить вовремя, — сказал я.

— Ну что ж, будем надеяться, — все так же ворчливо проговорила Гиневра, но, вспомнив, что деловая часть переговоров завершена, опять улыбнулась и более приветливо добавила: — Ладно, мистер Ловетт, думаю, мы с вами еще увидимся. Смена белья — также в четверг. Вы получаете новую простыню раз в неделю, и буду премного вам обязана, если в этот день вы снимете грязное белье до того, как я к вам поднимусь.

Последние слова были, впрочем, сказаны с такой интонацией, с какой обычно произносят несбыточные просьбы.

Мы обменялись еще парой слов и пошли к Динсмору домой. Как только за хозяйкой закрылась дверь, он хлопнул меня ладонью по спине.

— Ты ей понравился, парень.

— С чего ты это взял?

— Понравился, и всё. А что? Ты симпатичный. В общем, держись, в ближайшее время тебе будет над чем поработать и на чём руку набить.

Я непроизвольно, как всегда в подобных случаях, почесал шрам за ухом и поймал себя на том, что мне было бы любопытно рассмотреть получше лицо, которое Динсмор назвал симпатичным.

— Ну уж нет, рукам я волю давать не собираюсь, они мне для другого дела понадобятся. Буду набивать руку в работе.

— Ну посмотрим, Ловетт, сумеешь ли ты противостоять плотским соблазнам.

Мы медленно шли по улице; воздух уже успел по-настоящему прогреться.

— Нет, она совершенно странная, — сказал Динсмор. — Непростой характер. — Со вздохом он отбросил волосы со лба. — Я не сомневаюсь, что изначально она была неплохим человеком, — продолжал он рассуждать, — но сам понимаешь: деньги, бизнес, извлечение прибыли — все это портит людей, я бы даже сказал, выворачивает их наизнанку. А без этого не проживешь. Увы, такое уж у нас общество, насквозь прогнившее и несправедливое.

— И не говори.

Мы тем временем подошли к его дому, Вилли остановился, пожал мне руку и широко улыбнулся:

— Я был рад познакомиться с тобой, ты отличный парень, и я доволен, что смог оказать тебе эту маленькую услугу. — Я хотел было что-то ответить, но он продолжил, не дав мне возможности сформулировать свою мысль: — Я должен тебе кое-что сказать. Ты сейчас, как и многие другие, стоишь на перепутье и задаешь себе важнейший вопрос — куда идти. Вот и подумай, Ловетт, хорошенько подумай: будешь ты в жизни против людей или же за них?

— Боюсь, я как-то в последнее время не слишком об этом задумывался.

— А придется. Уолл-стрит не оставит тебе выбора. — Теперь он улыбался с видом уставшего от жизни мудреца, и на его лице появилось суровое и в то же время возвышенное выражение. — Майки, запомни на всю жизнь то, что я тебе сейчас скажу. Что является важнейшей проблемой в нашей стране, во всем нашем обществе? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Ну что, сообразил?

Я был вынужден признаться, что готового ответа у меня нет.

Вилли ткнул меня большим пальцем под ложечку и замогильным голосом сообщил:

— Пустые животы... пустые голодные животы. Вот он, краеугольный камень всех вопросов современности.

Вот так и получилось, что, прощаясь, мы не ограничились дежурными пожеланиями удачи и обещаниями встретиться, а завершили наш разговор на теме краеугольных камней. Уходя, я даже обернулся и помахал ему рукой, а когда убедился, что мой благодетель скрылся за дверью своего дома, спокойно пошел к общежитию и стал укладывать вещи. Настало время собираться и переезжать.

Перетащив и распаковав скудные пожитки, я улегся на свою новую кровать и погрузился в размышления о том, какой замечательный роман мне предстоит написать. В это долгое, казавшееся бесконечным лето я собирался обратиться к своему внутреннему миру и жизненному опыту в котором наверняка открыл бы для себя и для читателей... пусть я и видел в своей жизни не меньше других, но все виденное отложилось в моей памяти настолько беспорядочно, что, прежде чем выносить этот калейдоскоп на суд читателей, мне предстояло

привести все эти обрывки в сколько-нибудь связный вид.

Должен признаться, что размышления о литературном романе не заняли моих мыслей на долгое время. Вскоре я обнаружил, что думаю о Гиневре. Значит, она нимфоманка; по крайней мере, так сказал Вилли. Странное какое-то слово. Мне еще никого не приходилось так называть. Тем временем у меня в памяти постоянно всплывал ее шикарный бюст, словно так и норовивший вырваться на свободу из-под прикрывавшей — нет, душившей его одежды. Эта грудь вырисовывалась перед моим мысленным взором во всем своем великолепии; дело дошло до того, что она казалась мне более реальной и осязаемой, чем была на самом деле. Хороший пример того, как художественный образ, созданный воображением, обретает вполне самостоятельную жизнь в сознании зрителя или читателя.

Драгоценный камень. Увы, вставленный в латунную оправу. Я вспомнил, что утром на ней было какое-то домашнее платье, поверх которого она набросила купальный халат. Ее рыжие волосы, которые она, несомненно, умела подкрашивать, укладывать и причесывать сотней разных способов, были взъерошены и торчали во все стороны. На ногах у нее при этом были вечерние «лодочки», ногти покрыты свежим лаком, а губы она накрасила в соответствии с последними веяниями моды. В общем, она напомнила мне дом, чьи хозяева подстригают траву на лужайке, не обращая внимания на то, что в кухне начался пожар и она уже объята пламенем. Более того, в тот момент я бы, наверное, не удивился, если бы, зайдя Гиневре за спину, обнаружил, что у нее — как у полуодетых девиц, танцующих в кабаре, — задница открыта и выставлена напоказ.

Нимфоманка, значит. В первый раз засыпая в своей новой комнате, я вдруг отчетливо понял, что очень даже не против затащить Гиневру к себе в постель.

Глава третья

На чердачный этаж, как я, наверное, уже упоминал, нужно было подниматься по трем мрачным лестничным пролетам. Когда-то, много лет назад, этот дом построили как особняк для одной семьи, но со временем его весь перекроили и выгородили в нем несколько клетушек. Шедевром этого утилитарного подхода к дизайну я считал лестничную площадку на верхнем этаже, на которой не было ни единого окна, а следовательно, и естественного освещения; лишь с потолка свисала одинокая лампочка, в слабом мертвенно-желтом свете которой можно было худо-бедно разглядеть дверь в мою комнату, в комнаты двух моих соседей, которых я вплоть до этого дня не видел, а также клеенчатую ширму, загораживавшую вход в общую для нас троих ванную.

Дом был большой и производил впечатление пустого, практически необитаемого. На входной двери были прикреплены таблички, наверное, с десятком, если не больше фамилий: рядом торчали кнопки неработавших звонков. При этом я неделями не видел ни у подъезда, ни на лестнице ни одной живой души. Впрочем, тогда меня это мало волновало. Еще за несколько месяцев до того я неожиданно для себя понял, что больше не хочу знакомиться с новыми людьми: более того, я перестал искусственно поддерживать не складывавшиеся сами собой приятельские отношения со старыми знакомыми. В общем, к моменту переезда из общежития я был, можно сказать, практически одиноким человеком. Хорошо это или плохо — в то время я сказать не мог, да и сейчас затруднился бы с ответом на такой вопрос. Более того, в первые недели и месяцы после переезда мне было даже не до размышлений на эту тему. Я засел за работу и, возрадовавшись одиночеству и свободе, сумел кое-что написать. С учетом того, что я, судя по всему, значительную часть жизни провел в казармах и общежитиях самого разного толка, оказавшаяся в моем распоряжении комнатка представилась мне верхом роскоши. На какое-то время я почувствовал себя совершенно свободным и, пожалуй, даже счастливым. Словно наслаждаясь этой обретенной свободой, я позволял себе приниматься за еду без всякого режима, в любое время дня и ночи, а спать и вовсе ложился, когда мне заблагорассудится.

Разумеется, долго так продолжаться не могло. День шел за днем, на моем столе росла кипа исписанной бумаги, а вокруг меня по всей комнате копилась и копилась пыль. Какие бы коварные и далеко идущие планы я ни строил в отношении Гиневры, реализоваться сами собой при моем пассивном ожидании они не могли. Я просто не видел ее. Как и подобает типичной квартирной хозяйке, она не слишком рьяно относилась к своим обязанностям по наведению чистоты в сдаваемых комнатах; количество пыли в моей келье могло сравниться лишь с грязью, скопившейся на лестничной площадке и в холле. Да что там, весь дом был покрыт слоем грязи.

Исключение составляла лишь наша ванная комната. Заходя туда, я всякий раз обнаруживал неопровержимые свидетельства того, что кому-то явно небезразлично ее состояние. Более того, время от времени как сама ванна, так и весь санузел сверкали просто стерильной чистотой. Этот феномен некоторое время оставался для меня неразрешимой загадкой — до тех пор, пока я не познакомился с Маклеодом.

Однажды утром я наткнулся на человека, старательно драившего пол в ванной. Он поднял голову, посмотрел на меня и кивнул в знак приветствия, глядя из-под очков.

— Это, значит, вы теперь живете в комнате Динсмора? — поинтересовался он после нескольких секунд молчания.

Я утвердительно ответил, и он, встав с колен, представился, а затем обратился ко мне с короткой речью, которую произнес не без злой иронии в голосе.

— Вот что я вам скажу, — заявил он, покусывая губы, — обычно здесь повсюду жуткая

грязь. Гиневре лень приподнять задницу, чтобы постирать носовые платки, а уж наводить чистоту в доме — об этом и мечтать не приходится. В общем, я взял на себя обязанность дважды в неделю наводить порядок хотя бы здесь, в ванной. Как мы оба видим, толку от этого немного. — Он почесал подбородок. — Я хотел договориться с Холлингсвортом — тем джентльменом, который также снимает комнату на нашем этаже, — чтобы он хотя бы время от времени тоже принимал участие в уборке, но увы, у него всегда то голова болит со вчерашнего, то он, видите ли, руку вывихнул, то у него прыщик на животе вскочил... — Он пожал плечами. — В общем, Ловетт, если хотите, можете оказать мне посильную помощь в наведении здесь чистоты; но должен вам сразу заявить, что если вы проигнорируете мое предложение о сотрудничестве, я все равно буду мыть и убирать ванную. Увы, вынужден признать, что чистота — моя слабость, если не сказать — пунктик.

Вот так я и познакомился с Маклеодом. Закончив свою речь, он вновь взялся за швабру и, поджав губы, продолжил мыть пол. В этот момент он вдруг показался мне страшно похожим на ведьму: узкое, даже костлявое лицо, подходящее по комплекции тело, покачивающееся взад-вперед в такт каким-то мыслям, и, конечно же, помело. Впрочем, не дождавшись от меня ни положительного, ни отрицательного ответа, он прервал работу шваброй и внимательно посмотрел на меня, при этом машинально причесав свои прямые темные волосы пятерней, словно расческой. Этот жест заметно изменил его еще непривычное для меня лицо. По крайней мере, я только теперь обратил внимание на длинный острый нос, слегка изогнутый, подобно клюву.

— Динсмор говорил, что вы писатель.

— Что-то вроде того.

— Понятно.

У меня было такое ощущение, что каждое мое слово Маклеод внимательно и обстоятельно оценивает и выносит в отношении моих высказываний окончательный, не подлежащий обсуждению вердикт.

— У меня к вам вот какое предложение, — сказал он, — можете принять его или же отклонить. Вы моете ванную по средам, а я по-прежнему убираюсь тут по субботам. — Судя по всему, ему без особого труда удавалось пропитать каждое произносимое слово убийственной иронией. Я почувствовал, что надо мной просто смеются.

Стараясь скрыть закипавшее раздражение, я демонстративно зевнул и поинтересовался:

— Как насчет того, чтобы подписать контракт по этому вопросу?

Его губы неторопливо изогнулись, но изобразили — как он ни старался — все же не добродушную улыбку, а ехидную ухмылку. Пристально посмотрев на меня, он сказал:

— Вижу, мое предложение не вызвало у вас прилива энтузиазма, а? — Он довольно рассмеялся, отчего на миг даже показался мне молодым и очень веселым человеком. — Да ладно вам, Ловетт. Это же я так, к слову. Просто повод для размышления. — Следующее предложение он сделал с таким довольным выражением лица, с каким дети сосут леденец на палочке: — Моя комната напротив вашей. Помоетесь — заходите. — Не то хихикая, не то фыркая, он осмотрел пол ванной и, удовлетворившись его состоянием, поставил швабру в угол.

Я так и сделал, и мы проболтали целый час. Я было предположил, что этот человек не захочет много сообщать о себе, но он развеял мои подозрения, с готовностью поддержав разговор о своей персоне. То, что он мне поведал, с трудом можно было назвать связным повествованием, скорее набором анкетных данных, предоставляемых для подробного досье. Ему сорок четыре года, рассказал он, и работает он в универмаге оформителем витрин. Родился и вырос в Бруклине и всю жизнь прожил холостяком. Его отец перебрался в дом престарелых, и теперь Маклеод редко видится с ним. Образование у него среднее, и школу он закончил все

здесь же, в Бруклине.

— Я жил тут всегда, — сказал он все с той же насмешливой улыбкой на губах. — Я никогда не уезжал из Нью-Йорка, если не считать одной короткой поездки в Нью-Джерси. Вот и вся моя жизнь. — И он расхохотался.

— Неужели вся? — переспросил я.

— Похоже, вы мне не верите. Что ж, многие не верят. Объясняется все просто: я произвожу впечатление человека в некотором роде образованного. Я действительно, можно сказать, учился, но самостоятельно. Просто по натуре я не очень общителен. Как-то все не собралось приложить накопленные знания к какой-нибудь реальной работе; а вообще меня можно назвать не столько образованным, сколько начитанным человеком.

Договорив, он деликатно, но достаточно уверенно дал понять, что разговор окончен; пожимая мне руку на прощание по дороге к двери, он смотрел мне в глаза весело и даже как-то заговорщицки.

На следующий вечер я снова заглянул к нему, и на следующий тоже. По-моему, за ту первую неделю знакомства мы разговаривали с Маклеодом раз пять-шесть. При этом не могу сказать, что мы вот так просто взяли и подружились. Этот человек обладал даром говорить все, что думает, не слишком заботясь, какое впечатление его слова произведут на собеседника. Общаясь с ним, приходилось продумывать каждую фразу, если не каждое слово — наш диалог в любую минуту мог превратиться в поток колких замечаний с его стороны. Он мог вырвать из моих рассуждений какую-нибудь сказанную походя фразу и разобрать ее буквально по словечку, а затем хорошенько повертеть в руках и разжевать уже каждое слово. Мне все время приходилось защищаться и оправдываться; с одной стороны, мне доставляло удовольствие ощущение, что я постоянно даю возможность собеседнику тренировать свое остроумие и навыки анализа чужой речи, с другой — мне вовсе не улыбалось постоянно чувствовать себя подопытным кроликом, поведение которого изучают.

Какое же сладострастное удовольствие доставлял ему этот процесс! Например, я вспомнил при нем об одной девушке, с которой у меня незадолго до того был непродолжительный роман. Всем своим видом изображая безразличие, я сказал:

— На самом деле все это было так, несерьезно. Мы быстро надоели друг другу и разошлись как в море корабли.

Маклеод, как всегда, хитро и чуть загадочно ухмыльнулся, словно перекатывая из одного угла рта в другой все тот же леденец.

— Значит, как в море корабли?

Я несколько раздраженно ответил;

— Да, именно разошлись как в море корабли. Разошлись. разбежались... Вы разве никогда не слышали, что такое случается?

— Конечно, приходилось. Наслушался предостаточно. Посмотришь на людей — так можно подумать, они только и делают, что сходятся и расходятся, сбегаются и разбегаются. — Откинувшись на кровати к стене, он сложил перед собой руки и продолжил: — Знаете, Ловетт, я ведь о другом. На самом деле я не понимаю, что именно обозначают эти слова. «Сошлись — разошлись, сбежались — разбежались». — Он повторил эти слова, будто смакуя их, как какой-то редкостный деликатес. — Иногда, наверное, человеку удобно представлять себя даже не кораблем, а просто какой-нибудь деревяшкой, которая беспомощно носится на морских волнах.

— Если хотите, я могу объяснить вам, что это значит.

— Ну да, конечно, — расплывшись в улыбке, согласился он. — Что-что, а уж это вы объясните мне с превеликим удовольствием. Дело не в этом. Я просто пытаюсь представить самого себя «разбегающимся» с женщиной после того, как наши отношения зашли в тупик.

Вспоминаю себя в молодые годы и не могу не признать, что расставаться с женщинами, с которыми судьба так или иначе сводила меня на какое-то время, было, прямо скажу, нелегко, и в душе надолго оставался неприятный осадок.

— Да уж я думаю... С таким садистом, как вы, что жить, что расходиться — наверняка самая настоящая пытка.

Эти слова я произнес, старательно маскируя под шутку. При этом я прекрасно понимал, что до приступа раздражения и вспышки злости довел меня именно Маклеод. Умел он вывести человека из терпения. Он тем временем кивнул и сказал:

— А ведь вы правы. Вспоминаю я, чем руководствовался в подобных ситуациях, и по всему выходит, что вел я себя весьма неприглядно. В общем, ни тогда, в молодости, ни позже я не был человеком, удобным в близких отношениях, а уж тем более в совместной жизни.

Эти слова он произнес совершенно другим тоном — абсолютно серьезно.

Впрочем, в следующую секунду он вновь перешел в наступление, обрушив на меня целый монолог.

— Не знаю, как вы, но я, когда «разбегаюсь» с женщиной, всегда задумываюсь о причинах — почему сначала мы были вместе и все же расстались. Знаете, иногда не мешает пораскинуть мозгами на эту тему. Были в моей жизни женщины, с которыми я расставался, когда понимал, что даже любовью с ними занимаюсь как-то вяло, неохотно и — могу вам в этом признаться — без особого удовольствия. Кроме них, нашлась, наверное, еще парочка девушек со странностями, которые всерьез влюбились в меня и были готовы выйти замуж. — Тут он неожиданно рассмеялся — тихо, но в то же время как-то озлобленно. — «Что? Жениться? — переспрашивал я их. — Кто? Я? По-моему, мы с самого начала прекрасно понимали, что у нас отношения совершенно иного рода, основанные на извечном законе „дал — взял“». — Скривив губы, Маклеод завыл, гротескно изображая стон оскорбленной невинности. — Нет, девочка, ты ошиблась номером. Я сразу четко дал понять, что воспринимаю наши отношения как союз людей современных, с самыми прогрессивными взглядами. — Тут он уже расхохотался не сдерживаясь. — Господи, ну и хорош же я был! — Затем, подмигнув мне, Маклеод сказал: — Похоже, перед вами еще один человек, который иногда охотно делал вид, что относится к типу людей, безвольно плывущих по течению.

— Ну знаете, — попытался возразить я. — Неужели вы думаете, что мужчина, завязав близкие отношения с женщиной, потом должен непременно на ней жениться?

— Вовсе нет. — Маклеод закурил, и по нему было видно, что мои слова его немало позабавили. — Видите ли, Ловетт, между нами большая разница, вы — человек явно честный, каким я, увы, никогда не был. Я знакомился с женщинами и при одной из первых же встреч подводил разговор к тому, чтобы мы милейшим образом не то признались, не то пообещали друг другу, что ни один из нас на данный момент не может себе позволить потерять свободу, а уж о том, чтобы связать себя узами брака, просто не может быть и речи. Ну вот, вроде бы поговорили, все всё поняли, остается только радоваться жизни, избежав каких бы то ни было обязательств перед другим человеком. Все замечательно, лучше, пожалуй, и быть не может. Вот только, видите ли, Ловетт, мне всегда было этого мало. Рано или поздно во мне просыпались и начинали действовать древние инстинкты, привязывающие мужчину к женщине и наоборот. Вот только проявлялось это достаточно странно и жестоко. Я переходил к активным действиям. Надеюсь, вы понимаете, к чему я клоню? Если нет, поясню: я делал все возможное, чтобы девушка влюбилась в меня по-настоящему. Начинал я, сами понимаете, с того, что старался произвести самое благоприятное впечатление в постели. Господи, что я только не вытворял, лишь бы доставить ей удовольствие и заставить поверить в то, что я это делаю совершенно искренне, как мужчина, который по-настоящему любит ту женщину, с которой ложится в

постель. Действовал этот метод практически безотказно — я хочу сказать, что рано или поздно женщина проникалась ко мне самыми искренними и глубокими чувствами. Не побоюсь признаться: меня начинали любить по-настоящему И уж по крайней мере мои девушки к этому моменту были уверены в том, что ни один мужчина на свете не сравнится со мной в постели. — Маклеод прокашлялся и продолжил: — И вот, стоило очередной пташке признаться мне в том, что она меня любит и жить без меня просто не может, как... *Finita la comedia*. Мне просто становилось скучно, я вдруг отчетливо понимал, что настало время, как вы. Ловетт, выражаетесь, разбегаться или же расходиться как кораблям в море. — С этими словами он вновь рассмеялся, судя по всему, как надо мной, так и над собой. — Иногда я даже выжидал чуть дольше, чем было необходимо, и начинал действовать, когда девушка как бы невзначай заводила разговор о том, что, быть может, нам было бы неплохо пожениться. В подобной ситуации я мог себе позволить исполнить свой коронный номер. «Ты обманщица. Ты предательница, — заявлял ей я. — У нас был уговор, как ты могла так обидеть меня, это же подстава, западня». — Маклеод снова расхохотался. — Этот дьявольский прием срабатывал безотказно. Буквально несколько фраз — и уже не я виноват перед женщиной, а она передо мной, это она меня обманула, она заманила меня в западню и подставила. Сами понимаете, после такого можно смело расставаться — расходиться, как тем самым кораблям в море.

— Я так понимаю, что, по-вашему, этот способ и мне подойдет?

Маклеод выглянул из окна и посмотрел на дом, стоявший напротив. Можно было подумать, что он внимательно прислушивается к лязгу парового крана, без устали работавшего в доках даже ночью.

— Ну уж этого, Ловетт, я за вас решить не могу. Разберитесь сами, что вам подходит, а что нет. Покопаться в себе всегда полезно, узнаешь много нового.

— Я себя знаю достаточно хорошо, уверяю вас.

Безразлично посмотрев на меня, Маклеод совершенно нейтральным голосом заметил:

— Полагаю, что вы — особый случай.

Следующая его фраза прозвучала для меня совершенно неожиданно:

— Не расскажете, при каких обстоятельствах вы заработали себе эту заплатку на черепе?

Застигнутый врасплох, я не нашел ничего лучше, как заявить Маклеоду о том, что это, собственно говоря, не его дело. При этом я сам удивился тому, в какую ярость привел меня этот несколько бестактный, но в общем-то несколько не обидный вопрос.

К моему удивлению, он лишь согласно кивнул и продолжил говорить все так же спокойно, как ни в чем не бывало. Ощущение было такое, что он какой-нибудь ученый, а я всего-навсего изучаемое им необычное насекомое.

— У меня есть подозрение, что у вас на теле есть и другие, скажем так, татуировки.

— Да катитесь вы со своими подозрениями.

— Вы зря на меня сердитесь, — негромко сказал Маклеод. — На самом деле, с моей стороны это лишь проявление дружеского любопытства.

— Всегда к вашим услугам, — буркнул я все так же недовольно.

Маклеод не стал со мной препираться, а просто поспешил продемонстрировать мне, что от его расспросов есть какая-то практическая польза.

— Я, между прочим, уже успел проанализировать озвученные нами обоими мотивы принятия решения о расставании с женщиной после романа, основанные на постулате о дрейфующих в разные стороны кораблях, и пришел к весьма любопытным выводам.

— Каким же?

— Видите ли, должен признаться, что, судя по всему, та легкость, с которой мы оба якобы расстаемся с нашими женщинами, на самом деле вовсе нам не свойственна. И вы, и я — мы

просто-напросто зачем-то вообразили самих себя этакими циниками, мы почему-то, видимо, решили, что будет лучше прикинуться друг перед другом людьми простоватыми и неспособными к серьезным переживаниям. Ладно, готов признаться, что я, например, никогда не был особо озабочен доказательством кому бы то ни было своей сексуальной крутизны.

— Тогда на кой черт вы все это затеяли, я имею в виду наш разговор?

Маклеод пожал плечами.

— Мне просто стало интересно, почему вы говорите о таких тонких, требующих деликатного обращения моментах нашей жизни столь легко и вроде бы даже безразлично. По правде говоря, я не удивился бы, признайся вы мне в том, что те отношения с упомянутой молодой дамой, с которой, как вы изволили выразиться, вы разошлись как в море корабли, значили для вас несколько больше, чем вы сейчас утверждаете. Да и расставаться с этой особой вам, вполне возможно, было тяжело и больно.

Маклеод попал в точку. Если тот роман и был для кого-то ничего не значащей временной связью, то не для меня, а для той девушки, и расставание действительно далось мне гораздо тяжелее, чем ей.

— Может быть, вы и правы, — признался я собеседнику, чувствуя себя при этом очень неуютно.

— Видите ли, Ловетт, познакомившись с вами, я сразу же обратил внимание на то, что у вас есть довольно занятная привычка, если не сказать слабость, а то и страсть, — пытаться сойти в глазах окружающих за самого обыкновенного человека. Кстати, может быть, вы как-нибудь расскажете мне, почему вам вдруг пришло в голову снять комнату именно в этом доме. Здесь, как мы с вами оба видим, не слишком-то весело. Да что там, здесь с ума можно сойти от одиночества.

— Здесь я просто могу быть таким, какой я есть, и не пытаться сойти за другого человека.

Маклеод продолжал говорить, не обращая внимания на мои слова.

— В молодости решиться поселиться в этакой монашеской келье может лишь человек, который либо уже успел привыкнуть к одиночеству, либо по тем или иным причинам потерял все связи и контакты в окружающем мире. Впрочем, возможен и другой вариант. — Сделав паузу, Маклеод затянулся и выпустил дым изо рта. — Ну, например, вы или другой человек, подобный вам, живете здесь и ведете со мной долгие разговоры просто потому, что это ваша работа и вам за нее платят. — Он проникновенно заглянул мне в глаза, по всей видимости ожидая, что я вздрогну или хотя бы заморгаю от неожиданности.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — сказал я.

— Не понимаете, что ж, вполне возможно, мой юный друг, вполне возможно, что вы действительно этого не понимаете. Вы ведь вообще не такой человек, по крайней мере, я на это надеюсь, — загадочным тоном произнес Маклеод. — Вам ведь проще жить по-другому. Если что, разойдется как в море корабли. — После этого он надолго замолчал.

Такие беседы вряд ли можно было назвать душеспасительными или хотя бы успокаивающими. Распровавшись в очередной раз с Маклеодом, я уходил к себе и потом часами раздумывал над теми вопросами, которые он задавал так легко и ответы на которые найти было ой как непросто. Время от времени я настолько уставал от этих разговоров и раздумий, что просто старался избегать встреч с Маклеодом.

Спустя довольно продолжительное время после переезда я вдруг поймал себя на том, что по-прежнему думаю о Гиневре. А ведь она очень даже ничего, повторял я про себя, вспоминая ее призывно покачивающиеся бедра. Эта женщина была рядом, в пределах досягаемости, казалась такой доступной. Вспоминая об этом позднее, я вдруг понял, что в первый раз заглянул к Маклеоду с намерением постараться построить разговор так, чтобы рано или поздно кто-

нибудь из нас случайно произнес имя нашей домохозяйки. Увы, речь о ней так и не зашла, а потом я понял, что мне остается только ждать, пока Маклеод сам случайно или намеренно не вспомнит о Гиневре. Я прекрасно понимал, что, как бы искусно я ни маскировал свой интерес к ней, Маклеод без труда просчитает меня, вычислив истинные причины моего любопытства.

Долгие часы сидения за письменным столом я чередовал с не менее продолжительными прогулками по раскаленным улицам Бруклина, методично распределяя при этом имевшиеся в моем распоряжении шестнадцать долларов в неделю на обеды и ужины в ближайшей столовой, стараясь выгадать какие-то гроши на пару-другую рюмок и на поход в кино. Жизнь моя текла размеренно, тихо и одиноко. В последние дни я стал замечать, что, наблюдая за влюбленными парочками, прогуливающимися по садам в окрестностях Бруклин-Хейте, испытываю если не ревность, то, по крайней мере, какое-то щемящее беспокойство. Я уходил далеко по усыпанным попкорном улицам, порой добираясь до роскошного, никогда не унывающего и в то же время обшарпанного и грязного Кони-Айленда, путь к которому становился, впрочем, все труднее и труднее. Со временем летняя жара, не спадавшая даже по ночам, заставила меня изрядно сократить маршрут ежедневной прогулки.

Глава четвертая

Примерно через неделю после того, как я обосновался на новом месте, Гиневра заглянула ко мне в комнату, чтобы поменять белье. В тот раз она вновь была одета более чем странно. Дело было часов в девять вечера, а она при этом выглядела так, словно ее только что разбудили, причем с утра пораньше. На ней была ночная сорочка поверх еще какого-то белья. Целая сетка из всяческих бретелек, ленточек, ремешков и подвязок вырисовывалась у нее на плечах сквозь ткань короткого в цветочек халата, запахнутого не настолько плотно, чтобы полностью прикрыть ее впечатляющий бюст.

— А это... Здрасьте, — сказал я и на некоторое время замолчал, не зная, как продолжить разговор. Гиневра оторвала меня от работы, и я не без труда вновь возвращался к реальности. — Я так понимаю, что с меня четыре доллара, — выдавил я наконец из себя.

— Ну, вроде так, — сказала Гиневра таким тоном, словно деньги ее интересовали меньше всего.

Я покопался в ящике письменного стола, выудил из него бумажник и рассчитался с хозяйкой. Она тем временем сняла с моей кровати старое белье и бросила на угол моей лежанки свежую простыню и полотенце. Закончив эту тяжкую работу, она вздохнула — глубоко, громко и явно намеренно.

— Как дела? — только и оставалось спросить мне у нее.

— Да так себе.

Глядя на нее, я бы этого не подумал.

— Я смотрю, вы устали, — заботливо заметил я. — Присядьте, отдохните немного.

Гиневра посмотрела на пачку свернутых простыней, переброшенных через ее руку, и пожала плечами:

— Ах да, пожалуй, я так и поступлю. Учítывая, что дверь в комнату открыта, я, наверное, могу себе это позволить. — Эти слова Гиневры были насквозь пропитаны вульгарной благопристойностью, пошлой и фальшивой.

Подсев ко мне на краешек кровати, она вновь тяжело вздохнула. Я закурил сигарету и заметил при этом, что руки у меня дрожат, причем дрожат сильно. Этой женщине удалось не на шутку взволновать меня.

— Может быть, и мне сигаретку дадите? — попросила она.

Внутри меня все просто колотилось, и чтобы не рисковать тем, что она заметит мое волнение, я, к удивлению Гиневры, не помог ей прикурить, а просто положил пачку сигарет и спички ей на колени — и это при том, что сидели мы буквально в одном футе друг от друга. Она выразительно вскинула брови, удивленно посмотрела на меня и поднесла спичку к сигарете. Убей бог, в тот момент я не представлял, о чем с ней говорить дальше.

По крайней мере, эту проблему Гиневра решила за меня.

— Ну и денек сегодня выдался, — со вздохом сказала она. — Просто кошмар какой-то.

— Белье?

— Нет, — с театральной сокрушенностью произнесла она и, покачав головой, посмотрела мне в глаза. — Нервы... Нервы что-то шалют в последнее время.

На этот раз ее губы были подкрашены иначе, какая-то новая синевато-розовая помада была наложена так, что не меняла естественную форму губ Гиневры, а, наоборот, подчеркивала ее. По правде говоря, так она выглядела менее привлекательно.

— А что у вас с нервами-то? — спросил я.

Накручивая кудряшки волос на палец, Гиневра ответила:

— Да ничего, просто я слишком нервная. Нервная и впечатлительная.

Ее взгляд остановился на моей пишущей машинке, и у меня возникло ощущение, что, даже пробыв у меня в комнате некоторое время, она лишь в этот момент вспомнила, когда и где ей доводилось встречаться со мной раньше.

— Вы ведь у нас писатель, если не ошибаюсь?

Я кивнул, и в следующую секунду она произнесла те самые слова, которых я от нее, в общем-то, уже ждал.

— А ведь я, между прочим, тоже могла бы стать писательницей. Уверяю вас, у меня бы получилось, особенно если учесть, сколько жизненных драм я повидала на своем веку, — в ее голосе послышались интонации радиодиктора. — Да и самой мне жизненного опыта не занимать. Жизнь у меня была яркой и насыщенной событиями, хотя я прекрасно понимаю, что, глядя на меня сейчас, этого, наверное, не скажешь. Если честно, я могла бы заработать целое состояние, просто изложив на бумаге хотя бы часть своей жизни.

Контакт между нами все не устанавливался — мы не чувствовали, не понимали друг друга. Печальная и задумчивая, Гиневра говорила так, словно вещала по радио, обращаясь к невидимой и незнакомой аудитории. Я кашлянул и заметил:

— Ну, сели бы и написали все, что считаете нужным.

— Ой нет, что вы, я бы не смогла. Я просто не могу сосредоточиться на такой работе. — Гиневра нервно теребила стопку простыней. Поймав мой взгляд, она решила привести наглядный пример. — Вот сегодня у нас смена белья, а я за целый день так и не собралась взяться за дело. Сидела и смотрела на груды простыней и полотенец до тех пор, пока муж не вернулся домой с работы. Ему самому пришлось готовить ужин — для меня и для себя... Ах, что мне пришлось пережить вчера вечером, это просто ужас.

— Что же случилось?

— Ой нет, я даже говорить об этом не хочу.

— Нет-нет, что вы, обязательно расскажите!

Гиневра провела ладонями по животу, привычным движением поправила бюстгальтер, добившись того, что ложбинка на ее груди оказалась приоткрытой для посторонних взглядов едва ли не на целую четверть дюйма больше.

— Ну, вы ведь знаете, что наша с мужем квартира находится внизу, на первом этаже. В такую погоду окна у нас, сами понимаете, открыты. Так вот, вы представляете себе, что произошло. В окно с улицы запрыгнула какая-то кошка и легла на кровать у меня в ногах. Было это часа в четыре утра. Я проснулась и увидела, что кошка смотрит мне прямо в глаза. — Гиневра опять вздохнула, еще более тяжело и болезненно. — Странно еще, что я не раскричалась на весь дом. Вполне могла бы всех вас перебудить. Мужу пришлось успокаивать меня, наверное, целый час, если не дольше. Но это еще полбеды. Сегодня утром открываю я кухонный буфет, а кошка — та же самая, черная вся такая и здоровенная, — как прыгнет прямо на меня! Вот, даже лицо мне расцарапала. Смотрите. — Гиневра показала пальцем на едва заметную красную черточку на своей щеке.

— Ладно вам, что было, то было, но теперь-то это все в прошлом, — сказал я.

Гиневра поморгала, глядя прямо на не прикрытую абажуром голую лампочку, одиноко свисавшую с потолка прямо над моим письменным столом.

— Ничего подобного, — произнесла она театральным шепотом. — Надеюсь, вы понимаете, что это была не просто кошка. — Еще чуть понизив голос, она произнесла: — Это был сам Дьявол!

Я никак не мог решить, рассмеяться мне в полный голос над этой чушью или промолчать, и пошел на компромисс, ограничившись ироничной улыбкой и выражением недоверия на лице.

— А вы не смейтесь, не смейтесь, — с убежденностью в голосе продолжала Гиневра. — Вы, может быть, по молодости этого и не знаете, но черная кошка всегда считалась одним из земных воплощений дьявольского начала. Да-да, именно черная кошка. Даже в Священном Писании сказано, что Дьявол — падший брат Бога — появляется на земле в образе кота, черного кота. Между прочим, именно поэтому черные кошки приносят несчастье.

Я всерьез задумался, не шутит ли она. Последние слова Гиневра произнесла смиренно и с почтительным придыханием. Этот голос никак не связывался в моем сознании с голосом той женщины, которая, стоя руки в боки, вульгарно улыбалась Динсмору и говорила: «Ох уж мне эти писатели».

— Почему вы так в этом уверены? — поинтересовался я.

— Все дело в вере, — ответила Гиневра. — Я принадлежу к церкви Свидетелей Иеговы, то есть мы с мужем оба — Свидетели. И я точно знаю, что Дьявол приходил ко мне, чтобы еще раз попытаться заполучить мою душу. Как видите, я хорошо в этом подкована. А чем больше человек знает, тем меньше у Дьявола шансов завладеть его душой. Вот он и подбрасывает нам искушения на каждом шагу.

На этот раз я не выдержал, и моя физиономия расплылась в улыбке.

— Ну да, конечно, вы мне не верите, но если бы вы знали, каким искушениям я подвергалась всю эту неделю. — Подумав, она, по всей видимости, решила перейти к наглядным примерам свалившихся на ее бедную душу испытаний. — Честное слово, стоит мне оказаться в чьем-либо доме или на улице, как откуда ни возьмись появляется очередной мужчина, который тотчас же начинает делать мне нескромные предложения.

Пухлая ручка Гиневры скользнула в ложбинку на груди и вроде бы изо всех сил подтянула бюстгальтер кверху. Тот немедленно съехал еще дальше вниз, чему я, собственно говоря, уже не удивился. Не могу не признаться в том, что не пялиться на эти шикарные формы было попросту невозможно.

— Если мужчины рискуют обращаться к вам со столь нескромными предложениями, то, по всей видимости, у них есть на это какие-то причины, — вкрадчивым голосом предположил я.

— Что? — хрипло взвизгнула она. — Да вам, кобелям, не то что причины — повода никакого не нужно. Вы готовы за нами бегать высунув языки, от зари до зари.

Тут Гиневра почувствовала, что сбилась со взятой высокопарной тональности, и вновь заговорила негромко и печально:

— Не знаю даже, как жить дальше. Этот мир погряз в грехе. Никто не любит своего ближнего, а ведь придет день Страшного суда, и, как учат Свидетели, Иисус вернется, призовет всех нас, и нам придется держать ответ за свою греховную жизнь.

— Боюсь, очень немногие сдадут этот экзамен.

— Вы абсолютно правы. Я мужу всегда так говорю. Вы ведь человек не глупый. Уж я-то понимаю. Мне стоило только посмотреть на вас, и я сразу же сказала себе: «А ведь у этого парня с котелком все в порядке». — Чуть откинувшись на кровати, она выпустила изо рта дым и так и осталась сидеть, слегка вытянув, но не сомкнув губы.

Я даже забеспокоился: уж не ждет ли она, что я ее поцелую. Впрочем, не дав мне времени прийти к какому-либо определенному выводу, Гиневра продолжила:

— Нет, в политике я, конечно, не слишком хорошо разбираюсь. Но из того, что мне понятно, я делаю один вывод: в наше время все идет не так, как предписано Богом. Люди наплевали на все законы и заповеди. Путь наш лежит в Гефсиманский сад, вот ведь в чем дело. И это испытание окажется нам не под силу.

Я поймал себя на том, что внимательно прислушиваюсь к шуму двигателя машины, припаркованной прямо у нашего дома. Глушитель этого автомобиля, судя по всему, прогорел,

и выхлопные газы с ревом вырывались из мотора, заставляя вздрагивать воздух даже здесь, в комнате под самой крышей. При этом, глядя в окно, я видел, как ярко-голубое при свете дня небо на глазах становится вечерним — густым и темно-синим. Одновременно я отчаянно пытался вспомнить, какое символическое значение имеет в библейской традиции Гефсиманский сад.

— Да, — печально продолжила Гиневра, — вы все — потерянные души, ибо вы свернули с пути истинного. Помяните мои слова, очень скоро разразится катастрофа, и этот мир рухнет. — Тем же самым тоном, безо всякого перехода, она, неожиданно для меня, поинтересовалась: — Какую религию вы исповедуете?

— Никакую, — заверил ее я.

— Тогда вы обречены.

— Увы, похоже, что так.

Покачав головой, Гиневра сказала:

— Видите ли, юноша, раньше я была такой же, как вы, но в какой-то момент я осознала, что нас в будущем ждут войны, эпидемии и голод. Спасутся же только Свидетели, ибо им одним ведом истинный, праведный путь, заповеданный нам Господом Богом. И они, то есть мы, мы не поклоняемся лже-богам и не творим себе кумиров. Я, например, никогда не встаю при поднятии государственного флага, никогда ему не салютую, и никто не заставит меня поступить иначе. Такова моя вера.

— Значит, в день Страшного суда спасутся только Свидетели? — на всякий случай решил уточнить я.

Похоже, этот прямой и, в общем-то, вполне логичный вопрос, застал ее врасплох.

— По правде говоря, я в этом не совсем уверена. — Гиневра произнесла эти слова с видом посетительницы женского клуба, обсуждающей с подружками, как лучше вложить полученную по акциям прибыль. — Скорее всего, среди спасенных окажутся в основном те, кто принадлежит к нашей церкви. Ну, может быть, к ним будут присоединены и те, кто исповедует те же взгляды, но принадлежит к другим, близким нам по духу организациям. Наконец, вполне возможно, что среди спасенных окажутся представители нескольких близких церквей и те, кто им непосредственно сочувствует и разделяет их взгляды хотя бы в главном.

Чтобы выиграть время и сменить тему разговора, Гиневра взяла из моей пачки еще одну сигарету и закурила.

— Забавно, что вы оказались здесь, — ни с того ни с сего заявила она. — Я имею в виду, что вы решили снять эту комнату.

— Жить где-то нужно, вот и все, — несколько сбитый с толку, пробормотал я.

— Ну да, — задумчиво произнесла Гиневра, явно взвешивая мои слова. — Станный вы народ, писатели. Никогда не знаешь, чего от вас ждать. — Договорив, она, неожиданно для меня, хлопнула ладонью по стопке простыней и встала с кровати. — Ну все, пойду я, — сообщила она мне. — Было приятно побеседовать.

Я попытался задержать ее.

— Что вы скажете, если я предложу вам взять на себя труд по уборке комнаты? — предложил я ей.

— Убирать вашу комнату? — без большого энтузиазма переспросила она.

— Я прекрасно понимаю, что вы вовсе не обязаны делать это. Я просто поинтересовался... Естественно, не бесплатно. Не знаю даже, устроит ли вас доллар в неделю. — Едва договорив эту фразу, я пришел в ужас. Этот доллар пришлось бы отрывать от тех денег, что были выделены на еду.

— Дело не в деньгах, у меня просто дел невпроворот, — заявила Гиневра. — Дом, может

быть, на первый взгляд и небольшой, но, уверяю вас, для одного человека тут и без вашей комнаты работы более чем достаточно.

— Ну найдите для меня еще немного времени. — Почувствовав, что хозяйка действительно не в восторге от моего предложения, я в тот же миг перестал жалеть столь не лишней для меня доллар в неделю.

— Ну я прямо не знаю. Вот что, Ловетт, мне нужно будет подумать над вашим предложением.

Назвав меня по имени, она буквально в одно мгновение перевернула с ног на голову всю атмосферу, в которой протекал наш разговор. У меня в памяти вновь всплыли уже подзабытые предположения о ее, вполне возможно, близких отношениях с Динсмором.

— Нет, вы, мужчины, действительно какие-то странные. Вам, например, не приходило в голову обратиться в комнате самому и сэкономить таким образом доллар?

— Я думаю, мы еще об этом поговорим, — примирительным тоном сказал я. — Надеюсь, что через денек-другой мы с вами увидимся, вот тогда и обсудим мое предложение. Надеюсь, вы к этому времени...

Гиневра, не дослушав меня, безучастно закивала:

— Где меня найти, вам известно. Я почти все время дома.

Поддав ногой открытую дверь, она вышла на площадку, бормоча себе под нос: «Работа, работа, целыми днями, с утра до вечера...»

Она обернулась уже с лестницы и достаточно решительным тоном сказала:

— И все-таки, я думаю, будет лучше, если вы начнете сами убирать у себя в комнате.

Я сидел на кровати и слышал, как шаркают по ступенькам шлепанцы Гиневры.

Мои дружеские отношения с Маклеодом развивались достаточно необычно. В какой-то момент я вдруг осознал, что этот человек пришелся мне по душе и что мне с ним интересно. В то же время о нем самом я и спустя много месяцев знал не больше, чем он рассказал мне при первой нашей встрече. Я знал, где он работает, и полагал, что знаю, откуда он родом. Умело удерживая нить наших разговоров в своих руках, Маклеод так и держал меня на голодном информационном пайке относительно своей биографии. Как-то так получилось, что мы вроде бы все время говорили только обо мне. В один прекрасный день, к своему изумлению, я вдруг поймал себя на том, что рассказываю Маклеоду о той странной особенности своей психики, которую я ценой немислимых усилий старался скрыть от всех знакомых. Маклеод внимательно выслушал рассказ о настигшей меня амнезии, покивал, постучал носком об пол и, когда я замолчал, негромко произнес:

— Должен признаться, что я уже давно подозревал что-то в этом роде.

Следующее его замечание просто поразило меня. Осторожно втянув носом воздух, словно намереваясь взять образец атмосферы для анализа, он вдруг негромко сказал:

— А ведь у вас благодаря этой редкой особенности есть одно неоспоримое и, между прочим, весьма значительное преимущество.

— Вы о чем?

— Вам нет необходимости придумывать себе биографию и обставлять ее, как мебелью, множеством подробностей. И если вы полагаете, что это не является преимуществом в некоторых профессиях... — Эта оборванная, недосказанная фраза так и повисла в воздухе, пропитанном созданным самим Маклеодом молчанием. Ни он, ни я больше не задавали друг друга вопросов на эту тему.

При этом он зачастую уделял большое, я бы даже сказал излишне большое, внимание совершенно пустяковым, на мой взгляд, событиям. По вечерам он часто куда-то уходил и старался обставить все так, чтобы я не слишком интересовался причинами его продолжительного отсутствия. Объяснения порой звучали самые неожиданные. «Я тут вчера вечером на такую вечеринку попал, — мог неожиданно заявить он, — одни девчонки». Привычно искривив губы в ироничной ухмылке, он вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать, предоставляя мне возможность молча стоять или сидеть рядом с ним с неловкой, если не сказать прямо — дурацкой улыбкой на физиономии, озадаченно почесывая в затылке.

Человеком он был, несомненно, очень интересным. Через какое-то время после нашего знакомства я стал понимать, что высшего образования как такового он скорее всего не получил. Тем не менее в остроте ума Маклеоду было не отказать. Судя по его замечаниям и комментариям по поводу тех или иных событий, можно было сделать вывод, что он за свою жизнь успел прочитать, а главное, усвоить и переварить немалое количество книг. Со временем я пришел к выводу, что Маклеод скорее всего учился самостоятельно и приступил к систематическим занятиям достаточно поздно. Я с трудом мог представить его себе читающим просто для удовольствия, какую-нибудь несерьезную книгу, а не величайший шедевр в той или иной области. Подборка книг в его шкафу поражала своей хрестоматийностью и свидетельствовала об отсутствии сколько-нибудь явно выраженного индивидуального вкуса у хозяина этой библиотечки. Я, было дело, как-то раз обратил на это его внимание и в ответ услышал произнесенные мрачным голосом слова: «Личный вкус, мой мальчик, это роскошь. У меня нет ни денег, ни времени на то, чтобы позволять себе интересоваться то тем, то этим, причем просто по моей прихоти». Я сделал вывод, что Маклеод, по всей видимости,

откладывает примерно доллар в неделю, буквально выкраивая эти деньги ценой множества мелких урезаний личного бюджета и самого разного рода самоограничений. Когда накапливалась нужная ему сумма, он шел в книжный магазин и покупал именно то издание, которое ему было нужно в этот момент. Такое самопожертвование не могло быть безболезненным, но он не подавал виду, что испытывает какие-то трудности. Он вообще всегда поворачивался к миру своей неизменно надменной ухмылкой и при этом делал вид, что его вообще мало что интересует в той части вселенной, которая находится за стенами нашего мрачного, пыльного, провонявшего протухшей капустой дома.

Во всем, что он делал, угадывались элементы совершенно особого — требовательного, даже в чем-то монашеского отношения к жизни. Причем понять этого человека, раскусить его было решительно невозможно. Одевался он так, как обычно одеваются люди, старающиеся тратить на одежду как можно меньше денег. Тем не менее брюки его всегда были свежесвыглаженны, да так, что казалось, о складки на них можно было порезаться. Кроме того, Маклеод всегда был аккуратно причесан и чисто выбрит. А его комната, чистая и всегда убранная — почему бы такой чистотой не сверкать и остальным кельям в нашем особнячке? — была, судя по всему, полем нескончаемой битвы с потолком, потевшим водой в ненастную погоду, и полом, притягивавшим к себе пыль и грязь.

Я часто думал о Маклеоде и никак не мог понять, что движет им в жизни. По всей видимости, в универмаге, где он работал, платили ему очень немного, и я удивлялся, как такой человек может довольствоваться столь скромной должностью и столь незамысловатым занятием. Мне он казался человеком умным и явно умеющим вкладывать свои знания в то дело, которым он стал бы заниматься. В конце концов я разработал гипотезу, объяснявшую его поведение и основанную на впечатлении от комнаты Маклеода, его манере одеваться и выбирать себе книги. Он просто очень робок и неуверен в себе, решил я. Было похоже, что он едва ли не сознательно сузил свой горизонт до мечты о собственном домике где-нибудь в не слишком живописном пригороде и ради этого закопал свои неотточенные и не получившие должной огранки таланты, променяв их на постоянную работу и какую-никакую стабильность существования. «Всего остального не существует, — услышал я от него как-то раз, — я никто, просто очередной винтик в огромном механизме общества, надеющийся найти для себя местечко поспокойнее».

Следует отметить, что во время наших разговоров он нередко затрагивал тему политики. Мне в те годы это было не слишком интересно. Порой его слова звучали как пародия на речи Динсмора, то есть говорил он почти то же самое, но расставлял акценты более чем странно. А учитывая его ироничную манеру разговора, понять, шутит он или говорит всерьез, было попросту невозможно. Как-то раз я заметил ему:

— Вы говорите, как какой-нибудь агитатор.

Маклеод сурово нахмурился и, глядя мне в глаза, сказал:

— Интересными словами вы, Ловетт, порой разбрасываетесь. Это слово характерно скорее для Старого Света. У нас подобных людей обычно называют смутьянами. Знать бы, где вы таких терминов набрались. Их использование свидетельствует, по крайней мере косвенно, о немалом политическом опыте и, вполне вероятно, об активном участии в политической жизни.

В ответ на это я просто рассмеялся и, может быть, с излишней прямоотой заявил:

— Из всех бессмысленностей, которые люди используют для самовыражения, я считаю политическую деятельность едва ли не самой жалкой и убогой.

— Убогой, говорите... — Маклеод испытующе посмотрел на меня. — Что ж, в некотором роде, наверное, вы правы. Что же касается ваших замечаний, то смею вас заверить, что я, убей бог, никакой не агитатор. Между прочим, мы уже не раз говорили на эту тему, и я объяснял вам,

молодой человек, что общественная деятельность — не мой конек. — Кисло усмехнувшись, он добавил: — Ну а если уж вам так хочется записать меня в какой-то политический подкласс, то можете считать мою персону вольноопределяющимся марксистом.

Что ж, эта преамбула, пожалуй, также получилась излишне пространной. Но как Динсмор сбил меня с толку относительно Гиневры, так и Маклеод навел меня на ложный след в том, что касалось Холлингворта, нашего третьего соседа по площадке на третьем этаже. В то утро, когда мы впервые встретились с Маклеодом в нашей ванной, он невзначай, как о чем-то само собой разумеющемся, сообщил мне, что Холлингворт ленив. Впоследствии мне предстояло узнать, что эта характеристика не имеет к нашему соседу ни малейшего отношения. Впрочем, во время наших последующих разговоров Маклеод высказывался по поводу соседа более определенно.

Как-то раз он сам, явно намеренно, завел разговор о Холлингворте:

— Ну что, уже познакомились с нашим соседом?

Я отрицательно покачал головой, и Маклеод, привычно поджав губы, заметил:

— Было бы интересно понаблюдать за вашей реакцией при этой встрече.

— Это еще почему?

Ответ Маклеода, по обыкновению, не отличался прямотой:

— Вы, как начинающий писатель, наверняка стремитесь познать человеческую натуру.

Я вздохнул и молча опустил на предложенный мне стул.

— Редкий экземпляр, — продолжил Маклеод, — я имею в виду Холлингворта. Станный... Нет, не странный, а попросту больной человек.

— Как-то подустал я от больных людей.

Что-то в моих словах явно рассмешило Маклеода. Губы его привычно искривились, но от приступа смеха он все же удержался. Я спокойно ждал, пока схлынет накатившая на него волна веселья. Маклеод тем временем снял очки — строгие, в серебристой оправе — и стал неторопливо протирать их носовым платком.

— Ну вы, Ловетт, даете, — проговорил он наконец. — Как скажете — так хоть стой, хоть падай.

Любите вы дурака повалять. У меня ощущение, что за все время нашего знакомства вы не произнесли и десяти слов всерьез, а не с приколом.

— Да мне просто сказать нечего... Я имею в виду — всерьез.

— Вот-вот, и нашему соседу Холлингворту тоже, по всей видимости, сказать нечего, — вновь широко улыбнувшись, поспешил согласиться Маклеод. — У него в голове полный бардак, я бы даже сказал — не голова, а мусорная куча. В общем, если бы меня попросили коротко охарактеризовать его, то я назвал бы нашего соседа просто психом.

После этого разговор как-то незаметно перешел на другие темы, но когда я уходил к себе, Маклеод вновь вспомнил о Холлингворте:

— Когда познакомитесь с ним, расскажете, какое он произвел на вас впечатление.

Встретился же я с Холлингвортом — когда пришло время — совершенно случайно. На следующий день, ближе к вечеру я решил заглянуть к Маклеоду. К сожалению, его не оказалось дома, и я, развернувшись, на несколько секунд замер на месте, не торопясь пересечь лестничную площадку и зайти к себе. Дело в том, что мне очень не хотелось работать, но за отсутствием возможности скоротать вечер за разговором с соседом мне, по всей видимости, все же предстояло провести этот вечер за письменным столом. Скорее по инерции, чем ожидая ответа, я снова повернулся к двери Маклеода и постучал еще раз.

Совершенно неожиданно для меня в следующую секунду открылась третья дверь, выходящая на нашу лестничную площадку. На пороге появился молодой человек — судя по

всему, тот самый Холлингсворт. Я кивнул ему:

— Прошу прощения, я, наверное, слишком громко барабанил в дверь, пытаюсь выяснить, сидит ли Маклеод в своей норе или куда-нибудь делся.

— Нет-нет, вы меня ничуть не побеспокоили. — Холлингсворт внимательно разглядывал меня в тусклом свете висевшей под потолком лампочки. — Вы, как я понимаю, наш новый сосед?

Я подтвердил правоту его предположения, и Холлингсворт вежливо улыбнулся в ответ. Затем в разговоре возникла пауза, которую прервал Холлингсворт, причем сделал он это, с одной стороны, легко, с другой — явно со всей серьезностью и ответственностью за дело поддержания разговора.

— Что-то жарко в последнее время, вы не находите?

— Уж не без этого.

— Но мне все-таки кажется, что скоро станет легче, — мягким, я бы даже сказал, робким голосом заметил он. — По-моему, дело идет к дождю, а после дождя всегда легче становится. Я имею в виду — не так душно.

В ответ я пробурчал что-то невразумительное.

Судя по всему, Холлингсворт посчитал знакомство состоявшимся и решил, что мы с ним уже не чужие друг другу люди. Без долгих переходов и предисловий он сообщил мне:

— Я тут по случаю духоты пива решил выпить. Вот думаю, может быть, и вы не откажетесь, если я вас к себе приглашу.

Причин для того, чтобы отказаться, у меня не было, и я прошел за Холлингсвортом в его комнату, где он сразу же протянул мне банку пива. Его комната была несколько больше, чем моя или та, которую занимал Маклеод. Впрочем, толку от этого было мало: в помещении было так же тесно, как и у нас. Просто в большую по размерам комнату впихнули широченную кровать и громоздкий письменный стол. Вместе эти два предмета мебели занимали немалую часть пространства. Чтобы присесть на край кровати, я был вынужден освободить себе место, отложив в сторону груды грязных рубашек. Повторю, не несвежих, а именно грязных. Я даже непроизвольно потер пальцы, которыми брался за ткань, — мне казалось, что на их подушечках осталась жирная пленка. Я огляделся и спустя какое-то время заметил, что комната выглядит как-то необычно, даже странно. Далеко не сразу я понял, в чем тут дело.

С одной стороны, в комнате царил невероятный беспорядок, во всех углах валялась нестираная одежда, пара ящичков комода была приоткрыта, и из них торчало скомканное белье. За неприкрытой дверью стенного шкафа я заметил валявшийся на полу костюм. Повсюду были разбросаны банки из-под пива, мусорная корзина была переполнена. То же самое, только в меньших масштабах, творилось и на письменном столе Холлингсворта. Он был сплошь усыпан стружкой от заточенных карандашей, покрыт чернильными пятнами и завален сигаретными окурками. Часть стола была погребена под писчей бумагой, вывалившейся из неаккуратно вскрытой пачки.

При всем этом на полу в комнате не было ни пылинки. Не было ее и на мебели и подоконниках, а окна, похоже, вымыли буквально несколько дней назад. Да и по виду самого Холлингсворта нельзя было предположить, что он неряха. Скорее наоборот, этот человек не только следил за собой, но и, судя по всему, делал это с удовольствием. Его летние светлые брюки были хорошо выглаженными, воротничок рубашки — свежим, а волосы аккуратно причесанными. К тому же Холлингсворт был чисто выбрит. Позже я заметил, что и ногти у него были не просто аккуратно подстрижены, но и по-настоящему приведены в порядок. Вот в чем заключалась та странность, на которую я обратил внимание: этот человек, казалось, не имеет никакого отношения к комнате, в которой живет.

— Хорошо вот так иногда посидеть, поболтать с кем-нибудь за банкой-другой пива, — сказал Холлингсворт. — Родители всегда предупреждали меня, чтобы я не злоупотреблял спиртным, особенно крепким. Я, конечно, согласен, но пиво, да еще в разумных количествах, еще никому не вредило, разве я не прав?

Этот парень явно был родом из какого-то небольшого захолустного местечка: об этом безошибочно свидетельствовали более чем характерные признаки: светский разговор о погоде, манера речи, подчеркнутая вежливость. Типичный парень из провинции, перебравшийся в большой город. Его внешность вполне соответствовала этой модели поведения: этакий невысокий, но жилистый деревенский паренек, готовый при необходимости одним легким движением перемахнуть через любой забор.

Соответствовали этому образу и черты лица Холлингсворта. У него были прямые, пшеничного цвета волосы, расчесанные на пробор. словно печать провинциальности, с его лба к виску тянулся этакий завитой чубчик. На, в общем-то, бесцветном и бесформенном лице с неприметными губами и носом не могли не выделяться глаза, пусть маленькие и глубоко посаженные, но при этом ярко-голубые. На его скулах и щеках проступали довольно крупные веснушки, придававшие моему собеседнику совсем уж подростковый, мальчишеский вид. Позднее я узнал, что мы с ним были практически ровесниками, и в то время ему, как и мне, было около двадцати пяти или чуть больше. Впрочем, не удивлюсь, что многие из тех, с кем ему доводилось знакомиться, были уверены, что общаются с юношей лет восемнадцати, не старше.

Свет лампы отражался от светлых волос стоявшего посреди помещения Холлингсворта, и в таком ракурсе он казался совершенно инородным элементом в этой комнате. Она ему категорически не подходила. Я вдруг отчетливо представил себе комнату, в которой этот парень мог провести свое детство: кровать, Библия и, например, бейсбольная бита в углу. Косвенным подтверждением правоты моих догадок мог служить единственный элемент декора, который я заметил в пристанище Холлингсворта, — это был висевший на стене в изголовье кровати крест, напечатанный на картонке флюоресцирующей краской. В темноте, при выключенном свете он должен был светиться.

Я попытался как-то обосновать такое несоответствие и нафантазировал себе такую картину: каждое утро Холлингсворт убирается в комнате, подметает, вытирает пыль и выбивает половичок. Затем, когда он уходит на работу, в комнате появляется кто-то другой — человек, который устраивает здесь форменный обыск, причем ищет он, отчаянно и яростно, какую-то вещь, которой у Холлингсворта скорее всего и нет. Впрочем, все могло быть и не так... Я вдруг представил себе Холлингсворта, который сам обыскивает собственную комнату, роется в ящиках комода и швыряет вещи на пол. Шутки шутками, но комната действительно выглядела так, словно беспорядок в ней был наведен какими-то активными, если не сказать насильственными, действиями, а не накапливался в силу лени живущего здесь человека.

Примерно через несколько минут после начала разговора я поинтересовался у Холлингсворта, где он работает. Он сказал, что служит клерком в одной довольно крупной брокерской компании на Уолл-стрит.

— Ну и как работа, нравится?

В ответ Холлингсворт произнес короткую, но как нельзя лучше характеризующую его речь — все тем же мягким, бесцветным голосом:

— Ну да, в общем-то, не жалуясь. Люди вокруг приличные и любезные. Мне вполне убедительно рассказали о перспективах моей работы и о больших возможностях карьерного роста. Не знаю, впрочем, может быть, они всем так говорят. Но работать мне там все равно нравится. А что, местечко не пыльное, работенка чистая. Мне лично всегда нравилась чистая работа. А вам как?

— Я как-то над этим не задумывался.

— Да вы что, как интересно. Похоже, действительно далеко не все люди думают точно так же, как и я.

Эта демонстративная вежливость начинала меня раздражать. Холлингсворт тем временем продолжал развивать затронутую тему.

— Я думаю, немало плюсов найдется и у работы, связанной с пребыванием на свежем воздухе. Особенно если учесть фактор положительного влияния на здоровье.

— Да уж наверное, лучше так, чем весь день в четырех стенах где-нибудь в офисе.

— Мистер Вильсон — ну, это мой начальник — всегда говорит, что работа в офисе может быть самой разной. Вот, например, если ты умеешь работать с людьми, а не только с бумагами, то это уже совсем другое дело. Начальник, кстати, собирается перевести меня на работу с клиентами. Не могу не признаться, что это мне куда больше по душе, чем бесконечные бумажки.

— Думаете, у вас получится?

Похоже, мой собеседник всерьез задумался над моим вопросом.

— Да, я в этом почти уверен, — наконец сказал он совершенно серьезно. — У меня всегда неплохо получалось что-то продавать. У родителей был магазин в Маридабет — это городок, где я вырос, — и когда я стоял за прилавком, мне почти всегда удавалось продать людям то, что им было нужно, а порой и уговорить их приобрести то, что они покупать вовсе не собирались. — Неопределенная полуулыбка, мелькнувшая на губах Холлингсворта, казалось, исключала даже намек на иронию. — Не знаю, может быть, это и не совсем правильно — я имею в виду втюхивать людям те вещи, которые им не нужны. Вы меня не осуждаете?

— Хочешь жить — умей вертеться.

Холлингсворт захихикал — довольно громко и достаточно правдоподобно. Тем не менее через несколько секунд его смех оборвался — внезапно и неожиданно, после чего мне стало понятно, что и радость его не была искренней. Он просто-напросто обозначал интерес к собеседнику — в меру своего понимания приличий.

— Это вы хорошо сформулировали, — сообщил он мне. — Емко и образно.

В какой-то момент он достал жестяную коробочку с табаком и трубку. А через минуту уже поднес к ней спичку и запыхтел изо всех сил, раздувая не желавший разгораться табак. По его движениям и выражению лица я почувствовал, что этот ритуал не приносит ему большого удовольствия.

— И давно вы трубку курите? — поинтересовался я.

— Нет, что вы, вообще только учусь. Я обратил внимание, что мистер Вильсон и многие джентльмены, которые являются не только моими, но и его начальниками, как, например, мистер Курт, придают курению трубки очень большое значение. Люди с высшим образованием, как я заметил, если уж курят, то обычно трубку. Вы со мной согласитесь?

— Ну, может быть, и есть такая тенденция.

— Вообще-то, мне трубка не очень нравится, но если понадобится, я готов научиться и привыкнуть к ней. — При этом он произвольно, словно в знак протеста, постучал мундштуком о зубы. — Вы позволите мне задать вам один вопрос личного характера?

— Валяйте.

— У вас ведь есть высшее образование?

А почему бы ему, собственно говоря, у меня и не быть. Я кивнул, и Холлингсворт улыбнулся с самым довольным видом.

— Ну вот, я так и думал, — продолжил он свои размышления. — Если честно, я сразу догадался. Да, не зря я тренировал наблюдательность, и порой мне удается узнать о людях то,

что они сами мне еще не сказали. Вы, кстати, где учились?

Я наугад назвал один из самых известных университетов.

Холлингсворт склонился передо мной в почтительном поклоне. Можно было подумать, что он встретился не с выпускником, а с самим основателем этого почтенного учебного заведения.

— Как-нибудь при случае я бы хотел поговорить с вами об учебе в колледже или университете. Мне бы очень хотелось выяснить... Я так понимаю, когда учишься, у тебя появляется много друзей и знакомых.

Я поборол в себе искушение поскорее уйти от этой темы и с небрежным видом заметил:

— Все зависит от того, нужно ли вам столько знакомств.

— Ну что вы, конечно нужно. Я уверен, что в дальнейшем эти знакомства окажутся очень полезными в работе. Взять, например, начальство у нас в фирме. Практически все они учились в колледжах. Голова у меня варит, это мне все говорят, — все так же безэмоционально заметил он. — И может быть, мне стоило бы попробовать поступить куда-нибудь учиться, но, честно говоря, меня бросает в дрожь при мысли о том, что на это дело придется потратить несколько лет. Мне кажется, что это время можно считать выброшенным из карьеры.

В ответ на это я лишь констатировал:

— Четыре года — это четыре года, не больше и не меньше.

— Я вам вот что на это скажу: гонку за должности все начинают примерно в одном возрасте. Конкуренция очень высока, тебя могут затереть, даже если ты ничем не хуже, а то и лучше других.

Он посмотрел на меня с самым серьезным видом, и в этот момент я вновь обратил внимание на то, какие странные у него глаза. Зрачки в них были двумя крошечными черными точками, словно закопавшимися в радужную оболочку. При этом свет лампы в них практически не отражался. Два голубых кружка, два одинаковых пигментных мазка смотрели на меня в упор — непроницаемые и почти безжизненные.

Эти глаза были посажены близко друг к другу, словно пенсне, вжавшееся в переносицу с двух сторон. В фас он чем-то напоминал птицу, наверное, благодаря изогнутому крючку наподобие клюва — носу. Зубы у него были не слишком ровными, а между десной и верхними резцами виднелась четкая темная линия, отчего порой казалось, что у него во рту не свои зубы, а протезы.

— Вы не против, если я поинтересуюсь, каков род вашей деятельности? — спросил меня Холлингсворт.

— Признаюсь, что я писатель, но при одном условии — вы не будете спрашивать, какие мои книги были опубликованы.

Вновь послышалось уже знакомое мне ущербное хихиканье, которое, как и в прошлый раз, не затихло само по себе, а было прервано резко и довольно неожиданно. Чем-то мне это напомнило смех, которым разбавляют идущие по радио в записи юмористические программы. Впрочем, было в этом почти механическом звуке и что-то от рева толпы болельщиков на стадионе, от лязга работающего механизма и от какофонии автомобильных гудков на напряженном перекрестке.

— Надо же, как здорово, — сказал он и уточнил: — Я имею в виду вашу остроумную шутку. — Он хлебнул пива и, рыгнув прямо в банку, заметил: — Вы, значит, наверняка в книгах разбираетесь.

— Да, в некоторых.

Следующий вопрос моего собеседника прозвучал совсем уж провокационно:

— Может быть, вы посоветуете мне, что нужно читать. Я имею в виду, какие-нибудь книги на ваше усмотрение. Хорошие, конечно.

— А какие книги вы имеет в виду?

— Да вам, наверное, виднее.

На столе у Холлингворта я заметил несколько журналов и какую-то книгу. Движимый любопытством, я предложил:

— Если покажете мне, что вы сейчас читаете, я, может быть, смогу точнее подсказать, какие именно книги могут быть вам интересны.

— Уверен, что ваши советы будут мне очень полезны. — С видом пациента, подставляющего грудь под стетоскоп врача, он собрал всю печатную продукцию со стола и разложил это богатство передо мной на кровати. — Как видите, я уже и сам начал читать. Вот здесь сколько всего напечатано.

— Ну да, — сказал я, рассматривая книжку в мягком переплете, с обложки которой была аккуратно снята полиэтиленовая пленка. Книга оказалась антологией писем знаменитых людей. Под ней я обнаружил пачку бульварных журналов, учебник радиолобителя, несколько вестернов и кипу скопированных на ротапринтере страниц с распечатками уроков балльных танцев.

— Конечно, я понимаю, читать нужно не такие книги... наверное, совсем другие, — пробормотал Холлингсворт.

— Это почему?

В ответ я услышал лишь преувеличенно смущенное хихиканье. Пролистав на скорую руку журналы, я отложил всю эту «библиотеку» в сторону и вновь заинтересовался у Холлингворта:

— И все-таки, какого рода книги вам бы хотелось почитать?

— Ну... — Холлингсворт явно не решался мне в чем-то признаться. — Когда я служил в армии, у нас там полно всякой литературы было. Причем такой, которая мне нравилась. Знаете, есть такие книги, в которых всё, ну как бы сказать, по-настоящему, жизненно. Так, чтобы если история — то всё по правде.

Я наугад назвал ему один исторический роман, который был бестселлером все последние годы.

— Нет, я названия вообще плохо помню, но это были книги про людей, ну, про обычных американских парней и девчонок. Очень, очень жизненно. Читаешь и чувствуешь: вот оно, я ведь тоже так думаю.

Я назвал Холлингсворту несколько известнейших романов, написанных американскими писателями в период между двумя мировыми войнами. Судя по всему, мой собеседник удовлетворился полученным списком. При этом он записал всех упомянутых мною авторов и их произведения в маленький блокнотик, который извлек по этому поводу из кармана. Поставив последнюю точку, он спросил:

— Не знаете, где их можно взять?

— Наверное, кое-что из этого списка я могу дать вам почитать.

— Ой, неужели, это было бы просто замечательно. Вы меня премного обяжете. Правда, это так по-соседски... — Он сел в кресло, стоявшее рядом с письменным столом, и стал терзать стрелку на штанине.

— Там ведь... Там ведь всё по-настоящему, как в жизни, правда? Ну, я имею в виду... Ну, вы понимаете... Девчонки, которые, ну, скажем так, небольшого ума, и парни, которым только и нужно... Ну, которые своего не упустят. — Холлингсворт ухмыльнулся.

— Кое-что в этом духе вы там тоже найдете.

— Вообще-то, если честно, я иногда удивляюсь, как такое вообще печатают. Открываешь, бывает, книгу и думаешь: да кто же такое опубликовать разрешил? Сплошной атеизм, да и вообще богопротивные истории. Большевики, насколько мне известно, много всякого такого

написали.

— Какого — такого?

— Ну всякого, вы же сами понимаете. — Он взял очередную банку пива и протянул ее мне.

К этому времени я пришел к выводу, что собеседник изрядно утомил меня.

— Нет, спасибо, я, наверное, лучше пойду. Мне сегодня еще поработать нужно.

— А что вы у себя делаете, мастерите что-то?

— Я... нет. — Я вдруг понял, что Холлингсворт забыл, о чем мы с ним уже говорили. — Я ведь пишу.

— Ах, ну да, конечно. Да, эта работа — для умного человека.

Он проводил меня до порога и остановился в дверном проеме.

— Я ведь в Нью-Йорке уже два месяца, — сообщил он ни с того ни с сего, — и, верите или нет, до сих пор меня не заносило в знаменитые нехорошие районы. Я, конечно, понимаю, что Гарлем — это нечто особенное, туда лучше просто так не соваться. Хотя говорят, что в последнее время там из-за туристов и местным совсем житья не стало. Вы не знаете, это действительно так?

— Понятия не имею.

— Мир, конечно, большой, и в нем, наверное, еще очень много интересного и неизвестного нам.

— Да.

Неожиданно он посмотрел на меня искоса, как-то по-заговорщицки.

— У меня, между прочим, был кое-какой интересный опыт общения с той дамой, которая живет внизу. Я имею в виду нашу хозяйку, миссис Гиневру. Милейшая женщина. — Плотоядность и похоть, сочившиеся из обычно бесцветного голоса Холлингсворта, просто поразили меня.

— Да, я о ней кое-что слышал.

— Да уж... Занятная дама. Как говорят в подобных случаях, такое не забывается.

— Ну... — пробормотал я, отступая на пару шагов. — Ладно, пошел я к себе, мне еще сегодня работать.

— Прекрасно вас понимаю, — как обычно, бесцветно-вежливо поспешил согласиться он. — Человек должен работать, ничего не попишешь. — Отхлебнув пива из банки, он продолжил: — При случае как-нибудь обсудим кое-что из моего опыта, не возражаете?

— Да нет вроде бы.

— Я был очень, очень рад с вами побеседовать. — Отступив за порог комнаты, он уже почти из-за двери задал мне последний вопрос: — Вы ведь знакомы с Гиневрой? Я имею в виду: видели ее?

— Да.

— Очень колоритная женщина и при этом — весьма типичный нью-йоркский персонаж. По крайней мере, насколько я в этом разбираюсь.

В общем, я и не знал, что думать о Холлингсворте и как его оценивать.

Глава шестая

Если в то лето мне и было в Нью-Йорке страшно одиноко, то виноват в этом только я сам. Не скажу, что круг общения был у меня очень широк, но все же мне было к кому заглянуть в гости или где-нибудь повидаться. Тем не менее неделя шла за неделей, и я чувствовал, что знакомые один за другим переходят для меня в разряд бывших друзей-приятелей. Забираясь в чердачную келью Динсмора, я и собирался запереться и не появляться на людях до тех пор, пока не напишу что-нибудь стоящее или хотя бы значительное по объему. При этом я не осознавал, насколько это якобы волевое решение было следствием того, что я просто шел на поводу у собственных желаний. Сейчас я, наверное, уже и не смог бы сформулировать, зачем мне понадобилось рвать немногие и, кстати, не без труда установленные связи с окружающим миром.

Не видеть никого из знакомых — наверное, это в некотором роде перегиб. Да что там в некотором роде, это на самом деле действительно глупо. Чтобы спокойно писать роман, вовсе не обязательно запирается в монашеской келье и с мрачной тоской представлять себе, как провести несколько часов в компании пусть и не близкого друга, но хотя бы доброго приятеля. С другой стороны, наверное, хорошо, что я и не пытался заставлять себя вести активный образ жизни. Не думаю, что я был кому-то интересен в том состоянии, в котором пребывал тем летом. Порой я представлял себе возможную встречу с кем-нибудь из знакомых, и почему-то мне казалось, что ответной реакцией на мое странное состояние станут какие-то упреки, претензии, а то и оскорбления. Не раз и не два я мысленно представлял себе, как звоню кому-нибудь, как меня приглашают в гости, но с того момента, как я переступаю порог дома приятеля, мне становится понятно, что все это — большая ошибка. Разговор не ладится, я замыкаюсь в себе и думаю только о том, как бы поскорее уйти, соблюдая при этом хотя бы видимость приличий. Так, перебирая в памяти людей, знакомых мне по жизни в этом городе, я отбрасывал их одного за другим, мотивируя это тем, что одни, видите ли, мне неинтересны, а другим неинтересен я.

В пелене, покрывающей мое прошлое, есть несколько светлых пятен. Так, например, одно из воспоминаний возвращается ко мне вновь и вновь, и я почти уверен в том, что все это происходило со мной на самом деле. Скорее всего, дело было во время какого-то отпуска, который я заработал на службе в армии. Впрочем, это не так уж важно. В то время я был знаком с одной девушкой, она была влюблена в меня, а я, ничуть не менее сильно, в нее. Мы с нею провели неделю на каком-то морском курорте, где жили в домике, специально построенном для сдачи внаем таким туристам, как мы. За эту неделю я познал столько счастья и в то же время столько боли, сколько, как мне казалось, человеку не суждено изведать за целую жизнь. Любовь этой девушки была нелегким испытанием, прежде всего для нее самой. Ее чувства были спеленаты сотнями запретов и ограничений, рожденных ложно понимаемым чувством стыда и скромности. Она страшно стеснялась всего, что было связано с нашей близостью, и в первую очередь своего собственного тела. Более того, она могла показаться совершенно холодной и безразличной к мужчинам. Какое сочетание сложившихся обстоятельства и моего настроения могло привести к тому, что мы с этой девушкой оказались вместе, я ни тогда, ни сейчас не понимал, но в то время я боготворил эту женщину и был поглощен своим чувством полностью — настолько, что готов был распространить свое восхищение на все, что имело к моей возлюбленной хоть какое-то отношение. Комната, которую мы снимали, стала нашим дворцом, она просто преобразилась, когда в ней появилась моя девушка, а потом — преобразилась и она сама. Она научилась не бояться своего тела и любить его, после чего оставался лишь шаг до того, чтобы полюбить и меня как близкого мужчину. Мы готовы были часами лежать рядом

друг с другом, сияя от открывшегося нам нового знания и от впервые испытываемого подлинного блаженства. Я стал для нее первооткрывателем нового мира, и мне за это воздалось сторицей. Я видел свое отражение в ее горящих глазах. «Я и представить себе не могла, — шептала она мне, — что мужчина может быть таким пылким, страстным, заботливым и таким желанным». В общем, за ту неделю девушка просто расцвела, и я был страшно горд собой. Мы ни на минуту не расставались и ненасытно наслаждались этой близостью. Мы болтали, занимались любовью, ели бутерброды, которые она приносила прямо в комнату, и подолгу гуляли вдоль берега моря. Все это время мы жили под мрачной тенью войны. Как знать, может быть, именно это и придавало особую, пронзительную окраску нашему короткому счастью.

Да, я был счастлив рядом с нею, но это счастье омрачали волны стыда и робости, которые накатывали на меня всякий раз, когда мне оказывалось нужно поговорить с кем-нибудь еще, особенно с женщинами. Попросить официантку принести то или иное блюдо становилось для меня если не подвигом, то по крайней мере серьезным испытанием, а уж с хозяйкой пансионата я и вовсе не мог толком объясниться. Как-то раз в жаркий день нам захотелось холодной воды, и я попросил свою подругу, чтобы она сходила вниз к хозяйке и принесла воды в комнату. Сам я был просто бессилён заставить себя решиться на такой поступок.

— Ну, Майки, — сказала мне девушка (вполне возможно, что тогда меня звали как-то иначе, но я этого уже не помню, да и особого значения это не имеет), — Майки, сходил бы сам, тебе что, трудно, что ли? По-моему, ты придаешь слишком большое значение своим страхам и переживаниям.

Я, обливаясь потом, продолжал упорствовать и попытался объяснить подруге, что со мной происходит.

— Нет-нет, я не могу, — сказал я, — пожалуйста, сходи ты. Понимаешь, я просто не хочу говорить с нею.

В том споре я победил и одновременно — проиграл. Да, девушка принесла нам воды, но вскоре после этого мы расстались. У меня такое ощущение, что больше я ее никогда не видел. На прощание она прошептала мне несколько слов, не лишенных некоторой литературности: «Пойми, Майки, эта комната стала ловушкой для сердца». Несмотря на всю экстравагантность изречения, оно было не лишено смысла.

Это одно из немногих сохранившихся у меня воспоминаний, и я излагаю его для того, чтобы подыскать какую-то параллель с тем, что со мной происходило в то лето. По крайней мере, я могу сослаться на прецедент в своей прошлой жизни и, не слишком переживая, признаться в том, что стал все больше общаться с людьми, с которыми жил под одной крышей в новом для меня доме. Более того, я стал замечать, что эти люди превратились для меня в неотъемлемую часть жизни, я попросту не мог без них обходиться. В некотором роде я чувствовал себя псом на цепи, радиус которой описывал границу моего маленького мирка — того пространства, в котором я существовал, удовлетворяя немалую часть своих желаний и практически все потребности. Одно время я частенько вспоминал счастливую неделю с той девушкой, но, странное дело, ее светлый лик почему-то все время оказывался закрытым от моего внутреннего взора образом Гиневры — пусть и размытым, словно пойманным «не в фокусе». В общем, я не удивился самому себе, когда через несколько дней после разговора с Холлингсвортом у меня возникло непреодолимое желание прогуляться вниз по лестнице и позвонить в квартиру Гиневры.

Дело было в четвертом часу, и Гиневра как раз обедала. Она встретила меня на пороге с совершенно сразившим меня радушием.

— Ах, мистер Ловетт! Вы как раз тот человек, который мне сейчас нужен. Никому не обрадовалась бы так, как рада вам. Ну что же вы стоите, неужели не зайдете?

Я бы не взялся описывать в подробностях тот наряд, в котором она меня принимала. Попробую сформулировать мое представление об этом облачении коротко: на Гиневре было надето и наброшено столько всяких вещей, что ее можно было принять как за женщину, только что завтракавшую в постели, так и за даму, каким-то чудом оказавшуюся в этой полуподвальной квартирке после светского ужина.

— Я почему-то так и подумала, что вы в ближайшее время просто должны ко мне заглянуть, — сказала она, умело чередуя в голосе волны высокой и низкой частоты. — Я вот как раз пообедала, не выпьете ли вы со мной чашечку кофе?

— Что ж, не откажусь. Вообще-то я пришел по делу: у меня к вам есть предложение. — Я заранее продумал предлог для этого визита и не нашел ничего лучше, как вновь предложить Гиневре убираться у меня в комнате.

Мы прошли через холл на кухню. Раковина и плита здесь были завалены грудями немойтой посуды, — судя по разнообразию еды, скопилась она здесь как минимум за всю неделю. На кухонном столе возлежали остатки незаконченной трапезы: надкусанный бутерброд и нарезанный помидор, брызги сока которого украшали скатерть, и без того изрядно попорченную пятном пролитого на нее кофе.

— По делу, говорите, пришли? — запоздало переспросила меня Гиневра. Судя по ее тону, мои слова произвели на нее не слишком глубокое впечатление. — Вы уж извините за беспорядок, — продолжила она со стоном в голосе, — всё никак руки не доходят порядок здесь навести. Вот, садитесь, выпейте кофе. — Широкий рукав поддельного японского кимоно прошелся по столу, сметая часть хлебных крошек. Гиневра обернулась к раковине, разыскала среди грязных тарелок тряпку и звонко шлепнула ею об стол, чтобы стереть накопившуюся за много дней грязь хотя бы прямо передо мной.

— Монина! — заорала вдруг она во всю глотку. — Поздоровайся с мистером Ловеттом.

— Сдастье, миттер Лазет, — послышался в помещении писклявый голосок.

В закутке между холодильником и окном на высоком детском стульчике сидел ребенок — девочка невероятной красоты. Солнце играло на ее золотистых волосах и окутывало детское личико и ручки таким ярким сиянием, что в первый момент могло показаться, будто тело ребенка почти прозрачно. Одной ручкой девочка держала ложку и упорно старалась запихнуть себе в рот хотя бы немного овсяной каши. Задача оказалась весьма трудной, судя по потекам каши, украшавшим детские губы и пухлые щечки. В первый момент я умиленно подумал, что передо мной — спустившийся на землю ангел. Ангел усталый и немало озадаченный тем, как устроена наша земная жизнь.

— Ой, какая миленькая! — воскликнул я.

— Да, на вид она хоть куда, людям нравится, — согласилась со мной Гиневра. — И уверяю вас, эта маленькая стерва понимает, насколько она очаровательна.

Монина захихикала. На ее лице заиграла не по-детски плутоватая улыбка.

— А мама опять ругается. Стерва — нехадосее слово.

Гиневра вновь застонала.

— Нет, вы слышали? Этому ребенку палец в рот не клади. С нее где сядешь, там и слезешь.

— А сколько ей лет? — спросил я. По моим прикидкам, Монина была уже не в том возрасте, когда детей сажают на специальное высокое креслице.

— Ей три... С половиной... Ну, скоро четыре будет. — Словно угадав истинную причину, побудившую меня задать этот вопрос, Гиневра, ничуть не стесняясь присутствия дочери, пояснила мне: — Я хочу, чтобы она как можно дольше оставалась младенцем, ну или просто совсем маленьким ребенком. Не подумайте, я не сумасшедшая. Я все продумала и просчитала. Буквально через год-два я смогу отложить немного денег — как раз хватит на то, чтобы

перебраться в Голливуд, ну а там Монина будет моим главным козырем. Самое важное, чтобы она при этом выглядела как можно младше. Для детей лет пяти ролей и эпизодов в кино — раз-два и обчелся, а для младенцев, ну от года и чуть старше, просто пруд пруди. Только успевай принимать предложения. Вот мне и нужно, чтобы Монина подольше оставалась совсем маленькой. — Замолчав, Гиневра поднесла руку к лицу и почему-то аккуратно поцеловала какое-то место на коже чуть выше запястья. — Все изранено, — пожаловалась мне она, — часами натерла. Надо будет браслет по руке подогнать. Вот смотрите, — с этими словами Гиневра протянула мне руку, как на медосмотре. — Вот, потрогайте, только аккуратно, это ведь даже не рана, это язва, и притом очень болезненная.

Я разглядел на руке Гиневры небольшое покрасневшее пятнышко. Прикоснувшись к нему, я по ходу дела как бы невзначай провел пальцами по ее предплечью.

— Какая мягкая кожа, — пробормотал я.

— Да, кожа у меня действительно хорошая. — Закрыв глаза, Гиневра откинулась на спинку стула и на некоторое время так и застыла — с выражением удовольствия на лице от приятных тактильных ощущений.

Неожиданно она вырвала руку из моих ладоней с нарочито испуганным видом:

— Черт, совсем забыла.

— Что?

— Вы, главное, никому не рассказывайте!

— Что не рассказывать?

— Ну, не говорите нигде, что Монине уже три с половиной года. Это наш секрет. Обещаете, что не проболтаетесь?

Я пожал плечами:

— Ну да, обещаю.

— Есть у меня ощущение, что вы ко мне не просто так пришли, — сообщила мне Гиневра, губы которой при этом расплылись в плотоядной чувственной улыбке. — Вам ведь только волю дай, так вы и рады несчастной женщине жизнь разрушить.

— Монина больше не хочет кафы, — сообщила нам девочка.

— А ты заткнись и ешь! — заверещала Гиневра и подтвердила свое распоряжение угрозой: — Смотри у меня, вот я сейчас ремень возьму.

Получив таким образом требовавшуюся ей долю внимания, девочка на время затихла. Она как-то не по-детски, а скорее по-старушечьи вздохнула и прижала ложку к щеке.

— Господи, сколько же я из-за нее в жизни упустила и потеряла. Если бы не дочка, я бы сейчас знаете какие деньги зарабатывала... — Гиневра покачала головой и отхлебнула кофе из чашки. — Никому, никому нельзя доверять. Взять, например, меня: знали бы вы, сколько выгодных предложений — как по работе, так и личного плана — у меня было, и что мы имеем на сегодняшний день... Давайте, что ли, покурим.

Мы закурили и некоторое время просидели молча.

— Зачем вы собираетесь тащить ее в Голливуд? — поинтересовался я.

Гиневра вытаращила на меня глаза, а затем сказала низким бархатным голосом, словно лакированным самовлюбленностью:

— Эх, Ловетт, Ловетт... Да что вы понимаете в женской доле. Если бы вы знали, какие испытания выпадают на долю женщины и какие разочарования уготованы ей. Неужели вы думаете, что судьба домохозяйки, связавшейся с мужем-неудачником, это предел моих мечтаний? Может быть, так оно и было бы, не попробуй я другой жизни. Знали бы вы, как я жила!.. Триумф за триумфом, победа за победой, любовники, ночные клубы — вот счастливые были времена. Между прочим, я могла бы выйти замуж даже за одного махараджу,

представляете? А уж каким он был любовником... В общем, умел он свой прибор использовать, а уж калибром его природа не обделила... — Гиневра на пару секунд замолчала и, по всей видимости не рассчитывая на мою сообразительность, пояснила: — Я всегда это хозяйство так называю — прибором.

Я уже успел привыкнуть к ее манере разговора, по ходу которого Гиневра то взмывала в облака, по крайней мере эмоционально, то словно падала с небес на землю.

— Ну да, я понял, — кивнул я.

— Он умолял меня выйти за него замуж. Но я его отвергла. Хотите знать почему? Все просто: дело было в цвете его кожи. В общем, пока я решала, становиться ли мне махараджиней или же повременить, привыкая к кое-каким его странностям, поезд ушел. По правде говоря, хороший мне был урок: уверяю вас, довелось мне сейчас встретить другого ниггера с такими бабками, как у того махараджи, я бы своего не упустила. Поймите, Ловетт, мое состояние: я молодая женщина и при этом теряю свои лучшие годы сама не знаю на что. А ведь были времена, когда я крутила и вертела вами, мужиками, как хотела.

— Как же вы поедете в Голливуд? — Этим вопросом я попытался вернуть разговор на интересовавшую меня тему. — А ваш муж?

— Я уеду без него, пускай катится подальше. Да я за этого мудака только из жалости вышла. — Она обвела взглядом комнату, задержавшись на некоторое время на грязной посуде. — Я такая добрая... В этом корень всех моих неприятностей. Если бы вы увидели меня «при параде», одетой и накрашенной, то ни на секунду не усомнились бы в том, что от мужчин у меня отбоя не будет. Да стоит мне пальцем пошевелить, и вы к моим ногам косяками сползаться будете.

— Ой, пошевелите пальчиком ради меня, — глумливым тоном попросил ее я.

— Очень вам это нужно — со старухой связываться. Разве я вам пара. Мне ведь уже, страшно сказать, двадцать восемь. — Гиневра поводила пальцем по столу, словно рисуя какой-то узор на россыпи хлебных крошек. — Эх, если б я сказала вам, кто мой муж, вы бы, наверное, со стула свалились.

— Ну и кто же он?

Она заговорщицки улыбнулась:

— Ну да, так я вам все и скажу.

С улицы в комнату через открытое окно теплым ветром тянуло запахом листвы и дегтя. Мое тело вздрогнуло от неясного предчувствия. Где-то там, за стенами нашего дома, люди занимались любовью, и в вязкой летней жаре их тела покрывались потом. Эта влага, этот бальзам лета делал счастливым их существование в такой томный час. Забывшись, я уже протянул было руку, чтобы ласково прикоснуться к Гиневре.

— Ловетт, можно попросить вас об одном одолжении?

— О каком именно?

Она притворно доверчиво положила свою руку поверх моей ладони.

— Видите ли, я с большим удовольствием выпила бы сейчас рутбира^[2]. Давайте вы, как воспитанный юноша, сходите в магазин и принесете мне бутылочку, а заодно я отдам вам накопившиеся у меня пустые бутылки, чтобы вы их сдали.

— Я вам вроде бы не нанимался бутылки сдавать, — раздраженно ответил я, недовольный тем, как она разрушила мое благостное и даже романтическое настроение.

— Ах, бросьте! Ладно, давайте поступим так: сдадите бутылки, принесете мне рутбира, а я вам выдам за это пятак. — Деловую часть этого предложения она произнесла с трудом, явно преодолевая большое внутреннее сопротивление.

В ответ я только рассмеялся:

— Как вы думаете, сколько мне лет?

Гиневра покачала головой с самым серьезным видом.

— А что, по-моему, все честно, — рассудительно сказала она. — Вы идете по жаре в магазин и честно зарабатываете свое вознаграждение.

— Да не нужны мне ваши пять центов!

— Ну и что, принесите мне тогда пива просто так и сдайте все-таки бутылки.

Это был уже какой-то детский сад.

— Ну хорошо-хорошо, иду — Я взял протянутый мне четвертак и вышел из комнаты — прямо скажу, далеко не в лучшем настроении. Я был зол на себя за то, что согласился быть у нее на посылках. На кой черт сдалась мне эта сумасбродная, растолстевшая баба, практически похоронившая всю свою привлекательность под бесконечными стенаниями о своей тяжелой доле и похвальбами себе любимой. И все же я хотел ее. С моей точки зрения, нам с Гиневрой ничто не мешало время от времени уединяться в моей чердачной комнатушке и превратить это лето в цепь таких приятных свиданий.

Я купил две бутылки рутбира, большую карамельную конфету и поспешил домой.

— Вот, забирайте свой четвертак, — сказал я Гиневре с порога. — Все остальное — подарок.

— Ах, как это любезно с вашей стороны.

Она схватила протянутую монету — жадно, как неожиданно свалившееся на нее сокровище. — Видите, я, между прочим, ради вас переоделась.

Уж что-то, а это я заметил, как только перешагнул порог ее квартиры. Сердце мое учащенно забилося. На Гиневре была легкая блузка на бретельках и короткие бриджи. Ее пышное тело с трудом умещалось в таком небольшом количестве ткани.

— Говорите, для меня переоделись? Ну-ну.

Гиневра глупо расхохоталась:

— А что такого? Ну не могу я укутывать себя кучей одежек в такую жару. Не будь рядом людей, я бы вообще с удовольствием голой ходила. — Она замолчала, словно призадумавшись над тем, что только что произнесла. — Знаете, а ведь нудисты, похоже, не дураки. Что-то в этом есть.

Пока меня не было, Мониная успела спуститься с детского кресла и теперь ходила по комнате. Пару раз она открыто и бесхитростно пыталась поймать мой взгляд, а кроме того, я время от времени замечал, что она исподтишка рассматривает меня.

— Тятя Лафет касивый, — сообщила она матери.

— Это она о чем?

— Она говорит, что вы — дядя Ловетт — красивый, — рассмеялась Гиневра. — А знаете, Ловетт, она, наверное, не так уж и неправa.

Теперь и ребенок и мать уже вдвоем смотрели на меня в упор. Я, по правде сказать, чувствовал себя под этими взглядами не слишком уютно. А Мониная и вовсе стала меня раздражать. Мне даже показалось, что у девочки какие-то проблемы с развитием — слишком уж невнятно и примитивно даже для этого возраста излагала она свои мысли.

— А когда, кстати, у нее тихий час? — как бы невзначай поинтересовался я.

— Какой там тихий час, она вообще днем не спит. Я таких детей в своей жизни не видела. Точь-в-точь такой же режим, как у меня. Нет, честное слово, она и спать ложиться за полночь. Ну, может быть, не ежедневно, но через день это точно. — Гиневра сделала большой глоток рутбира и протянула бутылку Монине. Та, не то подражая маме, не то кривляясь и пародируя ее, запрокинула голову и поднесла бутылку к губам. К сожалению, хорошей координацией

движений девочка похвастаться не могла и, промахнувшись, расплескала часть напитка — по полу, по подбородку и по сорочке.

— Неряха! — завопила на нее мать.

Монина захихикала и вновь сообщила нам с Гиневрой:

— Тятя Лафет касивый.

— Слушайте, Гиневра, давайте посидим где-нибудь в другой комнате, — предложил я. — А Монина пусть поиграет, например, в спальне. — Монина, ты же хочешь поиграть в спальне?

— Нет!

— Она все время за мной ходит, — объяснила мне Гиневра. — Ни на шаг не отстает. Монина просто не может без меня. — Зевнув, она добавила: — Предлагаю перейти в гостиную.

Судя по всему, слово «гостиная» было своего рода паролем для переключения регистра ее настроения. Сменив непринужденный тон, которым она говорила со мной последние полчаса, на уморительно жалкие светские интонации, она, словно смилостивившись, сказала:

— Можете взять с собой это. — Для большей наглядности она комично царственным жестом показала на пепельницу. — Если считаете нужным, мистер Ловетт. — После фразы, произнесенной таким тоном, мы как минимум должны были оказаться в особняке, где вышколенные слуги подавали бы нам сигары и коньяк.

К моему немалому удивлению, гостиная Гиневры не произвела на меня отталкивающего впечатления. Мебель здесь была более чем скромной, но хозяйке каким-то чудом удалось создать в комнате такую атмосферу, которая обычно описывается как «бедненько, но с достоинством». Пружинная кровать была закрыта матрасом и темно-зеленым покрывалом и вполне могла сойти за диван. Стояли в комнате и несколько потертых кресел, судя по всему, не так давно заново перетянутых. Несколько мрачный — в коричневой гамме — ковер висел на одной из стен, оклеенной обоями цвета томатного соуса. Зеркал в комнате было, пожалуй, больше, чем требуется даже любящей поглазеть на себя хозяйке; потертые светильники лишь подчеркивали общую бедность обстановки. На каждом столике, полочке и просто на всех горизонтальных поверхностях были расставлены какие-то сувенирчики-безделушечки, которые, впрочем, и придавали комнате некое подобие цельности оформления. У меня возникло ощущение, что, как и все люди, которые вынуждены заниматься домом, хотя заслуживают, по своему собственному мнению, прижизненного памятника, Гиневра не часто заходила в эту обитель сравнительной чистоты и некоторого уюта.

Гиневра нервно походила по гостиной и наконец опустилась на один из стульев.

— Милая комната, — заметил я.

— Да, мне и самой нравится, — с удрученным видом кивнула Гиневра. — Признаюсь, пришлось повозиться. Эх, будь у меня побольше денег, я, наверное, сумела бы неплохо обставить и оформить всю квартиру. — На некоторое время она замолчала и, поддавшись накатившей волне уныния, осталась сидеть на стуле, глядя на ковер перед собой. — Господи, сколько же сил на все это было положено, — пробормотала она чуть слышно. Машинально она засунула руку в карман бриджей и зачем-то вывернула его наизнанку. — Вот только... Не ценит он всего этого, не ценит. — Она откинулась на спинку стула, и ее бюст тяжело колыхнулся, слегка прикрытый тканью блузки. Пальцы Гиневры тем временем машинально ощупывали жировую складку, опоясывающую ее тело по линии талии.

Гиневра продолжала сидеть молча и даже словно задремала, но ее внутреннее беспокойство явно передалось девочке, беспорядочно перемещавшейся по комнате. Я стал наблюдать за Мониной. Она остановилась перед одним из зеркал и, внимательно оглядев свое отражение, вдруг поцеловала собственное запястье, увлеченно копируя при этом самовлюбленный взгляд и выражение лица, которое она подсмотрела у своей матери. «Пепеница, — прошептала она, —

возьмите пепеницу». При этом маленькая девочка грациозно взмахивала руками, наклоняла голову и так увлеченно разыгрывала пантомиму приглашения перейти в гостиную, что в какой-то момент, довольная увиденным в зеркале, сама рассмеялась над собственной серьезностью. Отойдя в сторону, она остановилась у одного из невысоких столиков, на котором выстроилась целая вереница каких-то фарфоровых фигурок и сувенирной посуды. Взгляд Монины задержался на маленькой сувенирной чашечке. Внимательно изучив орнамент, которым был украшен край чашки, она вдруг забормотала: «Мама, Мониная, мама, Мониная». На лице ребенка заиграла улыбка, Мониная подошла ко мне и, как заклинание, повторила несколько раз эту пару созвучных слов. Только теперь я разглядел, что на чашечке, которую она держала в руках, были запечатлены в качестве основного декоративного элемента два купидончика.

Гиневра вздрогнула и села на стуле прямо.

— Мониная, убери руки от чашки! — прикрикнула она на дочку и слишком поздно поняла, насколько двусмысленной для простодушного и в то же время смышленного ребенка была эта команда. Какой смысл должна была вложить Мониная в слова матери?

Мониная, естественно, выбрала буквальный вариант и, «убрав руки от чашки», уронила ее на пол.

— Ах ты, маленькая стерва! — заорала на дочку Гиневра. — А ну марш в спальню!

— Нет, — застонала Мониная.

— Вставай в угол!

— Нет.

Гиневра с грозным видом поднялась со стула.

— Я сейчас ремень возьму! — крикнула она.

Мониная недовольно поджала губы и не по-детски озлобленно посмотрела на мать.

— Ну ладно, — согласилась она в конце концов и стала медленно, с явной неохотой пятиться к двери. Уже на пороге она задержалась и со сравнительно безопасного расстояния в полный голос предала маму анафеме:

— Мама — дура, мама — дура.

— Я сейчас ремень принесу!

Мониная исчезла за дверью.

Гиневра простонала:

— Нет, этот ребенок с ума меня сведет. — Закрыв глаза, она вдруг рассмеялась, да так, что ее живот столь же весело заходил ходуном. — Умереть не встать. — Через пару секунд она наклонилась и стала собирать осколки фарфора с пола. При этом она находилась буквально в ярде от меня, в такой позе, что не пялиться на ее грудь было попросту невозможно. Гиневра тем временем хихикала, явно не слишком огорченная поведением дочери.

— Ох уж мне эта девчонка, — бормотала она себе под нос.

Она посмотрела вверх — на меня, и на ее губах заиграла двусмысленная улыбка.

— Ну что ж, Ловетт, вот мы и остались одни, — сказала она.

— Да, я добился своего, — подчеркнуто медленно произнес я.

— Ах, проказник.

Она сложила осколки фарфора в пепельницу, стоявшую рядом со мной, и вернулась на свое место. На этот раз она уселась, расставив довольно широко ноги и подперев сложенными крест-накрест руками пышную грудь. Промычав что-то невразумительное, но явно довольным тоном, она стала медленно тереться голыми плечами о ткань на спинке стула, словно массируя кожу. Судя по выражению ее лица, этот процесс доставлял ей немалое удовольствие.

— Никогда не чесались спиной о бархат?

— Да как-то не приходилось, — хрипло ответил я.

— Ой, а мне так нравится. — И Гиневра снова не то застонала, не то замурлыкала от удовольствия. — Какая жалость, что это не бархат. Хлопок, он и есть хлопок. Приятно, но все-таки немного царапает. — Она довольно зевнула. — Я вот что скажу, Ловетт... Сама не знаю, с чего это на меня нашло. Раньше я никогда никому об этом не рассказывала. В общем, признаюсь вам, что, оставаясь одна, я люблю раздеться догола и повалиться на бархатном покрывале.

Что это было — признание в тайном пороке или просто намек, нацеленный на то, чтобы обострить ситуацию, в которой мы с ней оказались?

— Занятно, — пробормотал я, просто для того, чтобы выиграть время. На самом деле я не знал, что сказать и как вести себя в этот момент.

— Да, были в моей жизни времена и получше, — сообщила мне Гиневра. — Страсть и ярость.

Я встал с кресла и подошел к ней. Мой поцелуй она пробовала на вкус несколько секунд, а затем оттолкнула меня и, удовлетворенно выдохнув, с улыбкой на лице сказала:

— А ничего, мне понравилось.

Я потянулся к ней, но она перехватила мою руку.

— Э нет, на сегодня хватит.

Во мне к тому времени проснулись все звериные инстинкты: как бык на корриде, который, озверев от ярости, почувствовал, что его рога вонзились в незащитный бок лошади, я забыл обо всем и чувствовал, что мне в жизни нужно только одно — бодать, бодать, поднимать на рога и втапывать противника в землю. Мои руки словно сами собой оказывались то здесь, то там — на самых соблазнительных и пышных частях ее тела.

— Ишь ты... — сказала Гиневра, уже гораздо сильнее отталкивая меня прочь от себя, при этом она в ту же секунду сумела встать на ноги.

Так мы и стояли лицом к лицу, а я при этом обнимал ее за талию.

— Это еще что такое творится! — напустилась она на меня в притворном, сдобренном удовольствием гневом. — Нет мне спасения от вас, мужиков.

— От меня точно не будет, — пробубнил я.

Она тяжело вздохнула и сделала шаг назад.

— Уверю вас, молодой человек, мужчин у меня было более чем достаточно, и близкая встреча со мной ни для кого из них не проходила безнаказанно и безболезненно. Все они как один поголовно влюблялись в меня. Есть, наверное, во мне что-то такое, особенное, буквально на химическом уровне проявляется. — Она огляделась и вновь пристально посмотрела на меня: — Знаете, Ловетт, а вы ничего, молодой, симпатичный... Я бы вполне могла вами увлечься и даже пуститься в небольшое любовное приключение, но больше я в такие игрушки не играю. Сама не знаю почему. По крайней мере, муж здесь точно ни при чем, но как-то так я сама для себя решила, что больше — ни-ни. — Эти слова она произнесла с явной внутренней гордостью за себя. — Сами посудите, взять, например, вас и меня, ну могли бы мы с вами закрутить что-то вроде романа, но скажите на милость, мне-то какая от этого польза? Нет-нет, вы мне скажите.

— Да откуда я знаю, к черту всякую пользу.

С этими словами я подался вперед и снова припал к Гиневре с поцелуем. Она неохотно прикрыла глаза и вдруг прижала свои губы к моим. Двигались они так, словно Гиневра с упоением сосала карамель.

— А я видела, что мама делает. Видела, что мама делает.

Монина стояла в дверном проеме и осуждающе тыкала в нашу сторону пальчиком.

К моему удивлению, Гиневра передразнила дочку.

— Что мама делает, — комично имитируя интонацию и произношение Монины, повторила

она. — А вот я сейчас ремень возьму. Ну-ка марш в кровать.

— Мама плохая, мама дура!

Какие чувства обуревали в тот момент ребенка, мне оставалось только догадываться. Мониная дрожала, а в ее глазах стояли слезы. Отчего она плачет, подумал я. От боли, ревности или же бессильной ярости? Неожиданно Мониная стала кокетничать со мной.

— Поцелуй Монину, теперь поцелуй Монину, — потребовала она от меня.

Гиневра слегка шлепнула дочку по попе.

— Иди спать, а то я ремень принесу.

Заклинание с упоминанием ремня, похоже, подействовало. Девочка вновь, как и в прошлый раз, без большой охоты, но все же послушалась маму и вышла за дверь.

— Видите, что вы наделали, — заворчала на меня Гиневра. — Я из-за вас с собственным ребенком поссорилась. Вот подождите, она мне еще это припомнит.

— Извините.

— Толку-то мне от ваших извинений, — не унималась Гиневра. — Как же я от вас, мужиков, устала. — Она отвернулась, закурила сигарету и вдруг засмеялась. — Хочешь, значит? — огорошила она меня прямой постановки вопроса. — Хочешь ведь потрогать мою грудь? Ну давай, трогай, лапай.

С этими словами она взяла мою руку в свои и положила себе на грудь. Я снова поцеловал ее, и Гиневра медленно, явно с неохотой, подняла руку, в которой держала сигарету, и обняла меня.

Я бы не сказал, что она была бесстрастна и безответна. Наш поцелуй продолжался, наверное, больше минуты, а мои руки все более активно и суетливо-жадно плясали по ее телу. К тому моменту как наши губы разомкнулись, ее дыхание стало таким же неровным, как и мое.

— Ну все, хватит, — пробормотала она.

— Перестань, давай, давай. — Ничто на свете не могло остановить меня в тот миг. — Ну давай же.

— Нет, нельзя.

— Давай прямо здесь.

— Ну пойми ты, — прошептала она, — тут ведь ребенок рядом. Совсем с ума сошел?

Сбить меня с взятого курса было не так-то просто.

— Пойдем в мою комнату.

— Ну я прямо даже не знаю.

— Пойдем, говорю тебе.

Неожиданно она вдруг ущипнула меня и согласилась.

— Хорошо, приду.

— Обещаешь?

— Я же сказала, сейчас я к тебе поднимусь. —

Ее голос все больше походил на стон. — Господи, вечно я из-за вас, мужиков, во что-то впутываюсь.

— Точно придешь?

— Да. приду, я же сказала, поднимусь через десять минут. А ты пока иди к себе. Я постараюсь уложить Монину спать.

Измученный, истерзанный, опьяненный похотью, я поковылял в свою комнату.

Глава седьмая

Гиневра так и не пришла.

Я был вне себя от ярости. После того как мы расстались, я, наверное, целый час пролежал на своем топчане, поджариваясь, как в духовке, под раскаленной солнцем крышей и глядя в стену перед собой. Послеобеденная жара окончательно вогнала меня в ступор. Я попытался было почитать и даже подумал о том, не сесть ли за работу, но вскоре понял, что толку от этого не будет. В конце концов я решил просто выйти из дома и прогуляться.

Я пробродил по улицам несколько часов и в результате забрел в порт, где еще долго сидел на пустынной набережной, бросая камешки в покрытую маслянистой пленкой воду, плескавшуюся о портовые сваи. Стало смеркаться, и в окнах небоскребов, стоявших по другую сторону пролива, как в зеркалах, отразилось красное предзакатное солнце. Привычно похолостячки поужинав в столовой, я вернулся домой и сел за письменный стол в надежде поработать.

Ничего толкового я в тот вечер не написал. Промучившись несколько часов, я снова вышел из дома и отправился гулять по темным улицам. Пребывая в отнюдь не веселом настроении, я мысленно принимал решение за решением. Так, я, например, решил, что работаю недостаточно много и эффективно. Из этого следовало, что мне необходимо пересмотреть режим дня и расписание работы. Я решил, что буду вставать с утра пораньше и работать до самого вечера — день за днем. Гиневру я твердо решил выбросить из головы. Не хочет — не надо. Пока сама не позовет, я к ней и не сунусь.

И все-таки есть даже в самых извращенных желаниях некое здоровое зерно. В какой-то момент я вдруг понял, что, взойдя на ложе из обид и злости, я все же почувствовал где-то там далеко внизу горошину облегчения от того факта, что Гиневра не сдержала слово и не пришла ко мне. Я вдруг представил себе такую картину: мы с Гиневрой одни в моей комнате, дверь заперта, моя голова лежит на пышной груди Гиневры, теплый летний воздух ласкает наши обнаженные тела. Мы счастливы и довольны жизнью. Нам хорошо, мы в безопасности. Вдруг — стук в дверь. Мы вздрагиваем, с ужасом смотрим друг на друга и пытаемся найти выход, хоть какой-нибудь путь к отступлению. Все бесполезно, дверь в комнате одна, а окно находится на высоте едва ли не сотни футов над землей. Мы замираем на месте и непроизвольно подтягиваем простыни к самому подбородку. На некоторое время за дверью устанавливается полная тишина. Затем мы с ужасом слышим, как кто-то вставляет ключ в замочную скважину и поворачивает его, раз-два. Мы в ужасе ждем, что будет дальше. Вот дверь открывается, и на пороге появляется незнакомый мне человек. Он не то хочет обвинить нас в чем-то, не то просто заносит руку для удара. Я закрываю глаза и утыкаюсь лицом в подушку.

Эту картину я нарисовал себе сам — не во сне, а в полном сознании. Не могу не признаться в том, что образ получился настолько живым и убедительным, что в какой-то момент я задрожал, а моя спина покрылась холодным потом. Лишь через несколько минут я пришел в себя настолько, что смог остановиться под очередным уличным фонарем и достать из кармана сигареты и спички.

Вернувшись домой, я взял со стола рукопись и перечитал все, что было мною написано за эти недели. В мой творческий замысел входило создание объемного прозаического произведения, герои которого состояли в одной многочисленной и очень могущественной организации. Описывать эту структуру более точно не входило в мои планы. Естественно, в центре повествования лежали судьбы людей, состоявших в этой организации. Главный герой и, разумеется, героиня никак не могли встретиться друг с другом, пока работали на этого

гигантского спрута. Лишь когда им — каждому своим путем и независимо от другого — удалось выйти из огромной структуры, они обрели способность любить, благодаря чему наконец поняли, что созданы друг для друга.

Раньше я боялся признаться себе в этом прямо, но, отложив роман на этот раз, понял, что придуманная мною история — это чушь собачья. Данное открытие на некоторое время повергло меня в уныние. Нет, некоторые куски из моего текста мне самому показались очень даже ничего. Но я прекрасно понимал, что сам замысел в целом излишне слащав и сентиментален, а главное — я никак не мог прочувствовать, куда в конце концов заведет меня этот еще не продуманный до конца сюжет. В общем, та ночь обернулась для меня форменным кошмаром. Наутро я решил отказаться от исполнения принятых накануне решений и взял непродолжительный тайм-аут: я не торопясь позавтракал, спокойно почитал газету, после чего решил еще на некоторое время отложить работу. Позже в тот день я написал пару страниц, но разорвал черновики сразу же по прочтении. Тем не менее я понимал, что вчерашние переживания в итоге пойдут мне на пользу: в голове моей бродили новые мысли, и оставалось только ждать, когда полученная эмоциональная встряска сработает как закваска, инициирующая брожение творчества. Следующие несколько дней я работал упорно и методично, несмотря на то, что настроение мое менялось резко и непредсказуемо — от восторга и воодушевления до глубокой депрессии. Не в силах подняться на сверкающую вершину я шаг за шагом вгрызался в чрево этой необъятной горы. Гиневру я вспоминал достаточно часто, но мои плотские желания в полной мере уравнивались чувством обиды и оскорбленного достоинства. В общем, эта патовая ситуация лишь помогла мне собраться с мыслями и углубиться в работу.

В конце концов белый флаг был выброшен, причем не мной. Как-то раз поутру я вернулся домой после завтрака и обнаружил под дверью записку. Мелким аккуратным почерком Гиневра написала мне следующее:

*Дорогой друг,
где же Вы пропадаете? Мне нужно сказать Вам кое-что важное. Загляните ко мне. Уверю Вас, нам есть о чем поговорить.
Г.*

Такое послание я не мог оставить без внимания. Переодевшись и причесавшись, я спустился на первый этаж.

Гиневра открыла мне дверь с робкой улыбкой на лице. «Здравствуйте», — сказала она. Голос ее был тих, а дыхание сбивчиво. Вид у нее был как у скромной, воспитанной девицы, встречающей на пороге своего первого возлюбленного: глазки потуплены, тело не то рвется навстречу любимому, не то норовит отшатнуться назад. В общем, в тот момент я бы не удивился, промурлыкай она мне что-то вроде: «Не знаю, как мне теперь смотреть вам в глаза».

Несколько секунд Гиневра старательно изображала пай-девочку, но, поняв, что я не поддаюсь на эту уловку, в мгновение ока сбросила с себя маску.

— Какого черта? Где вы пропадали? — напустилась она на меня.

— Наверху, у себя. Между прочим, ждал вас. Ждал трое суток. — По правде говоря, эту обвинительную речь я заготовил заранее.

На лице Гиневры промелькнуло выражение полной удовлетворенности своей персоной, и в следующую секунду она пустилась в объяснения, вскоре перешедшие в протесты и едва ли не обвинения.

— Знали бы вы, что за день у меня тогда выдался. Я столько нервов потратила... Как только

вы ушли, я стала укладывать Монику и вдруг поняла, что девочка заболела. Представляете себе, двух врачей вызывать пришлось. Обошлось мне это ни много ни мало в двадцать пять долларов. Про то, как я волновалась и переживала за дочку, я уж и не говорю. Сначала вы довели меня до ручки, — эти слова она произнесла едва ли не с нежностью в голосе, ни дать ни взять мамаша, журящая любимого, но непослушного сына, — а потом Моника со своими детскими болячками. В общем, вечером мужу пришлось искать для меня успокоительное.

— А что с Моникой случилось?

— Нервы, — вздохнула Гиневра. — Ладно, что на пороге-то стоять. Пойдемте на кухню, я как раз пила кофе.

Я покачал головой:

— С удовольствием выпил бы с вами кофе, но предлагаю перебраться с кухни в гостиную.

Предложение было принято. Гиневра вела себя как кошка: она вздрагивала и оборачивалась на каждый звук и ходила по комнате как будто бесцельно — то в одну, то в другую сторону, никак не решаясь занять какое-то одно место. Чуть спокойнее она стала, когда между нами наконец оказался довольно большой круглый стол, накрытый скатертью, на которую она поставила серебряный подносик с кофе. Наливала она его изящным, как ей, наверное, казалось, движением, манерно отставив мизинец руки, в которой она держала кофейник. При этом на ее лице то и дело мелькала задорная улыбка. Одета она была вновь в домашний халат, из-под которого неизбежно торчала какая-то бретелька. Некоторое время мы пили кофе молча, затем Гиневра, откинувшись на спинку стула, двусмысленно улыбнулась:

— Понимаешь... Майкл, ты не совсем правильно вел себя тогда. Повернись все иначе, и я сама бы пришла к тебе.

— Как я понимаю, мы окончательно перешли на «ты». Ну, раз уж я Майкл, то хотелось бы знать, как и к тебе обращаться.

— Ты же знаешь, что меня зовут Гиневра.

— Ну а если официально, по фамилии?

— Смит. Смит — это по мужу.

Звучало это более чем подозрительно, но мне ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Гиневра чуть подалась в мою сторону:

— Все объясню. Раньше меня звали Беверли Гиневра, но, выступая на сцене, я привыкла представляться перед публикой Гиневрой. Это имя практически стало моим псевдонимом, ну, знаешь, эти броские имена у артистов, Марго, например, или Зорина. Я, собственно говоря, ничего не имела против, это имя мне всегда нравилось. Оно какое-то особенное, не такое, как другие.

— Говоришь, ты на сцене выступала?

Гиневра кивнула мне с гордым видом.

— И в каких же спектаклях? — поинтересовался я.

— Это были эстрадные шоу — мой коронный жанр. Господи, сколько же у меня было поклонников!.. — С презрением посмотрев на собственное тело, она продолжила: — Я была тогда стройнее. Нет, конечно, костлявой вешалкой меня никогда нельзя было назвать. Легкая умеренная упитанность свойственна мне с юности. В общем, как говорится, есть за что подержаться. Тем не менее это не мешало людям считать меня стройной. Меня так обычно и объявляли: «А теперь представляем почтенной публике нашу почетную гостью — стройную сирену Гиневру». — Вздохнув, она машинально ласково погладила себя ладонью по руке. — Как же они все за мной бегали!.. Был у меня один случай... В общем, один старый чудак — ему уже тогда шестьдесят два было, — так он предлагал мне тысячу долларов за то, чтобы я переспала с ним.

В этот момент на пороге комнаты появилась Мони́на. Гиневра недовольно посмотрела на нее. Мне тоже стало как-то неуютно. Девочка была абсолютно голой.

— Вот, кстати, посмотри на Монину, — сказала мне Гиневра. — Видишь, как она сложена? Вот такой и я была, но, увы, выйдя замуж, я довольно скоро совсем перестала заботиться о фигуре.

Вдруг, словно очнувшись, она прикрикнула на дочь:

— Мони́на, немедленно оденься!

Мони́на же продолжала кокетничать с нами. Она подняла руки и игриво заложила их за голову.

Было в этом зрелище что-то противоестественное. Я не сразу понял, в чем тут дело. Чувство неловкости вызывало несоответствие между возрастом девочки, пропорциями ее тела и обводами фигуры. Опускание было такое, что передо мной не ребенок, а уменьшенная копия восемнадцатилетней девушки: округлые руки и ноги, изящные линии от плеч до талии и бедер... Образ дополняли светлые волосы и бледная, почти прозрачная кожа.

— Не хочу, — захныкала Мони́на.

— Я сейчас ремень возьму.

Мони́на вздохнула. Было видно, что постоянное упоминание ремня уже порядком надоело ей. Тем не менее она, судя по всему, решила, что угроза все же может реализоваться, и вышла из комнаты якобы для того, чтобы одеться. На самом же деле, я просто уверен в этом, она осталась подслушивать наш разговор из прихожей.

Гиневра налила мне вторую чашку кофе.

— Ловетт, мне вроде бы кто-то говорил, что ты писатель... — завела она разговор на другую тему.

— Этот кто-то, по всей видимости, ошибся.

Гиневра пропустила мои слова мимо ушей.

— Знаешь, я тут кое-что придумала. Вместе — ты и я — мы смогли бы заработать огромные деньги. Речь вот о чем: у меня есть сюжет, который потянет на миллион долларов, не меньше.

— Ну так сядь и напиши книгу.

— Нет, у меня не получится, я не умею писать так, как положено писателю. Мне просто терпения не хватит. Вот почему я и предлагаю тебе этот план: я рассказываю тебе весь сюжет, со всеми подробностями, ты это дело записываешь, обрабатываешь, а потом мы делим гонорар. Я клянусь, что дело того стоит. Иногда как подумаю, сколько сотен тысяч долларов может принести эта книга, аж оторопь берет. А ведь все это здесь, у меня в голове.

Я понял, что перебивать ее или пытаться остановить просто бесполезно.

— Нет, ты только послушай, сейчас я тебе все расскажу, хотя бы вкратце. Причем все это было на самом деле. Я, между прочим, уйму книг прочитала, и еще ни разу ничего подобного мне не попадалось. Сюжет разворачивается на протяжении многих лет, так что роман будет большим и со множеством героев и всяких подробностей. — Гиневра закрыла глаза и, подперев подбородок кулаком, изобразила на лице выражение глубокой задумчивости. — Я даже пыталась представить, кто из звезд мог бы сыграть главные роли в фильме, который будут снимать по сценарию, написанному на основе этого романа. Но я так понимаю, что там, в Голливуде, всё равно всё продюсеры решают. Нас с тобой, авторов книги, спрашивать никто не будет. Но это, в общем-то, уже не важно. Я как подумаю о том, какой успех будет иметь моя книга, а потом и фильм, так на душе легче становится.

Вот, значит, дело такое, — приступила она к пересказу истории. — Все происходит здесь, в этом городе, в штате Нью-Йорк. Главные герои — доктор, красивый элегантный мужчина с

усами, и его медсестра — блондинка, похожая на голливудскую кинозвезду. Затем к ним присоединяется еще одна героиня — женщина, которая становится подругой врача. Пусть она будет молодой брюнеткой — такую любая киноактриса сыграть сможет. — Гиневра прервалась для того, чтобы закурить сигарету. — Ну так вот, этот мужчина, ну который врач, он очень хороший человек, добрый и все такое, а с женщинами — просто душа. Он и как мужик хоть куда. Может быть, он даже обладатель лучшего во всем городе прибора. Только он сам, похоже, об этом не догадывается. Подружек у него пруд пруди, я имею в виду просто знакомых женщин. Почти все они с удовольствием познакомились бы с ним поближе, но этот парень — человек серьезный, и у него есть любимая женщина. Это та звезда, блондинка. Она тоже положительный персонаж. Всю жизнь, с юности много работала и так далее. Она, естественно, тоже любит его. Причем любит она по-настоящему, но не показывает виду. Ну, например, потому что гордая. И его не хочет ничем связывать. — Гиневра довольно вздохнула. — Ну вот, а потом появляется другая, та брюнетка. Она светская дамочка, ну просто фифа такая. Она приходит к врачу по какому-то поводу... Пусть это будет по женской части. Так вот он, как-то так получается, соблазняет ее прямо в своем кабинете, и у них завязывается роман. Неделя проходит за неделей, а наш доктор все увивается за своей новой подружкой. Он водит ее в ночные клубы, возит за город, проводит с ней все свое время. Он не в силах избавиться от этого наваждения. Это выше него. Однако он, на всякий случай, не отпускает с крючка и свою старую подружку, блондинку-медсестру. Иногда — гораздо реже, чем раньше, — они встречаются, и становится понятно, что у этих-то двоих настоящая любовь, а с той другой — просто страсть и похоть.

— Секундочку, — перебил я Гиневру, — если я правильно понял, по-настоящему он любит блондинку?

— Ну да, — не сбавляя темпа, ответила мне Гиневра и продолжила рассказ: — В это самое время в благородном семействе брюнетки начинается настоящий скандал. Ее родителям, видите ли, не нравится наш доктор. Он для них, оказывается, происхождения не вышел. Врач, действительно, из самой обыкновенной семьи, как, кстати, и медсестра. Впрочем, никакие родственники ничего не могут поделать с молодой и сумасбродной девицей.

Гиневра помолчала и следующую фразу произнесла как бы в сторону — как авторскую ремарку:

— Кое-что в этой истории я позаимствовала из своего жизненного опыта.

Стряхнув пепел с сигареты, она вновь взяла прежнюю ноту:

— Ну так вот, все это продолжается некоторое время, а потом наступает кульминация. Очередная ночь, проведенная доктором и брюнеткой вместе, заканчивается тем, что девушка оказывается беременной. Вот только надо же такому случиться, что за то время, пока об этом еще не стало известно, наш герой решает, что ему гораздо лучше с другой, с медсестрой-блондинкой, и они уже подумывают о том, чтобы пожениться. Когда светская дамочка-брюнетка понимает, что к чему, и признается доктору в том, что оказалась в положении, он призывает на помощь все свое очарование и красноречие и в конце концов убеждает девицу в том, что он ее не любит и что ей лучше всего согласиться на аборт — пока позволяет срок. И вот подходит момент одной из ключевых сцен всей книги: врач делает операцию по прерыванию беременности той женщине, с которой у него был жаркий и красивый роман. При этом медсестра, та женщина, которую он любит по-настоящему, assiste ему во время операции. Ах, какой шикарный эпизод мог бы получиться в фильме, если, конечно, такую сцену разрешили бы показывать в кино. Вы только представьте себе на экране: лицо врача, его руки, его голос. Он время от времени командует: «Сестра, скальпель. Сестра, зажим. Тампон» — и так далее. Действует он собранно и профессионально. Как-никак, не зря у него репутация отличного врача. Дело свое он знает.

Гиневра выдержала театральную паузу.

— Операция, увы, заканчивается неудачно. Больше у нее детей не будет. Но это еще полбеды. В какой-то момент врач делает ошибку, и наша светская девушка теряет способность не только иметь детей, но и вообще заниматься любовью. Представляешь себе, Майк? Красивая молодая женщина, на вид — просто загляденье, но по женской части у нее все так плохо, что ей о сексе подумать больно. Когда она это осознает, то, естественно, приходит в ярость. Она грозит сообщить обо всем в полицию, но тут на помощь доктору приходит медсестра. Она, добрая душа, убеждает возлюбленного в том, что тот теперь просто обязан жениться на девушке из высшего общества. Так он и поступает, несмотря на то что им теперь и в постель вместе незачем ложиться. В общем, живут они по-прежнему в том же городе, и доктор продолжает встречаться со своей блондинкой. Они по-прежнему любят друг друга, и это чувство сильнее, чем их сила воли, и они ничего не могут с собой поделать. В общем, все как тогда с брюнеткой, только теперь врач так же любит свою медсестру. Она, естественно, любит его еще больше. Вот только жена доктора, которая после всего того, что он с ней сделал, превратилась в редкостную стерву, опять начинает грозить ему, что настучит на него в полицию. Узнав об этом, медсестра собирает манатки и уезжает в Нью-Йорк. Ну а доктор остается жить с женой. Он работает, быстро богатеет и продолжает при первой же возможности ходить налево. В любовницах у него, наверное, полгорода. И все же его сердце принадлежит лишь одной женщине — той самой блондинке-медсестре. К сожалению, судьба складывается так, что они расстаются и не видятся долгие годы.

Выдержав очередную паузу, Гиневра поинтересовалась:

— Ну что, догадываешься, какой будет финал?

Впрочем, до финала дело дошло не так скоро. Гиневра продиралась к нему сквозь бесконечные нагромождения все новых и новых подробностей, и через какое-то время я даже потерял нить рассказа, продолжая слушать Гиневру вполуха. Затем мне и вовсе стало не до ее разглагольствований, потому что мое внимание переключилось на появившуюся на пороге гостиней Монику. Девочка тихонько открыла дверь и, сделав шаг в комнату, стала практически беззвучно танцевать. Она по-прежнему была голой, но успела раздобыть где-то круглую подставочку под бокал, которой она пользовалась как своего рода фиговым листком. Движения ее были просто невероятно взрослыми и чувственными для столь юного возраста. В какой-то момент я вдруг осознал, что ребенок почти неприкрыто пародирует движения тела взад-вперед, которые люди обычно осуществляют в мгновения физической близости. Она сделала еще пару шагов в глубь комнаты и на миг замерла, склонив голову набок, словно замороженная какой-то, слышимой ею одной музыкой. Затем, якобы очнувшись и зачем-то надув губки, она стала преувеличенно осторожно отступать обратно к дверям, всем своим видом изображая страх перед наказанием за такое поведение. Все происходившее в комнате представилось мне в виде какого-то чудовищного эстрадного номера: мать-рассказчица и дочь-танцовщица выступали вместе. Младшая беззвучно одной пантомимой комментировала и интерпретировала слова старшей. Рассказ Гиневры подходил к концу, а вместе с ним приближался к финалу и этот пугающий танец. Вот Моника уже шагнула к порогу и оперлась спиной о дверной косяк, продолжая чувственно поглаживать себя руками по бедрам. За все это время она ни разу не посмотрела на меня, но я прекрасно понимал, что танец исполнялся только ради меня. Хлопая светлыми ресничками, девочка строила глазки какой-то невидимой точке на противоположной стене комнаты. Гиневра же, не замечая ничего вокруг себя, все это время говорила, говорила и говорила:

— Они вновь встречаются в Нью-Йорке, недавно, буквально год назад. Я имею в виду доктора и медсестру. Ну вот, значит, жена доктора уже умерла, и — ура — они снова вместе,

врач и блондинка. Ну они, естественно, радуются жизни, пьют вино, занимаются любовью. Кажется, их счастьем не будет конца. Но оказывается, медсестра скрывает от врача кое-что очень важное: вскоре выясняется, что у нее родился ребенок — естественно, от него. Только родила она уже после того, как они расстались. Теперь она боится рассказать о ребенке своему возлюбленному, потому что считает, что он ей не поверит и будет думать, что ребенок не его. Доктор же, пребывающий в неведении, осознает, что нашел свое счастье, и предлагает блондинке выйти за него замуж. Она продолжает скрывать от него ребенка и в результате заходит в полный тупик, не зная, как поступить. Наконец, можете себе представить, она приходит к решению: раз уж она не может признаться врачу в том, что у нее есть ребенок, значит, нужно избавляться от самой причины таких сложностей. В общем, она убивает ребенка, да-да, своего собственного ребенка, и вскоре ее арестовывают. Доктора, кстати, тоже. Я, кажется, забыла сказать, что он оказывается замешан в убийстве. Медсестра приносит ему трупик, и он выписывает ложное медицинское заключение о причинах смерти. Ну а потом, уже в тюрьме — это будет последняя глава, — они встречаются еще раз. Один из надзирателей, хороший малый, организовывает им свидание. У них всего час. И вот там, за решеткой, они в последний раз в жизни занимаются любовью и понимают, что оно того стоит. Что ради этой встречи они были готовы на все и теперь ничто, даже смерть, не сможет разлучить их души.

В этот патетический момент рассказа Моница вдруг сорвалась с места и, как нагая нимфа, подбежала ко мне, остановилась на расстоянии вытянутой руки и гордо, но все же по-детски изображая порыв страсти, вознесла свой фиговый листок над головой. В таком положении она и замерла на несколько секунд — обнаженная, открытая моим взглядам и при этом торжествующая.

Она посмотрела прямо на меня — впервые за все это время, — словно только-только осознав, что я живой человек и действительно сижу в этой комнате.

В следующую секунду на ее лице отобразилось смятение, которое мгновенно переросло в ужас.

Ее губы искривились в совершенно детской гримасе страха, и девочка, сбросив с себя личину взрослой обольстительницы, заревела во весь голос. Не прошло и минуты, как у нее началась самая обыкновенная истерика.

Мы согрели Монине молока и уложили ее в постель. Гиневра села рядом с девочкой и стала гладить ее по голове. При этом она негромко мурлыкала какую-то колыбельную и, один за другим, фрагменты из разных баллад. Она была так поглощена собой и ребенком, что, похоже, вообще забыла о моем существовании. Я с удивлением обнаружил, что Гиневра, оказывается, может вести себя как самая обыкновенная мать. «Спи, спи, моя девочка, все будет хорошо. Мама тебя любит. Ты сейчас просто поспи», — ворковала она, наклонившись над дочерью. Более того, по щеке Гиневры скатилась слеза — готов поверить, что расплакалась она совершенно искренне и ни в коей мере не на публику. «Кроме тебя, у меня нет никого на этом свете», — прошептала Гиневра, и по тоске, которая отобразилась у нее на лице, я вдруг понял, что она действительно так думает и что помимо сочувствия к ребенку испытывает едва ли не такое же чувство жалости к самой себе.

Монина наконец успокоилась и вскоре уснула. Прижав пальцы к губам, мы на цыпочках вышли из комнаты, закрыли за собой дверь и отправились на кухню.

Я был просто потрясен увиденным. Как очевидец автомобильной аварии, я очень хотел поговорить о том, что произошло у меня на глазах, и высказать свою точку зрения. Гиневра, впрочем, не была расположена слушать мои рассуждения.

— Ну и ну, — вздыхала она. — Никогда не видела, чтобы она так себя вела.

Гиневра положила локти на стол и стала мять пальцами хлебные крошки. Что она увидела, что почувствовала в столь неожиданной выходке Монины, — говорить на эту тему она явно больше не собиралась. Старательно изображая спокойствие, если не безразличие, она сказала:

— Ну дает Монина. Вот и попробуй пойми эту девчонку.

В ту минуту, когда Монина начала плакать, Гиневра вела себя совсем не так. Она вскочила со стула, подхватила ребенка на руки и первым делом хорошенько шлепнула девочку по попе.

— И давно она это вытворяет? — завопила она на меня.

Я честно сказал, что Монина находится в комнате уже несколько минут, и Гиневра напустилась на меня со всей материнской яростью.

— Ах ты, сукин сын! — хрипло кричала она. — Почему ты мне ничего не сказал? Почему ничего не сделал? — Хлопнув себя ладонью по лбу, она воскликнула: — О господи, я просто с ума сойду!

Сцена эта была, прямо скажу, не слишком приятной. Монина хлюпала носом и хныкала, дрожа всем телом. А Гиневра тем временем потратила, наверное, больше минуты на поток оскорблений и обвинений в мой адрес. При этом эмоции в ней били через край. Я и предположить не мог, что она может так увлечься убеждением собеседника в том, что он мерзавец и негодяй. Чувствуя за собой некоторую вину — в конце концов, я действительно не остановил исполнявшую жутковатый танец Монину, — я стойко перенес этот выплеск материнских эмоций. Обиженный и униженный, я все же не считал себя вправе высказывать свои возражения и какие бы то ни было оправдания.

Наконец Гиневра взяла себя в руки и понесла ребенка в спальню. Сейчас — полчаса спустя — ничто не напоминало о той вспышке гнева.

— Знаешь, Ловетт, — сказала она мне, — растить ребенка — это просто кошмар какой-то.

Произнесла она это совершенно буднично и спокойно, как, наверное, сказала бы эти слова любая среднестатистическая домохозяйка. Со стороны даже могло показаться, что эта женщина пребывает в отличном настроении.

— Давайте-ка я еще кофе сварю, — предложила она.

— Нет-нет, спасибо, мне уже хватит.

— Неужели? А мне всегда мало. Я вообще могу кофе целыми днями пить.

Некоторое время мы продолжали болтать о том о сем. Впрочем, точнее будет сказать, что болтала Гиневра, а я слушал. Причем слушал не очень внимательно. Я рассеянно кивал головой, и Гиневра излагала мне историю за историей. Речь заходила то об одном мужчине из ее прошлого, то о другом. О подарках, которые она получала от своих любовников, и о бурной молодости, о счастливом шансе в жизни и о всякой прочей ерунде. Видимо, почувствовав, что все эти басни не слишком занимают меня, она перешла на тему, которая, по ее мнению, не могла не быть сосредотачивающим магнитом для внимания любого мужчины: речь зашла об описываемых с восторгом мужских достоинствах одного из ее бывших любовников.

— Вот так-то, Ловетт. Я могла бы стать женщиной твоей мечты. Ох, что я только не вытворяла!.. Все дозволено, никаких запретов. Но увы, времена меняются... Я тебе вот что скажу: чертовски жаль, что мы с тобой не познакомились ну хотя бы пару лет назад. Мы бы с тобой оказались в одной постели через два часа после знакомства. Да какие там два часа, через две минуты. А теперь... теперь все иначе. Я стала другой. Мне теперь о ребенке думать нужно, — поджав губы, строго сказала она.

— Ну да, конечно, — произвольно подхватил я ее мысль. — И к тому же теперь ты женщина религиозная.

Готов поклясться, что мои слова застали Гиневру врасплох. Секунду-другую она озадаченно смотрела на меня, а затем пожала плечами и без особой уверенности в голосе сказала:

— Ах, ты об этом. Ну да, конечно, я очень религиозна и набожна. — Судя по всему, вернуться к этой теме для Гиневры большого труда не составляло. Даже проколовшись, она мгновенно взяла себя в руки и вновь принялась толковать мне Священное Писание. — Да, кстати, между прочим, в лоно Церкви обратил меня муж. Уж кто-кто, а он действительно человек религиозный, верующий до мозга костей. — Наклонившись ко мне, она хихикнула: — Знаешь, я когда вспоминаю его, то мысленно называю собственного мужа не иначе как дьяконом. Познакомившись с ним, ты тотчас же с изумлением подумал бы о том, как я могла выйти замуж за такого человека. Что ж, объяснение здесь, наверное, одно: противоположности притягиваются друг к другу. Есть, похоже, зерно истины в этом утверждении.

— Отец Монины — он?

Гиневра кивнула — как-то неуверенно, словно сомневаясь, если не в ответе, то в словах, его поясняющих.

— Знаешь, Ловетт, я тебе кое-что скажу, только ты не удивляйся и не вздумай смеяться. Понимаешь, в то время у меня никаких романов, никаких встреч на стороне и в помине не было. Но при всем этом я готова поклясться в том, что эта девочка рождена не от моего мужа. Она совсем на него не похожа, ну просто ничего общего, зато девчонка — просто копия меня. А от моего мужа она не унаследовала ни единой черты во внешности, равно как и в характере. — Понизив голос, она наклонилась ко мне еще ближе и с видом человека, выдающего первому встречному какую-то сокровенную тайну, заявила: — Понимаешь, я ведь не католичка, но иногда мне в голову приходит мысль, что в их доктрине что-то есть. Сам понимаешь, я в первую очередь имею в виду догмат о Деве Марии. Нет-нет, я не собираюсь утверждать, что Монина появилась на свет в результате чудесного непорочного зачатия, которое в их религии уготовано Иисусу. Но мне иногда кажется, что в нашем с дочкой случае произошло нечто подобное. А что в этом такого? Науке ведь еще далеко не все известно в этом мире. Взять тех же врачей, они ведь все время делают какие-то открытия, так что кто знает. — При этом Гиневра машинально поглаживала себя ладонью по руке, а ее голубые глаза просто сверлили меня притворно-

невинным взглядом.

Мне оставалось лишь подлить масла в огонь:

— Да, чего только на свете не бывает...

— Вот и я так думаю. Причем бывают чудеса и неожиданности приятные, а бывают — не очень. Взять, например, наш дом. Здесь ведь тоже бог знает что творится. Мне бы, конечно, за всеми, кто здесь живет, присматривать нужно, но времени-то и без того ни на что не хватает. Вот и догадывайся, что там наверху творится.

— Господи, да что же там у нас такого может происходить?

В ответ Гиневра фыркнула:

— Ну не знаю, не знаю. В любом случае неприятностей бы не хотелось. Этот домик достался нам очень удачно, и я не хотела бы потерять столь надежный источник дохода. — Она не торопясь достала сигарету и с удовольствием сделала затяжку. — Я ведь, между прочим, совсем не знаю, что творится у вас там наверху. Комнаты у меня снимают трое холостяков, и кто знает, кого вы к себе по вечерам в гости водите. Наверняка и девочки бывают. И я уверена, что не самого благопристойного поведения.

— Да мы там каждый вечер оргии устраиваем.

Гиневра покачала головой.

— Слушай, Ловетт, ты же прекрасно понимаешь, что я не из-за тебя волнуюсь. Ты парень воспитанный и приличный, что, между прочим, не помешало тебе подкатить ко мне с весьма прозрачными намеками. Но это все ерунда. Меня куда больше беспокоят эти два шута гороховых. Маклеод вообще редкий чудак, а Холлингсворт пусть до поры до времени и не доставляет хлопот, но наверняка прячет пару крапленых тузов в рукаве. Сам знаешь, в тихом омуте... — Она замолчала и стала машинально накручивать рыжие локоны на палец. — Вот я, в общем, и подумала... Может, ты взял бы на себя труд присматривать за ними? Если вдруг что не так — шепни мне, а я уж подумаю, что дальше делать. — Эти слова она произнесла совершенно будничным тоном и, более того, договорив, так же буднично и тоскливо зевнула.

У меня сложилось впечатление, что записка под дверью и приглашение зайти поболтать — все это имело под собой одну простую цель, суть которой была только что для меня сформулирована.

— Другими словами, — сказал я, — ты хочешь, чтобы я шпионил за ними.

Гиневра пожала плечами:

— А что в этом такого? В конце концов, все всё время друг на друга доносят.

— Знаешь, я как-то не собирался брать на себя эту «почетную обязанность».

Гиневра попробовала зайти с другой стороны.

— Я просто прошу тебя держать меня в курсе насчет того, как вы там живете. Ничего «такого» мне от тебя не нужно. — Хитро улыбнувшись, она добавила: — Неужели ты сможешь отказать мне в таком маленьком одолжении?

— В таком — откажу.

Гиневра положила ладонь мне на руку и крепко сжала ее.

— А я думала, ты ради меня на все готов, — со вздохом сказала она. — Ну ладно, забудем об этом. Подумаешь, я останусь без средств к существованию, когда в один прекрасный день сюда явится полиция и выяснит, что у вас там творятся какие-то безобразия, и по решению суда мне запретят сдавать эти комнаты. Действительно, какое тебе до этого дело.

Я ухмыльнулся:

— Ты, между прочим, всегда можешь к нам подняться и даже заглянуть в гости.

— Да тяжело мне, очень уж я в последнее время растолстела.

— Брось, ты великолепна и неподражаема, — заявил я.

Я понятия не имею, что творилось в ее голове в эти секунды. Судя по глазам и задрожавшим губам, ее одолевали противоречивые мысли и чувства.

— Гнилой ты все-таки парень, Ловетт, — сказала она наконец. — С какой стати, по-твоему, я написала тебе эту записку?

— Наверное, для того, чтобы я стал стучать на твоего дружка Холлингсворта.

Гиневра вздрогнула и возмутилась:

— Что значит стучать? Почему ты все так по-дурацки понимаешь? Обо мне, например, много чего говорят, но я же не обижаюсь. — Она зло скомкала пустую пачку из-под моих сигарет и швырнула ее на пол. — Знаешь, что я тебе скажу... Между прочим, женщина не должна говорить этого мужчине, но мне наплевать. Так вот, записку я тебе оставила лишь потому, что хотела снова с тобой увидеться, более того, мысленно я уже решила, что нарушу все свои новые правила и... Ну в общем, я была готова уступить тебе. Мне захотелось быть с тобой.

— Я так и понял.

— Но теперь, увы, это невозможно. Что-то надломилось от твоих слов. Женщина ведь не бездушная машина. Все чувства, если они и были, куда-то ушли, и теперь я вижу в тебе не привлекательного молодого человека, а, ну я не знаю, калеку какого-нибудь, который совершенно безразличен мне как мужчина. — В последнюю фразу Гиневре удалось вложить немало презрения и злости.

— А я и есть калека, — услышал я словно издалека свой голос, в котором звучали как гнев, так и жалость к самому себе. — А на твоём месте я бы перестал играть в Мату Хари. У тебя ни мозгов, ни красоты не хватит, чтобы заставить мужчину плясать под твою дудку.

С таким же успехом я мог просто подойти и ударить ее по лицу. Прищурив глаза и с трудом удерживаясь от того, чтобы не закричать на меня, Гиневра выдохнула:

— Ловетт, пошел вон отсюда! Я приглашала тебя сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления. — Ее голос стал срываться, эмоции явно брали в ней верх. — Пошел вон, вон отсюда, сукин сын.

— Все, уже ушел. В следующий раз, когда приспичит, сама ко мне поднимешься.

— Вон отсюда! — заорала она на меня.

Я опять оказался в своей комнате — совершенно сбитый с толку и потерянный. Сидя на кровати, я вновь и вновь проигрывал в голове разговор с Гиневрой. По всему выходило, что поссорились мы с ней серьезно. А если так, то следовало признать, что затащить ее в постель мне еще некоторое время не удастся. И это несмотря на то, что мы сейчас сидим в этом раскаленном летним солнцем доме и каждый, пусть и по-своему, мучается от одиночества. Через несколько часов я в любом случае собирался спуститься вниз, выйти на улицу, прогуляться до столовой, поесть и снова вернуться сюда. К тому времени крыша будет просто плавиться под лучами солнца. Не зная, чем заняться до обеда, я отключился и вскоре на какое-то время увяз в болоте из отрывочных воспоминаний о своем прошлом.

Мне почти удалось вспомнить какое-то другое лето — когда я жил в гостинице, переоборудованной под госпиталь. Не в Париже ли это было? А год... Мне казалось, что все это произошло со мной в то лето, после победы. Вот и тогда я точно так же лежал на больничной койке, плаваясь и задыхаясь от жары. Я часами смотрел в потолок, не обращая внимания на то, что жизнь вокруг меня просто кипит. В то лето наши солдаты вкушали все прелести дешевого для нас черного рынка, не могли нарадоваться изобилию доступных женщин, и все, кто хотел, веселились от души. Кто-то и вовсе переезжал жить к местным красавицам, кто-то устанавливал деловые контакты на будущее. Все соревновались в том, скольких актрис и певичек им удастся совратить, а играя по вечерам в покер, ребята запросто ставили на кон наше официальное жалованье за полгода. Наши боевые машины застыли, и мы, влекомые потоками жаркого

летнего воздуха, кружились в каком-то замысловатом беспорядочном танце.

Я не принимал участия во всем этом. Судя по тому, что сохранилось в моей памяти, эти несколько месяцев я провел как парализованный. Нет-нет, насколько я помню, я не был лежачим больным. Я мог вставать, ходить и даже вполне смог бы уходить из госпиталя на часок-другой. Но при всем этом я лежал и ничего не делал. Насколько я помню, мне приносили газеты, я читал их, ел то, чем кормили нас повара, но больше не делал ровным счетом ничего. К манившему всех нас блошиному рынку я даже не подходил. Если не ошибаюсь, один месяц из тех, что я пролежал в том госпитале, я вообще провел на койке, ни разу не поднявшись.

Тем не менее, если память меня не обманывает, иногда я все же заставлял себя встряхнуться. Скорее всего, после ранения я постоянно носил повязку, закрывавшую едва ли не все лицо. Но и в таком виде я не боялся уходить из госпиталя и покорять Париж. Было бы настроение. Я припоминаю, что однажды я вроде бы неплохо оторвался в одном из баров на Пигаль. В тот вечер я потратил, наверное, не меньше пятидесяти долларов. Я помню, как вокруг меня орали наши солдаты. У меня такое ощущение, что, поднатужившись, я даже смогу вспомнить слова песни, которую исполняла местная шансонетка. Мне кажется, я прямо сейчас могу прикоснуться к телу той вялой и ленивой проститутки, которая долго почесывалась перед тем, как начать одеваться. Впрочем, как знать, может быть, все это лишь плод моих фантазий. И в то жаркое лето в Париже я ни разу не встал с госпитальной койки, парализованный не столько физически, сколько морально.

Я уверен, что немалую часть того времени провел, разглядывая собственную фотографию, сделанную не то в Англии, не то в Африке. Припоминаю, что я часами разглядывал это лицо, которое, по заверению врачей, они собирались мне восстановить «точь-в-точь как было», а может быть, и это мне тоже приснилось. Так ведь обычно бывает именно во сне: час за часом, день за днем я рассматривал ту фотографию, но сейчас, убей бог, не вспомню того лица, которое было на ней запечатлено. Вот и сейчас, лежа на кровати в своей келье, я не уверен в том, вспоминаю ли я ту потерянную фотографию или же вижу сон о тех детях, которые ждали нас на помойке, чтобы покопаться в наших мусорных мешках, о тех шлюхах, терпением которых мы зачастую злоупотребляли. О местных крестьянах, которых мы материли на чем свет стоит за то, что они не могли понять, чего мы от них хотим. Еще мне снится, что мы все всё время были пьяными. Ощущение такое, что еще немного — и в памяти все восстановится: и бесконечные отравления с неизбежными поносами, стертые, опухшие, гниющие ноги, надраенные сапоги и погибшие друзья. Машина войны наконец остановилась, но я дал сбой еще раньше. И теперь лежал на госпитальной койке в летнем Париже, который, вполне возможно, мне только привиделся во сне. Считать и разглядывать трещины на потолке можно и в любом другом городе мира. В те годы рушились империи, стирались с лица земли целые страны, но все это было где-то далеко, за горизонтом, за моим узким и близким горизонтом. Я словно участвовал в какой-то маленькой, камерной постановке, все действие которой происходит в четырех стенах. Единственным спецэффектом в этом действе должен был стать бог из машины, которому предназначалось перенести меня... Вот только знать бы куда.

И вот я лежал на другой кровати и, так же задыхаясь от жары, не то дремал, не то думал о чем-то. За окном на улице ходили люди, делались какие-то дела, начинался рабочий день. Я пообедал, вернулся домой, сел за стол, уже понимая, что вряд ли смогу продуктивно поработать. Мысли мои металась в полном беспорядке. Я брался за ручку и откладывал ее, а даже написав пару строк, немедленно зачеркивал написанное. Творческий кризис был налицо. Ближе к вечеру я понял, что мне нужно поговорить с Маклеодом.

Глава девятая

Он, как обычно, сидел на своем жестком стуле — спина прямая, нога на ногу, руки сложены на груди, — а его взгляд словно всверливался в меня прямо через стекло очков в серебряной оправе. Время от времени он машинально проводил пальцами по стрелке на брюках и кивал с таким видом, словно все, что я ему рассказываю, он уже слышал, причем не раз и не два.

Говорил же я ему о Гиневре, обо всем, что произошло между мною и ею, причем рассказывал все в подробностях. Маклеод слушал меня, то и дело улыбаясь, а время от времени и вовсе позволяя себе усмехнуться, что несколько отвлекало меня и даже сбивало с толку. Впрочем, до комментариев и уточняющих вопросов с его стороны дело дошло только один раз.

— Ну-ка, ну-ка, что это вы там упомянули про Свидетелей Иеговы? — спросил он.

Я пересказал ему фрагмент проповеди, которую прочитала мне Гиневра, и вспомнил кое-какие приведенные ею цитаты из Евангелия. Маклеод покачал головой:

— Она все это придумала.

— Не знаю, может быть.

— Уверяю вас. — Почесав подбородок, он пояснил: — Я все-таки ее уже достаточно давно знаю.

Честное слово, ни разу не слышал от нее не единого слова о религии, а уж тем более о иеговистах. Скорее всего, она недавно прочитала о них статью в каком-нибудь журнале и вот решила излить на вас свои новые знания.

— Подождите, а как же ее муж? — не соглашался я. — Гиневра говорила, что он человек верующий и набожный.

Маклеод снова усмехнулся.

— Ну, чего не знаю, того не знаю. Я, между прочим, за все время, что здесь живу, так с этим загадочным мужем и не познакомился, — лениво, словно преодолевая зевоту, сказал он.

Я продолжил рассказывать о своей встрече и ссоре с Гиневрой и вдруг почувствовал, что под спокойным бесстрастным взглядом Маклеода мне легче признаться в каких-то подробностях, которые в любой другой ситуации я предпочел бы опустить. В присутствии этого человека мне почему-то было легко говорить о самых интимных и даже неприятных для меня вещах. Он как-то располагал к тому, чтобы исповедоваться перед ним. Мне почему-то казалось, что, во-первых, он не обидится, а во-вторых — никогда не станет пользоваться моей слабостью и не припомнит мне впоследствии эти признания. Рассказывая о своих переживаниях, я понял, что запомнил всё до мельчайших подробностей, да с такой точностью, что и сам себе удивился.

Маклеод выслушал меня спокойно и сосредоточенно. Когда я замолчал, он прикусил губу чтобы не улыбнуться, снял очки, медленно, может быть, чуть излишне усердно протер их, затем вынул расческу и провел ею по волосам.

— Вот, значит, как, — негромко сказал он, и вдруг, совершенно неожиданно для меня, его затрясло от смеха. Не без труда взяв в себя в руки, он сбивчивым, неровным голосом поинтересовался: — Значит, после всего этого вам, как я понимаю, стало тяжело работать?

Похоже, этот вывод не на шутку рассмешил его. Глядя прямо на меня, он продолжал смеяться, прерываясь лишь ненадолго, чтобы сказать: «ну и женщина» или, например, «но вы тоже хороши, вот так дуэт у вас получился». Затем он вновь надел очки и посмотрел на меня через стекла.

— Номер исполняют Бледный призрак и Толстый призрак. — Эти слова он произнес тоном конферансье. — Вы лучше скажите мне, Ловетт, каков ваш прогноз: добьетесь вы от нее своего

или нет?

— Сдаюсь, не знаю, — признался я. — И если честно, то в данный момент мне на это глубоко наплевать.

— Ну, уверяю вас, надолго этой индифферентности не хватит. Более того, я уверен, что Гиневра перестанет на вас дуться и выйдет на контакт даже раньше, чем в вас снова проснутся интерес к ней и желание. Я серьезно. Шпион-то здесь ей все равно нужен.

Маклеод с нескрываемым удовольствием на лице сделал паузу, а затем с важным видом поднял палец, призывая меня к вниманию.

— Признайтесь, Ловетт, про этот наш с вами разговор вы ей доложите? Такой поворот событий неплохо закруглил бы всю композицию.

— Да с чего вы взяли...

Маклеод пожал плечами и с самым безразличным видом констатировал:

— В нашем мире все возможно, абсолютно все.

Я не стал заострять внимание на его словах, потому что в тот момент меня гораздо больше интересовало другое.

— Слушайте, вы сами что о ней думаете? — спросил я.

— Знаете, Ловетт, я, пожалуй, поделюсь с вами частицей своей мудрости, — неспешно, словно даже чуть нараспев, произнес он. — Постарайтесь дойти до всего сами. Есть в жизни то, чему с чужих слов не научишься. Не от всех болезней есть проверенное лекарство.

— Премного вам благодарен.

Маклеод довольно улыбнулся:

— Я могу дать вам один методический совет. Он поможет направить ваши научные изыскания в нужное русло. Так вот, если хотите разобраться в женщине, попробуйте представить себе, что за человек ее муж.

— Но ведь ни вы, ни я его никогда в жизни не видели.

— Ну и что, — сказал он. — В таком случае нужно создать его портрет, пусть хотя бы и мысленно. Получится у вас это — и сама Гиневра станет вам понятнее.

Я попытался вступить в эту игру.

— Скорее всего, он человек тихий и незаметный. Наверное, он полностью находится под каблуком у жены... — Что-то в этой картине меня не устраивало. — Но при этом он запросто может быть футов семи ростом. Этаким бугай с красной мордой, который, например, каждую ночь лупит ее плеткой.

Маклеод был явно доволен услышанным. Отсмеявшись, он даже сделал мне комплимент:

— А что, Ловетт, вы неплохо соображаете, да и с воображением у вас все в порядке. — Сложив вместе кончики пальцев обеих рук, он пояснил: — У меня, честно говоря, нарисовался похожий портрет. Я серьезно, наверняка этот человек робкий, застенчивый и при этом не сующийся в чужие дела. Вы можете находиться в шаге от него и не обратите на него внимания, но, оставшись наедине с женой, он становится другим человеком. Она не на шутку боится его.

— Но почему?

— Ну как почему? — Маклеод принялся размахивать руками, довольно убедительно и смешно изображая робкого человека в порыве ярости. — Да потому что он, оставшись один на один с собственной женой, запросто может убить ее.

Я даже не заметил, как и в какой именно момент настроение Маклеода резко изменилось. Буквально в следующую секунду он уже говорил со мной как обычно: неторопливо, с легкой иронией в голосе.

— Ну вот, до этого я и сам докопался. Но, признаюсь, мне этого мало. Давайте рассуждать дальше. Почему это незнакомый нам джентльмен решил жениться на ней? С какой стати ему

это понадобилось?

Я пожал плечами:

— Ну, наверное, он находит ее привлекательной.

— Глубокая мысль, точно подмечено. — Маклеод состроил недовольную гримасу. — Впрочем, судя по вашим словам, Гиневра смогла привлечь его к себе, а вы, — он подчеркнул интонацией обращение, — в свою очередь также пали жертвой этой привлекательности. Вот почему вы и находите это предположение в высшей степени логичным. — В своем педагогическом порыве Маклеод вновь замахал руками, как дирижер. — Остается только выяснить, как и чем люди привлекают друг друга. Наверное, все происходит благодаря тому, что они делают друг другу что-то приятное, не важно, идет ли речь о реальных поступках или же о чувствах и эмоциях, которые у них во многом совпадают. Знаете, Ловетт, мне ведь порой бывает нечем заняться. После работы я прихожу домой и читаю или же просто сижу и думаю. Одна из тем, над которой я нередко ломаю голову, это то, почему некий господин, фамилии которого никто, кстати, толком не знает, решает жениться. Да не просто жениться, а вступить в брак с нашей общей знакомой. Затем, женившись, он устанавливает в семье столь странные для посторонних отношения. В этом браке его как бы не существует. А она все больше начинает напоминать матку в пчелином улье. Вот давайте и подумаем, что за человек мог организовать свою жизнь таким образом.

— Понятия не имею.

— Мое мнение таково: этот человек, он почти мертв, его, собственно говоря, уже нет. Зачем же он решил жениться? Да все просто. От этой женщины исходит какое-то излучение, какая-то энергия, называйте это как хотите. Благодаря этому теплу он ощущает себя рядом с чем-то живым, он живет как замороженный и хочет иметь возможность прильнуть к телу живой, теплой женщины. В какой-то мере он воспринимает этот брак как эксперимент над самим собой. Вот такой он человек, как я думаю. Жаль только, что он не понял главного: эта женщина, она ведь тоже не живая, она, в свою очередь, тоже замороженная.

— Тогда почему она решила выйти замуж именно за него? — спросил я.

— Хороший вопрос, — вновь сложив руки перед собой, кивнул Маклеод. — Зачем ей это нужно? Так сразу и не поймешь. Ну, для начала можно предположить, что она хотела обрести какую-то уверенность, чувство безопасности в жизни. Материальные соображения также можно принять во внимание, какими бы малосущественными они вам, мой юный друг, не представлялись.

Он снова снял очки и посмотрел на меня чуть искоса, как мне показалось, осуждающе.

— Впрочем, в любом случае этими соображениями наша ситуация не исчерпывается. Рядом с материальным всегда есть что-то духовное и моральное. Так вот, возвращаясь к нашему мистеру Мужу Гиневры, могу достаточно уверенно заявить, что этот человек исповедует достаточно строгие моральные принципы. Он наверняка хотел покарать себя за что-то и потому женился на ней. Она же, в свою очередь, как мы можем предположить, хотела занять такое положение в жизни, при котором могла бы ощущать себя карающим мечом. Но, уверяю вас, это лишь подделка. — Судя по всему, Маклеод говорил уже не столько со мной, сколько с самим собой. — Я представляю его себе человеком, который видит эту женщину насквозь, но при этом — я имею в виду умение видеть ее насквозь — он кое на что смотрит сквозь пальцы. Смотрит и не смотрит, видит и не видит. Уверяю вас, вы даже не представляете себе, насколько это важно для нашей общей знакомой. С одной стороны, этот мужчина не дает ей сорваться с цепи и пуститься во все тяжкие, а с другой — время от времени ей удается обвести его вокруг пальца.

— Чует мое сердце, ей не по нраву человек, просчитывающий ее насквозь.

— Вы так думаете? Как знать, может быть, в чем-то вы и правы. Но ведь идеальных людей

не существует, и она наверняка с этим смирилась. А насчет того, что она его боится, — так это ей даже по-своему приятно. Она ведь всегда хотела, чтобы рядом был мужчина, который давал ей понять, что она всего лишь женщина — во всех смыслах этого слова.

— А она к вам никогда не подкатывала? — спросил я напрямик.

Маклеод поцокал языком и с ухмылкой на лице сказал:

— Ну а гипотезы и предположения на этот счет я предоставлю вам строить самому. Они останутся в вашей единоличной интеллектуальной собственности, и можете делать с ними все, что хотите. — Маклеод собрался было зевнуть, но сделать это ему не удалось. Наше внимание переключилось на не то шуршание, не то царапанье за дверью.

Очень странный звук. Я такого раньше никогда не слышал. Тихий, едва уловимый и в то же время прозвучавший весьма настойчиво — как будто его произвела не человеческая рука, а когтистая лапа какого-нибудь животного. Маклеод оглянулся, напрягся, и на его лице мгновенно отразилась максимальная сосредоточенность. Чего он мог ожидать, чего опасался и что представил себе в этот момент — мне оставалось только догадываться. Но, судя по всему, переволновался он не на шутку. По крайней мере, побледнел как полотно. Так и просидел неподвижно несколько показавшихся мне бесконечными секунд — до тех пор, пока за дверью кто-то снова не поскребся. Не без усилий он водрузил очки на переносицу, поправил их, а затем едва слышно прошептал:

— Это скорее всего Холлингсворт. — Собрав в кулак всю волю, он тем не менее не сразу решился на следующий шаг. Наконец он вновь сел прямо, расправил плечи и, придав лицу выражение покоя и даже некой расслабленности, совершенно будничным тоном произнес: — Входите.

Свидетельством тому, что Холлингсворт принял приглашение, стала неизменная вежливая улыбка, приклеенная к лицу, появившемуся в дверях. Он волчком проскочил в образовавшуюся щель и стремительно подошел к нам. Одет он был как обычно — опрятненько и скромненько: свежая рубашка, легкие отглаженные летние брюки и — в качестве допустимой вольности — черно-белые спортивные туфли.

— Приношу свои глубочайшие извинения за то, что побеспокоил вас, — сообщил он нам уже знакомым мне бесцветным голосом. — Я просто услышал голоса за дверью и подумал, что, быть может, вы позволите мне присоединиться к вашему разговору, который, несомненно, заинтересует меня вне зависимости от темы. — Сделав пол-оборота в мою сторону, он кивнул: — Как поживаете, мистер Ловетт? Рад вас снова видеть.

— Берите стул и садитесь, — сказал ему Маклеод.

Холлингсворт тщательно поддернул штанины и опустился на стул. После этого мы, наверное, с минуту выжидательно смотрели друг на друга, стараясь соблюдать хотя бы видимость вежливости в этой неуютной близости. Впрочем, Маклеод и на этот раз был исключением. Он в открытую пожирал глазами Холлингсворта.

Я же в тот момент мысленно гадал, в каком состоянии осталась комната Холлингсворта после того, как он вышел из нее на этот раз, был ли в ней тот же беспорядок, как тогда, когда я заглянул к нему на пиво, валялась ли на полу одежда, торчали ли из переполненных и незакрывающихся ящичков комода какие-то вещи. Я вполне мог представить себе, как мой сосед, собираясь выйти из комнаты, обводит ее взглядом на прощание и с удовлетворением отмечает, что все в полном порядке, несмотря на царящий в комнате бардак. Затем он закрывает за собой дверь, запирает ее на ключ, замирает на лестничной площадке и, услышав наши голоса, некоторое время пытается разобраться, о чем идет речь в соседней комнате, а затем, преодолев робость, подходит к двери Маклеода и даже не стучится, а скребется в нее.

Он прокашлялся, чуть подался вперед и, положив ладони на колени — таким образом,

чтобы наглаженные стрелки оказались не примятыми между пальцами, — обращаясь к нам обоим, без всяких предисловий предложил:

— Ребята, если вы не возражаете, я бы с удовольствием поговорил о политике.

Маклеод усмехнулся, но как-то неловко, словно не в полную силу.

— Думаете, мы сможем сделать эту область более понятной для вас за пару минут?

Холлингсворт, похоже, всерьез отнесся к этому вопросу.

— Трудно сказать, — заметил он. — Я уже обратил внимание, что разговоры о политике имеют тенденцию быть весьма продолжительными и, я бы сказал, изматывающими. Кроме того, человек в подобных разговорах раскрывается порой совершенно неожиданно. — Поняв, что мы не собираемся как-то комментировать его заявление, Холлингсворт продолжил: — Лично мне очень интересно побеседовать о большевиках. Я как-то слышал, как мистер Вильсон и мистер Курт обсуждали их у нас в офисе, и мне стало понятно, что моих знаний по этой теме явно недостаточно для того, чтобы поддерживать разговор на должном уровне. — Со скромностью, граничащей с бесцеремонностью, он переводил взгляд с меня на Маклеода и обратно и, вновь не дождавшись нашей реакции, добавил: — Я должен быть хорошо информирован в самых разных областях. Никогда не знаешь заранее, благодаря каким именно знаниям тебя, например, заметит начальство, а может быть, повысит по службе.

— А с чего вы взяли, что я об этом вообще что-нибудь знаю? — поинтересовался Маклеод.

Я обратил внимание на то, что кровь вновь начала приливать к его лицу, но окончательно бледность с него еще не спала. С самым невинным видом — ни дать ни взять несмышленный младенец — Холлингсворт вдруг заявил:

— Мистер Маклеод, а разве вы не большевик?

— Вы, наверное, хотели сказать «коммунист»?

Холлингсворт, похоже, был сбит с толку этим уточняющим вопросом.

— А разве это не одно и то же?

Маклеод демонстративно зевнул.

— Можете называть их яйцом и динозавром, — сказал он, загадочно улыбаясь.

— Как интересно вы это сформулировали, — сказал Холлингсворт, — так вы, значит, принадлежите и к тем и к другим?

Казалось, что Маклеод вот-вот просверлит взглядом дырку в лице Холлингсворта. Внешне оба были невозмутимы, но я готов был поклясться, что буквально физически ощущаю, как напряженно и стремительно работает мысль у каждого из моих собеседников.

— Да, я принадлежу и к тем и к другим, — сказал Маклеод, — само собой, я и большевик и коммунист.

По его лицу я бы не сказал, что он волнуется. Более того, Маклеоду удалось небрежно откинуться на спинку стула и изобразить всем телом полное спокойствие. Тем не менее я видел, что носок его ноги, скрытый от Холлингсворта углом стола, отбивает негромкую, но все более частую дробь по полу — ни дать ни взять предохранительный клапан, спускающий пар из перегретой, готовой взорваться машины.

— В таком случае вы, наверное, смогли бы ответить на несколько моих вопросов? — как всегда, предельно вежливо осведомился Холлингсворт.

— Вероятно, смог бы, — не стал отрицать Маклеод. — Только для начала позвольте мне задать вам вопрос, всего один. Почему вы все это затеяли так, я бы сказал, довольно неожиданно?

Холлингсворт выглядел весьма озадаченным. Скосив глаза почти к переносице, он подумал и, оставляя вопрос Маклеода практически без ответа, пожал плечами:

— Да я и сам не знаю. Вы просто говорите не так, как другие. Вот мне и стало интересно...

Он обвел взглядом комнату и продолжил: — И к тому же, помните, я как-то заходил к вам, и вы предложили мне договориться о дежурстве в ванной комнате. Да, кстати, приношу свои глубочайшие извинения за то, что по моей вине мы не смогли составить устраивающее нас всех расписание этих дежурств. Так вот, я еще тогда заметил, что у вас очень много книг. — С этими словами он вынул из кармана пиджака маленький блокнотик, пристроил его на колени и с видом художника, набрасывающего по ходу разговора портрет собеседника, стал в нем что-то записывать. — Значит, вы, скорее всего, еще и атеист? — все тем же вежливым голосом уточнил Холлингсворт.

— Да.

Карандаш усиленно задвигался по поверхности блокнота, сверкая гранями. Маклеод все с той же, уже неживой ухмылкой, словно вцементированной в его лицо, негромко произнес:

— Да, кстати, я ведь не просто атеист. В свое время я возглавлял кружок атеистов-подрывников. Вместе со своими товарищами я, признаюсь, взорвал несколько церквей и моленных домов.

— А еще вы, наверное, выступаете против свободного предпринимательства?

— Естественно.

Я опять не успел заметить, когда именно настроение Маклеода так резко изменилось: вроде бы он только что принимал, пусть и с некоторой неохотой, навязанную ему собеседником игру, а в следующую секунду, сменив тон на совершенно серьезный, он, словно подбадривая сам себя, перешел в активное контрнаступление.

— Я могу сказать, что являюсь убежденным противником свободного предпринимательства, потому что именно свободные предприниматели организуют на своем предприятии потогонную систему изматывающую сотрудников. Именно из-за свободного предпринимательства брат восстает на брата, а любовь к ближнему и вовсе переходит в разряд анахронизмов. Именно свободное предпринимательство создает и поддерживает противоречия, раздирающие классовое общество. На это зло нужно отвечать только злом. Насилием на насилие. Эту отраву можно лечить только другой отравой. Необходима мощная террористическая кампания, в результате которой рычаги власти будут вырваны из рук буржуазии. Президент должен быть убит, конгрессмены — отправлены за решетку. Госдепартамент и Уолл-стрит подлежат ликвидации, библиотеки необходимо сжечь, а от наших южных штатов — подлинного рассадника всей гнилой заразы — нужно камня на камне не оставить. Исключение будет сделано, разумеется, для негров.

Выдав эту тираду, Маклеод замолчал и достал себе сигарету из пачки. Первая спичка в его руках сломалась, и он смог закурить лишь со второй попытки. При этом обе ладони он сложил лодочкой, словно придерживая одну руку другой, — по всей видимости, не желая, чтобы окружающие заметили, как он волнуется.

— Еще вопросы будут? — спросил он.

Холлингсворт почесал в затылке.

— Даже не знаю, вы дали мне столько пищи для размышлений. Все это весьма и весьма интересно.

Он осторожно, каким-то заботливым движением, убрал со лба завивающуюся прядь волос и вдруг заговорил совсем другим тоном:

— Да, кстати, вот о чем еще можно было бы вас спросить: чувствуете ли вы себя человеком, который связан присягой не со звездно-полосатым флагом нашей родины, а с какой-то другой страной?

Маклеод, можно было подумать, вовсе не собирался шутить или иронизировать на эту

тему.

— Должен признать, что вы в своем вопросе предельно точно сформулировали мою внутреннюю позицию. — Произнеся эти слова, он с любопытством разглядывал собственные руки, словно увидел в их форме что-то новое и необычное. Через некоторое время он поднял взгляд на Холлингворта: — Могу ли я после этого считать нашу политическую дискуссию законченной?

Холлингсворт кивнул:

— Должен заметить, что над ответами вы особо не задумывались. Ощущение такое, что они у вас были заготовлены заранее.

— Так и есть, — сказал Маклеод, — я давно готовил их. Последние года четыре.

— Премного благодарен вам за участие, с которым вы откликнулись на мою просьбу.

Маклеод наклонился в его сторону и почти дружески поинтересовался:

— Так что, интересно на Уолл-стрит работать?

— Да, очень. Я думаю, что эта работа сможет в какой-то мере компенсировать отсутствие у меня высшего образования.

Подсознательно пародируя Холлингворта, Маклеод произнес следующую фразу практически тоном своего собеседника:

— Да, пожалуй, можно и так сказать.

Вдруг, совершенно неожиданным и резким движением он выбросил вперед руку и схватил блокнотик, лежавший у Холлингворта на коленях.

— Не возражаете, если я поинтересуюсь, что вы тут понаписали? — спросил он.

Выяснилось, что Холлингсворт очень даже возражал против такой бесцеремонности. Он вскочил со стула и исполнил весь ритуал, положенный в таких случаях: сначала попытался выхватить свой блокнот из рук Маклеода, а затем протестующе замахал руками. Наконец он замер и, медленно облизав губы, сказал, обращаясь ко мне, судя по голосу, преисполненный осознания собственной правоты:

— Вы не находите, что человек не должен вести себя таким образом по отношению к окружающим?

Я в тот момент наблюдал за Маклеодом, который вновь сел на стул и углубился в изучение записей Холлингворта. Время от времени он явно обнаруживал что-то занятное, что вызывало у него улыбку и даже смех. Внезапно он протянул блокнот мне, и я с бешено колотящимся сердцем прочитал то, что Холлингсворт успел записать по ходу нашего разговора. Выяснилось, что он умудрился составить целый список:

Признается в том, что большевик.

Признается в том, что коммунист.

Признается в том, что атеист.

Признается в том, что взрывал церкви.

Признается в том, что выступает против свободного предпринимательства.

Признается в том, что выступает за насильственные методы ведения политической борьбы.

Выступает за убийство президента и членов Конгресса.

Выступает за уничтожение южных штатов.

Выступает за использование ядов.

Выступает за восстание цветного населения.

Признается в лояльности к иностранному государству.

Против Уолл-стрит.

Я молча протянул блокнот обратно Маклеоду. Тот спокойно, без тени иронии заметил Холлингсворту:

— В ваш список вкралась одна ошибка. Я никогда не выступал за использование ядов в политической борьбе.

Холлингсворт к этому времени успел прийти в себя. Все так же внешне робко, но с уверенностью в собственной правоте он покачал головой:

— Прощу меня извинить, я, конечно, очень не люблю спорить с кем бы то ни было, но вы это говорили, я сам слышал.

Маклеод только пожал плечами:

— Ладно, хорошо, можете не вычеркивать. — Сделав глубокую затяжку и неспешно выпустив дым, он вновь не торопясь, почти нараспев обратился к Холлингсворту: — Скажите, может быть, я могу что-то еще для вас сделать?

— Пожалуй, да, — сказал Холлингсворт, поправляя ремень на брюках. Он снова наклонился вперед, и его лицо, пребывавшее вплоть до этого момента в тени, оказалось в световом конусе под лампой, свисавшей с потолка. На губах Холлингсворта застыла уже не вежливая, а заискивающе-извиняющаяся улыбка.

Впрочем, в его последующих словах и движениях я не почувствовал ни стеснительности, ни чувства вины. Холлингсворт выразительно ткнул пальцем в блокнот и совершенно официальным тоном спросил:

— Подписать этот листочек вы не хотите? Я бы оставил его себе в качестве сувенира, а ваша подпись, когда придет время, многократно увеличит его ценность.

— Подписать, говорите?

— Да, если вы, конечно, не против.

Маклеод улыбнулся, пристроил блокнот у себя на колене, посмотрел на него и, к моему изумлению, вынул ручку из нагрудного кармана и занес ее над исписанным листком. Еще секунда — и он энергичными движениями написал на бумаге несколько слов и поставил подпись. Затем зачитал написанное вслух:

— «Краткая стенограмма высказываний Уильяма Маклеода». Подпись: «Уильям Маклеод». Сойдет?

— Просто замечательно, — кивнул Холлингсворт. — Приятно встречать людей, с такой готовностью идущих на сотрудничество.

Мы с Маклеодом молчали, и Холлингсворт, посмотрев на часы с демонстративно серьезным видом, вдруг заторопился куда-то.

— Ну и ну, что-то я у вас засиделся. По правде говоря, я рассчитывал уйти несколько раньше.

Он встал и взял из рук Маклеода протянутый ему блокнот.

— Ну что ж, уважаемые соседи, могу лишь выразить вам свою глубокую признательность за столь мило проведенное время.

— Всегда будем рады помочь вам, всегда, — заверил его Маклеод.

Холлингсворт задержался на пороге и в очередной раз впился глазами в свой блокнот. Неожиданно для меня он не без изящества в движениях вырвал из блокнота тот лист, на котором стояла подпись Маклеода, и разорвал страницу пополам.

— Знаете, я вот подумал и решил, что на самом деле этот сувенир от вас мне, в общем-то, и не нужен.

— Он бесценен, — привычно неторопливо, почти нараспев произнес Маклеод. — В том смысле, что не имеет никакой ценности.

— Именно так, — поспешил согласиться Холлингсворт, после чего выронил из разжатых

пальцев обрывки бумаги и скрылся за дверью.

Мы с Маклеодом остались одни. Он оперся подбородком на руки и устало засмеялся. Потолочная лампа висела прямо у него над головой. С одной стороны, это создавало эффект нимба — волосы на его голове словно излучали какой-то внутренний свет, а с другой — он практически не отбрасывал тени, в отличие от всех предметов, находившихся вокруг него. Эти тени, удлинённые и искажавшие реальные пропорции предметов, расползались от центра комнаты по всем углам. В эти секунды в помещении царили тишина и неподвижность. Лампа, обычно слегка покачивавшаяся на проводе, замерла на месте, а вместе с нею застыли и обычно плясавшие по полу и стенам тени. Маклеод поднял голову и стал прямо, не мигая, смотреть на лампу. Чем-то он напомнил мне в тот момент факира, устремляющего взгляд на солнце, для того чтобы сосредоточиться на очередном опасном фокусе — например, снимании кожи с себя самого.

Явно не без труда оторвав взгляд от единственного источника света в комнате, Маклеод посмотрел на свои руки и негромко спросил:

— Вы когда-нибудь кого-нибудь ждали?

Сначала я не понял смысла его вопроса, но потом в моей памяти нарисовался давно преследовавший меня образ: открытая дверь, в проеме — силуэт незнакомого мне человека и лицо склонившегося надо мной незнакомца. Лицо, погруженное во тьму

— Трудно сказать, — ответил я.

Он встал и прислонился к книжному шкафу. Его пальцы по-прежнему сжимали фильтр уже докуренной сигареты. Ощущение было такое, что он не то толком не узнает меня, не то вообще забыл о моем присутствии.

— Хотелось бы только знать, — задумчиво проговорил он, — из какой именно конторы его сюда прислали.

— Я что-то вас не понимаю, — отозвался я.

Маклеод вздрогнул и, судя по всему, осознал, что в комнате он не один.

— Это-то как раз понятно — я имею в виду, что вы меня не понимаете. Вам-то откуда это знать. Правда, Ловетт, откуда вам знать это?

Вдруг совершенно неожиданно он крепко схватил меня за запястье и стал говорить, явно стараясь убедить в чем-то не столько меня, сколько себя самого:

— Да нет, конечно, это просто одна из методик ведения расследования. Таким образом можно быстро вывести невиновных за крут подозреваемых. А он просто заигрался в эти игры. Ничего он не получит с нашего сегодняшнего разговора. — Встретившись со мной взглядом, он ослабил хватку. — Нет, Ловетт, вы тут ни при чем, я в этом уверен. — Усмехнувшись, он добавил: — Вы нет, скорее уж я сам.

Я попытался выяснить у него, что происходит и как понимать его сбивчивые запутанные рассуждения. Оставив мои расспросы без ответа, Маклеод вдруг рассмеялся, а затем, мгновенно посерьезнев, сказал:

— Знаете что, Ловетт, если честно, я очень устал. Вы не обижайтесь, но я попрошу вас уйти. Я хочу побыть один, мне нужно много о чем подумать.

Я ушел, а Маклеод так и остался сидеть на стуле посередине комнаты. Лампа все так же горела у него над головой, а его взгляд был неподвижно устремлен в какую-то точку на потолке, с которого, как и в моей комнате, штукатурка отваливалась целыми пластами. Мне почему-то показалось, что просидит он так очень долго, может быть несколько часов.

Глава десятая

В тот вечер я долго не мог уснуть. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, на котором разноцветной мозаикой отражались огни ночного города. Эта абстрактная мозаика сопровождалась столь же беспорядочным звуковым аккомпанементом: я слышал то стук женских каблучков по тротуару, то хлопки открывавшихся и вновь закрывавшихся оконных рам в доме напротив. Как-то так получилось, что под этот аккомпанемент я размечтался и стал воссоздавать себе утраченное детство.

В конце концов, почему я не мог родиться в одном из городов на Среднем Западе. Наш дом стоял бы в самом центре, а значит, мои предки жили бы в этом городе едва ли не со дня его основания. Вот только со временем древность нашего рода стала куда более важным фактором для нас самих, чем для окружающих. Этому городу, можно сказать, повезло. Благодаря разумной налоговой политике и эффективно работающей государственной машине, он буквально за десять лет вырос едва ли не вдвое — как по численности населения и площади пригородов, так и по промышленному потенциалу. Компании и фирмы, расположенные в нашем городе, росли и крепили не по дням, а по часам. Вместе с ними богатели работавшие в них люди. У нас открылся новый загородный клуб, который посещали в основном страховые брокеры, кормившиеся с процветавшего населения. Впрочем, мои родители не одобряли все эти перемены. Душой они остались в прошлом, в том мире, который разрушался буквально у меня на глазах. Аргументируя свое неприятие всего нового, родители утверждали, что раньше город был куда спокойнее и симпатичнее. Особенно его украшали тихие узкие улочки и добротные каменные особняки — не выцветшие на солнце и не перестроенные вдоль и поперек. Между домами непременно располагались небольшие ухоженные садики, а парадные лестницы особняков украшали цветочные клумбы. Естественно, мне рассказывали о том, как было хорошо заглянуть в соседний угловой магазинчик, который, кстати, я, наверное, даже застал — он продержался на плаву несколько дольше, чем можно было ожидать, как зажившийся в доме для престарелых пожилой родственник. Наконец в один прекрасный день и он испустил дух, — этот прощальный вздох старой бакалеи был пронизан ароматом нежареных кофейных зерен. Из всей палитры запахов, витавших когда-то в маленьком магазинчике и вырывавшихся на улицу из дверей, дольше всего продержался в воздухе именно запах сырого кофе. По утрам в этом городе люди чинно шли на работу, а по воскресеньям вся наша семья, одетая в черное, проводила вечера в тишине на лужайке за домом, куда из посторонних звуков доносился лишь звон колоколов городской церкви.

Картина у меня нарисовалась просто очаровательная, но я был вынужден признаться самому себе в том, что этот берег не был моей родной гаванью. Сложенные из известняка особняки, которые доводилось мне видеть в жизни, были либо заброшены, либо основательно запущены, либо перестроены и заново отшлифованы снаружи новыми хозяевами. Нет, я родился в другом, более динамичном и энергичном мире, и доведись мне создавать для себя собственный тропический остров, я бы не смог сдать его заказчику в идеальном состоянии. На горизонте моего творения всегда маячили бы мрачные тучи надвигающегося тайфуна, а в уши бил бы грохот штормового прибоя, обрушивающегося на берег. Совершить мысленное путешествие в этот чуть подпорченный райский уголок было делом нетрудным, но я очень быстро вернулся обратно — на жесткую кушетку под грязным окном в узкой чердачной комнате.

Так я и лежал в тот вечер, размышляя о том о сем, — точь-в-точь как Маклеод, который, я уверен, также не спал и, лежа на кровати, смотрел в потолок. Впрочем, через некоторое время я

все же провалился в сон, и мне приснилось, что я ребенок и сплю в каком-то большом помещении, уставленном детскими кроватями. Скорее всего, это был не то интернат, не то детский приют. Ну вот, значит, мы — множество детей — спали себе спокойно, и вдруг в здании начался пожар. Огонь мгновенно охватил деревянные перегородки и лестницу, по которой мы могли бы спуститься и выйти на улицу. Вскоре языки пламени уже заплясали на пороге нашей огромной спальни, и мы один за другим стали просыпаться от испуганных детских криков, с недоверием и страхом прислушиваясь к собственным голосам.

Такие беспокойные сны мучили меня всю ночь.

Утром ко мне заглянула Гиневра. Как и следовало предполагать, она пришла не одна. Следом за матерью в комнату вошла Монина. Она следовала за Гиневрой как тень — пожалуй, лишь несколько более жизнерадостная, чем сопровождающий нас по жизни темный силуэт. В дверь они, конечно, постучали, но вошли сразу же после этого, даже не дожидаясь моего ответа. Гиневра принесла чистое белье и положила его на край моей кровати.

— Ну что, Ловетт, как дела? — лениво поинтересовалась она у меня.

Я кивнул ей в знак приветствия. Глядя на нас, трудно было бы предположить, что прошлая наша встреча закончилась тем, что Гиневра на меня наорала и просто выставила за дверь. Монина, явно смущенная не меньше матери, пробормотала мне что-то невразумительное в качестве «здрассьте» и, посчитав формальности выполненными, стала обследовать комнату. Делала она это осторожно и в то же время не без некоторой внутренней дерзости. Ощущение было такое, что девочка считает себя невидимой и полагает, что никто не заметит ее за этим занятием, если она не будет специально обращать на себя внимание. Она приподняла угол коврика и заглянула под него, затем обследовала пространство за моим креслом и наконец остановилась у письменного стола. Аккуратно перебирая мои бумаги, она что-то негромко лепетала на своем, ведомом только ей одной языке.

Глядя на все это дело, Гиневра тоже начала ворковать, но уже обращаясь ко мне. Ей, видите ли, накануне тоже сон приснился, и она твердо вознамерилась пересказать его мне во всех подробностях.

— Знаешь, Ловетт, мне приснилось, что я черепаха. Можешь себе такое представить?

— Нет.

— Это было просто ужасно. Я, значит, была черепахой, и при этом мне снилось, что меня перевернули на спину и я никак не могу перевернуться обратно. Представляешь, как я себя при этом чувствовала? Все утро я не могла избавиться от неприятных воспоминаний об этом сне, даже сходила в аптеку за бромом.

Гиневра закурила и сделала глубокую затяжку, зажав сигарету от души, с запасом накрашенными губами.

— Ну и что, сон как сон, — бросил я раздраженно.

— Тебе легко говорить. Тебе, наверное, такие кошмары не снятся. Я никак не могу из головы это выбросить. Все вспоминаю себя в виде черепахи. — В следующую секунду она безо всякого предупреждения и даже не повернув головы перешла на крик: — Монина, не трогай вещи мистера Ловетта!

Девочка не обратила на окрик матери ровным счетом никакого внимания. Впрочем, я полагаю, что Гиневра иного и не ждала. Она лишь застонала и, обернувшись ко мне, сказала:

— Это не ребенок, а чертенок какой-то. Как я от нее устала. Нет, Ловетт, честное слово, если бы ты знал, сколько я с ней намучилась.

Пропустив ее стенания мимо ушей, я молча глядел в окно, щурясь от солнечного света.

— Знаешь, когда я была в Голливуде, — сменила пластинку Гиневра, — так получилось, что из-за моего несносного характера вся моя карьера рухнула.

— И когда же это ты была в Голливуде?

— На пике своей эстрадной карьеры. Была возможность стать актрисой. Как раз в то время продюсеры сделали несколько звезд именно из певиц и танцовщиц, выступавших в эстрадных шоу. Меня тоже пригласили, и будь у меня в голове хоть немного здравого смысла, понимаю я тогда, что вообще происходит, я бы сегодня по пять тысяч долларов в неделю зарабатывала. — Она вздохнула и выпустила изо рта облако дыма. — Сама все испортила, и все из-за своего дурацкого характера. Я, кстати, в то время крутила там роман за романом, причем мне не было дело до того, может мужчина помочь мне в карьере или нет. Я просто не могла нарадоваться тому, сколько вокруг меня красивых мужиков увивается. Если честно, в те годы я без секса и дня не могла прожить. Ну а мужики там в этом деле очень даже понимают. Еще бы, у них ведь такая практика...

Потушив сигарету, Гиневра обернулась к дочке:

— Моница, а где наше радио?

— Снадужи.

— А зачем ты его там оставила? Ну-ка быстренько принеси приемник сюда. Если он будет стоять там на лестнице, кто-нибудь придет и украдет его.

Моница тяжело вздохнула, всем своим видом давая понять, как она устала от собственной матери. Тем не менее она повиновалась и, скрывшись за дверь, буквально через несколько секунд вновь появилась на пороге, с трудом удерживая в руках небольшой портативный приемник, который рядом с ребенком смотрелся как здоровенный чемодан рядом со взрослым человеком.

— Это просто находка, — сообщила мне Гиневра, — я беру его с собой, когда иду менять белье. Только благодаря музыке я еще не сошла с ума от работы.

Она наклонилась, подняла приемник с пола и поставила его на кровать. Играя с ручками настройки, она тем временем продолжала говорить:

— Эх, Ловетт, ты даже не представляешь себе, сколько у меня там было возлюбленных. Впрочем, почему не представляешь, ты ведь и сам ко мне клеиться начал, а я ведь тогда была моложе и привлекательнее. Если бы я назвала тебе имена кое-кого из продюсеров и актеров, с которыми мне довелось переспать, у тебя наверняка челюсть бы отвисла от изумления. Так ладно переспать, почти все они были готовы жениться на мне, а я, дура, упустила свой шанс, хотя виновата лишь в том, что была мила и доступна для всех. Даже узнав обо мне всю подноготную, кое-кто все равно был готов связать себя со мной узами брака. Увы, я к тому времени сумела поставить крест на своей карьере, а актриса без будущего в качестве жены была никому не нужна.

— Как же так с карьерой-то получилось?

— Очень просто. Не нужно было так много хвостом вертеть. Гуляешь — гуляй, но делай это тихо. Начинающую актрису только-только подступающую к тому чтобы стать звездой, скандал губит окончательно и бесповоротно. Знаешь, Ловетт, в этом, наверное, есть свой смысл. Продюсеры собирались вкладывать в меня миллионы долларов. И естественно, одна из звезд — обиженная и ревнивая — подкупила кое-кого в полиции, и меня как-то раз застукали в любовном гнездышке с очередным дружкой. После этого мой контракт не продлили. — Гиневра провела рукой по простыням, встала с кровати, посмотрела на меня, наклонив голову набок, и неожиданно, без всяких переходов спросила: — Что будем танцевать?

— Да я как-то не силен в танцах.

— А это и не важно, я тебе покажу.

Гиневра нашла на одной из волн подходящую музыку, прикрыла глаза и, подпевая себе под нос, шагнула ко мне навстречу. Она подняла руки, я приобнял ее, и мы закружились по комнате

в медленном танце. Тело Гинеvры не было ко мне прижато, но мы все время прикасались друг к другу, и это не могло не волновать меня. Гинеvра чуть откинула голову и приоткрыла рот, с наслаждением вдыхая еще чистый утренний воздух, врывавшийся с улицы в комнату через открытое окно.

— А у тебя неплохо получается, — негромко сказала она.

Сама Гинеvра танцевала действительно очень неплохо: ее тело, словно само собой, двигалось в заданном музыкой чувственном ритме. Да и не танец это был на самом деле, Гинеvра просто кокетничала со мной, не без успеха стараясь расшевелить и встряхнуть меня. Все ее движения были настолько недвусмысленны и провокационны, что я был готов завестись не на шутку. Впрочем, деваться нам с ней все равно было некуда: Мониная по-прежнему оставалась в комнате. Когда заиграла музыка, она забралась в угол комнаты, села на пол, прижав колени к груди, и изобразила на лице выражение неизбежного одиночества. Отзвучала одна мелодия, за ней последовала другая — более быстрая и ритмичная. Гинеvра завертелась у меня в руках и стала поглядывать на меня, уже не скрывая своей похоти. Мониная по-прежнему сидела неподвижно и явно что-то замышляла. Я не ошибся: точная копия своей матери, она не могла позволить окружающему миру крутиться не вокруг нее. Выждав какое-то время, Мониная стала хныкать, все так же сидя неподвижно и глядя в пол перед собой.

— Мне страшно, — бормотала она сквозь слезы, — страшно.

Музыка закончилась, подошла к концу и музыкальная передача. Из радиоприемника донесся голос диктора, бодро рассказывавшего о консервированных продуктах. Гинеvра медленно, словно неохотно, отступила на шаг и пристально посмотрела мне в глаза.

— Давай еще потанцуем, — негромко сказала она. Оглянувшись через плечо, она прикрикнула на Мониину, и я при этом не заметил в ее голосе ни малейшего раздражения: — Мониная, успокойся, кому говорю!

Мониная в ответ зарыдала в полный голос.

— Ох уж мне этот ребенок, — недовольно прошептала Гинеvра. Она смотрела на меня приглашающе-плотоядно. У меня возникло ощущение, что не будь Монины рядом, наши с Гинеvрой игры в прятки были бы окончены. В эти мгновения она показалась мне моложе и привлекательнее, чем обычно. Сыграла в этом свою роль и ее явно искренняя заинтересованность мною как мужчиной.

— Если бы Монины здесь не было... — прошептал я на ухо Гинеvре.

Мы стояли посреди комнаты. Гинеvра повернулась к кровати и стала настраивать приемник на другую волну. Воспользовавшись этим, Мониная стремительно подбежала ко мне и всем телом прижалась к моей ноге. Я погладил ее по голове и почувствовал, что девочка еще сильнее обхватила руками мою ногу. Гинеvра тем временем обернулась и сказала:

— Я думаю, вот под эту музыку можно будет еще потанцевать.

— Да не хочу я танцевать, — воспротивился я.

Словно не слушая меня, Гинеvра прикрыла глаза и задвигалась в такт музыке.

— Брось, Ловетт, перестань.

Мониная отпустила меня и изо всех сил стала лупить маму по бедру своими маленькими кулачками.

— Мама дура, мама дура! — в гневе кричала она.

— Да что это на нее нашло? — обращаясь скорее сама к себе, спросила Гинеvра. Затем, усмехнувшись, она подмигнула мне: — А девочка-то, похоже, ревнует.

Одним проворным и даже изящным движением она перехватила руки дочери и прижала девочку к себе.

— Ну успокойся, Мониная, успокойся. Господи, я же вся в синяках буду.

Толком не настроенное радио продолжало надрываться. Слушать это было невозможно, и я выключил приемник. Гиневра между тем решила поведать мне некоторые свои тайны.

— Ловетт, ты даже не представляешь себе, какая у меня нежная кожа. Оставить на ней синяк проще простого. Мне даже ударяться обо что-нибудь не нужно, стоит мужчине начать меня лапать, как у меня на теле остаются следы. — К этому времени Монина успокоилась и обняла мать. Гиневра подмигнула мне и продолжила: — Я тебе скажу то, что обычно никому не рассказываю: когда мужчина дает волю рукам, я остаюсь вся в синяках, и при этом я ощущаю себя... ну как если бы я была белоснежной простыней, или чистым ковром, или еще чем-нибудь в этом роде. И по мне вдруг начинает ходить взад-вперед мужик в грязных сапогах. Как тебе такой образ?

Я ничего не ответил. Гиневра уютно устроилась в кресле, а у ее ног свернулась калачиком Монина. Я присел на край кровати.

— Ты, кстати, не думал насчет того... Ну, насчет того, о чем мы с тобой вчера говорили? — как ни в чем не бывало поинтересовалась Гиневра.

— Ты о чем?

Гиневра опять перехитрила меня.

— Ну как о чем, да все о том же. Как насчет того, чтобы посматривать, что здесь к чему, и потом рассказывать мне.

— А, ты об этом. Я же тебе сказал, что я не стукач.

— Да с чего ты взял, что я тебя стучать заставляю. — Гиневра всем своим видом изображала оскорбленную невинность. — Мне бы и в голову не пришло просить тебя о такой гадости. Я просто подумала, что тебе, в конце концов, как и любому нормальному человеку, интересно, как живут его соседи, что происходит у них в жизни.

К этому времени Монина устроилась совсем удобно и, обняв ноги матери, гладила их своими ладошками.

— Это к Холлингсворту. Он, по-моему, большой любитель подобных наблюдений.

— Ну вот, тоже мне нашел, на кого перевести стрелки.

Неожиданно на лице Гиневры появилось заговорщицкое выражение. Она ни дать ни взять собиралась поделиться со мной какой-то великой тайной.

— Знаешь, что я тебе скажу, только ты не смейся. Я и сама подумывала насчет Холлингсворта, вот только... Не нравится он мне.

— Неужели?

— Скользкий он какой-то, скользкий и противный, — поморщилась Гиневра, поглаживая себя ладонью по животу, — я тебе о нем много чего могу рассказать.

Я лишь пожал плечами, не догадываясь, что Гиневре действительно нужно было выговориться, а не только «склонить меня к сотрудничеству». Информация о том, что у нас тут наверху происходит, ей на самом деле была необходима, но, как я понял, не любой ценой. Тем временем она огорошила меня своими предположениями насчет Холлингсворта:

— У меня такое ощущение, что он не тот, за кого себя выдает.

— Я не понимаю, о чем ты.

— Ну, есть в нем что-то такое... — Гиневра закурила, а затем долго махала в воздухе якобы упорно не желавшей гаснуть спичкой. — Знаешь, иногда мне кажется, что он сын какого-нибудь принца... Ну, не обязательно принца, но по крайней мере какого-нибудь очень богатого человека, богатого и обладающего большой властью. А здесь он живет инкогнито. Ну, по каким-то причинам не хочет, чтобы его так или иначе связывали с его семьей.

В ответ на это я рассмеялся.

— С чего ты взяла?

Гиневра была предельно серьезна.

— Интуиция, Ловетт, что-то здесь не так. Этот парень точно что-то скрывает.

— Скрывает, говоришь?

Гиневра явно не торопилась поделиться со мной своими наблюдениями и аргументами в пользу высказанных ею предположений.

— Скрывает, и очень многое, — торжественно, как тайное заклинание, произнесла она.

Я лишь снова рассмеялся.

Явно раздосадованная, Гиневра поняла, что для продолжения разговора на интересующую ее тему ей придется чем-то пожертвовать, и без особой охоты поведала мне:

— К нему все время приходит один человек, о котором сам он никому не рассказывает. Не знаю, кому как, а мне это совсем не нравится.

— А как он выглядит, этот незнакомец?

— Да я толком сама его не разглядела. Обычно он одет в темно-синий костюм, а шляпу надвигает на самые глаза — так что лица его совсем не видно. Я так понимаю, что этот человек приходит для того, чтобы заплатить Холлингсворту.

— За что?

— Ну, я не знаю. Скорее всего, это какой-нибудь помощник его отца, который приносит молодому человеку те деньги, что отец ему выделяет. Ну, что-то вроде стипендии.

— Гиневра, неужели ты сама не видишь, что все это смешно и глупо? Посуди сама, разве не может быть человек просто самим собой, безо всяких тайн и маскарадов с переодеваниями?

Гиневра подозрительно поджала губы, явно решая, может ли она доверять мне во всем. Наконец она решила признаться.

— Знаешь, я давно за Холлингсвортом наблюдаю, — глухо, глядя куда-то в сторону, сказала она, — не верю, не верю я ему. — Расправив платье на коленях, она с театральными интонациями в голосе продолжила: — Я как-то раз спросила его об этом человеке, так ты представляешь, что он мне на это ответил?

— Понятия не имею.

— Он заявил, что к нему вообще никто не ходит. — Эти слова Гиневра произнесла торжествующим голосом. — Ну, что ты на это скажешь?

— А ты откуда знаешь, что к Холлингсворту кто-то приходит?

По правде говоря, к этому времени я и сам почувствовал некоторое беспокойство. Гиневре каким-то образом удалось убедить меня в том, что у нее в доме возможно все — любые чудеса и, конечно же, неприятности.

Ничуть не стесняясь своего поведения, Гиневра предоставила мне доказательства:

— Первое время я за ним следила. Ну, имею я право знать, что происходит у меня в доме?

Губы Гиневры сложились в ангельски невинную и вместе с тем гордую улыбку.

— А вы с Холлингсвортом, часом, не в друзьях — приятелях ходили? — поинтересовался я, рассчитывая застать ее врасплох.

— А тебе-то какое дело? — совершенно буднично огрызнулась она и зевнула.

— В общем-то, никакого.

Гиневра посмотрела на меня, явно прикидывая, достоин ли я того, чтобы продолжать разговор.

— Он такой же, как и вы все, мужики. Кроме как под юбку ко мне залезть, ему больше ничего от меня не нужно было.

В тот момент я промолчал, хотя меня и покоробил тот факт, что она поставила меня в один ряд с Холлингсвортом. Мы просидели молча, наверное, с минуту. Решив нарушить это неловкое молчание, Гиневра пустилась в разглагольствование на свою любимую тему; на этот раз мне

поведали об очередном любовнике с незабываемым прибором. Завлекала она меня совсем уж непристойными подробностями, вероятно полагая, что я, как несмышленный котенок, забыв обо всем, начну с упоением охотиться за яркими разноцветными ленточками. У ее ног Мони́на — ни дать ни взять уставшая и скучающая стенографистка — чертила какие-то значки на пыли, покрывавшей пол сплошным слоем.

Вскоре ребенок снова начал хныкать, требуя к себе внимания. Гиневра встала с кресла и забрала с кровати лишние простыни.

— Ну ладно, хватит болтать. Мне и без тебя есть чем заняться.

Тем не менее уже в дверях она обернулась и, кокетливо подмигнув, вернулась к тому, с чего начала:

— Ну так что, будешь тут за соседями присматривать?

— Нет.

Явно раздраженная, она вышла на площадку, вытолкнув перед собой Монину.

Глава одиннадцатая

Этот день оказался очень-очень длинным.

Гиневра ушла, и вскоре я спустился в столовую, чтобы съесть свой традиционный холостяцкий завтрак. Вернувшись домой, я несколько часов благополучно поработал, меня никто не беспокоил. В конце концов жара сморила меня, и я, в общем-то довольный собой, позволил себе встать из-за стола и растянуться на кровати. Так я и лежал, всматриваясь в слегка дрожавший под раскаленным потолком воздух. Дверь на лестничную площадку была слегка приоткрыта — я рассчитывал, что таким образом комнату будет слегка продувать и духота станет не такой нестерпимой. Ни о чем серьезном я думать уже не мог и вскоре задремал.

Меня разбудил незнакомый голос, негромкий, хриплый и в то же время с приятными обертонами.

— Ради бога, извините за то, что я вас беспокою. Вы не собирались вставать?

Я перевел себя из лежачего положения в сидячее. В дверях моей комнаты стояла девушка — настолько стройная и хрупкая, что, казалось, взмахни я рукой порезче, и ее просто снесет воздушной волной.

— Входите, — предложил ей я.

— Вы так уютно спали, — сказала она, — я даже не хотела вас будить. По-моему, вы владеете великой тайной — искусством сна.

— Да ладно вам... Я просто вздремнул немного, — понимая, что говорю глупость, промямлил я.

Девушка отодвинула от письменного стола стул и села на него.

— А почему вы стесняетесь? Честное слово, во сне вы были таким красивым...

Я почесал в затылке. Дневной сон и пробуждение в самый жаркий час явно не пошли мне на пользу. Впрочем, девушка, похоже, и не ждала от меня сколько-нибудь вразумительного ответа.

— Ой, как это здорово, — продолжила она рассуждать вслух, — вы просто потрясающе счастливый человек.

— С чего вы взяли?

— Ну, у вас ведь есть эта комната. Мне здесь так нравится. Если бы у меня были деньги, я непременно купила бы ее у вас.

Я скривил недовольную физиономию:

— Вообще-то здесь грязно, да и сама комната, прямо скажем, не из лучших.

— Так это же и хорошо. Хорошо, что она *такая* грязная, — сказала девушка все тем же хриплым, нет, скорее даже сиплым голосом. — Терпеть не могу чистые комнаты. Ненавижу людей, которые боятся оставлять за собой следы. Именно поэтому мне так и понравилась ваша комната. Вы здесь живете и оставляете безошибочные знаки того, что это именно вы. Если вы поживете здесь подольше, то память о вас сохранится в этих стенах, воздухе, да и вообще — какая-то частичка вашей души навсегда останется здесь.

Слушая эти странные рассуждения, я уже более внимательно рассмотрел девушку. Черты ее чуть вытянутого, изящного лица были какими-то детскими, особенно форма носа и губ. Все это, в сочетании с добрыми карими глазами, делало определение ее возраста нелегкой задачей. Как Холлингсворту, как, в общем-то, и мне самому, ей можно было дать двадцать, но при этом я бы не удивился, скажи мне кто-нибудь, что на самом деле ей лет на десять больше. Я обнаружил, что не просто рассматриваю незнакомку, а смотрю ей прямо в глаза. Я смутился, а она, все так же глядя на меня — наивно и, быть может, даже простодушно, — на ощупь нашарила в сумочке

пачку сигарет, закурила и протянула зажженную сигарету мне. Подарок я, конечно, принял, но, по правде говоря, столь доверительный жест, свойственный скорее отношениям старых знакомых, показался мне несколько преждевременным.

— Вы сами-то курить не собираетесь? — поинтересовался я.

— Ах, да, — явно удивившись, сказала она, — ну конечно. — Она вновь покопалась в сумочке и чиркнула спичкой. При этом я заметил, что ее руки заметно дрожат. Кроме того, я обратил внимание на ее пальцы, длинные и изящные. Наверное, они были бы красивыми, если бы не обкусанные, неухоженные ногти и пятна от сигаретного дыма, въевшиеся в кожу. Курила она как мужчина — держа руку ладонью кверху и зажав сигарету между почти прямых пальцев. Дым при этом обвивался вокруг ее ладони и запястья. Я бы назвал ее милой и симпатичной, если бы не цвет лица — землисто-серый — и не бесцветные мешки под глазами. Кроме того, ее волосы, не слишком чистые, не добавляли ей очарования: не расчесанные, толком не убранные, они свисали патлами по ее плечам. У меня сложилось впечатление, что моя нежданная гостья не вполне в себе. Судя по всему, она и причесывалась не регулярно, а от случая к случаю. После этого я уже не удивился тому, что на ее одежде оставались следы и пятна от всего, к чему она прикасалась.

Мои наблюдения и предположения оказались верными. Буквально через минуту скопившийся на сигарете девушки пепел упал, и она машинально втерла его в свою юбку. Кстати, сиреневый костюм, который был на ней надет, совершенно не шел ей, особенно неудачным было сочетание блестящей переливающейся ткани с мышино-бурыми, немытыми волосами. Сам по себе костюм, впрочем, тоже был изрядно протерт на рукавах и обтрепан на манжетах и воротнике.

— Вы, как я понимаю, поэт? — спросила она.

— Нет.

— Перестаньте, я в вас сразу поэта увидела.

Как ни странно, ее растянутые в улыбке детские губы придавали лицу девушки выражение мудрости и несколько снисходительного отношения к собеседнику. В какой-то момент я даже предположил, что она, по всей видимости, знает обо мне даже больше, чем известно мне самому.

— Поэт с пишущей машинкой, — с отчаянием в голосе пробормотала она, — до чего докатился наш мир. Никогда не пользуйтесь печатной машинкой, — настойчиво попросила она меня, наблюдая за тем, как клубы дыма окутывают ее руку.

— А мне нравится, — не слишком любезно заметил я.

— Вы просто не понимаете, в чем дело, — вздохнула она.

К тому времени ее сигарета почти полностью сгорела, и ее пальцы отделяло от огня каких-то полдюйма. Впрочем, моя собеседница, казалось, не замечала этого.

— Сигарету потушить не хотите? — осведомился я.

Девушка посмотрела на окурок в явном замешательстве. Похоже, она совершенно забыла о сигарете и теперь пыталась вспомнить, откуда та взялась у нее в руке. Тем не менее она последовала моему совету, но как-то странно: разжав пальцы, просто выпустила непотушенный окурок и забыла о нем раньше, чем тот успел упасть на пол. Не загаси я его подметкой, огонек, как минимум, оставил бы черный след на полу.

Осознав наконец, что незнакомка оказалась на пороге моей комнаты скорее всего не просто так, я спросил у нее, что привело ее сюда, практически на чердак. Положив руку на сумочку, она объяснила:

— Я заметила объявление, там, внизу. В нем говорилось, что в этом доме сдается комната.

— Интересно, я даже не знал.

— А к кому мне обратиться по этому поводу? В общем-то, я просто зашла внутрь и, не обнаружив ни консьержа, ни привратника, стала тыкаться во все двери, но везде оказалось закрыто.

Я ободряюще улыбнулся ей:

— Могу проводить вас к хозяйке.

— Буду премного вам обязана, — кивнула она, судя по всему, считая, что это мой святой долг. — Понимаете, мне просто негде жить.

Я покачал головой:

— Если речь идет об одной из комнат на первом этаже, то, боюсь, они стоят недешево.

— Ну, денег-то у меня хватает, — сказала она, старательно изображая беззаботность и веселье, — а если есть деньги, то ни одна домохозяйка не откажет мне. Ведь если сдаешь комнату, то по закону обязан пустить любого, кто готов платить назначенную цену. Я ведь права?

Я проводил девушку вниз, к дверям квартирки Гиневры. Прежде чем я постучал в дверь, девушка впилась мне в локоть и скороговоркой пробормотала:

— Меня зовут Ленни. Ленни Мэдисон. Скажите ей, что мы старые друзья и что вы рекомендуете меня как хорошего и надежного человека. Я бы очень хотела поселиться здесь. — Сделав паузу, она улыбнулась и добавила: — Насчет друзей это не совсем уж неправда. Если честно, вы мне сразу понравились, с той самой секунды, как я вас увидела.

Я кивнул:

— Хорошо, договорились.

Я постучал, и потом нам с Ленни оставалось лишь ждать. Ожидание, как обычно, затянулось. Сначала мы слышали, как Гиневра, шаркая шлепанцами, подходит к дверям, а затем, еще через некоторое время, дверь чуть приоткрылась и в образовавшуюся щель на нас уставились подозрительные глаза хозяйки.

— А, это ты, — не слишком приветливо сказала она.

Я представил женщин друг другу, и Гиневра наконец открыла дверь полностью. Запахнув потуже халат, она кивнула мне с самым безразличным видом и спросила:

— Ну, чего тебе понадобилось? Ты же знаешь, что у меня ребенок. Я сейчас занята.

Такое хамство, естественно, не пришлось мне по вкусу, но я решил не вступать в пререкания с хозяйкой.

— Ленни моя старая подруга, — спокойно сказал я, — она узнала, что у нас в доме сдается комната, и хотела бы ее снять.

Едва договорив эту фразу, я понял, что совершил большую ошибку. Лицо Гиневры окаменело, она переварила полученную информацию и напустилась на меня:

— Вот, значит, что мы задумали. Ну хитер, Ловетт, ну хитер. А что я скажу, когда сюда явится полиция? Что у меня здесь дом свиданий? — Судя по всему, Гиневра была готова играть роль стража общественной морали по полной программе. — Слушайте, вы двое, Ловетт и как вас там, ну да, мисс Мэдисон, у меня дом приличный, никаких шашней и вольностей здесь отродясь не бывало и, смею вас заверить, не будет.

Ленни прямо на глазах побледнела и едва слышно прошептала:

— Почему вы такая жестокая, вы ведь на самом деле так не думаете, я же вижу, что вы добрая и вам самой стыдно за то, что вы говорите.

— Мне нечего стыдиться, — отрезала Гиневра, но голос ее уже дрогнул.

Я вдруг почувствовал, что роль этакой сварливой тетки с добрым сердцем не была ей противна.

— Позвольте полюбопытствовать, зачем вам понадобилась моя комната? — задала вопрос

Гиневра, явно готовясь пойти на компромисс.

— Мне просто негде жить. Сегодня я устроилась на работу, и теперь мне нужно найти место, где я могла бы ночевать.

— А что, в гостинице снять номер нельзя было? — продолжала допытываться Гиневра, пристально разглядывая Ленни.

— На гостиницу, боюсь, у меня денег не хватит.

Гиневра сложила руки на груди и заявила:

— В таком случае, милочка, боюсь, что и на мою комнату у вас денег не хватит. Стоит она пятьдесят долларов в месяц, туалет и ванная — в коридоре.

— Нет-нет, у меня хватит. На это — точно хватит... Теперь. — Судя по этим словам, деньги у Ленни действительно появились совсем недавно.

Гиневра покачала головой:

— Ничем не могу вам помочь, комната сдана.

Реакция Ленни, признаться, ошеломила меня.

Она расправила плечи, задрала подбородок и заявила:

— Вы глупая, порочная женщина, — в голосе хрупкой девушки послышались недюжинная сила и страсть, — вы сами себя не понимаете. Вы не хотите понять, какой доброй и хорошей вы могли бы быть для окружающих. Вот зачем вы сейчас врете, зачем устраиваете скандал?

Гиневра побагровела от злости:

— Слушай, Ловетт, неужели нельзя было придумать что-нибудь получше, чем притаскивать сюда своих подруг, которые будут оскорблять меня. Хватит, я в свое время и не такого наслушалась, больше не желаю.

Ленни взяла меня за руку:

— Ладно, пойдем. — В ее голосе вновь звучало безразличие ко всему происходящему. Впрочем, в дверях прихожей она задержалась и не без артистизма в интонациях сказала: — Вы же сами прекрасно понимаете, что могли, нет, даже должны были сдать мне комнату. Вам же самой будет потом плохо. Вы будете переживать и мучиться из-за того, что не сделали человеку доброе дело.

— Ладно, по стойте, — бросила нам вдогонку Гиневра. — Ловетт, только честно, между вами ничего такого?

— Ни такого, ни этакое, — буркнул я.

В эту минуту я не столько увидел, сколько почувствовал, как спало напряжение в глазах Ленни и как ее стало трясти от с трудом скрываемого смеха. Следом за ней стала хихикать и Гиневра.

— Нет, Майки, ты, видимо, действительно решил меня со свету сжить, — сказала она, и в первый раз за все время, что мы с Ленни стояли здесь в прихожей, я почувствовал в ее голосе что-то если не теплое, то хотя бы человеческое. Мне даже показалось, что она подмигнула мне. — Как же ты мне надоел, — уже почти в открытую хихикая, заявила Гиневра.

И все же этот смех не был искренним. В какой-то момент мы все замолчали и почувствовали себя неловко. Гиневра тяжело вздохнула и спросила у Ленни:

— А у вас точно есть шестьдесят долларов?

— Подожди, только что вроде было пятьдесят, — напомнил ей я.

Гиневра опять сложила руки на груди и гордо заявила:

— Да, пятьдесят... Но со второго месяца. Есть тут у меня один... кандидат, ему тоже эта комната приглянулась, так он предложил мне задаток — десять долларов. Я не собираюсь упускать свои деньги, вне зависимости от того, нравится мне жилец или нет.

— Не волнуйтесь, я добавлю десятку, — сказала Ленни, — вы заработали свои деньги, вы

заслужили их, и вы их получите. — Она снова покопалась в сумочке и вытащила из нее небольшую пачку банкнот. — Давайте я заплачу прямо сейчас.

— А на комнату сначала взглянуть не хотите? — поинтересовалась Гиневра.

Похоже, Ленни была немало удивлена тем, что ей самой не пришла в голову эта мысль. Впрочем, подумав, она покачала головой:

— Нет-нет, я примерно знаю, как она может выглядеть, и уверена, на все сто процентов, что все равно останусь у вас. Признаюсь честно, мне эта комната понравилась в ту самую секунду, когда я наткнулась на ваше объявление.

— Может быть, все-таки посмотрите? — повторила Гиневра.

— Нет-нет, я лучше прямо сейчас заплачу. Не только задаток, но и все деньги за первый месяц, — как-то серо и буднично произнесла Ленни. Желтыми, пропахшими табаком пальцами она отсчитала шестьдесят долларов, причем последние десять — однодолларовыми бумажками. Лично я не был уверен в том, что у нее после расчетов с Гиневрой осталась хотя бы пятерка.

— Можно взять ключ? — спросила Ленни.

Я собирался уйти вместе с Ленни, но Гиневра задержала меня:

— Мисс Мэдисон, надеюсь, вы не против, если я ненадолго задержу вашего друга?

— Ну конечно нет, — сказала Ленни и, обернувшись ко мне, попросила: — Заглянешь потом ко мне?

— Как только освобожусь, поднимусь к тебе. Может быть, что-то нужно будет сделать, так я помогу.

Когда мы остались одни, Гиневра покачала головой:

— Странная она, эта твоя подружка.

— Ну не знаю.

Гиневра ткнула меня локтем в бок.

— Я так понимаю, с сегодняшнего дня между нами все кончено?

— А что, разве у нас что-то было?

Гиневра печально улыбнулась:

— Ну знаешь, могло и быть. Видимо, сама судьба удержала нас от глупостей, но, если честно, я все время вспоминала о тебе. Знаешь, Ловетт, я вот что думаю. Тебе, видимо, нравятся женщины постарше. Смотри, сначала я, потом Ленни. Или нет, скорее наоборот, сначала Ленни, а потом я.

— Да ну тебя, — отмахнулся я от нее, — вечно ты все не так понимаешь.

— А мне понравилась эта мисс Мэдисон, — словно размышляя вслух, произнесла Гиневра, — есть в ней что-то необычное, а кроме того... — Гиневра сделала паузу, чтобы я мог отключиться от того, что уже было сказано, и чтобы привлечь мое внимание к последующим словам: — Я, кстати, хотела тебе кое-что сообщить.

— А может, не стоит?

Гиневру было уже не остановить.

— Нет, стоит. Так вот, слушай: могу поклясться, что никакого объявления я не вывешивала. Ну, что ты на это скажешь?

— Откуда же тогда Ленни узнала про комнату? — машинально переспросил я.

— В самом деле, откуда? — пожала плечами Гиневра и указала мне рукой на лестницу: — Иди-иди, помоги своей подружке.

— А что это за история с десятью долларами, кто это тебе деньги в залог оставляет?

Кто бы мог подумать, что Гиневра может быть такой скромной и застенчивой.

— Ах, это не важно, какая разница. Все равно комнату он теперь не получит.

— Кто он? — настойчиво переспросил я. Покрутив кудри пальцами, Гиневра вздохнула:

— Да ладно, рано или поздно все выяснится. Как веревочке ни виться... Это, Ловетт, моя философия. Рано или поздно и ты обо всем узнаешь. У тебя вон сколько времени впереди, это я по сравнению с тобой уже дряхлая развалина, так что подожди немного.

Глава двенадцатая

Я поднялся по лестнице к комнате, только что снятой Ленни. Она открыла дверь, и я ее даже не сразу узнал: ее лицо сияло, да и поздоровалась она со мной так тепло и ласково, что присутствуй при этом Гиневера — нам ни за что было бы не избежать очередных расспросов о степени близости наших отношений.

— Какое замечательное место, а вы, вы просто потрясающий! Если бы не вы... Нет, как здорово вы держались во время разговора.

— По-моему, ничего особенного.

Ленни улыбнулась мне, и от этой улыбки ее лицо словно осветилось изнутри.

— Я так и знала... Знала, что вы окажетесь таким скромным, — произнесла она столь загадочным тоном, что со стороны могло бы показаться, будто кто-то ей годами рассказывал обо мне до того, как мы наконец встретились. — Но вы не правы, уверяю вас. Нельзя стыдиться своих достоинств, ими нужно гордиться. — Ленни оглядела комнату и рухнула в кресло, вытянув ноги перед собой. — Вы даже не представляете себе, как я счастлива.

Судя по всему, сделать ее счастливой было нетрудно. Не спорю, комната была большой, а потолок в ней высоким, но этим достоинства помещения, пожалуй, и исчерпывались. Окна, начинавшиеся почему-то практически от пола и доходившие до верхнего карниза, смотрели на задний двор соседнего здания — на пожарную лестницу и вездесущие веревки с сохнувшим бельем. Подоконники были покрыты слоем саж, а серый свет, проникавший в комнату через пыльные стекла из узкой кишки между домами, вряд ли мог побеспокоить тяжелый летаргический сон, в котором пребывали диван и кресла весьма почтенного возраста. Из украшений в комнате присутствовал лишь календарь, оставленный предыдущим жильцом. Запечатленная на нем обнаженная девица уже начала загибаться по углам. В дальнем конце комнаты находился умывальник, а на нем, на металлическом подносике, лежал кусок мыла, нижняя часть которого, похоже, когда-то угодила в воду и теперь превратилась в омерзительное, почти застывшее желе.

Ленни сидела в кресле с самым довольным видом и, похоже, была готова сидеть так сколь угодно долго — до тех пор, пока я не решу, что нам делать дальше. Видавший виды сиреневый костюм, сказать по правде, сидел на ней не слишком удачно, болтаясь как на вешалке на ее костлявых плечах. Потертый, растянутый, давно не глаженный, он не выглядел вершиной портновского искусства. Вполне возможно, что Ленни купила или сшила его до того, как по какой-то причине резко похудела. Этот странный, словно с чужого плеча костюм занятным образом зрительно отдалял голову девушки от ее ног. Ощущение было такое, словно ее бледное, со стертыми красками лицо находится как минимум в нескольких ярдах от старых коричневых мокасин. В подошве одного из них зияла довольно большая дыра, сквозь которую можно было видеть кусочек грязной кожи на ступне девушки.

— Ну что, как насчет вещей? — спросил я. — Давайте я вам помогу занести их.

Ленни покачала головой:

— Ну что вы, не стоит, вы и так слишком много для меня сделали. Я о таком даже и не мечтала. — Длинные, в желтых никотиновых пятнах пальцы девушки вцепились в очередную сигарету. — Ничего, у меня есть друзья, они мне помогут.

— Да я, в общем-то, тоже с удовольствием, — продолжал настаивать я.

— Нет-нет.

— И все-таки.

Ленни наконец рассмеялась осипшим контральто и хитро подмигнула мне:

— У меня нет вещей.

— Совсем нет?

— Всё у отца, — со смехом сказала она, — знаете таких родственников? Позвольте представить, моего зовут Папаша Ломбард.

— А что вы будете носить? — воскликнул я.

— Нет, кое-что я все-таки себе оставила. — Ленни открыла сумочку и вытащила из нее изрядно пожеванную пижаму.

— Не думаю, что этого вам хватит.

Ленни как-то вдруг погрузилась и отвернулась от меня, откинув голову на спинку кресла.

— Ну и что вы теперь будете делать? — поинтересовался я.

На Ленни вновь снизошло возвышенное настроение.

— Ах, это не важно. — сказала она, — сегодня утром я проснулась и подумала о всех тех платьях, что у меня были, о пишущей машинке, о цепочках... Нет, по натуре я ведь кошка, не нужны мне никакие украшения, не нужны оковы. Вот и сдала я все Папаше Ломбарду. — Улыбнувшись, она добавила: — Я, как Ван Гог, отрезала себе ухо и отдала его возлюбленному, и вот теперь, вместо того чтобы оглохнуть, я обрела дар слышать иные, неведомые мне раньше звуки.

— Я так понимаю, этими деньгами вы и рассчитались за комнату.

— Точно не знаю, но полагаю, вы правы.

Наверное, мы в тот момент больше всего походили на Дюймовочку и заботливую, но ворчливую мышь. Выступай мы с этим номером в каком-нибудь шоу, шквал аплодисментов был бы нам гарантирован.

— А есть вы что собираетесь?

— Да не волнуйся ты за меня, Майки, все будет хорошо. На завтра у меня денег хватит... Хватит. — Она уронила сумку на пол и под дела ногой торчавшие из нее несколько жалких однодолларовых бумажек.

— А послезавтра? — поинтересовался я.

Неделя шла за неделей, и мои деньги, как я ни

старался экономить, таяли на глазах с неизменной скоростью: двадцать долларов в неделю. Видимо, в глубине души я просто позавидовал такому беззаботному отношению Ленни к материальным проблемам.

— Послезавтра... Люди меня накормят. Люди, они ведь добрые, просто этого никто не понимает.

— И кто же вас будет кормить?

Ленни засмеялась:

— Миссис Гиневра.

— Как же, разбежалась, она мне-то чашку кофе жалеет.

— Это потому, Майки, что она вас не любит, нет, а меня полюбит.

Я уже начинал сердиться:

— Хотите, я одолжу вам немного?

— Вот, Майки, вы сами видите, — проблеяла Ленни, — люди всегда обо мне заботятся. — Затем она покачала головой: — Нет, у вас я денег взять не могу, я просто не смогу их отдать. — Неожиданно она изобразила на лице величайшую серьезность и, задумчиво уперев палец в подбородок, стала рассуждать уже совсем другим тоном: — Нет, а впрочем, почему. Нет, я обязательно отдам вам деньги. Я буду работать в поте лица своего, чтобы вернуть вам долг. В конце концов, вы такой хороший, что мне даже стыдно перечить вам. Вы даже не рассердились, а я, честное слово, не выношу людей, которые на меня кричат. — Она выпустила изо рта струю

сигаретного дыма и стала молча наблюдать за тем, как он вьется вокруг ее пальцев. — Мне нравится, какими становятся руки от никотина, — сказала она, — цветом они начинают походить на старинное дорогое дерево. — Всклипнув, она добавила: — Рубашки моего отца всегда пахли табаком. Какой он был замечательный человек, замечательный старик пьяница. Миссис Гиневра наверняка понравилась бы ему, как понравилась мне.

Судя по всему, выражение моего лица в тот момент не было вполне осмысленным. Заметив это, Ленни снова рассмеялась:

— Бедный Майки.

— Я не хочу, чтобы меня называли Бедным Майки.

Ленни кивнула:

— Вы имеете на это полное право. Какой же вы бедный, вы человек гордый, а мне всегда нравились гордые люди. Взять, например, миссис Гиневру, она ведь тоже гордая женщина. Она прекрасно знает, что она не просто человек, а человек-женщина. Она такая большая, вся такая яркая, и она трубит что есть силы: «Я живу, жизнь во мне бьет ключом, не пытайтесь меня сдерживать!» Кричит она, значит, кричит, а окружающие всю жизнь только и делают, что пытаются ее как-то сдержать и обуздать. Вот почему она такая несчастная. Но мне она очень нравится, я бы хотела поговорить с ней.

У нее был какой-то талант убеждать окружающих в правоте выносимых ею суждений и приговоров. Более того, даже самые элементарные мысли она подавала как обретенные ею после долгих размышлений великие истины. В ходе разговора с Ленни я был готов поверить во все то, что она обо мне наговорила. Я готов был согласиться с тем, что уродился редким красавцем, с тем, что я человек, преисполненный гордости, и даже с тем, что я — редкостный хам. Ну а Гиневра, естественно, предстала передо мной в образе этакой пышнотелой жизнелюбивой красавицы.

Ничто не могло устоять против стремления и умения Ленни переделывать, перекраивать заново окружающий мир. Вот она встала и обошла комнату. Остановившись у полки декоративного неработающего камина, она резким движением руки начертала в воздухе контуры человеческого лица. «Согласись, правда, красавчик?» — спросила она меня и, прежде чем я нашелся, что на это ответить, переместилась к окну и стала рассеянно щелкать щеколдой на средней секции рамы.

— Смотри-ка, а ведь этот замок похож на палец, — сказала она и для большей убедительности продемонстрировала мне собственный согнутый под нужным углом палец. — Я думаю, дело было так: когда дом достраивали, выяснилось, что замков для окон не хватает. И вот застройщик, жестокий, бессердечный капиталист, который потом построил еще и дом в Ньюпорте, закричал во всю глотку: «Отрежьте рабочим пальцы и пригвоздите их к рамам вместо щеколд!» Вот мы и видим перед собой не что иное, как указательный палец бедного работяги. Это все, что от бедняги осталось: указательный и — на другой стороне рамы — большой пальцы.

Я не знал, как реагировать на эти слова. В другое время и в другом настроении я бы, наверное, подключился к этой странной, но тем не менее занятой игре, но, наблюдая за Ленни, я видел, что под маской беззаботного веселья она прячет огромное внутреннее напряжение. Вот она замолчала и стала машинально накручивать на палец прядь волос.

— Наверное, нужно навести здесь порядок, — предложил я.

К моему удивлению, Ленни согласно кивнула, затем, явно не без труда возвращаясь в реальный мир, она даже попыталась принять участие в обсуждении дальнейших действий.

— Вы найдите какую-нибудь тряпку, а я пока открою окна, — сказала она мне. — Тут нужно будет мебель передвинуть. Я обожаю всяческие перестановки. Надеюсь, мне удастся

сделать комнату по-настоящему своей.

Я вышел в прихожую и в одном из углов обнаружил швабру и тряпку, оставленные там Гиневрой по лени или недосмотру. Вернувшись в комнату, я обнаружил, что окна уже открыты нараспашку, а Ленни стоит на широком низком подоконнике и смотрит вниз. Я стал как вкопанный, не рискуя окрикнуть Ленни. Она была настолько поглощена созерцанием панорамы внутреннего дворика, что я попросту не решился прервать ее. Уперев руки в переплет рамы, она наклонилась вперед всем телом — ни дать ни взять птица, готовая взлететь. Она наклонилась еще дальше, потом еще чуть-чуть, и я вдруг понял, что отпусти она сейчас руки — и ничто уже не предотвратит трагедию. Она сорвется с подоконника и рухнет на бетон под окнами.

Неожиданно резким движением она словно втолкнула сама себя обратно в комнату и, обернувшись, даже вздрогнула, увидев меня.

— А мне вид из окна понравился, — сказала она тихо, безо всякого показного веселья, — я посмотрела вниз и подумала, что это не двор, а дно океана. Представляете себе, океан, бездонная толща воды и — полное одиночество.

Я кивнул как ни в чем не бывало, будто бы в ее словах не было ничего особенного. Свое удивление я решил не афишировать и со всей серьезностью приступил к уборке: я подошел к раковине, налил стакан воды и опрыскал пол. После этого я начал тщательно и усердно подметать его. Чтобы освободить мне место, Ленни попыталась передвинуть кресло. Она потянула его на себя, но быстро сдалась и рухнула на сиденье, тяжело дыша.

— По-моему, эта мебель несколько тяжеловата. Одной вам ее двигать не стоит.

Ленни кивнула в знак согласия.

— Посидите рядом со мной, давайте поговорим.

— Я лучше подмету. Говорить мне, кстати, при этом ничто не мешает.

Положив подбородок на руку, Ленни сказала:

— Я ведь вам не наврала. Ну, я имею в виду, про работу.

— Я вам сразу поверил.

— А это зря. Я очень часто вру, но на этот раз все не так, я действительно нашла место. Я пришла в контору к мистеру Раммелсби и сказала ему, что у меня большой опыт работы в рекламе. — При этих словах Ленни рассмеялась. — На самом деле никакой он, конечно, не мистер Раммелсби, а его настоящее имя, наверное, какой-нибудь Тер-Проссаменианвили или что-то вроде того. Бедный турок, он такой толстый и так все время потеет... Нет, его точно самого со службы выгонят за то, что он меня взял. Будь в кабинете кто-нибудь кроме него, какой-нибудь специалист по персоналу с заведомо низким ай-кью, — не видать бы мне этого места как своих ушей.

— А в чем будут заключаться ваши обязанности?

— Рекламные лозунги буду придумывать. Знаете, как в мире все устроено. Ну, работают, например, сотни никому не известных людей, которые пытаются сделать новые открытия. Вот наконец одному из них что-то удастся, и это открытие передается сотням таких людей, как я. Наше дело — придумать для открытия рекламный лозунг. Ну, мы, значит, работаем, работаем, и вот одному из нас тоже везет. Реклама соединяется с открытием, и оно уже не просто открытие, а самый настоящий товар, который предлагают миллионам покупателей. Если товар оказывается штукой нужной, то продукт с успехом продается. — Ленни устало улыбнулась. — Я, конечно, могу делать такую работу, но вот ведь какая проблема: не люблю я ее. Знаете, сколько я этим занималась? Да-да, занималась, и, между прочим, не без успеха. — Ленни зачем-то пыталась убедить меня в том, в чем я, в общем-то, и не выказывал никаких сомнений. — Сначала мне сказали выходить на работу прямо сегодня. Я согласилась, но, проснувшись утром, поняла, что гораздо важнее найти комнату, где я буду жить. Бедный мистер

Раммелсби, человек он доверчивый, и нехорошие люди этим пользуются. Ну ничего, может быть, на этот раз его все-таки уволят за очередную ошибку. Придется бедняге возвращаться в Турцию, где он сможет преспокойно сидеть на коврах и подушках в окружении множества жен с голыми животами.

Дождавшись, пока я стряхну пыль с совка в мусорную корзину, она предложила:

— Давайте переставим мебель.

Перетаскивание по комнате дивана и двух кресел заняло у нас непропорционально много времени и отняло немало сил. Мы подолгу спорили о том, куда поставить тот или иной предмет, и стоило нам прийти к согласию, как Ленни незамедлительно меняла принятое решение. Только диван мы перетаскивали раз десять — ставили его к окнам, напротив камина, у стены, но все эти комбинации ей не нравились. В результате Ленни согласилась поставить кресла спинками к окну, и когда мы наконец закончили этот маневр, она с удовлетворенным вздохом оглядела комнату.

— Давайте так и оставим, — предложила она.

Следует отметить, что диван в тот момент был на время отодвинут к стене и стоял спинкой к центру комнаты. Ленни поднатужилась и отодвинула его от стены примерно на ярд, чтобы человек, сидящий на диване, мог достать ногами до плинтуса.

— По-моему, получилось просто замечательно, — гордая собой, объявила она.

— Ленни, нельзя так оставлять диван.

— Почему?

— Он же отделен от остальной части комнаты.

Ленни рассеянно кивнула, а через пару секунд ее лицо просветлело.

— Ну конечно, какая же я глупая, — не особо переживая по этому поводу, сказала она и, помахав руками в воздухе, предложила: — Давайте развернем его.

Мы поднатужились и в очередной раз развернули эту тяжеленную штуковину. К этому моменту мы оба успели изрядно пропотеть.

— Ну вот, теперь совсем другое дело, комнату просто не узнать, — заявила Ленни.

На самом деле все было не так уж замечательно. Большая, почти пустая комната по-прежнему утопала в грязи и пыли, а старая потертая мебель все так же мало радовала глаз, несмотря на то что была расставлена не так, как раньше. Несколько минут мы просидели молча, восстанавливая силы. Вдруг я заметил, что губы Ленни дрожат.

— Ленни, что-то случилось?

— Я сама не понимаю, — сказала она и закурила очередную сигарету.

Пепел она привычно стряхивала прямо себе на юбку, а о том, что сигарета докурена, догадалась только тогда, когда окурок стал жечь ей пальцы. Лишь после этого она выронила его на пол.

— Нужно будет повесить какие-нибудь картины по стенам, — сказала она, — а еще я шторы повешу. Этого никакая хозяйка мне запретить не сможет. Ну а потом... — хитро улыбнувшись и сверкнув при этом зубами, добавила она, — я обязательно разверну диван так, как он и должен стоять: лицом к стене.

Ленни закашлялась и заговорила вновь уже знакомым мне осипшим голосом:

— Слушай, Майки, а сейчас я хочу, чтобы ты ушел.

Признаться, эти слова прозвучали для меня неожиданно.

— Мне уйти?

— Да, Майки. — Она сидела неподвижно и глядела не на меня, а куда-то в сторону.

— Ну ладно, вот только... Может быть, сегодня вечером или завтра мы могли бы... — Я еще и сам не придумал, как закончить начатую фразу.

— Да, да, обязательно.

Выходя из комнаты, я увидел, что она так и не обернулась, чтобы посмотреть мне вслед.

Глава тринадцатая

Вечером я подошел к дверям комнаты Ленни, но мне никто не ответил. Для начала я решил подождать, потому что запросто представил себе, как она сидит в кресле, поджав ноги и подперев подборок ладонью, и постепенно, мало-помалу осознает, что кто-то пытается до нее достучаться. По моим расчетам, рано или поздно она должна была сообразить, что происходит, и предложить мне войти.

Из-за двери так и не донеслось ни звука. Возможно, Ленни дома и не было. Я спустился на первый этаж и вышел на улицу. Ненадолго я задержался у парадной каменной лестницы и посмотрел на окна квартирки Гиневры. В этот час ее муж наверняка был уже дома, и они скорее всего вели сейчас ленивый, ни к чему не обязывающий диалог — как и положено мужу и жене, прожившим много лет вместе. Наверняка они говорили друг другу самые обыкновенные слова, которые я... Которые я никогда не слышал. В какой-то момент я не без труда преодолел искушение подойти к двери и нажать на кнопку звонка.

Решив не делать глупостей, я отправился на прогулку по Бруклин-Хейте. Спустя какое-то время меня занесло в самый конец узенькой улочки, упиравшийся прямо в обрыв над заливом. Я прислонился к железным перилам и стал смотреть на доки, на порт и на противоположный берег пролива, где на фоне темного, уже почти ночного неба еще можно было разглядеть величественную панораму тянувшихся ввысь нью-йоркских небоскребов. В этих мрачных громадах тут и там горели окна — судя по всему, уборщицы уже принимались за дело. Но большая часть огромных офисных зданий была пуста и погружена во тьму до утра. Лишь на вершинах этих каменных шпилей иobelisks то вспыхивали, то гасли сигнальные огни.

Внизу, прямо подо мной, отправился в очередной рейс паром на Стейтен-Айленд. С высоты этот кораблик выглядел совсем маленьким, а огоньки, горевшие по периметру его палубы, словно бы шевелились и менялись местами друг с другом, отчего судно казалось мне похожим на какую-то диковинную водяную сороконожку. По главному фарватеру через гавань пробирался большой океанский сухогруз, а вдалеке виднелись арки перекинутых через реку мостов, стойко выдерживавших вес пронесившихся по ним машин. Все звуки в этот ночной час слышались особенно четко. Ничем не приглушенные судовые гудки разрывали ночную мглу, как раскаты грома.

Я глядел на воду, и мои мысли лениво и неспешно перескакивали с одной темы на другую.

Так я, возможно, простоял целый час, если не больше. Ночь сменила вечер, и очертания кораблей в порту теперь угадывались уже не по силуэтам, а только лишь по ходовым или стояночным огням.

— Ну, значит, привет! Хороший выдался вечерок, — послышался рядом со мной явно знакомый голос.

Наверняка от неожиданности я даже вздрогнул. Еще бы: меньше всего на свете я ожидал встретить здесь Холлингворта.

— Я смотрю, вам нравится стоять здесь и думать о том о сем. — Холлингсворт начал разговор издалека.

— Да вот, прихожу сюда иногда.

— Я, видите ли, тоже.

Холлингсворт вытащил сигарету из пачки и предложил ее мне, да так убедительно, что я не нашел повода, чтобы отказаться. Затем он извлек из кармана зажигалку и чиркнул ею перед моим лицом. При этом он специально задержал ее в поле моего зрения, чтобы добиться необходимого эффекта. Зажигалка у него действительно была занятная — серебряная, с черной

вставкой на одной из поверхностей, на которой были выгравированы две буквы.

— Давно эта штука у вас? — спросил я.

— Да нет, пару дней. Видите, это мои инициалы, Лерой Холлингсворт, эл-ха. По-моему, здорово придумано. Вы согласны?

— Да.

К этому времени я не без сожаления осознал, что Холлингсворт навязывается мне в компаньоны на сегодняшний вечер.

— Ну и где вы ее купили? — из вежливости поинтересовался я.

— Где ее купили, я и сам не знаю, — признался он мне, виновато улыбаясь, — это, видите ли, подарок. Мне его преподнесла одна дама.

Он пялился на воду с самым самодовольным видом. Его светлые волосы и маленький крючковатый нос были хорошо видны в лунном свете.

— Я даже не знаю, почему так происходит, — сказал он вкрадчивым голосом, — но девушки меня любят, очень любят.

Набив трубку, он снова достал зажигалку и стал, кряхтя, раскуривать свой агрегат.

— Да, — зачем-то обронил он.

Мне почему-то было неуютно рядом с этим человеком. Может быть, виной тому была сцена, свидетелем которой я стал накануне вечером. Судя по всему, Холлингсворт чувствовал неловкость не хуже меня. По крайней мере, для того чтобы завести разговор, он выбрал именно эту тему.

— А ведь занятный вчера разговор получился, — заявил он мне, — вы согласны?

— Ну не знаю.

— Этот Маклеод, странный он какой-то, скрытный очень, поди докопайся, что у него в голове творится, но не могу не признать, что кое-какие его мысли показались мне весьма занятными.

— И какие же?

— Ну, я имею в виду его рассуждения о том, что людей нужно взрывать динамитом и травить ядом. Если честно, то иногда я готов разделить подобную точку зрения. Люди порой бывают такими несносными. У вас, кстати, подобного желания никогда не возникает?

— Постоянно, — недовольно буркнул я, решив, что на этот раз Холлингсворт взялся допрашивать меня.

Он рассмеялся и сменил тему.

— Я бы с удовольствием занялся изучением исторических документов, связанных с большевиками, — сообщил он мне. — Во-первых, это наверняка очень поучительно, а во-вторых — любое чтение, особенно по истории и политике, расширяет кругозор.

Он попыттел трубкой и выпустил облако дыма, словно процедив его через почти сжатые губы. Ощущение было такое, что он не хотел отпускать от себя что-то очень дорогое.

— Как вы посмотрите на то, чтобы совершить возлияние? — более чем церемонно обратился он ко мне.

Я не смог на скорую руку придумать, как отказаться от этого предложения, и мы пошли обратно по улице, по направлению к дому. По дороге Холлингсворт все время болтал — о работе, о возможностях карьерного роста, наконец, о погоде. Мы наугад зашли в какой-то бар и по настоянию Холлингсворта устроились не за стойкой, а на одном из угловых, обитых красной кожей диванов. Я заказал себе пиво, а Холлингсворт, к моему немалому удивлению, двойной виски. Когда официантка принесла заказанные напитки, он настоял на том, что заплатит за нас обоих. Затем он, видимо, решил заняться девушкой и улыбнулся ей.

Впрочем, это была скорее не улыбка, а похотливая ухмылка. Перемена, произошедшая с

Холлингсвортом буквально на моих глазах, попахивала фокусами и алхимией. Я понять не мог, куда девался вежливый и скромный студент-богослов, явно не хватающий звезд с неба и заискивающе поддакивающий любому собеседнику. Он протянул девушке деньги, и та стала отсчитывать сдачу. Холлингсворт при этом согнулся и практически положил голову ухом на стол. Жадно разглядывая официантку, он стал напевать себе под нос какую-то мелодию.

— А ведь я вас где-то видел, — сказал он официантке без лишних предисловий, — мы точно где-то с вами встречались.

— Это вряд ли, — отозвалась она.

— Вы ведь любите танцевать? — поинтересовался он. — Любите, да? — Холлингсворт улыбался все шире и все более похабно. — Точно, точно я видел, как вы где-то танцевали. Вы, кстати, отлично танцуете и очень любите танцы. Скажите, я угадал?

Официантка — молодая девушка с пухлыми, притягивающими внимание губами — дрогнула.

— Да, танцевать я люблю.

— Я, кстати, тоже, — заявил Холлингсворт, — я люблю танцевать, танцевать и танцевать...

Он снова забубнил себе под нос какую-то песенку и, дождавшись сдачи, протянул официантке четвертак на чай.

— Дальше больше, — заверил он ее, — ты ведь сегодня нас и дальше будешь обслуживать? — Холлингсворт как-то незаметно перешел с девушкой на «ты». Дождавшись, когда она утвердительно кивнет, он снова расплылся в довольной улыбке: — Вот и замечательно, я как раз хотел с тобой кое о чем поговорить.

Я и представить себе не мог, что Холлингсворт может вести себя так развязно. Когда официантка ушла, он посмотрел на меня и подмигнул.

— Чует мое сердце, что смогу я сегодня эту девочку кое-чем порадовать. Сделаю ей, как говорится, маленький мужской подарочек.

Мутные голубые глаза Холлингсворта смотрели на меня не мигая.

— Я смотрю, вам нравятся такие приключения, — заметил я.

— Вы абсолютно правы, и уверяю вас, это просто замечательный отдых. Девочки, они того стоят. — Он зевнул и посмотрел на часы. — Время от времени я появляюсь в таких местах и, словно на пари с самим собой, знакомлюсь с очередной девчонкой. — На его лице вновь появилась уже хорошо знакомая мне виновато-скромная улыбка. — Они, кстати, ничего не имеют против и сами напрашиваются на знакомство.

Я потихоньку потягивал пиво и размышлял над услышанным.

— А что если они не захотят, скажем так, более близкого знакомства? Не может же быть, чтобы у вас устанавливался настоящий душевный контакт со всеми девушками подряд?

Холлингсворт провел ладонью по волосам.

— Ну, бывает по-разному. Если контакта нет сразу, то и ладно, а если со мной играют, провоцируют меня, дают понять, что возможно и продолжение свидания, то в этом случае отказы не принимаются. — Он сделал паузу, словно раздумывая над тем, не привести ли пример, иллюстрирующий только что изложенные тезисы. — Вот было как-то дело: познакомился я где-то в баре с одной женщиной, она, кстати, была очень даже ничего, хорошо одета, все такое... Ну, настроение у нее, по-моему, было невеселое, но это, впрочем, неважно. Мы поговорили о том о сем, и она пригласила меня к себе, ну, типа выпить еще по рюмочке, а потом, в самый ответственный момент, она, видите ли, передумала. — Холлингсворт в задумчивости пожал плечами и закончил рассказ изрядно удивившими меня словами: — В общем, я был просто вынужден заставить ее.

— То есть как заставить?

— Да так, пришлось применить силу. По крайней мере, она поняла, что если начнет сопротивляться, то ей будет больно. Если честно, то когда мне нужно, я бываю очень упрям и настойчив.

Я и не знал, что сказать. Больше всего меня поразило то, с какой убежденностью в своей правоте рассказывал мне все это Холлингсворт.

— Неужели оно того стоит? Я даже не представляю себе, как вы с нею встречались в следующий раз. Наверняка вам обоим было как минимум очень неловко, и вообще, какие же после этого могут быть отношения?

— А никакого следующего раза и не было, я ее больше не видел. Подобные знакомства для меня одноразовые. Нет, я серьезно, разве вы сами не замечали, что второе свидание со случайной знакомой проходит гораздо скучнее, чем первое? — Почесав нос, он вдруг огорошил меня на редкость бестактным вопросом: — А сколько у вас девчонок было?

Признаться, я не нашел, чем противостоять такой наглости, и повелся на неприятный мне разговор. Более того, насколько я сейчас помню, в тот момент я готов был, роясь в памяти, начать мысленные подсчеты. Помешало этому только отсутствие воспоминаний за сколько-нибудь продолжительное время.

— Не думаю, что эта информация имеет принципиальное значение, — буркнул я.

— Спорим, у меня больше было? — не унимался он.

В этот момент кто-то бросил монетку в щит музыкального автомата, и на нас с Холлингсвортом обрушилась громкая музыка. Мне пришлось повысить голос, чтобы перекрыть ее:

— Мне до этого нет дела, уверяю вас. Я этим не на пари занимаюсь.

В ответ Холлингсворт, как и следовало ожидать, залиvisto захихикал и, как обычно, неожиданно оборвал смех.

— Вы ведь считаете, что задавать такие вопросы может только плохо воспитанный человек, я угадал?

— Знаете, я как-то об этом не задумывался, — холодно ответил я.

Холлингсворт широко улыбнулся, вновь показав мне черную линию на верхней кромке четырех передних зубов.

— Я давно заметил, что люди, получившие высшее образование, ведут себя именно так. Чует мое сердце, что именно из-за отсутствия хороших манер такие как вы — образованные и воспитанные люди — меня и не любите.

Естественно, я не мог сказать ему в открытую, что на этот раз он попал в самую точку. И все же в первый раз за время нашего знакомства я позволил себе хоть в какой-то степени обозначить антипатию к этому человеку.

— Я бы так не сказал, — не слишком убедительно возразил ему я.

— Ну да, конечно, — закивал он в притворном согласии со мною, — ладно вам, Ловетт, я ведь не ребенок и разбираюсь в жизни не хуже вашего. Неужели вы думаете, что я не вижу разницы между собой и, например, мистером Вильсоном и мистером Куртом? Они люди образованные и, я бы даже заметил, утонченные, не то что я. — Он покачал головой и добавил: — Я-то, как вы понимаете, не благородных кровей.

В его фарфорово-голубых глазах заплясали недобрые огоньки.

— Вот что я вам скажу, Ловетт, лично мне нет никакого дела до того, нравлюсь я вам или нет, — процедил он сквозь зубы, — у меня других дел в жизни хватает. И уверяю вас, дел гораздо более важных, чем вы и ваше обо мне мнение.

— Уверен, что так оно и есть. Я, в общем-то, и не настаиваю на особом месте в шкале ваших приоритетов.

— А вот и нет. В глубине души вы уверены, что на вас свет клином сошелся. Даже не пытайтесь отрицать это. А кроме того, вы уверены, что я — плебей и не достоин вашего внимания.

К нам подошла официантка, и Холлингсворт, подняв стакан, распорядился:

— Повторить. Детка, нам все понятно? — Обращаясь к девушке, он вновь расплылся в липкой, плотоядной улыбке.

Холлингсворт настоял на том, что заплатит и за эту порцию выпивки. Кроме того, он оставил официантке на чай очередной четвертак.

— До сколько ты сегодня работаешь? — спросил он ее.

— До часу.

Холлингсворт сделал вид, что задумался, а затем сказал:

— Ну ладно, значит, если я загляну сюда ближе к часу, то ты, как я понимаю, будешь ждать меня там, на улице.

Девушка пожалала плечами и недоверчиво засмеялась:

— Как знать, может быть, и подожду вас, но, по правде говоря, не знаю.

Выслушав хихиканье официантки, Холлингсворт поинтересовался:

— Когда у тебя ближайший выходной?

— Ой, еще почти неделю ждать.

Холлингсворт покачал головой:

— Ну ладно, Пюрия, так долго я ждать не могу, придется зайти за тобой сегодня.

Девушка снова захихикала и поправила собеседника:

— Все это, конечно, замечательно, вот только меня зовут не Пюрия, а Эллис.

Холлингсворт щелкнул пальцами:

— Ну да, конечно же Эллис. Я ведь не зря сразу подумал, что мы с тобой уже где-то встречались.

Все, вспомнил. Ну конечно же Эллис. Ладно, запоминай, меня зовут Эд Лерой. Будем считать, что мы друг другу представлены и что с этого момента начинается наша долгая крепкая дружба. — Всю эту белиберду Холлингсворт произнес, положив голову на стол и глядя на официантку снизу вверх.

— Ой, вы такой шутник, — побормотала она несколько смущенно.

— Это ты точно подметила. Шутить я люблю, но только запомни, шутить со мной я никому не советую. В этом смысле я человек серьезный и никакой подставы не потерплю. Поняла, к чему я клоню? — загадочно улыбаясь, спросил он.

— Я-то вас понимаю, но если я вам объясню, как я это понимаю, поймете ли вы меня? — сказала она, явно пытаясь сбить собеседника с толку.

Так, отвечая вопросами на вопросы, они проговорили еще, наверное, с минуту. В общем, к тому моменту, когда официантка отошла от нашего столика, свидание уже было назначено. Холлингсворт облегченно вздохнул и сделал хороший глоток виски.

— Лично я считаю, что никогда не следует называть девчонке свое настоящее имя, — сообщил он мне, — лишние проблемы никому не нужны.

Я ничего на это не сказал, и на некоторое время в нашем разговоре повисла пауза. Чтобы заполнить ее, Холлингсворт вытащил зажигалку и стал играть ею, время от времени любовно проводя подушечками пальцев по выгравированным инициалам. Он явно был доволен и горд собой.

— Ну и что вы теперь думаете о своем приятеле Маклеоде?

— Не могу сказать, что я о нем вообще много думаю.

Холлингсворт покачал головой.

— А я думал и, знаете, пришел к выводу, что он просто выбросил белый флаг.

Это переполнило чашу моего терпения, и я, разозлившись, оборвал Холлингсворта:

— А я пришел к выводу, что он просто издевался над вами.

Холлингсворт опять показал мне зубы.

— Надо же, как интересно и неожиданно вы представляете себе эту ситуацию.

Яростно пощелкав зажигалкой, он залпом допил остатки виски. Алкоголь явно начинал действовать на него, его зрачки еще больше сузились, но при этом в глазах Холлингсворта появился намек хоть на какое-то выражение.

— Мне кажется, вы полагаете, что знаете кое-что кое о ком в нашем доме, — с вызовом сказал он.

— Ну да, кое-что кое о ком.

Холлингсворт хихикнул и щелчком пальца отправил зажигалку по столу в мою сторону.

— Что вы скажете, если я признаюсь вам в том, что эту штучку подарила мне одна ваша знакомая?

Я посмотрел на него изумленно, явно сбитый с толку.

— Да-да, так оно и было, — заверил меня Холлингсворт, — зажигалку мне подарила наша с вами домохозяйка, прекрасно знакомая вам госпожа Гиневра. — Торжественно засмеявшись, он добавил: — Да, кстати, инициалы на ней она также заказала специально для меня.

Не без внутреннего усилия я заставил себя иронично улыбнуться и поинтересовался у Холлингсворта:

— Неужели вы снизили до того, чтобы повидаться с ней второй раз?

Холлингсворт снова сосредоточился на своей трубке.

— Я так понимаю, вы сейчас выуживаете из меня информацию. Интересно, с какой целью. — Этот упрек был брошен мне сурово и жестко с самым серьезным видом. Впрочем, долго удерживать на лице эту маску у Холлингсворта не получилось. — Должен признаться, что я провел с нашей общей знакомой несколько весьма приятных минут.

По улыбке Холлингсворта я вдруг отчетливо понял всю меру его ненависти ко мне. Не могу не признать, что среди прочих чувств, которые я испытал в ту секунду, присутствовала и доля страха. Сам Холлингсворт спокойно пыхтел трубкой, опершись локтями о стол.

Я тем временем постепенно, слово за словом, переваривал и осознавал все то, что он рассказал мне о Гиневре. Удар был нанесен сильно и в самое болезненное место. Мое тщеславие было отправлено в нокаут. Совсем плохо мне стало, когда я представил себе, как Гиневра с Холлингсвортом обсуждают меня.

Чтобы сделать мне еще больнее, Холлингсворт решил поковыряться в свежей ране.

— Да, она, кстати, мне много чего рассказывала... — Сделав паузу, он зевнул, деликатно прикрыв рот рукой. — Если разобраться, то она ведь просто несчастная баба и во многом обязана этим жалким существованием не кому-нибудь, а своему мужу. По правде говоря, я очень, очень ей сочувствую.

Я покрутил в руках стакан, в котором еще плескались остатки пива — на дюйм от дна, не больше.

— Да, занятная они с мужем семейная парочка, — продолжил развлекать меня Холлингсворт. — Признаюсь, я был удивлен, когда узнал, кто ее муж.

— Она что, познакомила вас? — не слишком любезно осведомился я.

Холлингсворт помолчал, словно раздумывая над тем, какую версию событий предложить моему вниманию.

— Нет, — сказал он наконец, — я сам это выяснил. Как-то раз случилось мне заглянуть к ним в окно — совсем поздно, ближе к ночи, — ну и, увидев то, что мне было нужно, я сумел

наконец восстановить полную картину. В общем, теперь мне с ними все ясно.

— Я так понимаю, вы за ними подсматривали и следили?

Я понимал, что веду себя как муж-рогоносец и вижу все, что происходило между мной и Гиневрой, в оскорбительном свете. Больше всего задело меня то, что она сама предлагала мне следить за Холлингсвортом.

— Я так понимаю, по-другому выяснить эти подробности у вас не было возможности?

— Может быть, пойдём отсюда? — неожиданно предложил Холлингсворт, злорадно ухмыляясь.

— Согласен. Пойдем выйдем на улицу.

Со стороны мы, наверное, были похожи на двух мальчишек, толкающих и оскорбляющих друг друга перед дракой.

— Пойдем, — согласился он.

Двигаясь преувеличенно тяжело и неторопливо, мы встали из-за стола и вышли из бара — один за другим. По улице мы шли рядом, но при этом старались поддерживать дистанцию хотя бы где-то в ярд друг от друга. Некоторое время мы оба молчали. Шли мы достаточно быстро, и по нашему дыханию, равно как и по выражению лиц, любой посторонний человек мог бы понять, в каком напряженном состоянии пребывает каждый из нас. У входа в наш дом мы оба, словно в нерешительности, остановились. Мое сердце бешено билось. Я понимал, что это глупо, но уходить просто так мне не хотелось. Чтобы спровоцировать друг друга на дальнейшие действия, мы с Холлингсвортом повторили ту формулу, которой уже имели возможность воспользоваться в тот вечер.

— Ну что, пойдём?

— А давай.

Как щенки, дерущиеся из-за кости, мы наперегонки потянулись к звонку и нажали кнопку.

Я стоял молча и старался успокоить дыхание.

Я не слышал, но скорее чувствовал, как где-то там за дверью рубежи защиты падают один за другим.

Наконец до моего слуха донесся звук шаркающих шагов, и над нашими головами в квартире под лестницей зажегся свет. Вскоре появилась и Гиневра. Она приоткрыла дверь — как всегда, оставив лишь маленькую щелочку — и уставилась на нас.

— Твою мать! — заорала она во весь голос. — Какого хрена вам, козлам, нужно?

Невзирая на крики, Холлингсворт оттолкнул Гиневру к стене и ворвался в квартиру. Она бросилась вдогонку и повисла у него на плечах, осыпая градом ударов своих весьма увесистых кулаков.

— Да кто вас сюда звал, как у вас только наглости хватает! — орала она на нас обоих.

Судя по интонациям Гиневры, она не на шутку перепуталась и защищалась скорее от отчаяния, не рассчитывая всерьез оказать сопротивление ворвавшимся в ее квартиру мужчинам. Вообще, со стороны ее борьба с Холлингсвортом напоминала сцену в борделе: мадам тщетно пытается выставить из своего заведения последнего припозднившегося и здорово напившегося посетителя. Я и сам не понял, как мы втроем оказались в гостиной и остановились посреди комнаты, тяжело дыша и обмениваясь не самыми любезными взглядами.

— Твою мать, сукин ты сын, — продолжала повторять Гиневра.

Холлингсворт схватил ее за руку и в приказном тоне потребовал:

— Ладно, веди его сюда. Веди сюда.

— Кого вести?

— Давай не дури, веди сюда своего мужа. Я хочу, чтобы его все видели.

Только сейчас я понял, что Холлингсворт действительно сильно пьян. Он был бледен,

пряди волос прилипли к его потному лбу, зато глаза сверкали, словно разогретые изнутри перегоравшим в организме алкоголем.

— Я сказал, веди его сюда! — прорычал он.

— Пошел вон отсюда! — прокричала в ответ Гиневра.

Холлингсворт с размаху ударил ее ладонью по лицу. Силы удара оказалось достаточно для того, чтобы женщина пошатнулась и рухнула спиной прямо в кресло. Ее халат распахнулся, открыв нашим взглядам пышное тело. Почувствовав себя и физически и морально раздетой, Гиневра на миг затихла и поспешно подобрала полы халата в приступе отчаянной скромности. Затем она прижала ладонь к щеке, на которую пришелся удар, и — замерла. Ощущение было такое, что она находится на грани обморока. С моей точки зрения, в такой ситуации она могла кричать, могла проклинать нас, могла плакать, могла, в конце концов, снова броситься на обидчика с кулаками. Но Гиневра, бледная как полотно, продолжала сидеть неподвижно.

— Прекратите это немедленно! — словно очнувшись, закричал я. У меня было ощущение, что я сам вот-вот расплачусь.

Появившаяся неизвестно откуда Мониная потянула меня за руку куда-то в сторону. С ужасом созерцая то, что происходит в комнате, она направилась к двери, увлекая меня за собой.

— Я покажу тебе папу, я покажу тебе папу, — нараспев повторяла она.

Я понятия не имел, куда меня ведут. Гиневра и Холлингсворт остались у меня за спиной. По-моему, они так и смотрели неподвижно друг на друга — ни дать ни взять два диких зверя, готовых сцепиться в смертельной схватке. Выбора маршрута у меня не было: Мониная привела меня напрямиком в спальню. Перешагнув порог, она отпустила мою руку и стремительно перебежала в дальний угол комнаты. В ту же секунду оттуда послышался ее залиvistый, похожий на звон колокольчика голосок.

— Это папа, а это дядя Лафет. Папа, дядя Лафет.

Человек, которому, как я понял, мне предстояло

пожать руку, находился в темном углу комнаты, но я почему-то сразу догадался, с кем меня собрались познакомиться. Одного шага вперед ему хватило, чтобы оказаться на свету. Лоб его был покрыт испариной, а на лице застыла глуповатая улыбка человека, которого неожиданно налетевший противник застал со спущенными штанами. Сухо, без лишних эмоций он сказал:

— Ну вот, Ловетт, ребенок-то меня и выдал.

Глава четырнадцатая

Улыбка сошла с его лица. Губы поджались, и от виновато-глуповатого вида не осталось и следа. Глухим бесцветным голосом он сказал:

— Ну, раз уж вы нашли отца семейства, не пытайтесь больше превратить это самое семейство в бордель.

После этого мы оба некоторое время молчали.

— Маклеод, — словно выдохнул я наконец.

Мне сразу же захотелось очень многое сказать ему — что я очень виноват перед ним, что я очень сожалею о том, что произошло, — но почему-то мне никак не удавалось заставить себя говорить. Я развернулся и молча пошел к двери в прихожую. Причем я был уверен в том, что Монина провожает меня взглядом, но при этом крепко прижимается к ногам отца.

На мгновение я задержался в гостиной. Холлингсворт уже ушел, а Гиневра так и сидела в кресле, вытянув руки и ноги, отчего ее поза казалась несколько неестественной. На побледневшей коже лица явственно проступал синяк — след от удара Холлингсворта. Выглядела Гиневра обессиленной и беззащитной.

— Ну за что, за что мне все это? — негромко простонала она, глядя в потолок. Нос ее при этом так же торчал вертикально вверх. Я понял, что это зрелище — не для меня, и поспешил выйти из комнаты.

Второй раз за вечер я оказался у тех же железных перил на краю обрыва, с которого открывалась панорама на доки и пролив. Я довольно долго простоял там, прислонившись к железной опоре и разглядывая гавань с высоты птичьего полета. В это время в моем теле и мозге происходила сложная реакция — переваривание и усваивание выпитого алкоголя, впечатлений от нескольких часов, проведенных с Холлингсвортом, и чудовищного скандала в квартире Гиневры. Не стану рассказывать о том, как меня мутило, как ныли все кости и как кружилась голова, — есть что-то жалкое и комичное в подобных перечислениях. Достаточно сказать, что я чувствовал себя совершенно разбитым, а кроме того, я прекрасно осознавал, что с таким трудом выстроенная мною картина мира в одно мгновение разрушилась и что мне придется начинать все сначала.

Итак, Гиневра Маклеод.

Я стоял на краю обрыва и смотрел на отражение грязной луны в воде. Господи, неужели это было только сегодня, спросил я себя, вспомнив список новостей из утренней газеты. Где-то женщина убила своих детей, где-то было объявлено, что одна из голливудских звезд прилетает из Калифорнии в какую-то глушь, чтобы совершить обряд бракосочетания в деревенской церквушке на вершине какого-то там холма. На одной из крыш был найден и схвачен отощавший от голода мальчишка, сжимавший в руках заряженную винтовку. Курок нажат, и по улице разносится эхо выстрела. Я вполне мог представить себя на месте этого мальчишки. Более того, я его уже возненавидел, возненавидел за то, что он не то не выстрелил, не то промахнулся.

Тяжело и гулко ступая по еще мягкому после дневной жары асфальту я возвращался домой. По правде говоря, я не слишком удивился, увидев Маклеода на ступенях парадной лестницы. Он сидел с сигаретой в руке, положив локти на колени. Я кивнул ему в знак приветствия, внутренне надеясь, что он не станет задерживать меня. Больше всего на свете я хотел пройти мимо него, не начиная разговор, подняться к себе в комнату и завалиться спать. Вскинув руку в воздух, Маклеод дал понять, что хочет поговорить со мной.

— Присаживайтесь, — сказал он, — поболтать не хотите?

Я покорно пристроился на ступеньке рядом с ним. Маклеод продолжал разглядывать

фонари на нашей улице и сточную канаву, проходившую вдоль тротуара. Ощущение было такое, что он просто отдыхает после тяжелой работы, наслаждаясь вечерней прохладой, постепенно вытеснявшей со стороны порта дневную духоту. Несколько минут мы просидели молча.

— Публичные дома, — вроде бы ни с того ни с сего объявил Маклеод, — лично я нахожу их существование полезнейшим явлением. Вы, Ловетт, кстати, об этом никогда не задумывались?

— Нет.

— Рекомендую. Лично я насмотрелся на таких, как вы, валявшихся в стельку пьяными на полу в борделе. Есть что-то такое, какое-то особое желание, которое мужчина может удовлетворить только в публичном доме. Совокупление без какого бы то ни было эмоционального напряжения — для среднего человека с улицы это и есть удовлетворение желания в самом чистом виде.

Он засмеялся, глядя по-прежнему куда-то перед собой. Сигарета так и осталась при этом в уголке его рта. Судя по всему у него в голове в эти секунды выстроилась очередная логическая конструкция, и он, словно желая поправить самого себя, чуть поморщился и негромко сказал:

— Ладно, не обижайтесь. Давайте лучше прогуляемся.

Я послушно последовал за ним, стараясь подстроиться под его широкий шаг. Шли мы быстро, словно стараясь таким образом избавиться от преследовавшего нас обоих чувства неловкости. Вскоре мы оказались у Бруклинского моста. Маклеод, судя по всему, вознамерился пройтись по нему, и я покорно поплелся следом. С моря поднимался густой туман, сквозь который приглушенно мелькали неоновые вывески на крышах и освещенные окна в бизнес-центрах. Из гавани доносились гудки пароходов, и машины, пронесившиеся в обе стороны по мосту, были бы совсем не видны в этой плотной пелене, если бы не зажженные фары.

— А ведь нравится она Холлингсворту, очень нравится, — заявил Маклеод после долгого молчания.

— Вы так думаете?

— Просто уверен, и я, в общем-то, понимаю, на чем основывается эта симпатия и увлеченность.

Я попытался рассмотреть, с каким выражением на лице говорит он эти слова, но вокруг нас было слишком темно.

— Что вы теперь будете делать? — спросил я.

— Глупый вопрос, Ловетт. Неужели вы думаете, что я, как зеленый сопляк, буду всерьез переживать по поводу того, что мое сексуальное самомнение вроде бы должно было оказаться уязвленным? Слушайте, неужели вы думаете, что это произошло ни с того ни с сего? Уверяю вас, все, свидетелем чему вы оказались сегодня, так или иначе готовилось уже несколько лет. — Он почесал подбородок. — Не постесняюсь признаться, что порой я месяцами мечтал лишь об одном — чтобы нашелся наконец какой-нибудь герой-любовник, у которого хватило бы желания, да и смелости, отбить ее у меня. Видите ли, мой друг, так уж получилось, что я обладаю аналитическим складом ума, кроме того, я умею извлекать пользу из любого жизненного опыта, даже самого негативного. Я — человек думающий. Более того, на очень многое в этой жизни мне попросту наплевать.

— Тогда почему вы не ушли от нее?

— А, вы об этом... — махнул он рукой. — Если честно, я, наверное, и сам не знаю. Во-первых, я не уверен в том, что это будет единственно верным поступком, а во-вторых, мне просто хотелось дождаться финала — как в кино, когда хочется узнать, чем все кончится.

— По-моему, это как-то неестественно, — возразил я.

— Естественно — неестественно, — передразнил он меня. — Слушайте, Ловетт, вы ведь счастливый человек. Над вами не довлеет груз прошлого, упакованный в багаж воспоминаний. Скажите, на кой черт вам тогда тащить с собой по жизни все условности и лживые приоритеты, которые нагромозило для себя быдло, именуящее себя средним классом? Пока не поздно, научитесь разбираться в себе — отличать собственные желания от того, что относится к царству политически обоснованных возможностей и вероятностей.

— Вы, как я понимаю, в этом преуспели, — съязвил я.

— Я так понимаю, — сказал он, хватая меня за плечо, — что у вас мог возникнуть вполне резонный вопрос: почему я не вытолкнул Холлингворта в шею из моей квартиры? Я вам объясню. Где-то когда-то, точнее не скажу, была совершена ошибка, в результате которой некоторые люди и организации пребывают в уверенности, что я знаю что-то важное или же тайно обладаю какими-то предметами, которые в определенном смысле представляют собой немалую ценность. Пока они не разберутся, что это не так, покоя мне не будет. Пойти на поводу у собственных вполне естественных порывов — я имею в виду желание набить морду мистру Х. — обошлось бы мне очень дорого. Уверяю вас, со мной рассчитались бы сполна, и с лихвой. Ну что, теперь понятно? Я просто рассуждаю логически и решаю, как поступать в той или иной ситуации, спокойно взвешивая практический смысл любого своего действия.

— Что-то вы не выглядели в тот момент спокойно рассуждающим и безразлично относящимся ко всему происходящему.

— А я и не пытался скрыть своего страха. Причем, уверяю вас, бояться мне было чего, и испугался я сильнее, чем вы могли бы подумать.

— Так из-за чего все это случилось? Чего вы так боитесь? — спросил я его напрямую.

Маклеод не ответил на мой вопрос.

— Я рассматриваю реальные возможности, пытаюсь просчитать ситуацию и действую в границах того пространства, которое оставляют мне сложившиеся обстоятельства. — Маклеод настойчиво повторял свои теоретические выкладки. — Учитывать такие критерии, как нравится — не нравится, в подобных ситуациях было бы непростительной роскошью.

Мы миновали одну из арок в главной опоре моста. Здесь на самом краю тротуара, нависавшем над проезжей частью, я заметил человека, внимательно разглядывающего открывавшуюся перед ним панораму ночного города. Подойдя ближе, я понял, что это не то бомж, не то просто алкоголик, который добрался сюда из какой-нибудь дешевой забегаловки на улице Баори и теперь намеревается избавить организм от излишков алкоголя, завершив круговорот жидкости в природе. В тот момент, когда мы поравнялись с ним, его вывернуло наизнанку, после чего он, цепляясь за перила, опустился на колени, а затем и вовсе лег на тротуар. Как ни странно, выглядел он при этом не омерзительно, а даже в некотором роде мило. Подложив руку под щеку, он так и остался лежать, созерцая пролив и город. Туман становился все плотнее.

Я наклонился к нему, но понял, что говорить с этим человеком сейчас бесполезно: он уже спал. Из его носо-глотки вырывался раскатистый довольный храп.

— Надо бы как-то ему помочь.

— Лучшее, что мы можем сделать, — оставить его в покое, — сказал Маклеод, — посмотрите на него, он же счастлив. — Встав рядом с уснувшим пьяницей, Маклеод посмотрел куда-то вдаль. По-моему, на мигающий сигнальный прожектор на крыше одного из небоскребов. — Знаете, Ловетт, я вдруг вспомнил, что лет двадцать назад проходил по этому мосту и едва ли не здесь же, под этой аркой, наткнулся на алкоголика, тихо-мирно спавшего на тротуаре. Все было точь-в-точь как сегодня. — Маклеод провел указательным и большим пальцами по переносице, а затем стал сильно сжимать их, словно доил себя за нос.

— Как вы думаете, сколько мне лет?

— Вы сами сказали, что сорок четыре.

— Признаюсь, соврал. Мне уже около пятидесяти. А в двадцать один я вступил в партию.

— Я полагаю, в коммунистическую?

Он кивнул.

— А в сорок лет я из нее вышел. Все как в обычной жизни. Женился не на той женщине и прожил с ней девятнадцать лет.

— Долго же вы шли к пониманию своей ошибки, — заметил я. — Позвольте полюбопытствовать, какой у вас статус на данный момент.

Маклеод внимательно посмотрел на меня.

— Наверное, можно определить его так: я в чем-то симпатизирую им, но не более того. Причем симпатии мои — чисто теоретического плана, никакого активного участия в политической жизни я не принимаю. Все, хватит. Записывайте меня в пенсионеры. Никакой политической борьбы в моей жизни больше не будет. — Договорив это, Маклеод почему-то фыркнул от смеха.

— Тогда почему Холлингсворт достает вас?

— Кто его знает, кто его знает.

Мы остановились, и Маклеод стал рассматривать переплетение балок моста.

— Видите ли, были времена, — сказал он совершенно будничным тоном, — когда я занимал в партии не последнее место. Может быть, именно поэтому кое-кому интересно, что творится в голове у Билла Маклеода, а кое-кто и вовсе жаждет его крови.

— И насколько же важным было ваше положение в этой организации?

Вероятно, я зашел слишком далеко. Маклеод посмотрел на меня и холодно ответил:

— Все это записано в бесчисленных досье, заведенных на меня в самых разных организациях. Можете просто взять папочку и ознакомиться с документами.

— Интересно, как это я «возьму папочку»?

Маклеод вновь зашагал по тротуару.

— Кто его знает, может быть, у вас и вправду нет доступа. Со стороны ведь сразу и не разберешь. Вы поймите, поверить кому-то — очень трудно... Я и сам порой себе не верю. И не думайте, что я говорю это просто так, для красного словца. — Маклеод начал насвистывать одну и ту же музыкальную фразу из какой-то песенки.

Я был в ярости. Опираясь на обрывки знаний по интересовавшей меня теме, я, поражаясь сам себе, вступил с Маклеодом в жаркую полемику.

— Вы были членом этой организации почти двадцать лет, — обвиняющим тоном заявил я, не переставая внутренне удивляться тому, сколько сюрпризов преподнес мне этот затянувшийся летний вечер. — Судя по всему, приняли вас в партию не сразу, а значит, вы провели с этими людьми даже не двадцать лет, а больше. И после этого вы говорите, что по-прежнему сочувствуете им. Да что же вы за человек такой? А как же... Как же коллективизация, голод... И... Еще... — Я вывалил на собеседника все, что знал, все свидетельства обвинения и все отягчающие обстоятельства. Я припомнил ему и чистки, и пакты, и перегибы в классовой борьбе... Слова срывались с моих губ легко и свободно, я почти не задумывался над тем, что говорю. У меня было ощущение, что я долгие годы прожил в доме, одна из комнат которого была всегда заперта. Открыв эту дверь, я обнаружил за нею полностью обставленное мебелью помещение. — В конце концов, — выдал я напоследок, — они же вывернули социализм наизнанку, поставили все с ног на голову. Они извратили...

— Слушайте, молодой человек, — перебил он меня на полуслове, — я никогда не писался от восторга по поводу одной далекой страны, той самой, на которую вы намекаете. Все, что вы

мне перечислили, я и без вас знаю. Причем, уверяю вас, знаю гораздо лучше. Мне известно, что там творится и как это все выглядит с точки зрения десятков миллионов таких как вы. Вот только... Вы хотя бы раз задумались над тем, какие усилия нужно приложить, чтобы хоть немного помочь крестьянину выбраться из той грязи и нищеты, в которой он привык прозябать?

Я просто дрожал от негодования:

— Не нужно рассказывать мне о том, сколько крови надо пролить, чтобы замешать на ней тонну цемента. Если бы вы действительно были теоретически подкованы...

Маклеод неожиданно остановился и посмотрел на меня с невеселой улыбкой на лице.

— Это у вас нет никакого опыта в политике — ни теоретического, ни практического. Политика для вас штука скучная. Согласитесь, я ведь угадал? И я уверен, что все, что вам известно по этой проблеме, вы почерпнули не из личного опыта политической борьбы, а из какой-нибудь книги.

— Если честно, я действительно не знаю, откуда мне все это стало известно, — с неохотой признался я, ощущая, как моя спина покрывается испариной от напряжения — настолько мне хотелось вспомнить, когда и как в моей памяти отложились все эти мысли и сведения.

— Пока что, исходя из того, что я от вас слышал, — сказал Маклеод, — я могу определить вас в разряд жалких мелкотравчатых левых уклонистов. А вы теперь должны припомнить мне в качестве упрека какого-нибудь своего друга, которого наши люди убили там, во время гражданской войны в Испании.

— А что, может, так оно и было, — недовольно произнес я.

— Вполне возможно, причем возможно, что и не одного, а дюжину. Что же касается нашего спора, то я бы предложил вам задуматься над тем, что не я, а вы и вам подобные не обладаете достаточными теоретическими знаниями, чтобы аргументированно отстаивать свою позицию. Да что вы знаете об истории? Она же для вас — манная каша, омерзительное безвкусное варево. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько революционеров должны отдать свои жизни, чтобы сделать простого человека хотя бы чуть-чуть более свободным — свободным в первую очередь внутренне? — Маклеод выпустил сигаретный дым прямо мне в лицо. — Вы хотя бы знаете, что такое настоящая, большая мечта и что такое боль, которую испытываешь, когда осознаешь, что этой мечте на твоём веку не суждено сбыться?

— Вы сами унизили свою мечту, сами от нее отступились.

— Это все временно, временно. Предсказать ход истории невозможно, мы можем лишь попытаться ее предвидеть. А вы ведь даже не понимаете ни что такое преимущество государственной собственности на средства производства, ни возможности, которые открываются перед обществом, избавленным от противоречий классовой борьбы.

К этому времени мы уже почти кричали друг на друга.

— Госсобственность, говорите? Вот уж точно — великое благо, особенно для класса бюрократов, который существует и жирует за счет других. Хорошо живет тот, кто владеет средствами производства или хотя бы распоряжается ими, разве не так?

— Как же вы привязаны к стандартным формулировкам! — парировал Маклеод. — А как же насчет работы по созданию нового человека? Естественно, в нашем обществе, если его не изменить коренным образом, такой способ производства невозможен. Но нельзя презирать людей только за то, что они такие, какие есть. Нельзя унижать бюрократа или любого госслужащего за то, что он работает на своем месте.

— Ничего у вас не получится. Многого они там добились за двадцать лет? И к чему у них все это пришло?

— Давайте-давайте, — с ухмылкой на губах сказал Маклеод, — расскажите мне сказку про старых большевиков, о том, как их всех расстреляли, и о том, как всю страну загнали в трудовые

лагеря.

Я чуть было не потерял контроль над собой и поймал себя на том, что уже схватил Маклеода за плечо.

— Слушайте, я не хуже вас знаю, что эта революция была величайшим событием в мировой истории, и если бы она не осталась зажатой в рамках одной страны, если бы она распространилась по всему миру..

— Ну, как мы знаем, этого не произошло.

— Да, не произошло, — согласился я, — можно считать, что она умерла. И вот с тех пор как это случилось, весь мир стали сотрясать все более глубокие кризисы. К чему все это привело? Да к тому, что теперь кроме как бюрократу некому и заняться воспитанием, как вы изволили выразиться, нового человека. Вот оно — мерило поражения идеи и революции: чиновник, бюрократ получил неограниченную власть над людьми.

Маклеод снова зашагал по мосту. Когда он опять заговорил, его голос звучал совсем иначе — намного тише и почти дружески.

— Похоже, что кое-какая теоретическая подготовка у вас все же есть, — произнес он тоном директора школы, — вот только к чему вас это приведет?

— Ни к чему.

Маклеод кивнул, вроде бы собрался что-то сказать, но затем передумал. Тем не менее в следующий момент он, как будто не в силах сдерживать накопившиеся слова и мысли, вдруг хрипло выкрикнул:

— Но ведь все кончено, и они об этом прекрасно знают!

Ощущение было такое, что эти слова, произнесенные наконец вслух, оказались для него тяжелым ударом. Он вздрогнул и неожиданно крепко схватил меня за руку.

— Понимаете, Ловетт, меня столько лет разыскивали как неженатого. Потом мне показалось, что они начали искать меня среди женатых. Вот я и устроил весь этот маскарад. Теперь, конечно, это уже неважно. А впрочем, я все равно не мог знать наверняка, по каким критериям меня ищут. Важно другое: меня нашли, меня вычислили, а я даже не знаю, кто это сделал. Пока не знаю.

Судя по всему, ему стало нехорошо. Его рука дрогнула, а пальцы на миг изо всех сил впелись в мою ладонь. Затем он отпустил меня и сказал:

— Похоже, я начинаю заговариваться. Давайте на время отложим нашу политическую дискуссию. — Он перевел дыхание и в очередной раз сменил тональность разговора. Теперь он обратился ко мне буднично, как будто желая просто поболтать о всяких пустяках: — Скорее всего, я не внушаю такую же симпатию, как тот Новый Иерусалим, который я пытался вам описать. Наверное, лучше было не пускаться в объяснения, а наоборот — порасспросить вас поподробнее, узнать вашу точку зрения. Вы ведь не самый политически активный гражданин, я правильно понял?

Я покачал головой:

— Борьбаться — безнадежно.

— Что, время революций прошло? — спросил он. — Пытаться продолжать борьбу означает лишь подогревать миф?

— Ну, наверное, что-то в этом роде.

К этому времени туман немного рассеялся, и мы даже разглядели громады небоскребов на фоне ночного неба.

— Значит, вы принимаете те условия, в которых мы сейчас существуем?

— Я их не принимаю. Я всего лишь признаю, что иного на данный момент нам не дано. Ничего лучшего я в обозримой перспективе не вижу, а сейчас я по крайней мере могу снять себе

угол и спокойно работать над книгой.

— Это на данный момент.

— Да, на данный момент, — согласился я.

— И вы, конечно, знать не хотите, что экономические условия, благодаря которым вы можете спокойно писать книгу, основываются на жесточайшей эксплуатации трех четвертей населения земного шара. Вы и слышать не хотите о том, что уровень жизни рабочего в нашей стране зависит от нищеты китайца и голода африканца.

— Борьба бесполезно, — повторил я.

Маклеод кивнул:

— Ладно, давайте на этом и остановимся. Мне просто было любопытно, в какой мере вы владеете политической терминологией. Кроме того, я бы рискнул напомнить вам, что ваши личные проблемы вовсе не являются проблемами всего человечества, но при этом ваше личное душевное состояние во многом определяет ваши политические взгляды. Впрочем, я думаю, мы с вами еще и поговорим, и поспорим вволю. — Просвистев пару раз все ту же музыкальную фразу, он добавил: — Разумеется, когда у меня вновь появится досуг и возможность распределять его по своему усмотрению.

Хлопнув меня ладонью по спине, он примирительным тоном сказал:

— Мы ведь с вами всего лишь два маленьких зернышка, которые вот-вот попадут в жернова и станут мукой. Давайте же не ссориться понапрасну.

Мы подошли к троллейбусной остановке у въезда на мост. В свете уличного фонаря я лучше разглядел лицо Маклеода. Меня поразило, насколько человек может измениться буквально за один вечер. Лицо Маклеода осунулось и посерело. Его лоб был покрыт испариной, а обычно гладко причесанные волосы растрепаны.

— Вы себя нормально чувствуете? — спросил я.

— Терпимо, — ответил Маклеод и вдруг по-дружески пожал мне руку: — Спасибо за интересный разговор. Только пообещайте, что не будете винить во всех бедах нашего мира скромного чиновника — бюрократа, к тому же вышедшего на пенсию. — Он снова усмехнулся. — А сейчас, с вашего позволения, я бы еще прогулялся, но уже один. Мне нужно кое о чем подумать.

— Вы, главное, зря не переживайте, — пробормотал я не слишком уверенно.

— Да уж постараюсь. — Он поднял руку, словно в шутку отдавая мне честь, и пошел дальше по темной улице.

Я же направился в сторону дома, через мост.

Путь домой занял несколько больше времени, чем я предполагал. В пылу спора я не заметил, как мы дошли до моста. А теперь, возвращаясь, я понимал, что именно этот разговор — бесполезный, подобный тысячам других — и измотал меня вконец, потребовав от меня с непривычки огромных усилий. Сколько лет я так не спорил? И ведь к чему все эти муки, если подлинный, сокровенный смысл происходящего все равно ускользал и от меня, и от моего собеседника.

Ко мне вдруг вернулись обрывки не то видений, не то воспоминаний: я снова был подростком, а значит, дело было еще до войны. Оказывается, я состоял в небольшой организации, выступавшей за мировую революцию под руководством рабочего класса. Впрочем, после серии неудач, сопровождавших наши акции, мы пришли к тому, против чего, собственно, и собирались бороться: наша организация была забюрократизирована до невозможности. Мы назначали ответственных буквально за все. В основном за ту или иную часть народа, которую нам так и не удавалось поднять на активную борьбу за свои права. Я был самым юным из членов организации, и моей увлеченности общим делом остальные могли только позавидовать.

Революция, казалось, должна была начаться уже завтра, капитализм доживал свои последние дни. Всеобщий кризис приближался с неотвратимостью готового вот-вот сработать часового механизма. Но ничто, даже этот чудовищный секундомер, не могло угнаться за частотой, с которой билось мое сердце. Во главе нашей организации стоял великий человек, подлинный лидер. Я перечитал практически все, что он успел написать, и со рвением неопита внимал каждому слову в его секретных посланиях, которые он переправлял нам из своей тайной штаб-квартиры в Мексике. Из всех учеников, посещавших занятия нашего теоретического кружка, я был самым страстным его поклонником. Те полгода — зиму и весну — я прожил интереснее, чем любой другой год своей жизни. Постепенно грань между воображаемым и реальным в моем мозгу стала стираться. Дело дошло до того, что, завидев конного полицейского, я мог представить себе совершенно иную картину: петроградский пролетариат, рвущийся к вечной славе под копытами казачьей лошади; пьяный солдат, ехавший в трамвае, смешивался в моих снах с тем же солдатом, только в другой форме. Воодушевленный революцией, он с размаху бил кулаком в лицо офицеру и кричал: «Равенство! Ты подлый эксплуататор, никогда не поймешь меня, но я сумею тебе втолковать: мне нужно равенство, только равенство». Не было еще в истории революции более грандиозной по масштабам, не было города более славного, чем Петроград, а я в тот недолгий период жизни, который запомнился мне навсегда, храбро встречал все трудности и испытания, начиная с зимней стужи и летних мух с комарами где-то под Выборгом. Меня согревало изнутри осознание того, что по всей огромной стране, ставшей в этом придуманном или приснившемся мне прошлом моей второй родиной, пылает пожар революции. Мы голодали, но при этом допьяна упивались вином свободы и равенства. Мы были уверены в том, что наша революция зажжет такой же пожар в других странах. Что через год, нет, через неделю мы — огромный невежественный гигант — оседлаем землю и перестроим мир таким образом, что в нем всем — каждому из наших братьев — хватит и еды, и любви.

Пройдет два с лишним десятка лет, и я вновь увижу этот сон — во всей его ясности. Вот только к тому времени я пойму, что мне уже никогда не выбраться из паутины организации, в создание которой я вложил столько сил. Я уже буду знать, что революционный порыв угас, что мировая революция не состоялась, что революционеров предали, нашего вождя репрессировали, что эти двадцать лет сжались буквально в одну минуту. Я же по-прежнему буду ждать, что сработает когда-то заложенная мною бомба с часовым механизмом и что рано или поздно люди вновь выйдут на улицы, воздвигнут баррикады и одержат победу — ту самую победу, которая измеряется одним критерием — равенством всех людей на земле.

Этот сон наяву свалился с моих плеч, как тяжкая ноша, и скатился куда-то вниз — к самому берегу залива. Шрам на моей спине вновь дал о себе знать старой, уже привычной болью. В тот вечер все вокруг изменилось. Превозмогая головную боль, я медленно брел домой.

Глава пятнадцатая

Спустившись к опоре моста, я решил посидеть на скамеечке в небольшом, пустынном в этот час сквере с бетонными дорожками и чахлыми низкорослыми деревцами. Час был поздний — явно хорошо за полночь, — но время от времени мимо меня проезжали машины, дребезжавшие подвеской на булыжной мостовой. Из ночного бара на противоположной стороне улицы вышел в стельку пьяный человек, который исполнил что-то вроде медленного танца вокруг урны и столь же неспешно и неуверенно пошел куда-то прочь и скрылся в темноте в глубине улицы. На одной из ближайших ко мне скамеек устроился спать бездомный старик.

Где-то вдалеке — судя по приглушенному ночной мглой звуку — пронесся поезд наземного метро. Я даже услышал, как он замедляет ход перед станцией и его колеса все реже пересчитывают стыки рельсов. На мгновение мне даже захотелось оказаться в вагоне и прокатиться вдоль всей линии — от центра города к окраинам. Я бы увидел негритянские трущобные кварталы, где дети спят на площадках пожарных лестниц. Они ворочались бы во сне и вздрагивали при приближении очередного грохочущего поезда. Может быть, они даже бормотали бы сквозь сон что-то нецензурно-неодобрительное в адрес метро, как артиллеристы, дремлющие у своих гаубиц, после того как дали ночной залп по позициям противника. Ну а из окон четвертых этажей, находящихся на одном уровне с эстакадой железной дороги, на поезд смотрели бы негритянки. Уперев руки в подоконник, они провожали бы пронсящиеся мимо вагоны грустными, преисполненными усталости взглядами.

Я стал присматриваться к тем немногим полуночникам, которые оказались в сквере в одно время со мной. Ярдах в пятидесяти от меня, не дальше, на скамейке лежала девушка. Я специально решил пройти мимо нее и, когда поравнялся со скамейкой, вздрогнул от удивления. Это была Ленни. Ошибиться я не мог: ее лицо было неплохо освещено уличным фонарем. Ленни лежала на боку, вытянув ноги и подложив ладонь под щеку. Мне почему-то показалось, что она лежит вот так неподвижно уже довольно давно.

Я медленно подошел к ней, стараясь не шуметь и не делать резких движений — просто для того, чтобы не напугать вздремнувшую девушку слишком бесцеремонным вмешательством в ее жизнь.

— Ленни, — негромко позвал я.

Она медленно открыла глаза, согнула ноги и, потянувшись, перетекла из лежачего положения в сидячее. В первый момент она, судя по ее взгляду, не узнала меня.

— А... Майки. — сказала она наконец и провела ладонью по лбу, — извини, даже не сразу поняла, что это ты. Присаживайся. Я так рада тебя видеть, честное слово. Мне было очень одиноко.

— Як тебе уже заходил, хотел повидаться, — признался ей я, — но не застал тебя дома.

Ленни безучастно кивнула.

— Я решила прогуляться, и похоже, прогулка несколько затянулась. — Она похлопала меня по нагрудному карману: — Дай сигарету!

Я вставил сигарету ей в рот и зажег спичку. Ленни вряд ли смогла бы безошибочно совершить эти элементарные действия с первого раза. Я сразу же обратил внимание на то, насколько сильно дрожат у нее руки. Она глубоко затянулась, а затем плавно выпустила дым изо рта. Ее дыхание было столь слабым, что дым так и закрубился перед ее лицом.

— А сколько сейчас времени? — спросила она.

— Почти час.

— Так поздно? — Ленни как-то невесело усмехнулась. — Интересно, что я делала все это

время, на что потратила несколько часов. Да после такого вечера меня завтра пушкой не разбудить будет.

— А как же работа?

— Работа? Ну и что, что работа. Все равно она мне не нравилась. — Наклонив голову набок, Ленни пояснила: — Если уж так хочешь знать, меня еще с утра уволили.

— Что-то я тебя не совсем понимаю...

— Уволили, что тут непонятного. — Пожав плечами, Ленни продолжила: — Меня вызвал к себе мистер Раммелсби и сказал, что на меня жалуются. Говорят, что я плохо работаю. Ну я и сказала ему, что сама уйду, не дожидаясь увольнения, потому что терпеть не могу доносы и интриги. В общем, к вечеру я уже была свободна как птица. Завтра с утра никто не сможет заставить меня встать и пойти на работу. Завтрашнее утро принадлежит только мне.

— Зачем же ты говорила, что работаешь?

— Понимаешь, очень уж ты человек серьезный и обстоятельный. Начни я с того, что у меня работы нет, и ты мое поведение совсем не одобрил бы.

Неожиданно я вдруг осознал, что Ленни одета в пижаму, ту самую, которую она при мне доставала из сумки. Пижамы была сшита из хлопчатобумажной ткани, которая свободными складками наматывалась на ее тело. Сама пижама явно была как минимум на размер больше, чем нужно. Кроме того, она была до невозможности мягкой. Прическа Ленни, кстати, тоже оставляла желать лучшего. В столь потертом обрамлении терялись и стирались даже достаточно тонкие черты ее лица.

— Нравится тебе моя пижама? — спросила она меня.

— Да нет, я просто так смотрю.

— А я от нее просто в восторге, мне в ней так удобно. Шла я тут по улице и вдруг поняла, что если захочу, то могу сбросить ее и идти дальше абсолютно голой.

Я изложил ей свои соображения по поводу неосуществимости подобной затеи:

— Для начала тебя просто арестовали бы прямо на месте. Сделал бы это первый же полицейский, встретившийся тебе по дороге. Странно, что тебя не арестовали, даже когда ты гуляла в таком виде, в пижаме.

— Не имеют права. Я сразу же заявила бы полицейскому: «Сэр, это пляжная пижама, под которой на мне надет полный комплект белья. Если вы мне не верите, можете раздеть меня — хоть догола. Но надеюсь, вы понимаете, что отвечать за последствия этих действий придется вам лично». Его наглую красную морду перекосит от злости, а я ущипну его за нос и закричу во весь голос: «Полиция!»

— Я так понимаю, что на самом деле у тебя под пижамой ничего нет?

Ленни ответила мне почему-то с дрожью в голосе:

— Майки, ну пожалуйста, не ругайся на меня. Мне было так тепло, и вечер был таким замечательным. — Неожиданно она достала из-под скамейки припрятанную бутылку и отхлебнула примерно с дюйм остававшейся в ней жидкости. — Я зашла в магазин, — пояснила она, — и сказала страшным голосом: «Эй, мальчик, дай-ка мне пинту — не важно чего, важно, чтобы покрепче, поглубже и подешевле было». Вот и таскаюсь теперь с этой бутылкой всю ночь. Чувствую себя как самый настоящий бомж-алкоголик. Знаешь, а я бы хотела напиться до беспомыслия, чтобы очутиться где-нибудь в сточной канаве в луже из собственной блевотины, лицом в каком-нибудь дерьме. Вот было бы здорово, я бы чувствовала себя, как распятый Христос. Счастливый он все-таки был человек. Я весь вечер думала об этом, я имею в виду распятие. Это же элементарно, разводишь руки в стороны — и всё, виси, отдыхай, никуда тебе уже не деться. Ну а если люди плюют тебе в лицо, наберись терпения и пожалей их. — При этом сама Ленни вовсе не собиралась разводить руки в стороны. Наоборот, она сложила их

крест-накрест, словно обнимая себя за плечи. — Что-то случилось, — негромко пробормотала она, — случилось именно сегодня. А завтра произойдет еще что-то.

— Что ты имеешь в виду?

Ленни покачала головой. Вместо того чтобы ответить на мой вопрос, она сменила тему разговора:

— Знаешь, пару месяцев назад мне не с кем было поговорить. Да что там поговорить, я даже повидаться ни с кем не могла. Время от времени я слышала чьи-то крики, и почему-то мне запомнилось, что я все время плакала. А потом, в один прекрасный день, я оказалась в какой-то комнате, которую я, кажется, сама заперла, — продолжила она каким-то бесцветным, безжизненным голосом. — В углу в той комнате сидела большая, очень толстая женщина с суровым лицом. Все девочки, которые там были, очень боялись ее. Она очень из-за этого переживала и в сердцах даже иногда била их. Ну вот, а в тот раз она пришла поменять мне белье, и лицо у нее вовсе не было ни злым, ни жестоким. Я увидела не суровую, а очень печальную женщину... — Ленни помолчала, глядя на клубы сигаретного дыма, в которых почти тонула ее рука. — Я подошла к ней, посмотрела в глаза, и она вдруг сказала мне: «Ты же знаешь, кто я». Затем она обняла меня и посадила на колени, погладила по голове и поцеловала. Знаешь, Майки, я никогда никого не любила так, как любила ее тогда. Она была просто прекрасна.

Я нервно заерзал на скамейке.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— А затем, что завтра, послезавтра и послепослезавтра я буду дергать за веревку, на которой будет биться в конвульсиях повешенный мной человек. Я этого не хочу, но меня заставляют. — Ленни перескакивала с темы на тему, и я с трудом улавливал ход ее мыслей.

По парку прокатилась волна прохладного влажного бриза, от которого зашелестели валявшиеся на дорожках в сквере газеты. До меня донесся храп спавшего на соседней скамейке бездомного, а потом я увидел, как другой пьяный бродяга, проснувшись, приподнялся на скамейке и зачем-то показал кулак проезжавшей мимо сквера машине.

— А сколько сейчас времени? — снова спросила Ленни. Услышав ответ, она мрачно кивнула мне и обхватила себя за горло желтыми, в никотиновых пятнах пальцами. — Майки, я не знаю, не знаю... — словно выдавила она из себя.

— Не знаешь чего?

Она посмотрела на меня в упор, и в ее глазах я увидел и страх, и понимание, и осознание неизбежности. На меня словно бы смотрел фавн, услышавший далекие голоса окружающих его со всех сторон охотников.

— Отведешь меня домой? — спросила она.

— Конечно.

— Я знала, что ты не откажешься. Я вот думаю, в курсе ты или нет... Нет, конечно, откуда тебе знать... В общем, ты самый добрый человек из тех, с кем я встречалась за много-много лет. К такому комплименту я оказался не готов.

— Самый добрый человек? — как попутай повторил я.

— Ну да, и не нужно этого стесняться. Поверь, в этом нет ничего постыдного. Нет, ты, конечно, ворчливый и суетливый, чем-то напоминаешь мне старую деву, гордый и заносчивый, но под всеми этими масками в тебе скрыта подлинная доброта. — Ленни была дрожь, и чтобы чуть-чуть успокоиться, она закурила очередную сигарету. — Я знала только одного человека, который добрее тебя. Это был мужчина средних лет, школьный учитель из одного маленького городка. У него были потрясающе красивые руки, и ему очень нравилось гладить этими руками маленьких мальчиков, потому что руки — красивые, и мальчики — тоже очень красивые. Вот

только этот учитель, он никогда не позволял себе такого. На всякий случай он всегда держал руки в карманах. Ученики дали ему прозвище Ручка и доводили его на уроках как могли.

— Где-то я такое уже читал, — сообщил я ей, — это рассказ, причем придуманный.

Ленни посмотрела на меня, как ребенок, и даже в задумчивости поднесла палец к губам.

— Ну хорошо, придуманный так придуманный. — Она хрипло и устало засмеялась. — Я опять веду себя как полная дура. — Она опустила голову и, немного помолчав, сказала: — Все, хватит, пошли домой.

Я взял Ленни за руку, и мы пошли напрямик через сквер. Ее ладонь была сухой и горячей. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как она остановилась, пробормотала: «Я кое-что забыла» — и стремительно, почти бегом, вернулась к скамейке. В следующую секунду она уже гордо держала над головой в вытянутой руке недопитую бутылку со своим пойлом.

— Нехорошо ее тут просто так оставлять. Давай найдем человека, для которого она станет настоящим подарком.

Ленни стала бегать от скамейки к скамейке, заглядывая в лица спящих бродяг и алкоголиков. Наконец она остановилась на пожилом мужчине, подбородок которого был покрыт густой и совершенно седой щетиной. Старик крепко спал и при этом раскатисто храпел.

— Ты только послушай. — Ленни передразнила издаваемые стариком звуки. — Держи, Седая Борода, это тебе, — сказала она и засунула плоскую бутылку-флягу в карман плаща бродяги. — Спокойной ночи, а уж пробуждение твое с учетом этого подарка и без того будет преисполнено радости. — С этими словами она пошла по дорожке, залиvisto смеясь.

Я догнал Ленни и, пройдя рядом с нею несколько шагов, взял ее за руку. Сквозь тонкую хлопчатобумажную ткань пижамы я почувствовал, как вздрогнуло и напряглось ее запястье.

— Тоже мне филантроп.

Ленни в ответ лишь улыбнулась. Внешне она была со мной предельно любезна, но под своей рукой я ощущал не только напряжение, но и какой-то холодок. Ее тело безотчетно сопротивлялось тому, что я вел ее за собой и к тому же сжимал свою руку не то чтобы совсем бесстрастно. Я решил не упорствовать и ослабил хватку. Так мы и пошли рука об руку в сторону нашего, теперь уже общего дома.

Я и сам не знаю, почему выбрал именно тот маршрут, которым мы пошли в ту ночь. Можете списать это на простое человеческое любопытство. Я подсознательно повел Ленни мимо бара, где Холлингсворт договорился о свидании. Так уж получилось, что мы как раз застали и Холлингсворта, и официантку стоящими на тротуаре перед дверью бара, причем мой сосед что-то шептал девушке на ухо.

— Ну... в общем, привет, что ли, — сказал Холлингсворт, увидев нас. При этом он то и дело переводил взгляд с официантки на нас с Ленни и обратно.

Я представил Ленни, и мы некоторое время так и простояли молча. Ленни и Холлингсворт внимательно и не таясь разглядывали друг друга, впрочем изображая, и вполне успешно, полное безразличие к изучаемому объекту. Судя по всему, затянувшаяся пауза действовала на нервы только мне да в какой-то мере официантке. Девушка явно не были рада ни нашему появлению, ни тому, что Холлингсворт отвлекся от разговора с нею.

Затем Холлингсворт начал разыгрывать свой привычный спектакль. Он эффектно извлек зажигалку, чтобы дать Ленни прикурить, а заодно и покрутил уже знакомым мне серебряным сувениром перед моим носом.

— Похоже, вечер сегодня кое у кого очень затянулся, — сказал он, нарушив долгое молчание.

Ленни прикурила от протянутой ей зажигалки, не отрывая при этом взгляда от собеседника. Свободной рукой она по-прежнему держала меня за запястье, и в какой-то момент

я почувствовал, что ее пальцы сжались на моей руке сильнее, чем прежде.

— Я ваша новая соседка, — хриплым низким голосом сообщила Холлингсворту Ленни.

Холлингсворт убрал зажигалку в карман и, прокашлявшись, сказал:

— Мисс Мэдисон, позволю себе заметить, что все мы будет просто счастливы появлению в нашем доме столь очаровательной соседки. Со своей стороны, позволю высказать предположение, что вы у нас не соскучитесь. Пожалуй, далеко не в каждом доме в Нью-Йорке подбирается столь интересная компания.

— Я уже об этом наслышана, — кивнула Ленни.

— Нет, я серьезно, — продолжал настаивать Холлингсворт, — все наши соседи не просто хорошие люди, а люди образованные, с достаточно высоким культурным уровнем. — Сунув трубку себе в зубы, он пояснил: — Меня всегда очень беспокоит вопрос культуры.

Официантка, все это время молча стоявшая чуть в стороне, вдруг сообразила, что что-то здесь не так.

— Эй, подожди, — пихнула она Холлингсворта локтем в бок, — ты же говорил, что тебя зовут Эд Лерой.

Я вспомнил, что представил его Ленни как Холлингсворта. Сам он, не торопясь и не нервничая, обернулся и пояснил:

— Эллис, ты, наверное, не все расслышала. Я сказал тебе, что меня зовут Эд Лерой Холлингсворт. Ты, скорее всего, просто не обратила внимания на фамилию.

— Не нравится мне все это, — проворчала официантка. — Ладно, хватит, пошли домой, я устала. — При этом Эллис с подозрением поглядывала на пижаму Ленни. — Ну все, — повторила она, — я хочу домой.

— Минуточку, — строгим тоном оборвал ее Холлингсворт.

Бросив взгляд на меня, он чуть наклонился в сторону Ленни:

— Мисс Мэдисон, а что вы скажете о нашем общем друге мистере Ловетте?

Холлингсворт явно обладал даром так поставить вопрос, что собеседник чувствовал себя включенным в общую с ним игру.

— Ну, по крайней мере, он был очень любезен и уже успел во многом помочь мне, — сказала Ленни, явно принимая вызов и делая первый ход в этой партии.

Холлингсворт кивнул:

— Он просто замечательный парень. Мы вообще с ним закадычные друзья. Не стану спорить, он человек куда более образованный и начитанный, но, не побоюсь обратить на это внимание, очень уж правильный. Кстати, у нас в доме есть и другие правильные люди.

— А вы какой? — поинтересовалась Ленни.

— Я-то... Я просто свиреп и необуздан. Вы, конечно, можете мне не поверить, но в глубине души я не более цивилизован, чем первобытный человек. Вино, женщины, всякое такое... Тем не менее все в рамках разумного.

Меня несколько покорило, что он говорил с Ленни так, словно меня рядом и не было.

— Я очень рада, что переехала в ваш дом, — проговорила Ленни неожиданно эмоционально и, похоже, абсолютно искренне.

Холлингсворт при этом рассеянно кивнул, и мне показалось, что на самом деле он практически ее не слушает.

— Да, — продолжал он гнуть свое, — вообще-то я человек непростой и неоднозначный. Вот вы, мистер Ловетт, что на это скажете?

— Лично я полностью согласен с Эллис. Я хочу домой.

— Давно пора, — проныла Эллис.

Холлингсворт улыбнулся:

— Пожалуй, сейчас действительно не время начинать серьезный разговор. Тем не менее я надеюсь, что в самое ближайшее время мы с вами, мисс Мэдисон, еще побеседуем. — Он официально пожал нам обоим руки, а затем вновь посмотрел на Ленни и добавил своим ележным голоском: — Позволю себе заметить, что вы одеты очень интересно и неожиданно. Я так полагаю, что это новый продвинутый стиль.

Ленни посмотрела на него снизу вверх и усиленно, «с выражением» закачала головой:

— Я знала, знала, что вам понравится. По крайней мере, я на это надеялась. Если честно, то кругом так много идиотов, которые вообще ничего не видят и ничего вокруг себя не замечают.

Мы все опять замолчали, Ленни при этом была мелкая дрожь.

Затем мы попрощались. За спиной я услышал, как Холлингсворт сказал официантке:

— Ну что, сестренка, пойдем.

Мы с Ленни некоторое время шли молча. Она все так же сжимала мою руку — сильнее и сильнее. Вдруг в какой-то момент она, явно усилием воли, заставила себя разжать пальцы и даже как будто бы оттолкнула меня от себя.

— Он очень красивый, — сказала она безо всяких предисловий.

— Да, безусловно.

— Нет, вы, Майки, ничего не понимаете. Да и он сам этого не ощущает, не понимает, что делает его таким привлекательным. Я, например, просто без ума от его вкрадчивого, тихого голоса.

— Терпеть его не могу.

Было видно, что Ленни напряглась.

— Ну конечно, с вас станется. Вы вообще ничего не понимаете.

Я с удивлением обнаружил, что Ленни не на шутку рассердилась на меня.

— Он не такой, как все. Таких как он вообще единицы. И на этих людей окружающие готовы всех собак спустить.

После этого она надолго замолчала и до самого дома не взглянула на меня ни разу. Со стороны могло бы показаться, что она блуждает мыслями где-то далеко и не слишком хорошо отдает себе отчет в том, что происходит вокруг нее, но по напряженности ее тела я понимал, что на самом деле ее мысли в данный момент работают даже активнее и четче, чем обычно. Мы дошли до дома, поднялись по лестнице и подошли к дверям ее комнаты. Я как бы случайно задержался на лестничной площадке, и, к моему удивлению, намек был понят: Ленни пригласила меня к себе. Она опять вся дрожала.

— Прежде чем я лягу спать, нужно, чтобы кто-то подал мне стакан воды, — сказала она, не слишком убедительно разыгрывая роль капризной девочки.

Я почти не удивился, когда обнаружил, что Ленни уже успела передвинуть диван — опять лицом к стене. Стоило это ей наверняка огромных усилий, потому что даже вдвоем мы двигали этот громоздкий предмет с большим трудом. Теперь она забралась на диван и уперлась поднятыми ногами в стену комнаты. Я, преодолевая неловкость, сел рядом с нею и устался в грязную серую стену с потрескавшейся штукатуркой.

— Смотрите, как здорово, — сказала Ленни, показывая мне кивком головы на стену. Ощущение было такое, что она боится молчать и готова молоть любую чушь. — Будь у меня сейчас хотя бы десять центов, я бы сходила на ближайший угол, купила попкорна и стала есть его прямо здесь, на диване. Чем здесь хорошо, так это тем, что можно мусорить попкорном совершенно безнаказанно. Эта стена, она такая замечательная. Я могу превратить ее во что угодно. Вот, например, сегодня днем, когда вы ушли, я смотрела на нее, смотрела и вдруг поняла, что передо мной «Герника». Я даже услышала стоны раздираемых бомбами лошадей.

Ленни тяжело вздохнула. Стараясь скрыть испытываемую мной неловкость, я как можно

более нейтральным голосом поинтересовался:

— Что вы будете есть завтра?

— Сейчас я даже думать об этом не хочу.

— У вас хоть какие-то деньги остались?

— У меня-то? Да полно — миллионы.

Подогнув одну ноту, Ленни сняла с нее мокасина — тот самый, с дыркой на подошве — и, просунув в дыру палец, повертела изношенным, разваливающимся мокасином в воздухе.

— Давайте я дам вам в долг, — продолжал настаивать я.

Ленни запустила мокасином в стену и заявила:

— Делайте что хотите.

Я в этот момент уже был занят подсчетами той суммы, которую я смог бы сравнительно безболезненно выделить на такую глупость.

— Ну что, двадцать долларов возьмете? — сказал я в конце концов.

— Я возьму столько, сколько вы мне дадите, — как-то вяло согласилась она и зевнула. —

Нет,

Майки, вы просто ангел-хранитель. Вам бы работать управляющим фонда, в котором глупенькие вдовушки хранят все свои сбережения.

Откинувшись на спинку дивана, Ленни закинула руки за голову и вдруг захихикала:

— Обязательно нужно будет заняться с вами любовью. Я серьезно: всегда мечтала о сексе с таким дядюшкой-опекуном. Ох уж я отхлестала бы его по мягкому месту его же собственной цепочкой от часов. Согласитесь, что может быть веселее? — С этими словами она кончиком указательного пальца стряхнула пепел с сигареты.

Я ничего не сказал ей в ответ, я просто слишком устал за этот действительно чрезмерно затянувшийся вечер. У меня болело все тело, в желудке бурлило, руки и ноги отказывались меня слушаться. Моя реакция на слова и поступки Ленни перестала отличаться последовательностью. Я перестал реагировать на самые дерзкие ее заявления и на безумные обвинения. Но при этом на меня время от времени накатывала волна раздражения, которое могло спровоцировать любое неосторожное и ничего не значащее слово Ленни. Вот сейчас, например, я тупо пялился в ее стену и, ощущая на себе подавляющее воздействие этой «панорамы», никак не мог уразуметь, какие такие картины видела на этой штукатурке Ленни.

Когда я снова посмотрел на нее, в глазах Ленни стояли слезы.

— Что случилось?

— Сама не знаю, — ответила она и вытерла мокрые щеки тыльной стороной ладони. —

Майки, вот скажи мне, — я заметил, что Ленни перешла на «ты», — почему мы все время должны куда-то переезжать? Я ведь не просто чувствую, а знаю наверняка, что рано или поздно мне придется уехать из этой комнаты. А ведь я больше всего на свете хотела бы остаться здесь — взаперти. Пусть мне даже еду подают сюда через маленькое окошечко в двери. Ладно, завтра начну искать новую работу.

— Ленни, а где ты жила в последнее время? — спросил я, непроизвольно сменив в ответ форму обращения.

Она уныло улыбнулась:

— У меня была своя квартира.

Почему-то я не торопился в это верить.

— И куда же она подевалась?

— Я преподнесла ее в дар врагу. — Ленни помолчала и, усмехнувшись, добавила: — Господи, какой же я была дурой.

Она посмотрела на меня и, видимо, уразумев, что я действительно ничего не понимаю и

что ее слова звучат не слишком убедительно, решила прояснить ситуацию:

— Еще сегодня утром я проснулась у себя дома, но меня оттуда выставили, причем пинком под зад. Самое смешное, что я сама пригласила к себе этого человека. Вот тебе, Майки, наглядный урок: никогда не проявляй жалости по отношению к пьяницам.

— Почему ты сама не заставила его уйти?

Ленни деликатно улыбнулась, словно удивляясь тому, как я могу быть таким наивным.

— Да я просто была не в состоянии. Это... просто невозможно. А кроме того, я, если честно, сама не все хорошо помню. Я проснулась и обнаружила себя уже в метро. Что произошло между этими двумя событиями, я никак не могу восстановить в памяти.

Да, еще я запомнила, как он швырнул мне вслед эту пижаму, когда я была уже за дверью.

— Но как же...

— Слушай, мне просто стало его жалко. Понимаешь, он старый, спивающийся человек, которого к тому же выставили с работы. Вот я и пригрела его у себя. Одно время мы работали с ним в одном агентстве. У него были красивые черные волосы и на редкость румяные пухлые щечки. Он просто взял и остался у меня. А потом, наверное, быстро сообразил, что мне становится с ним скучно. Вот за это он, собственно говоря, меня и возненавидел: кроме меня у него ведь больше никого и ничего не было. Ну а сегодня он просто приказал мне проваливать куда глаза глядят. Ну и что, просто больше я с ним даже разговаривать не буду.

— Но почему ты позволила ему остаться в своей квартире?

Ленни пожала плечами:

— Опускаться до дележки посуды и последних грошей? Это же низко. Пусть он воюет за эти стены, пусть приходит и забирает у меня все, что только сможет. Все сразу или по частям. Неужели ты не понимаешь, что, отдавая, я на самом деле всякий раз одерживаю победу? — Игравшая в этот момент на лице Ленни улыбка показалась мне несколько вымученной. — Ну а кроме того, квартира мне, по правде говоря, успела изрядно надоесть.

Я просто взорвался от смеха. При этом смеялся я наполовину с досады, а наполовину искренне и без всякой задней мысли. Ленни же в этот момент зевнула и вдруг перевела разговор на тему моей внешности.

— А ты гораздо симпатичнее, когда улыбаешься, — сказала она и, потянувшись в мою сторону, погладила меня ладонью по щеке, — у тебя нос красивый. Мне нравится, как ты его задираешь, в самом прямом смысле слова, и что у тебя при этом просвечивает розовая перегородка между ноздрями. Среди моих знакомых когда-то была одна девочка с таким носом. Так она, кстати, была самой жестокой из всех нас.

Я, в свою очередь, зевнул и встал с дивана.

— Все, пошел спать, — сообщил я ей.

— Нет-нет, не уходи, ни в коем случае.

Эти слова она произнесла не очень эмоционально, но в какой-то момент я вдруг почувствовал, что ее действительно пугают те долгие часы, которые ей предстояло провести в одиночестве, глядя на голые потрескавшиеся стены, окружавшие ее со всех сторон.

— Нет, правда, не могу больше. Очень уж я сегодня устал.

Ленни проводила меня до двери и вдруг встала в проеме, преградив мне путь. Ее голова оказалась на уровне моего подбородка, и я почти инстинктивно поцеловал ее в лоб. Одним стремительным, неуловимым движением она прижалась ко мне всем телом и, задрвав голову, поцеловала меня в губы. Ее дрожь передалась мне. Усталые, измученные и почти одурманенные, мы обняли друг друга и спустя мгновение вернулись обратно в дальний угол комнаты к кровати Ленни.

Ее тело, казалось, было готово изогнуться дугой, лишь бы быть прижатым ко мне как

можно плотнее. При этом, прикасаясь к ней, я чувствовал если не отторжение, то уж точно холодное напряжение.

Даже губы ее по большей части были крепко сжаты, как будто бы она отвергала меня с не меньшей силой, чем звала к себе. Я раскрыл для нее свои объятия, отдал в ее распоряжение свое тело, к которому она могла прижаться, но даже в моменты близости я чувствовал себя бесконечно далеко от нее. Во мне не было ни нежности, ни особой страсти, я все делал как заведенный — не слишком горячо, но и не то чтобы совсем лениво или неумело. От Ленни я отгородился непроглядной темнотой закрытых глаз и лишь слышал, как она всхлипывает и стонет подо мной в порыве всепоглощающего отчаяния.

Если это и была любовь, хоть в каком-то понимании этого слова, то не меньше в нашей близости было и страха. Мы словно спрятались за эту скалу, чтобы переждать ночь, которая на глазах пожирала окружавшую нас равнину.

— Спаси меня, — прошептала она сквозь слезы.

Глава шестнадцатая

Однажды Маклеод сказал мне: «Видите ли, мой юный друг, — при этом говорил он с тем странным, провинциальным, чуть ли не ирландским акцентом, который появлялся у него всякий раз, как только ему было нужно рассказать о чем-то, над чем он хотя бы некоторое время размышлял, — мир, в котором мы живем, устроен так, что превращает любого нормального человека в онаниста. Если при этом вы не станете отказывать диалектическому подходу в праве на существование, то мы легко придем к выводу, что, лишь занимаясь онанизмом, человек может обрести достойное место в этом мире». Поделившись со мной очередным своим перлом, он внимательно посмотрел мне в глаза и добавил: «Если вы пока что не понимаете меня или делаете вид, что не понимаете, то, уверяю вас, рано или поздно вам все равно придется отдать дань этому делу. Ничего не попишешь: ваш образ просто идеально вписывается в упомянутый мной архетип».

Ту ночь я провел с Ленни и вернулся к себе в комнату, когда уже светало. Тем не менее я не уснул тотчас же как убитый, как того можно было ожидать, а провалялся в постели еще как минимум час. Каждый нерв, каждая клеточка моего тела протестовали против всего того, что случилось за этот долгий день, который, слава богу, все-таки подошел к концу. Я вроде бы начинал дремать, а затем раз за разом снова просыпался. Сам себя не узнавая, я, вместо того чтобы отключиться и хорошенько отдохнуть после физической близости с женщиной, продолжал мысленно пережевывать то, что происходило в последние несколько часов, безуспешно пытаясь отделаться от этих не слишком приятных воспоминаний.

На самом деле я не то чтобы очень хотел Ленни. Я сам завел себя, и при этом моего запала хватило не на раз и даже не на два. Она при этом плакала, она... Впрочем, стоит ли углубляться в детали. Дело было сделано, случилось то, что случилось, ну а я теперь, смешно сказать, жалел об этом. В общем, мысленно я уже был готов подвести все к тому, чтобы свести этот роман на нет, и притом как можно скорее.

К несчастью, наши желания куда более гибки и переменчивы, чем нам бы того хотелось. Вот и в тот день, когда я проснулся уже после полудня, ночь, проведенная с Ленин, уже не казалась мне такой унылой и недостойной продолжения. Да, быть может, в те ночные часы я обнимал и ласкал ее с мыслями о другой женщине, но сейчас я представлял себе, что было бы неплохо лежать в постели не одному, а рядом с Ленни, лицо которой в моих воспоминаниях становилось все более привлекательным. Я даже почувствовал в себе желание ласково обнять ее и крепко прижаться к ней.

Слова, сказанные когда-то Маклеодом, вновь и вновь всплывали в моей памяти. Кроме того, помимо всех событий этого затянувшегося дня и бурного вечера, я то и дело мысленно возвращался к разговору на мосту. Меня беспокоил не только сам факт беседы на повышенных тонах, но и то, как именно я вел эту дискуссию. Бог его знает, где и когда я выучил все то, что говорил ему в пылу спора. Интересно было бы снова попытаться вспомнить приводимые мною тогда доводы. Я даже попытался напрячь память и вспомнить что-то еще, но, судя по всему, добиться от нее чего-нибудь силой было невозможно. В результате всех подобных попыток вопросов в моей голове становилось еще больше, а вот количество ответов никак не увеличивалось. Я лежал в кровати и ловил себя на том, что чуть не вслух задаюсь вопросом, в чем, собственно, состоит в наши дни феномен общества и окружающего мира. Интересно, что именно в тот момент, когда кроме этого вопроса в моей голове не было, похоже, ни единой мысли, мне вдруг удалось каким-то образом подобрать и к ответу. Причем формулировки этого ответа звучали в моем сознании твердо и четко, так, словно я едва ли не в сотый раз

цитировал фрагменты какого-то катехизиса.

Историю последних двадцати лет можно было разделить на два этапа: десятилетие экономического кризиса и следующие десять лет — период ведения одной войны и подготовки к другой.

Закрыв лицо руками, я повторял эти слова вновь и вновь. Я надеялся, что в очередной раз моя мысль на этом не остановится и поток воспоминаний и догадок хлынет на меня, как сорвавшаяся лавина. Мне казалось, что я не могу не вспомнить то время, когда я всем сердцем ждал ту революцию, которая так и не произошла. Я едва ли не молился о том, чтобы вспомнить хотя бы одно лицо, хотя бы одного друга, одно имя — хотя бы что-нибудь, за что можно было бы уцепиться и обрести ту нить, которая вывела бы меня из этого лабиринта. Но ничего больше я так и не вспомнил. В сухом остатке я по-прежнему имел один-единственный постулат: десятилетие экономического кризиса и десять лет одной войны и подготовки другой. Увы, в очередной раз я должен был признать, что не властен над собственным разумом. Устав от попыток подчинить себе собственную память, я встал, оделся, вышел позавтракать, после чего мне захотелось немного прогуляться по окрестностям.

Вернувшись домой, я непроизвольно задержался у лестницы и, повинувшись внезапному порыву, позвонил в дверь Гиневры. Звук уже знакомого звонка пробудил в моей памяти зрительный образ этой маленькой квартирki: я словно наяву увидел все комнаты, царящий в них беспорядок, неубранные кровати, хлебные крошки на столе, а на полу в кухне — непременно полувысохшая лужица пролитого кофе. Интересно, подумал я, спит сейчас Гинебра или же сидит на кухне и мечтает, глядя в стену перед собой. Я снова позвонил и прислушался к тому, что происходит за дверью. Я услышал ее шаги — медленные и какие-то вялые. Судя по всему, Гинебра не горела желанием видеть кого бы то ни было. На некоторое время за дверью все стихло, и я представил себе, как она стоит в прихожей и никак не может решиться — открыть или же вернуться обратно на кухню или в гостиную. Я позвонил еще раз, и этот звонок, словно кумулятивный снаряд, прожег дверь и достиг своей цели. Гинебра, похоже, сделала выбор, ее шаги послышались уже у самой двери. Очередная, уже последняя пауза, и вот зашуршала поворачивающаяся дверная ручка, и в следующую секунду дверь приоткрылась — как всегда, для начала лишь слегка, оставив для обзора небольшую щелку.

Мы смотрели друг на друга в упор. Признаться, я был просто потрясен переменной, произошедшей с Гиневрой. Серое безжизненное лицо, неуложенные и, по-моему, даже непричесанные волосы... Она смотрела на меня, но словно не видела. Ощущение было такое, что точно так же она смотрела бы и на пустую площадку перед домом. Две, три, четыре секунды — Гинебра все так же смотрела сквозь меня, не выказывая ни малейших признаков того, что она узнает стоящего перед ней человека. Ее губы, тонкие и какие-то плоские без нескольких слоев помады, плотно сжались, чуть изогнувшись, и у меня возникло ощущение, что Гинебра хочет мне что-то сказать. Вместо этого она чуть заметно покачала головой и закрыла дверь прямо перед моим носом.

Я пожал плечами и стал подниматься к комнате Ленни. Не скажу, что эта краткая встреча с хозяйкой, просто убитой событиями, происходившими у нее в квартире накануне, прошла для меня совершенно безболезненно. Подавленный и чувствующий себя едва ли не виноватым, я постучал в дверь Ленни. К своему изумлению, я услышал в ее комнате смех. Мне тотчас же захотелось уйти, но отступить было уже поздно.

Смех прекратился, и по ту сторону двери воцарилось молчание. Затем послышался голос Ленни, предложивший мне войти. В ее словах и во взгляде, которым она меня встретила, я не заметил особой радости по поводу моего появления. Она пожала мне руку, выдавила из себя улыбку и, собственно говоря, этим ограничилась.

В углу комнаты сидел Холлингсворт. Он инстинктивно выбрал себе единственный жесткий деревянный стул, имевшийся в помещении. Сидел он на нем чинно и напряженно, словно аршин проглотил. Руки его лежали на коленях, а спина едва касалась спинки стула. Чем-то он напоминал мне курсанта военного училища, застывшего по стойке «смирно» и усердно твердящего про себя вечные немудреные солдатские заповеди: «Соберись и стой ровно. Прогнись перед начальством, пока оно тебя самого не согнуло».

Часть мимических мышц на лице Холлингсворта, повинувшись его волевому посылу, сократилась, и его губы растянулись в подобие вполне официальной улыбки.

— Приятный сюрприз, Ловетт. Рад, что нашу беседу прервали именно вы, — сказал он.

Ленни рухнула в кресло, повернулась в нем боком и подложила руку под голову. Вокруг нее на полу валялось, наверное, не меньше дюжины окурков.

— Ой, Майки, у меня сегодня с утра сплошные гости. Проснувшись, я увидела прямо на своей кровати мышку. Мы с ней немного поговорили, и она рассказала мне много интересного. Впрочем, через некоторое время я поняла, что мне с нею скучно, очень уж она серьезная и при этом какая-то печальная. Она, конечно, не призналась мне в том, что я права, но я-то знаю, что в этом обличии ко мне приходил Христос. Я оплакивала его, потому что, вместо того чтобы спокойно умереть, он вернулся обратно и продолжал жить в этом чудовищном мире. В какой-то момент я намекнула ему, что устала и что кое-кому неплохо бы вернуться на свой крест. Он, не говоря ни слова, кивнул, надел шляпу, спрыгнул с кровати и исчез. Удалился он через дырку в стене.

Слабая улыбка промелькнула на ее усталом лице.

— А потом ко мне явился другой посетитель. Он принес мне полотенце и во многом был очень похож на ту мышку, вот только я его почему-то сразу невзлюбила. Он сказал, что его зовут Маклеод и что он, кстати, твой друг.

— Маклеод?

— Да.

Желтые пальцы Ленни стали колдовать со спичкой и очередной сигаретой.

— Он пришел, сел в кресло и стал говорить, говорить, говорить... Он говорил так, словно мог сказать мне что-то умное или интересное. На самом деле я раскусила его в первый же момент. Потом он встал и сказал, что уходит. Еще он добавил, что он муж Гиневры и что мне стоит заглянуть к ней и сказать что-нибудь доброе и сочувственное.

К моему немалому изумлению, на губах Ленни играла при этом злорадная ухмылка.

— Он так тебе и сказал?

Ленни нервно вздохнула и, затянувшись, выпустила изо рта дым в полную силу.

— Она такая живая, такая красивая. И что бы он ни говорил в порыве скромности или же, наоборот, тщеславия, как бы ни пытался меня убедить в том, что она гораздо лучше него, мне с ним было неприятно и скучно. Все то время, пока мы с ним говорили, мне просто выть хотелось.

Холлингсворт улыбнулся и вступил в разговор:

— Ну а потом ваш покорный слуга также решил нанести визит своей новой знакомой мисс Мэдисон.

— Да, — сказала она, мгновенно просветлев. — Знаешь, Майки, я даже не представляю, что бы я сегодня без него делала. Когда этот, ну который твой друг, наконец ушел, я походила по комнате и вскоре поняла, что мне нечем промочить горло. Сам понимаешь, так и заболеть недолго. Ну сколько, спрашивается, человек может протянуть без живительного нектара.

Ленни словно обняла сама себя, и при этом ее руки торчали как жерди из задравшихся к локтям, изрядно замасленных рукавов пижамы. Когда она заговорила вновь, голос ее звучал на

редкость сипло.

— Ловетт, ты вроде бы собирался ссудить мне денег.

Я протянул ей две десятки.

— Майки — мой банкир, — сказала она Холлингсворту с ироничной улыбкой на лице.

В эту секунду во мне зашевелилась целая россыпь самых разных маленьких сомнений.

— Я тебе не банкир, и если ты думаешь, что эти деньги у меня лишние, то глубоко ошибаешься.

Она с легкостью танцовщицы спрыгнула с кресла и, подлетев к углу дивана, на котором сидел я, ущипнула меня за щеку.

— Банкир, банкир, — сказала она, обращаясь к Холлингсворту, — но банкир очаровательный. Ему, конечно, очень не хочется давать кому бы то ни было деньги, черная лапа жадности душит его, впиваясь ему в горло. Он мучается и не спит по ночам. Но, человек по природе добрый, он не в силах противостоять внутреннему желанию быть очаровательным и милым. В общем, он раздает деньги богеме направо и налево, идя при этом наперекор своим профессиональным убеждениям.

Покрутившись передо мной с самым довольным видом, она добавила:

— А вообще, самые плохие банкиры — это те, с которыми приходится иметь дело. Особенно те, которые испытывают к тебе самые лучшие чувства.

Мне, разумеется, не слишком польстило, что весь этот спектакль был разыгран явно не для меня, а только лишь ради удовольствия Холлингсворта. Ни одного слова Ленни не сказала просто так, не подумав. Все ее жесты и движения были отлично просчитаны. Она напомнила мне гейшу, профессионально исполняющую ритуал чайной церемонии. Холлингсворт же сидел по-прежнему прямо и пожирал ее глазами. У меня даже возникло ощущение, что его задница не покоится на стуле, а зависла в воздухе буквально в миллиметре от сиденья. На его лице, как обычно, застыло вежливо-напряженное выражение, а в глазах читалось сдерживаемое усилием воли любопытство. Ощущение было такое, что он — небедный провинциальный гуляка, приехавший оторваться в столице и заказавший карнавальное шоу для себя одного, ну разве что для нескольких своих приятелей. Отдав немалые для него деньги за зрелище, он сидел и с нетерпением ждал гвоздя программы — перехода от обычных танцевальных номеров к стриптизу. Он все время испытывал страх, что деньги потрачены напрасно, что организаторы шоу возьмут да и кинут его на самое интересное. «Я пришел сюда посмотреть на голых кисок, — сказал бы он своему соседу, — но пока что я ничего такого не вижу». Если такой человек решил бы, что его действительно обманули, он разнес бы в щепки свою персональную ложу и весь зрительный зал. Впрочем, может быть, именно это ему и было нужно, и устроил он все это не ради зрелища, а ради того, чтобы самоутвердиться в скандале и дебоше.

— Позволю себе заметить, — сказал я, — что Эд Лерой понимает в банковском деле, пожалуй, больше меня.

Холлингсворт, похоже, не ожидал никаких выпадов с моей стороны и, помедлив с ответом на долю секунды дольше, чем нужно, перешел на уже знакомый мне вкрадчивый и вместе с тем строго официальный тон.

— Не люблю возражать людям, но, по-моему, вам, Ловетт, прекрасно известно, что меня зовут Холлингсворт. Лерой Холлингсворт. — Для придания большего веса своим словам он в качестве аргумента выудил из кармана серебряную зажигалку с черной плашкой и пощелкал ею перед собой. —

Ничего удивительного в том, что человек, который привык работать головой, время от времени представляется окружающим под новыми именами. — Он повернулся к Ленни: — Я чувствую себя в некотором роде менее скованно — если вы, конечно, понимаете, о чем я

говорю, — когда у меня есть возможность пользоваться в разных жизненных ситуациях разными именами. Для вот этого и этого случая одно имя, а для того и ему подобных — другое. — Он широко улыбнулся. — Нравятся мне подобные преобразования. Я в такие моменты просто душой отдыхаю. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.

— Разумеется, понимаю, — глухо сказала Ленни. — Хотя вы ведь такой умный. — На ее лице в это мгновение застыло выражение, близкое к экстазу. — Все это настолько важно, но никто вас толком не понимает. Все в силу своего скудоумия бегут от вас. Да и я, просыпаясь по утрам, не без труда отхожу от пережитого потрясения.

Нервно и суетливо покопавшись в сумочке, она выудила из нее зубную щетку и подняла ее перед собой — маленькое знамя.

— Ну не могу я заставить себя совать в рот эту штуку. Начинаю чистить зубы, а внутри меня словно кто-то кричит: «Нет, не вздумай, выплюни ее, немедленно!»

Резким и неожиданным для меня движением она сломала пополам щетку и швырнула рукоятку в один угол комнаты, а щетину — в другой. Зевнув, Ленни, довольная собой, прошептала:

— Завтра. Завтра я начну искать новую работу.

Я обернулся к Холлингсворту:

— А вы, кстати, почему сегодня не на работе?

Ощущение было такое, что его зад, и без того зависший в миллиметре над стулом, приподнялся еще выше.

— А, вы об этом? Так у меня отпуск начался.

В первый раз за все время, что я провел в комнате, он позволил себе откинуться на спинку стула.

— Чует мое сердце, что теперь мы будем видеться гораздо чаще.

Похоже, Холлингсворт собирался кое-что прибавить, но что-то отвлекло его внимание. Это что-то, судя по его глазам, находилось у меня за спиной. Я резко обернулся и посмотрел в ту же сторону, куда был устремлен взгляд Холлингсворта. В самом деле: ручка входной двери медленно поворачивалась из стороны в сторону — сначала влево, а затем вправо. Несколько раз это движение повторилось в полной тишине, а затем, по всей видимости ввиду полной безуспешности попыток открыть дверь незаметно, чья-то не слишком сильная нога начала молотить по нижней кромке двери.

— Пустите меня! Пустите меня! — послышался из-за двери требовательный голос.

Это была Моница. Она вошла в комнату с довольной улыбкой на лице и тотчас же бросилась ко мне. Впрочем, в какое-то мгновение она вспомнила о том, что ей полагается быть приличной, хорошо воспитанной девочкой, и, остановившись, протянула мне ручку с «аристократически» отставленным пальчиком.

— Поцелуй малышку, — заявила она, и я приложился губами к ее ладошке.

Довольная таким началом, она решила развить успех и направилась к Ленни. Сдержанности и хороших манер хватило ей ненадолго, и, позабыв о том, как подобает себя вести воспитанной девочке, она недолго думая вскарабкалась к Ленни на колени.

— Поцелуй меня! — скомандовала она.

Ленни повиновалась и, обхватив голову малышки ладонями, воскликнула, глядя той в глаза:

— Какая же ты красивая!

Моница в знак признательности крепко обняла Ленни.

Холлингсворт тем временем прокашлялся.

— Здравствуй, Моница, — сказал он, чтобы обратить на себя внимание девочки.

Моница вздрогнула, не отрываясь от Ленни, и не только не обернулась на голос, но,

наоборот, постаралась совсем спрятать лицо в волосах своей новой подруги. Более того, я вдруг услышал, как она начала хныкать.

— Мама сегодня испугалась.

— Чего испугалась? — спросила Ленни.

— Мамочка плачет.

Эти слова вконец расстроили Мониину, и она, всхлипывая и икая, начала рассказывать какую-то историю, суть которой я ухватил лишь приблизительно. По всей видимости, дело началось с того, что Мониина зачем-то отогнула угол ковра в комнате и обнаружила под ним каких-то насекомых. Собрав в кулачок нескольких тараканов или жучков — точно я так и не понял, — она высыпала их в стакан, а затем залила их кипятком из маминого кофейника. Затем она решила показать результат экзекуции маме, которая лежала на кровати и почему-то плакала. Мама, разумеется, не пришла в восторг от этого зрелища и швырнула стакан с мученически погибшими тараканами на пол. Судя по лепету Мониины, среди сказанных Гиневрой слов выделялась показавшаяся ей вполне реальной угроза достать ремень. Поняв, что дело плохо, Мониина расплакалась, и тогда Гиневра прижала ее к своей груди, после чего они еще некоторое время ревели вместе. Гиневра сквозь слезы говорила: «Я боялась его, но он может изменить нашу жизнь. Понимаешь, девочка моя, у нас теперь все будет по-другому». В тоске и унынии она воскликнула: «Ах! Мой возлюбленный покинул меня!»

Надо признать, что Мониина просто уморительно пародировала мимику и интонации Гиневры: «Ах! Мой любовник покинул меня! — повторяла она тонким писклявым голоском. — Покинул! Покинул меня!»

Вскоре стало понятно, что долго скорбеть Мониина не намерена: она была настолько довольна собой — тем, что ее актерскую репризу внимательно оценивает столь многочисленная аудитория, — что пересказ драматических событий в ее исполнении вскоре сменился откровенной пародией, смешной в первую очередь для самой исполнительницы. В общем, ближе к концу рассказа слезы и всхлипывания Мониины уступили место улыбкам и хихиканью. Впрочем, мне показалось, что в этом смехе было что-то не по-детски злое.

Холлингсворт слушал девочку с делано рассеянным выражением на лице. О том, что он при этом напряженно внимает каждому слову Мониины, можно было догадаться лишь по повторяющемуся секунда за секундой движению ноги: подошва его ботинка методично скользила взад-вперед по ковра. Я, со своей стороны, слушал историю Мониины как бы ушами Холлингсворта, что позволило мне нарисовать мысленный портрет Гиневры не столько своими, сколько его красками. Я представил себе ее лицо с опухшими от слез глазами и подумал, что Холлингсворт, наверное, точно так же бесстрастно наблюдал бы за ней, как он сейчас следил за ее дочерью. Он точно так же сидел бы неподвижно в кресле или на стуле, равномерно, с четкостью метронома моргая глазами и вычерчивая носком ботинка одну и ту же линию на ковре. Гиневра представала передо мной и перед ним той самой, перевернутой на спину, беспомощной черепахой, которую она однажды уже видела во сне. Холлингсворт молча придвинул ногу чуть ближе к краю ее панциря, словно взвешивая, стоит ли напрягаться и совершать еще одно движение, чтобы вновь перевернуть мучающуюся черепаху, предоставив ей право существовать в более привычном для нее положении.

Он посмотрел на Мониину, сидевшую у Ленни на коленях, и, воспользовавшись паузой в рассказе девочки, решил заговорить с ней. При первых же звуках его голоса Мониина опять вздрогнула, но на этот раз обернулась к Холлингсворту, вновь готовая в любой момент разреветься.

— Мониина, — сказал Холлингсворт, — зачем же ты понесла этих жуков маме? — Этот не то вопрос, не то упрек Холлингсворт сопровождал ледяной улыбкой.

Реакция Монины на его слова меня, мягко говоря, удивила. По всей вероятности, упрек Холлингворта пробудил в девочке чувство вины. Впрочем, возможно, что она и раньше чувствовала себя виноватой, но попросту рассчитывала забыть о своем проступке. В любом случае мысль о том, что упрекать ее взялся не кто-то другой, а именно этот человек, была для нее неприемлема. По какой-то причине Моница посчитала такое положение дел в высшей степени несправедливым. Стремительно — гораздо быстрее, чем я мог от нее ожидать, — она слезла с колен Ленни и ракетой пронеслась мимо меня в сторону Холлингворта. Боеголовкой этой ракеты были зубы и челюсти малышки. Она издала воинственный крик — ни дать ни взять короткое, но эффективное заклинание, превращающее ангелоподобную девочку в кровожадного призрака баньши, — и впилась зубами в руку Холлингворта.

Нападение застало Холлингворта врасплох. Его глаза округлились от ужаса и боли, а из груди непроизвольно вырвался не то стон, не то вой. Бог его знает, какие ночные кошмары увидел он наяву в этот миг. Он откинулся на спинку стула, запрокинул голову и на мгновение замер в полной неподвижности, словно окаменев.

— Я же ничего не сделал! — проорал он через секунду.

Завизжав, Моница разжала зубы и, рыдая в голос, выскочила за дверь.

Холлингворт согнулся пополам от боли. Вытянув руку перед собой, он с ужасом на лице продемонстрировал нам смертельную, судя по его столам, рану. Впрочем, на его запястье действительно остались два красных полукружия — следы от укуса Моницы, — на которых кое-где даже выступили капельки крови. Полагаю, что будь клыки-кинжалы детских зубов чуть длиннее, Холлингворту пришлось бы действительно худо. Он тем временем заерзал на стуле и зачем-то стал ощупывать голову здоровой, не пострадавшей от укуса рукой. Убедившись в том, что выбритых участков ни на макушке, ни на затылке нет и что к его черепу не прикреплены никакие электроды, он снова начал стонать, материться и даже целовать укушенную руку, ласково и бережно поддерживая ее здоровой ладонью. Он явно упивался своими страданиями, и его просто распирало от нежности и жалости по отношению к своей персоне.

Мы с Ленни сидели, молча переваривая увиденное. Холлингворт тем временем чуть успокоился, опустил руки, и я заметил, что его действительно бьет крупная дрожь, которую он был не в силах унять. Кроме того, лицо Холлингворта побледнело, а его лоб был сплошь покрыт мелкими капельками пота. Явно с трудом разжимая губы, он вдруг медленно и отчетливо произнес:

— Ну ничего, попадется мне еще эта девчонка — я ей голову, на хрен, оторву.

Ленни встала и вроде бы шагнула в сторону Холлингворта, но затем остановилась.

— Что, больно?

По всей видимости, понимая бессмысленность этого вопроса, она непроизвольно улыбнулась и поспешно прикрыла рот желтыми прокуренными пальцами.

Холлингворт вынул из кармана носовой платок.

— Пойду схожу к врачу. Кто его знает, рана может оказаться достаточно серьезной. — Его голос звучал уже привычно ровно и бесстрастно. Холлингворт действительно умел брать себя в руки и скрывать свои чувства. — Приношу свои извинения за грубые слова, вырвавшиеся у меня в момент нападения.

Ленни продолжала молча смотреть на него, еще плотнее зажимая рот пальцами. Не дождаввшись ответа или же сочувствия, Холлингворт продолжил:

— В конце концов, все произошло так неожиданно. Некоторых детей, — заметил он, обматывая запястье платком, — очень плохо воспитывают. То, чему мы с вами были свидетелями, стало возможным именно в результате отсутствия у ребенка хороших манер.

Он встал, и по его движениям — по тому, как он схватился за край стола в поисках опоры, я

вдруг понял, что на самом деле он по-прежнему дрожит — не то от страха, не то от боли.

— Ну ладно, пойду я. К врачу нужно заглянуть обязательно. Никогда не знаешь, чем все обернется. Я вот, например, слышал, что детский укус может быть ядовитым.

Ленни больше была не в силах сдерживаться. Встав посреди комнаты и уперев руки в бока, она от души, в полный голос расхохоталась.

— Господи, ну какой же ты дурак... Я даже представить себе не могла. Нет, ты просто идиот.

Холлингсворту явно стоило немалых усилий не ответить оскорблением на оскорбление. Чтобы успокоиться, он покопался в карманах, вытащил сигареты, даже сумел чиркнуть зажигалкой и закурить.

— У некоторых людей очень странное чувство юмора, — заметил он.

При этих словах не выдержал и я. Присоединившись к Ленни, я смеялся вместе с нею над Холлингсвортом, наверное, в течение минуты без перерыва. Все это время он стоял неподвижно, менялось лишь выражение его лица. Если поначалу физиономия Холлингсворта напоминала карикатуру на оскорбленное достоинство, то к концу нашей с Ленни «минуты смеха» на его лице вновь четко нарисовались снисходительное терпение и решимость переждать нашу глупую выходку.

— Ну что, повеселилась? — спросил он Ленни ледяным голосом. Ощущение было такое, что эти слова были ключом к какой-то потайной кнопке в ее сознании. Ленни мгновенно перестала смеяться, ее всю передернуло, и я вдруг осознал, что она находится на грани истерики.

— Извини, — прошептала она.

— Ну, теперь я, наверное, пойду, — сказал Холлингсворт.

Он шагнул к двери, но, положив ладонь на дверную ручку, обернулся, посопел над своей повязкой и соизволил разразиться целой речью:

— Я имею обыкновение проявлять живейший интерес ко всем моим друзьям. Так вот, после того как я попрощался с девушкой по имени Эллис, с той самой, с которой я провел несколько весьма приятных часов — если вы понимаете, на что я намекаю, — несмотря на то что она оказалась девушкой более чем незатейливой: очень, очень плохо образованной, эдаким диким созданием, живущим не по законам разума, а по воле обуревающих его страстей, в общем, о таких людях порой можно прочесть в газетах... — Поняв, что в достаточной мере запутал нас и притупил нашу бдительность, Холлингсворт сделал паузу, любезно улыбнулся и продолжил: — Так вот, не в этом, собственно, дело. Просто, возвращаясь домой после той встречи, я, как-то уж как получилось, прошел мимо этой комнаты, и знаете, что я услышал? Позволю себе заметить, что до моего слуха из-за этой двери донеслись весьма характерные звуки — те самые звуки, которые здесь, в Нью-Йорке, в четыре часа утра можно услышать из-за очень многих дверей — если, конечно, разуть уши.

— Нет! — воскликнула Ленни. — Ты что-то не так понял. Это невозможно!

— Что ж, мне остается только надеяться, что именно так все и было, — со смирением в голосе произнес он. — Но в любом случае, я полагаю, что между вами, мисс Мэдисон, и мистером Ловеттом установились весьма близкие отношения... я бы сказал, довольно интимного свойства.

— А не будет ли вам угодно, любезнейший, пойти на хрен отсюда? — обратился я к Холлингсворту, с ужасом понимая, что этот выплеск эмоций окончательно лишил меня сил и что я не смогу подкрепить свои пожелания никакими физическими действиями.

— Прекрати! Что ты к нему привязался? — закричала Ленни на меня.

— Ну ладно, я все-таки пойду, — ухмыльнулся Холлингсворт.

Судя по принятой им стойке, по тому, как он переносил вес тела с ноги на ногу, он был начеку и не исключал любого поворота в развитии событий.

— Вы мерзавец, — бросил я ему.

— Нет, — с готовностью возразил он, и на его лице появилось непривычное мне выражение неуверенности и задумчивости. — Уверяю вас, все это я делаю вовсе не со зла. И мне вовсе не хочется быть в ваших глазах плохим или злым мальчиком. Я просто вынужден вести себя таким образом. Иначе мне попросту несдобровать.

Сухо кивнув нам, словно уже жалея о том, что только что сказал, Холлингсворт вышел за дверь.

Ленни так и осталась стоять посреди комнаты, бледная как полотно. Ее голос несся вслед Холлингсворту:

— Прости меня. Прости. Прости.

Глава семнадцатая

Едва дверь за Холлингсвортом закрылась и стихли его шаги на лестнице, как Ленни одновременно рассмеялась и расплакалась.

— Ужасно! Это ужасно! Ужасно! Ужасно! — повторяла она монотонно, как автомат.

Что такого ужасного случилось, я, признаться, понять не мог. Я как привязанный ходил за Ленни из угла в угол по комнате и хотел было снова обнять ее. Она мгновенно, без колебаний оттолкнула меня и поспешила убрать мои руки со своей талии. Когда я пытался успокоить ее и объяснить, что ничего страшного не произошло, она немедленно перебивала меня и, не желая слышать, что ей говорят, начинала повторять одну и ту же фразу:

— Ах, это ужасно! Это ужасно!

— Ленни! Что ужасно?

— Ах! — С этим вздохом она рухнула на стул и дрожащими руками попыталась закурить сигарету. Поняв, что из этой затеи ничего не выйдет, она швырнула сигарету на пол. Я принес ей воды. Ленни выпила весь стакан, явно приложив к этому немалые усилия. Ощущение было такое, что ее горло отказывалось автоматически, без осознанного воздействия делать глотательные движения.

Я решил немного помолчать и постепенно, минута за минутой Ленни начала успокаиваться. Вскоре на ее губах появилась усталая, но все же улыбка. Бледная и измученная, она все так же сидела на стуле, наблюдая за по-прежнему дрожавшими пальцами.

— Нельзя так с ним обращаться, — сказала она ни с того ни с сего. — Это к нам обоим относится.

— Но почему?

— Майки, ты, наверное, никогда не поймешь его. Он особенный. Неужели ты не понимаешь, как редко встречаются в этом мире люди, не похожие на других? — Она покачала головой, с каким-то отстраненным любопытством наблюдая за пляшущими в воздухе пальцами своих рук. — Понимаешь, он — посвященный. А мы идем по жизни бесцельно, словно блуждаем в потемках. Дни проходят для нас безо всякой пользы. К закату мы не становимся умнее, чем были на рассвете. А он, у него есть цель, и в этом его величайшее счастье. — Наконец ей удалось поднести горящую спичку к сигарете и затянуться. — Понимаешь, даже он до конца не осознает, что ему даровано судьбой. А я, я смогу ему это объяснить и показать.

— Тогда зачем же ты над ним смеялась? — спросил я.

— Действительно, зачем? — Мне показалось, что она продумывает ответ и подыскивает какое-нибудь вразумительное объяснение своему поступку. — А, да ты все равно не поймешь, — наконец выдала мне Ленни.

Впрочем, мой вопрос, похоже, все-таки оказал на нее определенное воздействие. Ленни снова замолчала, и в комнате опять воцарилась тишина.

Минута шла за минутой, и, наблюдая за Ленни, я вдруг почувствовал, что на нее опять нападает приступ черной меланхолии. Она задумчиво курила, запрокинув голову, и наблюдала за завитками табачного дыма, поднимающимися к потолку. Раза два она тяжело вздохнула и вдруг негромко произнесла: «Нет, нет мне покоя!» Дым все так же стекал по ее запястью к рукаву и лишь затем уходил вверх.

— Слушай, расскажи ты мне наконец, что здесь все-таки происходит.

Ленни встала со стула и подошла к окну. Повернувшись ко мне спиной, она молча смотрела во двор сквозь пыльное стекло.

— Когда стемнеет, двор станет виден лучше. Там внизу у нас пруд. Я выплыву на его

середину, и в моих волосах запутаются листья кувшинки. Птички будут петь для меня... Я вижу и слышу это так отчетливо, словно наяву.

— Не понимаю, о чем ты? — перебил я ее.

— Я ведь не знаю, — продолжила Ленни, — кто стоит за господином Тер-Проссаменианвили, а ведь это даже не его настоящее имя. Если бы я нашла свое досье, то смогла бы рассказать тебе, что в нем хранится. — Она забралась на подоконник и раскинула руки, словно собираясь заключить в объятия солнечные лучи. — Знаешь, Майки, как это было? Они укладывали меня на кровать, потом я ощущала на себе их руки, а потом — удар или разряд. Я поняла, что они делали: после каждого разряда у меня отмирал кусочек мозга. Его оставалось все меньше и меньше. Меня хотели превратить в идиотку — чтобы я поглупела, как другие толстеют. Те, кто этим занимался, не любили меня. Они записывали все, что им удавалось выудить из моего мозга. Там в углу сидела девушка в очках, которая записывала в блокнотике всё, слово в слово. Наверное, эти записи хранятся теперь где-нибудь в архивном кабинете с зеленой лампой. Они меня ненавидели, а я их любила, любила за все их грехи.

Закончив эту загадочную речь, Ленни так и осталась стоять лицом к окну. День клонился к вечеру, солнце опускалось все ниже, и теперь его последние лучи били прямо в окно. В этом свете потертая, словно сальная мебель в комнате Ленни навевала тоску даже на меня. Совершенно особенное и неприятное впечатление производила пыль, высвеченная солнечными лучами. Пылью был пропитан воздух в комнате, пыль слоями лежала везде — по всем углам и поверхностям помещения. Диван так и остался стоять лицом к стене. Глядя на его потертую монументальную спинку, я легко мог представить себе Ленни, сидящую лицом к стене и часами неподвижно разглядывающую штукатурку. Впрочем, я легко представил бы ее и в другом кресле в другой комнате — с настоящим камином. Она точно так же могла бы сидеть неподвижно и смотреть, как тлеют угли. Та, другая комната была бы погружена в полумрак и тишину. По мере того как угли покрывались бы слоем пепла, в ней становилось бы холоднее, и зябкий воздух с улицы обдувал бы Ленни все сильнее и сильнее. Она сидела бы в кресле, не шевелясь, даже когда камин уже совсем потух, и все так же разглядывала бы посеревшие, холодные угли. Ну а за креслом в той комнате невольно угадывался бы зловецкий силуэт какого-то незнакомца. чье присутствие не сулило Ленни ничего хорошего. Она ждала его появления с замирающим от ужаса сердцем.

У меня на глазах навернулись слезы. Я готов был расплакаться от жалости к ней.

— Ленни, — позвал я.

На меня из противоположного угла комнаты смотрели большие карие глаза — чуть опухшие от слез и такие беззащитные. Ощущая в себе прилив нежности и жалости, я вдруг, словно со стороны, услышал свой голос:

— Ленни, неужели ты не понимаешь, я... Я, наверное, люблю тебя.

С таким же успехом я мог ударить ее кулаком в лицо: Ленни откинулась назад и втянула голову в плечи, а в следующую секунду схватилась руками за нос, словно именно там прорвался нарыв так долго мучавшей ее печали, страха и боли. Она словно заново увидела меня, обдумала мои слова и ответила на них с такой твердостью и уверенностью в голосе, какой я от нее еще не слышал.

— Майки, ты очень хороший, — сказала мне Ленни.

— Да нет же, я не об этом, пойми. — Я подошел к ней и обнял ее за талию. — Позволь мне любить тебя, — взмолился я. — Я хочу, хочу любить тебя, неужели ты этого не понимаешь?

Губы Ленни были плотно сжаты. Она смотрела мимо меня — через мое плечо, куда-то в противоположную стену.

— Ленни, не отвергай меня. Не делай того, что тебе делать не хочется.

Она начала плакать. Я прижал ее к себе, и она, перестав вдруг сопротивляться, обняла меня за шею и прижалась соленой от слез щекой к моим губам.

— Я хочу любить тебя... — словно задыхаясь от обрушившегося на нее горя, прошептала она. —

Но не могу. Я не смогу полюбить тебя. — Она вяло попыталась оттолкнуть меня. — Ты мне не нравишься, а еще я тебе не нужна.

— Нужна.

Она покачала головой и размазала слезы по щекам.

— Не знаю, я ничего не знаю, — прошептала она.

Я подвел ее к кровати и лег на постель рядом с нею.

Секс — всегда своего рода состязание, пари. Особой страсти во мне, быть может, и не было, но кое-какие чувства и, главное, азарт все же присутствовали. Уверенный в том, что мое влечение передастся Ленни, я поставил на то, что мне все же удастся расшевелить ее.

Должен признаться, что я храбро ввязался в совершенно безнадежное дело. Мне так и не удалось преодолеть частокол шрамов, оставленных в душе этой девушки другими спавшими с нею мужчинами. Я старался изо всех сил, собрав в единый кулак и все свои навыки героя-любовника, и всю ту нежность, которая мало-помалу копилась во мне на протяжении нескольких месяцев воздержания. Все было бесполезно: Ленни лежала подо мной неподвижно и была вся напряжена. Нашу «любовь» она сносила кротко и покорно, ни дать ни взять Иисус, смиренно принимающий выпавшие на его долю муки распятия.

Постепенно моя уверенность в собственных силах начала таять. Я продолжал заниматься любовью с чувством неуверенности и даже страха, отчего мои движения становились все более вялыми, а желание начало угасать прямо на глазах. Наконец все было кончено, и я, весь покрытый потом, оторвался от Ленни и лег на бок рядом с нею. Меня продолжала бить крупная дрожь.

Движения Ленни были резкими и отточенными. Она взяла простыню и стерла пот с моего лица, затем, безучастно поцеловав меня в нос, она пробормотала: «Ну вот и все. Дело сделано». Были ли эти слова вопросом или же выражали чувство облегчения, я, по правде говоря, так и не понял. Через некоторое время я поднял голову, сел на кровати, и мы с Ленни стали приводить нашу изрядно помятую одежду в более или менее приличный вид. Затем Ленни встала, закурила и потянулась.

— Ну что, я так понимаю, что ты получил наконец то, ради чего пришел сюда, — сказала она с покоробившим меня цинизмом.

Я в тот момент был даже не измучен, а попросту истерзан и не нашелся, что ответить на эти обидные для меня слова.

Ленни поправила стеганое покрывало и отошла к окну, высоко держа голову. С неприкрытой гримасой отвращения на лице она негромко сказала:

— Терпеть не могу заниматься любовью при свете, особенно днем. Есть в этом что-то непристойное. У меня сразу же возникает ощущение, что я все та же маленькая девочка, которая подсматривает через замочную скважину за сидящим на унитазах отцом. — Дыхание Ленни стало учащенным. — Ты, я так понимаю, тоже решил подсматривать за мной. Тебе, видите ли, нужно знать, какая я на самом деле. Господи, ну почему меня никак не оставят в покое. Даже уехав в деревню, я не могу остаться в одиночестве. Как сейчас помню: в один прекрасный день я взяла книжку и собралась на очаровательный холмик, с которого открывался замечательный вид на живописную, утопающую в зелени долину. Я уж решила было, что нашла свой райский уголок, но не тут-то было: ко мне тотчас же подвалили все эти деревенские подростки-дебилы, которые стали изводить меня. Они нутром чуяли, что я не такая, как они, что я умнее их, и не

могли с этим смириться.

— Ленни, ты, конечно, можешь мне не верить, но я хотел, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты была счастливой.

Она посмотрела на меня так, словно я над нею издевался.

— Тогда какого черта ты изводишь меня? Чего ради ты, спрашивается, ко мне приперся?

— Я... Я тебя не понимаю, — срывающимся голосом, едва ли не заикаясь, произнес я.

— Ты же прекрасно понимаешь, что мне плохо, что я не совсем в себе. Тогда скажи, что тебе от меня нужно?

Меня словно ударили наотмашь по липу. Я отвернулся в сторону и пробормотал:

— Ты не права, все не так. — Я и сам слышал, что моему голосу недостает уверенности. — Нет-нет, ты просто неправильно все поняла, — неуверенно продолжал протестовать я. — Наверное... Мне кажется, что я люблю тебя.

Губы Ленни снова скривились в ухмылке.

— Майки, ты не способен любить кого бы то ни было. Ты же Нарцисс. Чем ближе ты приближаешь лицо к воде, тем больше восхищаешься самим собой. Ну а ткнешься носом в воду — и на некоторое время оказываешься один. Вот тебе и кажется, что настало время кого-то любить.

Я упорно не хотел верить в правоту этих слов.

— Да, ты, конечно, права, — пробормотал я, — но... Нет, это не так, все совсем не так. — Неожиданно я схватил Ленни за плечо, да так сильно, что, наверное, сделал ей больно. — Неужели ты не понимаешь? Я хочу жить настоящей жизнью. — Мне казалось, что еще немного — и я расплачусь. — Да нет же, все совсем не так, как ты говоришь.

Я слышал свой голос словно со стороны.

Ленни пришла в ярость.

— Жить, значит, хочешь? — переспросила она, сбрасывая с плеча мою руку. — Да ничего у тебя не получится, потому что ты не знаешь, что такое по-настоящему жить. Ни жить, ни любить ты не умеешь.

Этот приговор она огласила под град ударов кулаками мне в грудь.

— Ты ведь и ко мне подкатил только потому, что решил, что я стану легкой добычей, что тебе не придется сильно напрягаться для того, чтобы поиметь меня. — Она продолжала барабанить кулаком мне в грудь. — Но заруби себе на носу, бесплатных людей не бывает. У каждого из нас есть своя цена. — град ударов прекратился, и я вдруг увидел, что Ленни вся дрожит.

— Ты говоришь неправду, — рассердился я, схватив девушку за плечи и хорошенько встряхнув ее. — Ты просто не веришь мне, и всё. А я хотя бы пытаюсь сделать так, чтобы мы поверили друг другу. Ты же... Ты просто не хочешь сделать над собой хотя бы минимальное усилие.

Почему-то именно эти слова сломили Ленни. Она покачнулась, безнадежно взмахнула руками и, отвернувшись, вдруг захныкала.

— Да, да, да, ты абсолютно прав, — произнесла она монотонной скороговоркой.

— Ленни, — сказал я и аккуратно прикоснулся к ней кончиками пальцев, — Ленни.

Она вновь прижалась ко мне и жалобно заплакала. У меня было ощущение, что я успокаиваю обиженного на весь мир ребенка. От ее слез моя рубашка промокла насквозь. Я прижал Ленни к себе и стал баюкать ее.

— Майки, ты мне очень нужен, — всхлипнула она, — мне нужен кто-то, кто мог бы... Я хочу, чтобы меня защитили.

В тот момент мы были не любовниками, а отцом и ребенком. Впрочем, мне, молодому

парню, еще не познавшему радость отцовства, мои собственные эмоции казались проявлением именно мужского начала. Я обнимал ее, успокаивал, гладил по голове, и по мере того как она успокаивалась, я чувствовал, как во мне просыпается и разгорается с новой силой приятнейшее из чувств — самодовольство.

Жаль, что продолжалось это всего несколько мгновений.

Невозможность подобной идиллии была очевидна нам обоим. Вскоре Ленни выскользнула из моих объятий, повернулась ко мне спиной и попыталась придать себе гордый, независимый вид.

— Я же сказала тебе, что все это бесполезно, — твердым голосом произнесла она.

Я промолчал, а когда Ленни вновь заговорила, стало ясно, что ей удалось взять себя в руки. Оставшееся время мы говорили даже не друг с другом, а словно обращаясь к каким-то невидимым зрителям.

— Жизнь такая сложная штука, — сказала Ленни, — в ней происходит столько всего разного... Считай не считай, все равно собьешься, а если будешь считать слишком прилежно, то превратишься в бездушного счетовода, тогда уже и жить некогда будет, а кроме того, кто знает, то, что посчитано, оно повторяется или же всякий раз нужно начинать отсчет заново.

Неожиданно она стремительно подошла к креслу, где лежала ее сумочка, и выудила из нее изрядно помятый листок бумаги.

— Ты так мало знаешь об этой жизни, и обучить тебя всему тому, что знаю я, будет нелегким делом. Вчера вечером... или, быть может, это было позавчера, а впрочем, неважно. Так вот, я села и, сама не понимая, что делаю, написала несколько строк. Эти слова сами пришли мне в голову, и мне оставалось только записать их на бумаге.

Увидев мое изумленное лицо, она рассмеялась:

— На вот, прочти. Не бойся, в конце концов, даже последнему тупице-двоечнику нужно хотя бы иногда вылезать из-за своей задней парты и выходить к доске.

Одолеть писанину Ленни мне стоило немалого труда. Почерк у нее был совершенно безобразным, а точнее будет сказать — почерка у нее вообще не было. Строчки напозлали друг на друга, буквы плясали, наклоняясь то влево, то вправо, и лишь дешифровав примерно половину этого странного текста, я вдруг понял, к кому он обращен, кто его главный герой. Именно в эту секунду я и услышал издевательский смех Ленни. Все мое тело при этом словно свело болезненной судорогой.

На листочке же было написано вот что:

и однажды душевной ночью с жаждущим разрядиться и устремленным ввысь к луне ствол он привел к себе филиппинку которая удовлетворила его похоть лаская его рот а потом он выставил ее пинками и кричал при этом что за ее поганый рот он не собирается платить ей ни гроша и вспоминал об этом на следующий день при солнечном свете делавшем его соломенные волосы отражением золотистого шелеста окрестных кукурузных полей и он терпеливо слушал воскресную проповедь священника улыбавшегося ему вот такой замечательной улыбкой вот такого серьезного парня а он улыбался ему в ответ и с его губ слетали слова воскресных псалмов просто иисус искупитель с соломенными волосами и голубыми глазами преисполненными набожности настолько что благочестивой кажется даже легкая улыбка гуляющая по его поющим псалмы губам и он слышит орудийный выстрел той самой ночной пушки в которой уже вновь начинает копиться заряд подаваемый его молодыми бычьими чреслами и иисус искупитель он видит ту самую женщину у его ног чувствует запах ее черных волос видит ее густую челку а солнце вновь играет в

его соломенных волосах и он опять улыбается священнику вспоминая прошедшую ночь которая соединяется с этим днем и наполняет его восторгом отчего он поет слова любовного псалма с еще большим чувством и благоговением словно благочестивая старая дева обращающаяся к христу искупителю как к тайному возлюбленному мыслями он преисполнен любви к этому светлому образу и жаждет только расколоть ударом костяшками пальцев эту черную женскую голову чтобы исполнить то чему суждено теперь

С трудом дочитав это сбивчивое повествование до конца, я был вынужден пробежать этот текст глазами еще раз, чтобы в голове у меня отложилось, что здесь к чему. Затем я без единого слова протянул листок Ленни.

— Он сам мне об этом рассказывал, и знал бы ты, сколько гордости было в его голосе, — сообщила мне Ленни, — а я... а я была не меньше, чем он сам, горда за него, потому что он такой сильный, стройный и мышцы у него такие крепкие.

— Понятно, — пробормотал я.

— Ничего тебе не понятно, — сказала она, взяв в руки очередную сигарету, — ты не способен понять, каким покоем и какой уверенностью наполняется душа, когда рядом с тобой мужчина, который смотрит не на тебя, а словно мимо, словно ты и не существуешь. И вот, удар за ударом, он подминает тебя под себя, а все вокруг кружится, и тебя уже нет, и любовь наконец приходит, та самая любовь, которая только и ведома мне, любовь, которую я вижу в клубах опиумного дыма. А я лежу там, в опиумном притоне, ко мне подбираются разбойники и душегубы, но мне нет до них никакого дела, потому что мир для меня кончился, я больше ничего не боюсь и ничего не чувствую...

— Когда это случилось? — спросил я, чувствуя, что у меня пересохло в горле.

— Я не знаю. Время для меня ничто, оно меня не связывает.

— Это случилось здесь?

— Здесь, говоришь? Да кто его знает. Просто этот дом один в один похож на тот, предыдущий, а он был со мной... Не то два дня назад, не то все это лето, а еще он говорит мне, что делать, и я ему подчиняюсь. Так что все, как видишь, очень просто.

— И тебе это нравится? — медленно выговаривая слова, произнес я.

— Есть один человек, очень плохой и порочный, — сказала она бесстрастно и отстраненно, — мы накажем его за все грехи. Я открыла эту дверь, и я же ее и закрою, а он за все заплатит сполна. — На мгновение в ее голосе вновь появились какие-то чувства. — А ты попытаешься вмешаться — просто потому, что ты такой, какой есть. Ты ведь ничего не знаешь и ничего не понимаешь. У тебя ничего не получится, потому что правда на нашей стороне. Мы — люди благочестивые и праведные. — С этими словами она закрыла глаза, словно желая отрешиться от меня, забыть о моем существовании. Я же не знал, что сказать в ответ. В общем, все только что казавшееся уже завоеванным было вновь в один миг потеряно.

Глава восемнадцатая

Во время войны, если, конечно, предположить, что я все-таки участвовал в ней, мне, судя по всему, довелось какое-то время послужить в дозорном отряде. Я помню череду долгих маршей с короткими боями и перестрелками. Где-то через месяц мы перешли границу и оказались уже на территории противника. В ту ночь нашей патрульной группе было приказано нести дежурство на чердаке большого амбара, возвышавшегося над пшеничным полем. Мы установили пулемет в чердачном окне так, чтобы под обстрел попадало и все поле, и лесополоса, ограничивавшая его с дальнего края. Распределив очередность дежурства, мы все, кроме часовых, повалились спать на груды соломы.

Впрочем, долго спать нам не пришлось. Очень скоро и, надо признать, весьма кстати в амбаре появилась дочка хозяина этой фермы, которая принесла нам большой кувшин горячей воды. Мы воспользовались возможностью помыться, а девушка — правом остаться с нами и получить в обмен на свое присутствие несколько шоколадок и помятых сигарет, которые мы выудили из своих карманов. Ту ночь крестьянская дочка провела в компании этаких семерых странствующих торговцев, а на рассвете, в буквальном смысле слова с первыми петухами, она выскользнула из амбара и скрылась в направлении дома. Мы же, выполняя приказ, продолжили свой путь.

Я оказался где-то в середине очереди. Ночь была лунная, но в амбаре царила кромешная тьма, и лица девушки я не разглядел. Единственное, что я могу сказать, что она, судя по всему, была не хрупкого телосложения. В моей памяти отложились воспоминания о ее тяжелых и полных руках и ногах. Я лег на нее под аккомпанемент храпа и подхихикиваний. Точно так же мои товарищи по оружию храпели и подхихикивали до того, как подошла моя очередь, и после этого. Поле было залито лунным светом, и я занимался любовью, лежа почти на боку и все время поглядывая в чердачное окно. Как-никак я в тот момент был в дежурной смене. В общем, девчонку я так и не разглядел. Над моей головой гордо сверкал в лунном свете направленный в сторону деревьев ствол пулемета. Услышав какой-то звук, я непроизвольно протянул руку к рукоятке и спусковому крючку и немало удивился, почувствовав под ладонью холод стальной стали.

Получив положенное, я зарылся в солому и провалился в какой-то нервный полусон, в котором мне грезилась любовь с артиллерийскими снарядами и секс с полированной сталью. На следующий день, вскоре после полудня, мы были уже в милях десяти от той фермы, и второй раз кряду удача нам не улыбнулась. Разделенная на дозоры рота воссоединилась, и нам пришлось весь вечер копать себе норы в окрестностях какого-то небольшого городка, который днем позже мы собирались штурмовать. Иногда мне кажется, что ранен я был именно в бою за тот город.

А может быть, в ту ночь — ночь удачливых коммивояжеров — мне приснилось совсем другое. Мне могла присниться девушка, с которой мы отдыхали на каком-то морском курорте. Как знать, может быть, у меня в нагрудном кармане даже хранилось письмо от нее. Я помнил, что, уйдя от Ленни, я тот час же вспомнил и ту девушку, которую, скорее всего, никогда в жизни больше не увижу. Ленни удалось пробудить во мне воспоминания о крестьянской девчонке. С неменьшим успехом она сумела напомнить мне и о той, другой девушке. Каким же я был тогда счастливым, повторял я про себя. Она была влюблена всем телом, и влюблена именно в меня. Я вспомнил нашу комнату, в свете лампы наши тела казались золотистыми, и мы с упоением вдыхали запах друг друга — аромат разгоряченной пылающей плоти. Вот мы обнимаемся, вот восхищенно впитываем вкус губ друг друга и существуем лишь в том, что

можем обхватить руками, к чему можем прижаться всем телом.

Где теперь та девушка, как она выглядит? Я сходил с ума, мне было больно от охватившего меня желания обладать ею. Этому желанию не суждено было исполниться, но за первым поражением следовали другие, еще более тяжелые и болезненные. Я осознал, что мне не суждено вновь встретиться с той девушкой, а если бы это и произошло, я не вспомнил бы ее, а она, скорее всего, не узнала бы меня. А если бы даже все невозможности оказались преодолены и чудо случилось бы дважды, мы с девушкой вряд ли оценили бы столь щедрый подарок судьбы. Встретившись, мы, изменившиеся, не без удивления поняли бы, что не значим больше друг для друга равным счетом ничего. Что было, то было, что прошло, то прошло. Прошлое не дает спасительных подсказок настоящему. Счастливые мгновения невозможно повторить. В тот момент я готов был расплакаться от бессилия перед неопровержимой правильностью этих логических умозаключений. Неужели мне больше никогда не суждено испытать роскошь простого человеческого счастья? Сжав зубы, я заставил себя мысленно повторить, что нельзя искать опору и надежду в прошлом. Все, чего я смогу добиться, будет основываться на том, что я познал и повидал уже в этой, новой жизни.

Вот почему я решил подольше не ложиться спать и подольше поработать. Первые несколько строчек стоили мне нескольких часов непрерывной работы. Я то зачеркивал написанное, то ложился на кровать, то ходил из угла в угол и снова принимался за работу. В конце концов я и сам не поверил, увидев, что исписал уже целую страницу. Вторая пошла чуть быстрее, и ближе к рассвету я вдруг почувствовал, что пишу гораздо легче и увереннее, чем это удавалось мне раньше.

Я поработал еще немного и пошел завтракать, лишь когда уже рассвело. Вернувшись домой, я проспал до вечера. Всю следующую ночь я опять марал бумагу и наутро, чувствуя себя вполне сносно, решил не ложиться спать до вечера. Все это время я практически не вспоминал о своих соседях по дому, и их сравнительно долгое отсутствие в окружающем пространстве особо меня не беспокоило. Более того, я рискну утверждать, что эти двое суток я был если не счастлив, то по крайней мере самодостаточен. Позавтракав, очередной раз ни свет ни заря, я решил прогуляться по еще сонному городу до того, как летняя жара даст о себе знать. Я был доволен собой и, главное, своей работой. Мне вдруг захотелось прогуляться по набережной или, например, зайти к кому-нибудь в гости.

Впрочем, приглашать меня никто не собирался, и, повернув к дому, я, предвкушая уже наваливавшуюся на меня депрессию, погрузился в долгие вычисления по поводу того, сколько денег еще оставалось у меня на счету в банке и какова зависимость временной координаты моего творческого отпуска от неумолимо стремящейся к нулю функции имеющихся в моем распоряжении денежных средств. Продираясь сквозь уже привычное мне чувство беспокойства, неуверенности в завтрашнем дне и своих писательских способностях, я вдруг понял, что зря пытаюсь обмануть самого себя. Отбросив маску напускного безразличия, я признался себе в том, что страшно хочу снова увидеть Ленин и Маклеода. Старательно удерживавшиеся на периферии сознания воспоминания об этих двух людях обрушились на меня что было сил. Я вспомнил момент расставания с Ленни — как я оставил ее одну в той несуразной, погруженной в хаос комнате. Маклеод же шагнул мне навстречу из мрака под опорами моста. В общем, я вернулся домой, лег на кровать, и мое воображение отправилось в свободное плавание. Я представлял себе самые невероятные встречи и события. В этом странном состоянии я даже спасительную и желанную тишину, царившую в моей комнате, воспринимал как нечто давящее и мрачное.

Словно издеваясь надо мной, сознание настойчиво цеплялось за один и тот же давно знакомый вопрос: что это за штука такая, современный мир? В общем-то, ответ у меня был уже

заготовлен: мир, в котором мы живем, — это война или, в лучшем случае, подготовка к новой войне. Вот только почему-то сегодня такой ответ меня не устраивал. Кроме того, мне стало казаться, что этот проклятый вопрос мне задают миллионы голосов и миллионы же дают им ответ. И каждый из них говорит что-то свое. От этого впору было сойти с ума. «Хотим ли мы и дальше страдать от голода? — раздавалось в моей голове. — Хотим ли мы, чтобы нас разорвало в клочья?» Отрицательный ответ на этот вопрос произносился с такой страстью, с такой убежденностью, что стоило усомниться в его искренности. Похоже, что, перекрикивая друг друга, эти отрицающие все и вся голоса просто обманывали сами себя, делая вид, что одним лишь нежеланием становиться свидетелями того или иного хода событий они могут повлиять как на процесс формирования нашего современного мира, так и на результат этого процесса.

Вот в чем кроется весь идиотизм ситуации. Отсюда растут те волосы, которые становятся змеями, отсюда берется и коровий навоз, которым якобы излечиваются болезни сердца. Вот они — те самые ответы, которые люди ежедневно получают и прилежно повторяют раз за разом: во всем виноваты наши руководители или же их руководители. Наши — потому что они тупые, а их — потому что плохие; все потому, что неисповедимы пути Господни; все потому, что мы погрязли в самодовольстве; все потому, что мы слишком щедры и великодушны; все потому, что мы живем ради машин, или же — все потому, что машин у нас все еще слишком мало; все потому, что мы сбились с пути, или же — все потому, что другие его еще не нашли; все потому... все потому, что на все это еще нет ответа. Остается один лишь патриотизм и некоторая доля ярости и агрессии — просто для того, чтобы представить патриотизм в выгодном свете. Во всем виноваты враги, это они, враги, не хотят мира.

Кто-то приводит неопровержимый, с его точки зрения, аргумент — Рецепт Единственного Верного Средства. Главное — быть большими эгоистами и сосредоточиться на своих проблемах или же — быть меньшими эгоистами и сосредоточиться на проблемах окружающего мира; нужно обладать большей свободой или же меньшей свободой, нам нужна большая армия и при этом низкие налоги; дипломаты должны встречаться и вести переговоры, или же нужно немедленно прервать все дипломатические контакты; это наша обязанность, в этом корень всех наших бед, наши идеи — превыше всего, нам нужны новые идеи... Как же легко мы проглатываем эти простейшие пилюли, воспринимая их как панацею от всех бед.

Я думаю о солдате, который не то чтобы больше всего на свете любит убивать. Который терпеть не может своих командиров и до смерти устал от одной отдельно взятой войны, в которой ему выпало участвовать. Тем не менее он продолжает убивать по необходимости, выполняет приказы командиров и не дезертирует из армии. Мысленно он смотрит в одну сторону, а физически марширует в другую — туда, куда его направляет общество. А ведь историю определяют не мысли и чувства людей, а их поступки. Где-то я уже читал об этом, и в моей изуродованной памяти даже сохранилось что-то вроде достаточно четкой цитаты. Судя по всему, это изречение я почерпнул в одной из когда-то проштудированных книг. «Люди вступают в общественные и экономические отношения вне зависимости от своей собственной воли». По-моему, эта простая истина значит гораздо больше, чем все заклинания и барабанный бой тех, кто возомнил себя нашими лекарями и спасителями.

Я вспомнил об этом и вновь почувствовал неяркое, но мощное сияние — то самое, которое, по моему мнению, должно было стать источником энергии для неразрешимых противоречий. Тех самых, которые и должны были пережить спасительный предохранитель. Пролетарий, пробирающийся к бессмертию под брюхом казачьей лошади, мухи в летнем Выборге — все это я увидел вновь и с отчаянием осознал, что ничего не изменилось. Что социальные и экономические отношения между людьми по-прежнему не зависят от воли каждого конкретного человека.

Единственным исключением был я. По крайней мере, на том этапе я имел возможность не вступать ни с кем ни в какие отношения. Пусть все в мире идет своим чередом, а я, по крайней мере до тех пор, пока у меня еще есть деньги, могу ничего не делать и часами предаваться размышлениям, валяясь на кровати. Почему-то от этой мысли мне стало совсем невесело, а одиночество показалось просто невыносимым. Я встал и вышел на лестничную площадку. В дверь Маклеода я постучал с таким видом, словно бы эта ритмичная дробь была тайным заклинанием, которое могло вызвать из небытия любые потусторонние силы. Увы, ответа не последовало, и когда я постучал второй раз, чуть сильнее, дверь слегка подалась под моей рукой.

Я заглянул в образовавшуюся щель и первым делом увидел поставленный посреди комнаты стол, на нем не было ровным счетом ничего — ни единого предмета. С противоположных концов к столу были приставлены два пустых стула. К одному из них был придвинут торшер, причем его плафон зачем-то повернули так, чтобы лампа непременно светила прямо в глаза тому, кто отважился бы сесть по другую сторону стола. Остальные вещи в комнате были расставлены по углам и вдоль стен таким образом, что помещение казалось практически пустым.

Только в этот момент я вдруг понял, что Маклеод, оказывается, уже успел освободить комнату. На кровати не было белья, книжные полки зияли пустотой, нигде не было видно и других принадлежавших Маклеоду вещей. Как и следовало ожидать, переезжая, он вымыл за собой пол. Я стоял в дверном проеме, прислушиваясь к биению собственного сердца. Инстинктивно я понял, что Маклеод, скорее всего, пытался уйти, а быть может, и бежать от серьезных неприятностей или даже опасностей, навалившихся на него. Куда именно он исчез, я сообразил не сразу. Впрочем, пришедший мне на ум ответ был абсолютно логичным и, не будучи опровергнутым, не нуждался в дополнительных вариантах: скорее всего, Маклеод перебрался вниз, на первый этаж, к жене, и теперь они оба были вынуждены мучиться в непосредственной близости друг от друга — в той самой близости, которую оба старались по возможности избегать.

Я закрыл дверь и спустился на улицу. Железная кованая калитка, ведущая к дверям квартирki Гиневры, была, как обычно, заперта. Я позвонил и стал привычно дожидаться, когда за дверью раздастся звук шаркающих шагов. К моему удивлению, Гиневра подошла к двери весьма бодрым шагом. Распахнув ее больше обычного, она широко улыбнулась мне и заявила:

— Бог ты мой, да я же тебя сто лет не видела. Давай-давай, заходи. У меня тут черт знает что творится. Столько проблем навалилось.

Проходя вслед за Гиневрой через прихожую, я почувствовал аромат каких-то крепких духов и заметил, как роскошно и даже не без изящества волочится по полу подол фиолетового бархатного халата Гиневры.

Она проводила меня в гостиную и рухнула в кресло.

— Нет, мне с этим никогда не разобраться.

— Да что же, в конце концов, случилось?

— Посмотри вокруг. — С наигранным отвращением на лице она величавым жестом обвела рукой комнату. Привычный порядок в помещении действительно был нарушен. По всему полу были в беспорядке расставлены и разложены как минимум два десятка коробок и свертков самых разных форм и размеров. Многие из них были открыты или же, наоборот, еще не запакованы, и их содержимое частично предстало моим глазам. Оглядев комнату, я успел заметить два дамских халата — черный и розовый, пару изящных перчаток, демисезонное пальто, два абажура — настолько разные по стилю, что ни в одном гостиничном холле их бы не поставили вместе. Кроме этого, я заметил пару туфель, пятикилограммовую консервную банку

с ветчиной, корсет с подвязками для чуток, свитер, штопор с серебряной рукояткой, какую-то брошку, гавайский шарф, картину маслом, изображавшую очередную «Весну в горах», и какой-то небольшой трехтомничек в переплете, выдержанном в пастельных тонах. Какие именно это были книги, мне осталось неизвестно, но готов поклясться, что большинство людей назвали бы их если не порнографическими, то уж по крайней мере вызывающе откровенными. Помимо всего перечисленного, по комнате были разбросаны и другие вещи. Причем предназначение и названия некоторых из них оставались для меня загадкой. В целом это сочетание открытых и закрытых коробок, белой упаковочной ткани и коричневой оберточной бумаги, ленточек и ароматов навеяло мне образ гримерной какого-нибудь женского хора или танцевальной труппы. Еще немного, и обнаженные руки и ноги, неприкрытые животы и едва прикрытые груди начали бы мне мерещиться тут и там, порожденные игрой светотени и пеленой сигаретного дыма.

— Гиневра, — обратился я к собеседнице после некоторой паузы, — что ты собираешься делать со всем этим?

— Сама не знаю, — не то произнесла, не то простонала она. — Господи, во что я ввязалась.

С этими словами она, словно для того чтобы дать мне понять всю невероятную тяжесть своего положения, запустила руки в коробку, стоявшую у ее ног, и, выудив из ее недр отрез дешевого набивного ситца, раскатала ткань на столе между нами. Со страдальческой гримасой на лице она выдохнула:

— А вот это? Зачем я, спрашивается, купила эту дрянь? Нет-нет, ты посмотри, он же тонкий — насквозь просвечивает. Чертова продавщица, я ведь чувствовала, что она мне это барахло просто впаривает.

— Интересно, как ты собираешься рассчитывать за все эти покупки? Тут никаких денег не хватит.

Гиневра посмотрела на меня с самым невинным видом.

— А я и не собираюсь покупать все это. Большую часть вещей я верну, а оставлю себе только то, что мне действительно очень нужно или просто понравилось.

Наклонившись ко мне поближе, она добавила:

— Вот только знать бы еще, что оставить. Если честно, никак не могу выбрать.

Я откровенно расхохотался:

— Гиневра, если уж ты заранее знала, что большую часть этого барахла все равно придется возвращать, зачем, спрашивается, было покупать и тащить его домой?

Она посмотрела на меня так, словно в моих словах не было не то что логики, но даже и капли здравого смысла.

— Да при чем тут это? Нет, Ловетт, ты не женщина, и тебе меня никогда не понять.

— И все-таки... Ты, когда скупала всю эту, скажем так, коллекцию, уже знала, что будешь возвращать большую часть, или всерьез думала, что сможешь рассчитаться за все это добро?

Гиневра задумалась над моими словами — с явной, надо сказать, неохотой. Скорее всего, никогда раньше она этим вопросом не задавалась.

— Не знаю, Ловетт, честное слово, не знаю. Наверное, я думала, что все это мне просто необходимо. Мне казалось, что вот это будет замечательно смотреться, а вот это окажется очень полезным... — Неожиданно в ее голосе послышалось раздражение, и она напустилась на меня: — Ну что ты ко мне пристал, в конце концов? От тебя вообще никакого толку. Помог бы хоть, что ли. Господи, ну и беспорядок.

С этими словами она изо всех сил пнула коробку, стоявшую около стола, и раздраженно откинулась на спинку стула. Ее злость и недовольство окружающим миром были настолько очевидны, что я, по всей видимости, уставился на нее и рассматривал собеседницу, как ей показалось, достаточно бесцеремонно.

— Ну в чем дело-то? — весьма нелюбезно осведомилась она. — Что уставился-то?

— Да так, просто задумался. С тех пор как мы виделись в последний раз, ты здорово изменилась.

— А, ты об этом... — Гиневра зевнула с преувеличенно наигранным безразличием. — Так это у меня кризис был. Черт, есть же какая-то поговорка, которая точно описывает то, что со мной происходило. Впрочем, неважно, главное, что все это уже позади и я снова твердо стою на ногах. — Эти слова она произнесла лихо и даже щеголевато, но никакие ухищрения не могли скрыть ее беспокойства и неуверенности. — Ума не приложу куда я буду складывать вещи, когда принесут следующую партию.

— Какую еще следующую партию? Господи, сколько же дней ты по магазинам ходила, чтобы скупить все это?

— Да в общем-то недолго, день-другой, и всё. — Гиневра закурила и, не погасив вовремя спичку, обожгла себе пальцы. — Вот черт! — От боли или со злости она швырнула спичку в пепельницу с такой силой, что та отлетела обратно. Следом, не затянувшись ни разу, Гиневра погасила в пепельнице сигарету. — Ничего-ничего, настанет день, когда я смогу оставить себе все, что куплю, — пробормотала она и неожиданно для меня поддала носком корзину с шитьем, стоявшую под столом. Клубки и катушки разлетелись по всей комнате, но Гиневре, похоже, не было до этого никакого дела. Покряхтев, она дотянулась до небольшого свертка, лежавшего на ковре. — Есть одна вещь, которую я ни за что не буду возвращать в магазин, — заявила она мне.

— И что же это такое?

— А вот и не скажу. Не скажу и не покажу.

— Ну и не надо, не больно-то и хотелось.

— В общем-то, конечно, не стоило бы... — С преувеличенно недовольным видом она вскрыла упаковку и выложила на колени свое сокровище. Я удивленно уставился на какую-то странную штучковину, сшитую из плотной ткани цвета хаки.

— Это еще что такое? Новый лифчик? — спросил я.

— Дурак, это пояс для денег.

— Неужели ты думаешь, что у тебя в обозримом будущем окажутся в распоряжении такие суммы, которые придется прятать под одеждой?

Чуть скривив губы, Гиневра многозначительно произнесла:

— Я просто готовлюсь — на всякий случай.

— По-моему, ты всегда готова.

— Ах вот, значит, какое у тебя обо мне сложилось мнение. А я знаешь что о тебе думаю? — похабно хихикнув, поинтересовалась она. — Ты-то как раз не всегда готов. Далек не всегда, Ловетт.

Вдруг, следуя своему внутреннему ассоциативному ряду, она поинтересовалась:

— А собственно говоря, что тебя сюда вообще принесло?

— Да вот, мужа твоего искал. Он вроде бы перебрался куда-то из той комнаты.

— Его, говоришь, искал. А зачем он тебе?

— Я же говорю: интересно, куда он переехал, где его искать.

— Да здесь где-то. — Господи, даже из такого пустяка она пыталась сделать тайну.

— Здесь, говоришь? Значит, он сегодня не работает.

— Нет, — посмотрев мне в глаза, сказала Гиневра, — он уволился.

— Зачем?

— Ты меня спрашиваешь? Я, между прочим, чужие мысли не читаю. — Она заметно помрачнела. — И что он тебе дался? Знал бы ты, сколько я с этим человеком намучилась. Он же с ума меня сведет. Он — кровоточащая рана в моей судьбе. Ты бы послушал, как он со мной

разговаривает. Знаешь, что он постоянно мне твердит?

— И что же?

— Он заладил как попутай: «Времени не осталось, времени совсем не осталось». Как бы тебе такое понравилось? Ощущение такое, что он уже приглашает меня на свои похороны.

— Можно подумать, ты бы очень расстроилась, случись вдруг такое.

— Майки, — уже не раздраженно, а скорее просто грустно сказала она, — были времена, когда я очень за него переживала. Не скрою, когда-то ему удалось произвести на меня впечатление. Ты вон сейчас, между прочим, тоже им очарован, вот и я решила, что он — настоящий джентльмен. Котелок у него варит, ты это и сам заметил. — Фыркнув, она добавила: — Вот только каши в этом котелке не сваришь. — Помассировав одну из своих жировых складок под бархатом халата, она продолжила: — Знаешь, что он со мной сделал? Он украл мою молодость. Вот, собственно говоря, и всё. Но прошлого уже не вернуть, и теперь я сосредоточусь на том, то есть на той, кто для меня важнее всего. Хватит с меня добровольных самопожертвований!

— Не понимаю, по поводу чего ты так возмущаешься.

Она деловито поерзала на стуле, словно бизнесмен, собирающийся подписать бумаги, учреждающие новое предприятие.

— Ловетт, тут дело такое... В подробности посвящать тебя я не могу, постарайся уж поверить мне на слово. Честное слово, думаю я не столько о себе, сколько о благе дочери. Ей суждено покорить Голливуд, в этом я абсолютно уверена. Мне просто нужно обеспечить ей возможность добиться обещанного судьбой успеха. Я знаю, что моя девочка пришлась тебе по душе. Она ведь нравится тебе, правда? Да и я. похоже, тебе небезразлична. В общем, я так подумала и решила, что ты, быть может, согласишься нам помочь.

Я выпустил струю табачного дыма ей в лицо.

— Убей бог, не понимаю, чем мог бы быть вам полезен.

— Ну, ты ведь с ним в друзьях. Можешь дать ему один дружеский совет.

— И что я ему должен по-дружески посоветовать?

Она вновь повернулась ко мне в профиль, представ в неотразимом, по ее мнению, ракурсе, и, бросив на меня испытующий взгляд из-под полуопущенных ресниц, поинтересовалась:

— Майки, ты ведь не окончательно вычеркнул меня из своего сердца?

— Насчет сердца не уверен, но в печенках ты у меня крепко сидишь.

Грубоватая шутка, которую я сам считал практически неприкрытым отказом принимать участие в интригах Гиневры, была интерпретирована ею как раз наоборот. Судя по всему, она твердо вознамерилась посвятить меня в свою тайну, несмотря на явно полученные указания не делиться этой информацией ни с кем. Я понял, что, по крайней мере, выслушать очередную байку Гиневры мне придется.

— Понимаешь, Майки, тут такое дело... Только это между нами. Так вот, у него хранится одна штуковина, ну, в общем, какая-то очень редкая, важная и дорогая вещь, которую он никак не хочет отдать тем, кому этот предмет — или все же назовем его вещью — очень и очень нужен.

— И что же это за вещь?

Гиневра замахала руками.

— Если бы я даже знала, я все равно не сказала бы тебе. А я этого не знаю, честное слово. Можешь себе представить, Майки, я столько лет прожила рядом с этим человеком и так и не знаю, что за секрет он хранит. Но эта вещь, или как ты эту штуку ни назови, — она у него есть, вот только проку ему от этого никакого. Отдай он эту штуковину заинтересованным людям — и у нас жизнь пошла бы по-другому, у нас бы все наладилось, мы оба смогли бы наконец

успокоиться, да и вообще... Все ведь так просто. Отдай — и живи спокойно. И что ты после этого скажешь — нормальный он человек?

— А ты никогда не пыталась подумать о том, что у него есть свои причины вести себя именно так и что он, быть может, рассчитывает на твою поддержку в этом деле?

Прямого ответа на мой вопрос я от Гиневры не услышал.

— Майки, я прекрасно понимаю, что просить тебя об этом не совсем честно. В конце концов, мне вовсе не нужно, чтобы ты оказался между мной и ним. Так уж получилось, что ты уже побывал на этом месте, и, как я думаю, тебе это не слишком понравилось. — С этими словами она стала массировать себе руку, словно совершая какой-то ритуал. Скорее всего, ритуал изгнания морщинок с кожи. — В общем, давай договоримся так: я не прошу тебя ни о чем. У заинтересованных лиц свои методы, и скорее всего между ним и заинтересованной стороной будут происходить какие-то переговоры, беседы, может быть, даже дискуссии. Так вот, ты, вполне вероятно, будешь при этом присутствовать, и я прошу тебя лишь об одном: как только тебе покажется, что у него мелькнула хотя бы тень сомнения, а не отдать ли к чертовой матери эту штуковину, — умоляю, просто намекни мне об этом. Пойми ты наконец, мне ведь тоже страшно любопытно, что же он прячет от окружающих все эти годы. — Гиневра подняла перед собой согнутую руку, словно тренируясь держать воображаемую чайную чашку, элегантно отставив при этом мизинец.

— Боюсь, я вряд ли смогу быть полезен в этом деле.

— Слушай, я же не вытягиваю из тебя никаких обещаний, — продолжила тараторить она, — предлагаю оставить этот вопрос открытым. Что скажешь? — Не дождавшись ответа, она снова опустила руку на колени.

Между нами повисло напряженное молчание. Я видел, что Гиневра закипает. Наконец ее прорвало:

— Знаешь, ты кто, Ловетт? Ты просто садист. Самый настоящий садист.

В ответ я лишь рассмеялся.

— Конечно, тебе-то легко, — с горечью в голосе сказала она, — ты ведь даже не представляешь, как мне тяжело. Все, абсолютно все идет не так. Даже Монина, и та настроена против меня. Я подчинила ей всю свою жизнь, а она... Видел бы ты, как она за ним бегаёт. Ему дела до нее никогда не было, но Монине, похоже, на это наплевать. Видел бы ты эту парочку. Ни дать ни взять — влюбленные голубки. — Покрутив пальцами локон, она привычным движением пристроила его на место с помощью заколки. — Вот и сейчас они где-то шляются.

— Интересно знать где?

— Сначала они погулять ушли, — угрюмо сказала Гиневра, — а сейчас, наверное, уже вернулись и, скорее всего, сидят там, наверху, в его комнате.

— Он же вроде сюда переехал?

— Да, переехал, но все свои деловые встречи он по-прежнему проводит там.

— Деловые встречи?

Нет, действительно, лучшим собеседником для этой женщины был бы попугай.

— Ну, не совсем деловые, ни о каком бизнесе речь не идет. В общем, не знаю, как все это назвать, но у него с заинтересованной стороной есть о чем поговорить.

— И что, у них сейчас там как раз такая встреча?

Скрыть охватившее меня желание присутствовать при таком разговоре было невозможно даже от Гиневры.

— Я думаю, что их беседа начнется с минуты на минуту, ну, может быть, через четверть часа. — Гиневре удалось сыграть подобие безразличия по отношению к той информации, которую она мне предоставляла. — А что, собственно говоря, тебя это так взволновало? Хочешь

приобщиться?

— Даже не знаю...

Услышав эту неуклюжую ложь, Гиневра хмыкнула:

— Ну тогда я не знаю, почему ты до сих пор здесь сидишь.

— Может быть, они не хотят, чтобы при их разговоре присутствовал посторонний?

Гиневра пожала плечами:

— Кто их знает. Совсем посторонние — это одно дело, а ты — другое. Что они на это скажут, я понятия не имею.

— А почему ты не там, не с ними?

Гиневра поджала губы.

— Они оба заявили мне, что не хотят, чтобы я присутствовала при их разговорах. Вот я здесь и сижу. — В следующее мгновение ей удалось подавить внешние признаки сжигавшей ее изнутри досады. Впрочем, даже я заметил, что это стоило ей немалого труда. — Господи, ну и сложная же эта штука, наша жизнь, — неожиданно обобщила она сложившуюся ситуацию.

Я встал со стула.

— Пойду поднимусь к ним. Посмотрим, что они скажут.

Гиневра засмеялась:

— Майки...

— Что?

— Веди себя хорошо и не забывай, что именно я посвятила тебя в эту тайну. Нужно уметь платить добром за добро. Ты мне, я тебе... — Ее голос сорвался, она прокашлялась и печально добавила: — Постарайся не забыть о том, о чем я тебя просила.

Глава девятнадцатая

Еще на лестнице я услышал радостный детский визг, доносившийся из комнаты Маклеода. Открыв дверь, я заглянул внутрь и в течение нескольких секунд преспокойно наблюдал за отцом и дочерью, которым до меня не было никакого дела. Мониная радостно визжала и то взлетала к самому потолку, то проваливалась почти до самого пола: Маклеод легко и непринужденно подбрасывал ее и ловил в тот самый миг, когда казалось, что ребенок вот-вот упадет и получит травму. Мониная при этом делала вид, что вырывается, и от души лупила кулачками и ножками по жилистым сильным рукам отца. Оба они явно были очень довольны тем, как проводят свободное время. Маклеод вдруг перехватил дочку поудобнее и усадил ее к себе на шею. Та с готовностью вцепилась в его шевелюру и заверещала: «В лошадку! В лошадку! Давай играть в лошадку!» Маклеод тот час же изобразил лихой галоп, для чего проскакал по комнате, звучно цокая об пол каблуками. Мониная была просто вне себя от счастья.

Затем Маклеод увидел меня, и его веселье мгновенно куда-то улетучилось. Он снял дочь с такого удобного для нее насеста и поставил ее на пол. Затем он поздоровался со мной — не скажу, что очень тепло и приветливо.

— Ну и где вы были? — спросил он меня.

— Да так, заходил вот к вашей жене.

— Ну-ну, — кивнул он, — она сказала вам, что я решил начать новую жизнь?

— Ну, в некотором роде.

Мониная вцепилась руками в брючину Маклеода, и он машинально погладил девочку по голове.

— Так вот, я действительно попытался устроить революцию в собственной жизни, а это дело как минимум рискованное.

Я вдруг понял, что Маклеод слегка пьян. В его дыхании чувствовался запах спиртного, а его речь стала чуть более сбивчивой и неразборчивой, чем обычно. Мониная тем временем уныло переминалась с ноги на ногу, затем она демонстративно тоскливо зевнула и начала тыкать в матрац пальцем, приговаривая: «Бах, бах, бах».

— Мониная, в чем дело? — спросил ее Маклеод.

Девочка упорно смотрела куда-то себе под ноги и делала вид, что не слышит обращенного к ней вопроса.

— Я в этой комнате два года прожил, — сообщил мне Маклеод.

— Долго.

— Очень долго, особенно если у вас маленький ребенок, который растет практически без отца. Существует некий предельный срок отсутствия, после которого наказание за неучастие в воспитании ребенка уже неизбежно. Знаете, Ловетт, а ведь я, бывало, виделся с дочерью буквально раз-другой в месяц. И вот, видите результат: мы ведь с нею абсолютно чужие друг другу люди. — Взяв Мониному за руки, он спросил у нее: — Ты любишь палочку?

Она постаралась вывернуться из его хватки, как рвущаяся на волю дикая птица.

— Нет.

Тем не менее, вновь обретя свободу, она немедленно захихикала.

— Если бы она умела говорить как взрослый человек, то наверняка добавила бы, что не любит никого в этом мире и, кстати, никому не верит. Эти черты характера, как я понимаю, передалась ей по наследству. В общем, моя дочь, ничего не скажешь, — мрачно подытожил Маклеод. Со скорбной улыбкой на губах он неожиданно подался вперед и ткнул меня пальцем в колено. — Вы, Ловетт, наверное, решили, что я самый обыкновенный сентиментальный папаша.

Но уверяю вас, были в моей жизни и другие времена. Вы можете хотя бы попытаться представить себе ту волну отчаяния и гнева, которая накатывается на мужчину, сидящего в гостиной вместе со своей законной второй половиной и осознающего, что это проклятое свидетельство о браке стало и своего рода свидетельством о разводе — разводе с той страстью и дружбой, которые связывали их вплоть до дня бракосочетания. А с тех пор они так и живут — с ощущением вины, нарастающей ненависти друг к другу и случающихся все реже и реже приступов любви. Ну так вот, и при всем этом перед ними на полу гостиной сидит милейший продукт их взаимной неприязни — хнычущий младенец, весь в соплях и какашках. Мужчина, такой как я например, начинает осознавать, что ему осталось жить не так уж много и что нужно еще успеть что-то сделать, а он, как выясняется, привязан теперь раз и навсегда не только к этой женщине, но и к их общему ребенку. Отчаяние и ужас приводят его в такое исступление, что он готов в самом буквальном смысле слова задушить младенца, а то и вовсе решить проблему в одно мгновение — ударом увесистого кулака, который запросто раскроит ребенку череп. — Палец Маклеода опять воткнулся мне в колено. — Вас, Ловетт, как я понимаю, воротит от обрисованной мной картины? Вы испытываете самый настоящий ужас. А ведь я пересказываю вам то, что происходило не с кем-нибудь, а со мной лично. Вот почему я и сегодня готов подписаться под тем, что убийство собственного ребенка есть, несомненно, преступление, но при этом — наименее тяжкое из всех возможных убийств. Убив незнакомого человека, вы даже не представляете, сколько жизней и судеб исковеркали и скольким людям принесли горе, но занесите топор над собственным отродьем — и платить горькую цену за свой поступок придется только вам самим. Убийство ничто, его последствия — всё. — Маклеод перевел дыхание. — Я готов на все, могу даже отдать на отсечение руку, лишь бы этот ребенок полюбил меня, — неожиданно сменил он тему разговора, — между прочим, это чувство, как барометр, свидетельствует о том, что с годами я становлюсь не сильнее, а слабее, хотя бы эмоционально.

— Она еще вполне может вас полюбить, — предположил я.

Маклеод кивнул. У меня возникло ощущение, что его внутренний маятник дошел до какой-то крайней точки и качнулся в другую сторону: мой собеседник вдруг стал излагать то, что противоречило всему сказанному им раньше.

— Понимаете, Майки, в нашей с Гиневрой совместной жизни еще есть надежда. Я просто слишком долго голодал и теперь с подозрением отношусь к любой еде, которую предлагают мне в изобилии. — Я вдруг заметил проблески каких-то теплых чувств в его обычно бесстрастных глазах. — Она... Ну, я имею в виду жену... В общем, я хочу сказать, что чувства, которые были между нами, еще живы или, по крайней мере, их еще можно оживить. Порой я почти физически ощущаю, что лишь мое присутствие помогает ей держаться. Нет, она, конечно, женщина не без странностей, да вы и сами знаете, но иногда она бывает такой мягкой и нежной... Вот только устала она от такой жизни. Упрекать или обвинять ее в чем бы то ни было я, конечно, не имею права, и должен сказать, что мне и самому не раз и не два приходилось бороться с почти непреодолимым желанием бросить все к чертовой матери и не раздумывая сесть в первый же поезд, который идет куда-нибудь подальше на Запад.

И все же мне почему-то кажется, что у нас с нею еще не все потеряно.

Последний разговор с Гиневрой был слишком свеж в моей памяти, чтобы я мог купиться на эту слезливую чушь.

— Вы просто сентиментальный идиот, — сообщил я ему.

Маклеод закурил и заявил в ответ:

— А вы видите только то, что лежит на поверхности. Да, конечно, я не сомневаюсь в том, что у Гиневры нашлось в мой адрес несколько «теплых» слов.

— Я бы сказал, больше чем несколько.

Маклеод лишь пожал плечами:

— Ловетт, ваше воображение недостаточно развито для того, чтобы понять, как такие разные люди, как мы с Гиневрой, могли хотя бы какое-то время прожить вместе. Это все потому, что для вас любовь — чисто духовная субстанция.

— Тоже мне объяснение. Да я таких сам с десятков сочиню.

Маклеод рассмеялся и пустился в рассуждения:

— Любовь гораздо легче понять, если подходить к ней с позиций разума, а не чувств. На самом деле любовь не что иное, как костыль, подпорка в жизни. А ни одному из нас костыли пока не нужны. Возьмите смесь страсти, взаимного влечения, уважения, некоторого количества эгоизма и хорошенько перемешайте. Полученную субстанцию можно разливать в любую форму — по вкусу. В результате вы получаете тот самый костыль, причем костыль, идеально подходящий для вас. С такой подпоркой легче как отступать, так и идти вперед, глядя в небо, в космос.

— Но ведь такой опорой в жизни другому человеку может стать далеко не каждый. Не все люди подходят друг другу, — попытался возразить я.

— На данном этапе вы правы. Бытие не только определяет, но и коробит сознание. Все свелось к тому, что мы можем уживаться лишь с очень похожими людьми либо с теми, кто подходит нам по принципу притяжения противоположностей. Но в идеале два любых взятых наугад человека могут обнаружить в себе нежность и тягу друг к другу. Это же примитивное, практически первобытное чувство, которое человечество задавило в себе нормами морали. Любовь не обретет свободу, пока во всем мире не восторжествует социализм. Вот оно, чисто человеческое понимание социализма — возможность устанавливать отношения с кем угодно, невзирая там на всякие примочки и припарки в виде брака, семьи и таких абстрактных духовных понятий, как любовь и Бог. — Последние слова он произнес с такой кривой миной, словно ему пришлось глотнуть уксуса. — И между прочим, именно там, где установилась советская власть, восторжествовала и эта свобода отношений между людьми.

Маклеод посмотрел на часы и обратился ко мне уже вполне будничным тоном:

— Ну а теперь, я надеюсь, вы меня простите, но я буду вынужден попросить вас уйти. Да, кстати, вы окажете мне большую услугу, если отведете Монину вниз, к маме.

— Вообще-то, в мои намерения входило остаться здесь, — заявил я.

Во взгляде Маклеода я не заметил ни тени иронии.

— Вы что, серьезно? — уточнил он.

Я кивнул.

Маклеод повернулся к Монине и негромко сказал:

— Девочка моя, тебе пора домой, вниз.

Мальшка отрицательно покачала головой.

— Монина, ты идешь домой, — строго повторил Маклеод.

Монина было дернулась, чтобы упасть на пол, закатить истерику или каким-то другим способом выразить свое недовольство, но вдруг, к моему удивлению, согласилась с принятым отцом решением.

— Папа, поиграешь со мной потом? — спросила она.

— Я тебя подкупать не собираюсь, — сказал дочери Маклеод, — мы с тобой поиграем, когда нам обоим этого захочется, договорились?

К еще большему моему изумлению, Монина и на этот раз повиновалась ему. Маклеод закрыл за дочерью дверь, кивком головы предложил мне сесть на стул, а сам сел на угол стола. Таким образом, он теперь смотрел на меня сверху вниз.

— С чего вы взяли, что вам хочется присутствовать при том, что здесь будет

происходить? — потребовал он от меня отчета.

— Может быть, мне просто любопытно.

— На любопытство я не куплюсь, сколь бы дешево его мне ни предлагали.

— Разумеется, есть и другие причины.

— Вы думаете, что сможете быть мне полезны? — со смехом произнес Маклеод. — Холлингсворт хочет, чтобы я занялся его политическим образованием — ему это очень любопытно, а судя по нашей с вами беседе там, на мосту... Похоже, вы не из тех, кто разделяет мои взгляды или хотя бы сочувствует им.

— По правде говоря... Я и сам не знаю почему, — пожал я плечами, — но мне кажется, что в тот вечер вы явили себя не то чтобы не в лучшем свете, но уж точно не таким, какой вы есть на самом деле.

Маклеод постучал пальцами по столу, явно взвешивая каждое сказанное мной слово.

— Как знать, как знать... — Помолчав, он, чуть стесняясь, добавил: — Тот факт, что я выпил, еще ничего не значит. — Затем он вновь посмотрел на меня в упор, и при этом на его лице застыло какое-то странное, незнакомое мне выражение.

— Значит, вы собираетесь остаться, невзирая на мои политические взгляды?

— Пожалуй, я отложу вынесение окончательного решения по этому вопросу.

Губы Маклеода искривились в подобии улыбки:

— Я про вас почти ничего не знаю... — Он провел пальцем по столу, словно желая выяснить, много ли пыли успело собраться на его поверхности. — Ловетт, мне кажется, вы не совсем понимаете, что здесь происходит.

— А я и не говорил, что понимаю, — заметил я.

— Если вы останетесь, то окажетесь впутанным в это дело.

— Я уже в курсе.

— Кроме того, оно может иметь для вас определенные последствия. — Маклеод произнес эту фразу совсем тихо, так что мне пришлось даже напрячь слух, чтобы понять, о чем он говорит. Признаюсь, прием сработал: как самими словами, так и интонацией ему удалось посеять в моей душе зерна страха.

— А может быть, я сам ищущу для себя эти последствия, — пробормотал я, тщетно пытаюсь взбодриться.

— Это вы-то?

— А почему бы и нет? — ответил я вопросом на вопрос. — Будут у меня неприятности или не будут, кто знает, в любом случае терять мне особо нечего. — Я с трудом верил в то, что сам произношу подобные слова.

Маклеод пожал плечами:

— Не знаю, что и сказать вам в ответ. Хотелось бы, конечно... Но... — А потом, словно обращаясь к самому себе, он негромко произнес: — В конце концов, всему есть предел. Человек не может вынести больше того, что ему отпущено.

В дверь негромко, вкрадчиво постучали.

— Что ж, а вот и он, — сказал Маклеод. Я вдруг заметил, что он был бледен как полотно. — Ладно, Ловетт, оставайтесь.

Повернув ключ в замочной скважине, он вернулся на середину комнаты. На пороге появился Холлингсворт. Впрочем, в следующую секунду он посторонился и пропустил вперед себя Ленни. Сам Холлингсворт был одет эффектно, и я бы даже сказал, франтовато: на нем был габардиновый костюм с вязанным галстуком и коричневые с белым спортивные туфли. Его светлые волосы были словно прилизаны, приклеены к голове при помощи какого-то специального масла. В общем, выглядел он так, словно только что вылез из душа. «Ну и жаркий

же выдался денек», — сказал он, как всегда, любезнейшим тоном. Затем Холлингсворт оглядел комнату, обнаружил мое присутствие в помещении и, по всей видимости, чтобы скрыть удивление, перевел взгляд на собственный портфель, который был тотчас же водружен на стол. Холлингсворт дотянулся до стоявшего в углу комнаты дополнительного стула, придвинул его к столу и жестом указал Ленни место, где ей полагалось сидеть. Она, не глядя ни на меня, ни на Маклеода, прошла к стулу, села на него и положила руки на стол. Со стороны могло бы показаться, что в этот момент ее больше всего на свете занимают потрепанные и засаленные манжеты ее сиреневого пиджака.

Теперь и Холлингсворт занял свое место за столом и положил раскрытый портфель зевом к себе — так, чтобы в любую минуту извлечь из его недр нужную бумажку. Наконец он все так же молча закурил. Маклеод по-прежнему стоял в центре комнаты, не торопясь занять оставшийся свободным стул у стола. Я же, в свою очередь, стоял рядом с ним, чуть позади, рядом с кроватью, и терпеливо ждал, когда мне наконец укажут место, с которого я буду наблюдать за происходящим.

Холлингсворт прокашлялся.

— Прежде чем начать, я порекомендовал бы мистеру Ловетту покинуть помещение.

Голос возразившего Холлингсворту Маклеода я узнал не без труда, настолько хрипло прозвучали его слова:

— Мистер Ловетт желает остаться.

— Его желание мне более чем понятно, но все же я настаиваю на том, чтобы он ушел. — Холлингсворт явно решил избавиться от непредвиденного обстоятельства, в роли которого выступил я.

— Лично я еще не пришел к окончательному решению, — заметил Маклеод, — но, по правде говоря, я скорее склонен позволить ему остаться.

— Позволю себе заметить, что вы, как мне кажется, находитесь не в том положении, чтобы...

Маклеод перебил его:

— Я согласился на ведение расследования по этой процедуре. Вы, как я понимаю, вовсе не обязаны строго следовать ей. У вас ведь, если я не ошибаюсь, есть и альтернатива. Так вот, до тех пор пока вы не воспользовались этой возможностью, я буду настаивать на соблюдении своих прав.

Холлингсворт смял недокуренную сигарету.

— Но это же совершенно непредвиденное обстоятельство.

Маклеод пристально посмотрел на него и негромко произнес:

— Вот уж, право дело, действительно непредвиденное.

— Я хочу, чтобы он ушел, — в очередной раз заявил Холлингсворт.

— Тогда ему придется забрать с собой вашу... скажем так, коллегу.

Ощущение было такое, что волосы Ленни вздрогнули под порывом ветра. Она подняла глаза, окинула нас всех взглядом и вновь уставилась на свои руки. Сама не понимая, как странно она при этом выглядит, Ленни продолжала в упор разглядывать кромку ногтей на своих пальцах.

Холлингсворт выудил из портфеля какую-то бумагу и произнес, обращаясь к Маклеоду:

— Я полагаю, кое-кто может и сесть. А что касается мистера Ловетта, если он не возражает против того, чтобы сидеть на кровати, учитывая сложившуюся неформальную обстановку... — Не договорив фразу, он поправил галстук и объявил: — Что ж, похоже, мы можем приступить к делу.

Глава двадцатая

— Минуточку, — прервал Холлингсворта Маклеод. Он обошел стол, подошел к окну и прикрыл жалюзи. Вернувшись на свое место, он дотянулся до выключателя и, включив лампу, отрегулировал абажур так, чтобы торшер светил прямо ему в глаза.

Холлингсворт постучал карандашом по столу. Выдержав паузу и оценив разыгранную Маклеодом пантомиму, он, в свою очередь, встал из-за стола и проделал все те же действия с точностью до наоборот. Он подошел к окну, поднял жалюзи, вернулся к столу и выключил свет. На его лице мелькнула протестующая улыбка, и он вполголоса заметил:

— Это пока необязательно.

Маклеод выглядел абсолютно невозмутимым.

— Как я уже говорил вам, я настроен на полное и плодотворное сотрудничество.

— Вот и замечательно, — кивнул Холлингсворт, — такое отношение следует ценить, потому что при отсутствии настроя на сотрудничество подобные встречи могут затянуться чуть ли не до бесконечности, если вы, конечно, понимаете, о чем я говорю.

— С чего вы предлагаете начать?

Холлингсворт снова постучал карандашом по столу. Судя по всему, он выстраивал про себя порядок ведения разговора.

— Я человек терпеливый, если не сказать толстокожий и почти непробиваемый. Но есть и у меня своя ахиллесова пята, то, что приводит меня в состояние раздражения. Так вот, предупреждаю: я не люблю, когда в разговоре возникают недомолвки, неискренность и, упаси господь, когда люди начинают говорить неправду. Больше всего я ценю в людях откровенность. — Виновато прокашлявшись, он добавил: — Видите ли, мы достаточно много знаем об одном человеке, так что ему незачем скрывать ту малость, которая нам пока еще неизвестна.

— Я ничего ни от кого не скрываю и готов подписаться под всем, что говорил с самого начала, — заявил Маклеод.

— Вот и хорошо, — сказал Холлингсворт и, вынув из нагрудного кармана блокнотик, записал в нем буквально пару слов. Он вырвал листок из блокнота и протянул его Маклеоду: — Я полагаю, что мы с вами сэкономим немало времени, если вы сразу же признаетесь в том, что вы и есть тот человек, имя которого я написал вот на этом листочке. — С этими словами Холлингсворт чуть наклонился вперед над столом.

Маклеод порвал бумагу на мелкие кусочки. С ответом он не торопился. Его пальцы машинально возились с пуговицей на нагрудном кармане рубашки, а когда ему удалось наконец расстегнуть застежку, он высыпал в карман клочки бумаги и вновь закрыл клапан.

— Ну хорошо, — сказал он наконец, — это человек и я... Мы идентичны.

— Вот и замечательно, — довольно кивнул Холлингсворт.

Он протянул собеседнику через стол пожелтевшую газету. С моего места я сумел разглядеть на первой странице какую-то групповую фотографию.

— Вот видите, сколько времени мы с вами сэкономим. Признаться, вы меня очень порадовали.

Все правильно, не зря ведь говорят, что честность — лучшая политика и линия защиты. Ну если и дальше все пойдет в том же духе...

Маклеод на это ничего не ответил. Он откинулся на спинку стула и, повернувшись в мою сторону вполоборота, подмигнул мне. Выглядело это довольно жалкой попыткой ободрить не столько меня, сколько себя самого.

Холлингсворт тем временем внимательно разглядывал бумаги, вынутые им из портфеля.

— Я вот думаю, — сказал он наконец, — не будете ли вы столь любезны, чтобы обрисовать мне биографию вышеупомянутого джентльмена.

— У вас же все есть в ваших бумагах, — возразил Маклеод.

— Все, да не все. Может быть, что-то и упущено.

Глядя в потолок, Маклеод стал скороговоркой проговаривать — явно не в первый раз в жизни:

— Родился в рабочей семье, в тысяча девятьсот двадцать первом году исполнилось двадцать лет. Заинтересовался рабочим движением, работал машинистом, по ночам читал труды классиков марксизма. Вступил в партию в тысяча девятьсот двадцать втором году. — Обрисовав таким образом общий фон, он все тем же сухим, бесцветным голосом продолжил перечисление мест работы, партийных поручений и должностей. В таком-то году побывал в такой-то стране, в таком-то — в другой. Выполнив одно поручение, он немедленно приступал к выполнению другого. Постепенно стала вырисовываться картина карьерного роста — от работы в первичных организациях к деятельности на районном или окружном уровне, а затем и в масштабе всей страны. Все это было приправлено несколькими практически обязательными паломничествами в Мекку. В общем, передо мной вырисовывалась, скажем так, не самая обычная биография. Там-то в таком-то году он возглавил забастовку, там-то был руководителем окружного агитпропа, здесь вел фракционную борьбу; аресты, какое-то время, проведенное в тюрьме, членство в Центральном комитете, — каждый факт ложился как кирпичик в возводимую стену, скрепленную раствором точных дат, соответствовавших каждому указанному событию или занимаемой в то или иное время должности. «Уехал за границу, 1932 год. Много путешествовал в период с 1932-го по 1935 год. Пребывание в Советском Союзе— 1935–1936 годы. Испания, 1936–1938 годы». Маршруты, города и страны следовали друг за другом. Год в Москве, год в Америке... Понемногу я стал замечать, что точность отчета Маклеода оставалась лишь формальной — ни целей поездок, ни должностей, ни имен он больше не называл. Не распространялся он и о подробностях своей работы в сравнительно недавние годы. Разок-другой он даже задумался и, словно невзначай, поправил сам себя, назвав другую дату того или иного события. Неожиданно, без всякого перехода он все тем же монотонным голосом подытожил: «В 1941 году вышел из партии. Впоследствии служил статистиком в американском правительственном бюро в течение 1941–1942 годов. Жил под вымышленным именем. Уволился в 1942 году. С того времени и по сей день выполнял разовые и случайные работы под именем Уильяма Маклеода. Это всё».

Холлингсворт все это время делал какие-то пометки в лежавших перед ним бумагах, отпечатанных на машинке.

— Вы сказали, что служили статистиком в правительственном бюро — как я понимаю, нашей страны?

Маклеод не по-доброму ухмыльнулся:

— Вы хотите сказать, что это была попытка внедрения?

— На данный момент, я полагаю, мы можем не сосредотачивать на этом наше внимание, — сказал Холлингсворт, сдунув со лба свисающую прядь волос, — я скорее хотел бы уточнить вот что: насколько я понимаю, в тысяча девятьсот тридцать пятом году вы побывали в одной балканской стране.

Маклеод сделал вид, что пытается вспомнить этот эпизод из своей долгой биографии.

— Да, было дело, заезжал туда не то на неделю, не то на две.

— Кроме того, вы бегло говорите на одном из языков, распространенных в этой балканской стране.

— С ужасным акцентом.

— Но бегло, — настойчиво повторил Холлингсворт, качая головой.

Наклонившись вперед, Маклеод посмотрел на него в упор:

— К чему вы клоните?

— К тому, что у нас есть некоторые сомнения по поводу места вашего рождения.

— Я родился здесь. Эта информация, не сомневаюсь, должна присутствовать в имеющихся у вас на руках документах.

— Нам не удалось найти регистрационную запись о вашем рождении.

— Я так понимаю, это ваши проблемы, а не мои.

Холлингсворт тяжело вздохнул:

— Все так трудно, так запутанно.

Он вновь что-то написал на листке, вырванном из блокнота, и протянул его Маклеоду.

— Вы можете прочитать это балканское имя?

Маклеод кивнул:

— Да, но оно мне ни о чем не говорит.

— Да что вы? А у меня ощущение, что я его уже сто лет знаю — столько я с ним намучился. Упорный человек, ничего не скажешь. Так вот, родился он в одной из балканских стран. Отец — из местных, а мать — ирландка. Вы с ним, кстати, не встречались в году так, скажем, тысяча девятьсот тридцать шестом?

— Нет, не встречался. — Для большей убедительности Маклеод покачал головой.

— А ведь именно под этим именем вы находились в указанной стране.

— Вы ошибаетесь.

— У меня есть подтверждающие мою правоту фотографии.

— Покажите их мне.

И Маклеод, и Холлингсворт одновременно привстали со стульев.

— На данный момент я предпочту оставить их при себе.

— Нет у вас никаких фотографий, — заявил Маклеод.

Холлингсворт вынул из кармана сигареты, закурил сам и протянул пачку Ленни. Она к тому времени вышла из оцепенения и смотрела на Маклеода так пристально и напряженно, что он невольно отводил глаза всякий раз, когда встречался с ней взглядом.

— Принимая во внимание настоящее имя того джентльмена, по поводу личности которого мы с вами пришли к единому мнению, — продолжил разглагольствовать Холлингсворт, — не затруднит ли вас признать, что именно он приехал в Америку в возрасте семнадцати лет из уже упомянутой нами балканской страны, куда впоследствии неоднократно возвращался во время зарубежных поездок?

Маклеод явно выглядел озадаченным. Он машинально провел пальцем по зубам, словно желая удостовериться, остаются ли они все еще на своих местах.

— Лерой, я, честное слово, не понимаю, к чему вы клоните. Зачем вам все это? Не слишком ли много внимания к неподтвержденным страницам биографии моей скромной персоны? В общем, я в любом случае с полной уверенностью даю вам на этот вопрос отрицательный ответ.

Холлингсворт был по-прежнему невозмутим. Он не торопясь, с расстановкой зачитал фрагмент текста из какого-то извлеченного из портфеля документа.

— «Большой специалист по методике конспирации. Руководитель...» В присутствии вашего друга я бы не хотел оглашать названия перечисленных здесь организаций. «По-английски говорит бегло с использованием ирландских интонационных моделей».

— Вам ли не знать, Лерой, — вторя Холлингсворту, медленно и почти нараспев произнес Маклеод, — что я говорю по-английски неправильно и с ужасным акцентом.

Холлингсворт продолжил изучать имевшийся у него на руках документ, время от времени произнося вслух наиболее эффективные, по его мнению, пассажи.

— «Своей активной деятельностью заслужил дурную славу. Имеет репутацию „палача левой оппозиции“». — Холлингсворт сделал паузу для того, чтобы поковыряться пальцем в ухе. — Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, судя по всему, помимо вышеперечисленного списка существует еще одна подпольная организация, не слишком многочисленная и не считавшаяся заслуживающей пристального внимания, по крайней мере на данный момент. — Холлингсворт оторвался от бумаги и посмотрел на Маклеода: — Об этом человеке вам случайно ничего не известно?

— Ровным счетом ничего.

— Да, нужно всегда быть готовым к непредвиденным задержкам, — заметил Холлингсворт, глядя куда-то в сторону, — предлагаю рассматривать этого человека, ну, скажем, как вашего брата. — Произнося эту фразу, он смотрел на сигарету, на кончике которой скопилось уже, наверное, с полдюйма пепла. Не обнаружив на столе пепельницу, Холлингсворт отодвинул в сторону руку и, не меняя интонации, спросил: — Не возражаете, если я буду стряхивать пепел на пол?

Маклеод предпочел отреагировать лишь на вопрос:

— Сейчас я принесу какую-нибудь посудину. — Он прошел в дальний угол комнаты, покопался в буфете и выставил на стол одноразовую тарелку. — Мисс Мэдисон, я буду вам очень признателен, — сказал он, обращаясь к Ленни, — если вы также воспользуетесь этим предметом. Вам, безусловно, доставляет наслаждение возможность загадить пол вокруг себя, но, боюсь, на какое-то время придется отказать себе в этом удовольствии.

Ленни глядела на Маклеода широко раскрытыми глазами, ее руки дрожали. Она вроде бы даже захотела что-то сказать ему, но в последний момент сдержалась и не произнесла ни слова.

Холлингсворт тем временем прокашлялся и громко заявил:

— Вынужден снова рекомендовать вам попросить мистера Ловетта покинуть это помещение.

Маклеод посмотрел на меня, и я отрицательно покачал головой.

— Боюсь, я не последую вашей рекомендации, — сказал Маклеод.

Зажав карандаш между кончиками пальцев — ни дать ни взять рыбак, показывающий размер пойманной рыбы, — Холлингсворт поводил руками вверх-вниз, словно совершая какой-то магический обряд.

— Так было бы лучше для всех заинтересованных сторон, — продолжал настаивать он. При этом взгляд его сине-масляных глаз был устремлен в мою сторону — но не на меня, а куда-то вдаль, в пространство. — Я буду вынужден написать об этом отдельный рапорт. Господин Ловетт окажется в положении человека, в распоряжение которого попадет информация, составляющая государственную тайну.

— У вас ведь есть выбор, — медленно, с расстановкой произнес Маклеод, — вы всегда можете увезти меня к себе и посадить в камеру. Там нам с вами никто не мешает. Почему вы этого не делаете?

Холлингсворт не ответил.

— Мне так показалось, что вы не ведете протокол нашей с вами беседы.

— Сотрудникам нашего отдела предоставляется широкий выбор вариантов ведения допроса, — холодно заметил Холлингсворт.

— Ну уж не настолько же широкий. Убейте меня, я не поверю, что вам дозволяется манкировать бумажной работой. Ну скажите на милость, неужели кто-то когда-то разрешал кому бы то ни было не записывать то, что говорят обе стороны во время ведения допроса. Я

смотрю, молодой человек, вы прямо у нас на глазах впадаете в страшную ересь.

— Как бы я ни ценил ваш богатый опыт, мне все же придется попросить вас об одолжении: позвольте мне пользоваться теми методами, которые я сочту нужными.

— У меня такое ощущение, что вы сами не понимаете, что творите. Будь я на месте вашего начальника и узнай, что вы не ведете протокола, я бы приставил к вам контролера да и назначил бы другого — присматривать за тем, первым.

Холлингсворт несколько покраснел — не то от стыда, не то от раздражения. С румяными щеками он выглядел точь-в-точь как школьник, которого отчитывает учитель.

— Я полагаю, что нам лучше продолжить прерванную беседу, — тихо сказал он.

— Ну да, конечно, за работу. Немедленно за работу. — К моему немалому удивлению, Маклеод действительно не на шутку разозлился. — Да, кстати, для протокола: я опротестовываю подобные методы ведения допроса.

Холлингсворт медленно прикрыл и вновь открыл глаза, явно довольный тем, что ему удалось вывести Маклеода из себя.

— Не будете ли вы столь любезны, — мягким, вкрадчивым голосом произнес он, — рассказать мне о каких-либо особенных или, быть может, странных событиях, которые имели место в то время, когда вы работали в должности статистика в вышеупомянутом, но не названном правительственном бюро?

— Ничего такого за это время не происходило.

Холлингсворт поцокал языком.

— Больше всего на свете не люблю говорить людям неприятные вещи, но на этот раз вы сами вынуждаете меня заявить в ответ на ваши слова, что это ложь, причем ложь наглая. Такое поведение может заставить собеседника сделать далеко идущие выводы и допущения.

В разговоре повисла пауза.

— Ну хорошо, я соврал, — признался Маклеод, — кое-что действительно происходило, но мне об этом практически ничего не известно.

— Не могли бы вы посвятить меня в то немногое, что все же стало вам известно, — предельно вежливо попросил Холлингсворт.

Маклеод закурил и долго не гасил спичку — до тех пор, пока она не обожгла ему пальцы. Словно очнувшись, он отбросил ее и выпустил струю дыма в потолок. На его лице при этом блуждала задумчивая улыбка. Наконец он вроде бы пришел в себя и поинтересовался у собеседника:

— Надеюсь, вы не будете возражать, если мое повествование окажется весьма пространном?

— Я бы хотел услышать подробное и полное изложение событий, но в разумных рамках. Не стоит злоупотреблять терпением слушателей. Но это я так, к слову, — добавил Холлингсворт.

— Эх, молодой человек, вам еще учиться и учиться, — со вздохом заметил Маклеод, — какой же вы, однако, нетерпеливый. Поймите, за все приходится платить. Вот вы, например, купили машину, но вместе с удовольствием от покупки вы получаете и беспокойство за сохранность своего приобретения. Но, впрочем, позвольте перейти к делу.

Он снова затянулся и приступил к рассказу. Как всегда, Маклеод стремился упорядочить и классифицировать всю оказывавшуюся в его распоряжении информацию. Вот почему его изложение напоминало скорее доклад или лекцию. При этом Маклеод внимательно следил за реакцией аудитории, и стоило Холлингсворту начать проявлять признаки нетерпения, как темп повествования заметно ускорялся. Когда же собеседник не испытывал явного желания задавать какие-либо вопросы по сути дела, Маклеод вновь пускался в описание мельчайших деталей, имевших самое отдаленное отношение к главной теме рассказа. Само собой, в основном эта

лекция читалась для Холлингворта, но в немалой степени и для меня. Иногда мне казалось, что Маклеод обращается напрямую даже не к нам, а к Ленни.

— Прежде всего я хотел бы отметить, — начал Маклеод, — что мне довелось служить в одном из бесчисленных управляющих органов зарождающегося государственного капитализма. Это порождение нашего строя представляло собой огромное здание с тысячами работавших в нем людей, сидевшими за тысячами письменных столов. А ведь это был всего лишь региональный филиал куда более обширной и разветвленной структуры.

Маклеод живо описал нам, как функционировали и взаимодействовали отдельные составные части этого гигантского организма. Как работала его кровеносная система — всепроникающая пневматическая почта. Поведал он нам и об иерархии телефонных аппаратов, расписании движения лифтов, о почетном карауле из секретарш у дверей разного ранга начальников и о сотнях и сотнях стенографисток, занимавших в здании несколько этажей. Все это колоссальное хозяйство, единожды запущенное, существовало по своим собственным законам и функционировало благодаря инерции огромной массы даже при возникновении сбоя в отдельных подразделениях. Контакты между внешним миром и внутренней структурой этого чудовищного механизма были строго ограничены. «Разумеется, во всем этом хозяйстве я был не более чем мельчайшей кровяной клеткой, обитающей где-то в закоулках не самого жизненно важного органа этого монстра».

Затем, после долгих лет упорядоченного, почти непрерывного функционирования, система дала сбой. Случилось нечто непредвиденное. «Не могу сказать вам, что с нашей организацией произошло на самом деле. Не могу — потому что не знаю, — заверил слушателей Маклеод. — Судя по обрывкам информации, которая до меня доходила, речь идет о пропаже какой-то небольшой вещицы, какого-то предмета — достаточно важного, несмотря на свои незначительные размеры. В общем, в нашей конторе что-то пропало, и никто, ни я, ни кто-либо другой, не знает, как это случилось».

— Гигантский организм вздрогнул от полученного удара, и его последствия ощутили все, кто имел отношение к этой машине. Тяжесть последствий нельзя оценить, если не представлять себе, как все было до потрясения. Если вы не провели в подобном заведении хотя бы несколько сотен, а то и тысяч дней, не проходили каждое утро мимо охранников, не поднимались на единственный этаж, на который у вас был допуск, в одном-единственном, предназначенном для таких как вы лифте, и не сидели день за днем за своим персональным письменным столом, который терпеливо ждал вашего возвращения с вечера до утра. Исчезновение одной маленькой штучки стало катализатором бурного развития событий в нашем управлении. Нарыв прорвался, гной попал в кровь, и она разнесла заразу по всему организму. Эх, видели бы вы, как этот великан содрогнулся. Охрану многократно усилили и поставили надзирателей буквально во всех коридорах. То и дело проводились обыски и иные оперативные мероприятия. Было пересмотрено распределение лифтов, читались все внутренние телеграммы, пересчитывались и частично перлюстрировались отправления по пневматической почте, телефоны либо отключались, либо прослушивались... А уж сколько раз допрашивали ни в чем не повинных и ничего не ведающих стенографисток, я и вспоминать не хочу. — Маклеод всплеснул руками, чтобы продемонстрировать нам масштаб проводившихся в управлении поисковых мероприятий. — Вы должны понимать, — сказал он, — что все это происходило постепенно и достаточно деликатно. Работа нашего учреждения не была парализована этими проверками и обысками. Да что там парализована, она не прерывалась ни на день. Доклады и отчеты по-прежнему отсылались по необходимым адресам, люди сидели за столами, охранники кивали нам на входе по утрам, а стенографистки, ни дать ни взять стая уток, собирались кучками, с тем чтобы ровно в десять — с боем часов, не раньше и не позже — всей толпой отправиться в

уборную.

Он вытянул перед собой руку, сначала разжал пальцы, а затем снова сжал их в кулак.

— Но не стану вас обманывать, — продолжил он, — этот мощный механизм уже больше не был таким, как прежде. — При этих словах Маклеод искоса посмотрел на Ленни. — На ранних стадиях сумасшествия организм больного физиологически функционирует точно так же, как и у здоровых людей. Например, он потребляет ту же пищу, и она разлагается в его пищеварительном тракте на те же самые химические составляющие, что и у нас с вами. Тем не менее никто не скажет, что человек здоров, основываясь только на том, как он потребляет пищу, как ее переваривает и как избавляется от неусвоенных остатков. Безумца сразу же вычисляют по его поведению. Однако болезнь прогрессирует, и вскоре безумие начинает сказываться и на физиологических функциях организма. Возникают патологии во внутренних органах, и, например, мышца, именуемая сфинктером, начинает реагировать на непредсказуемые стимулы, заставляющие ее сокращаться и расслабляться. Таким образом, мы наблюдаем, как больной гадит под себя — просто потому, что ему показалось, что для этого настал подходящий момент, ну или, например, сморкается прямо в стоящую перед ним тарелку с супом.

Состроив брезгливую гримасу, он откинулся на спинку стула и сложил на груди руки, всем своим видом давая понять слушателям, что его рассказ окончен.

Холлингсворт, похоже, не был в этом уверен.

— Это все? — на всякий случай поинтересовался он.

— Не совсем. Что было дальше, я вам рассказать не мшу. Дело в том, что в пору повальных обысков и проверок я решил, что мое прошлое не сослужит мне в такой обстановке хорошую службу. В общем, я решил сняться с места и уволился. Что происходило в управлении потом, для меня является тайной, покрытой мраком.

— Женились вы тоже примерно в это время?

— Да, вскоре после того, как уволился с работы.

Холлингсворт извлек из портфеля трубку и стал разбирать ее для того, чтобы прочистить.

— Не хотите ли поделиться с нами, — сказал он как бы невзначай, — когда именно руководители вашей организации приказали вам похитить эту..

— Эту маленькую вещицу?

Холлингсворт кивнул.

— Мне никто ничего не говорил и ничего не приказывал — по той простой причине, что я покинул ряды этой организации.

Холлингсворт уныло и протяжно зевнул. Закрыв наконец рот, он поднес к губам ствол трубки и стал продувать его. Всем своим видом он давал понять, что ему стало невыносимо скучно.

— Из такой организации просто так не уйдешь. В ее рядах бывших не бывает, — заметил он.

— Вы прекрасно знаете, — сказал Маклеод, — каковы были обстоятельства, в которых я покидал ряды своих бывших товарищей.

— Зачем вы взяли эту вещь?

— Я ее не брал.

— Попробуем еще раз: зачем вы взяли эту маленькую вещицу?

— Я ее не брал. Я даже понятия не имею, что это за штуковина. А вам, кстати, это известно?

Холлингсворт зажал мундштук трубки зубами и, не выпуская его изо рта, процедил:

— Предлагаю объявить перерыв.

С этими словами он тяжело откинулся на спинку стула.

Глава двадцать первая

Мы продолжали сидеть каждый на своем месте и глупо глядели друг на друга. Маклеод встал со стула, аккуратно перешагнул через вытянутые ноги Ленни и сел рядом со мной на кровать. Он здорово вспотел: волосы у него на голове были влажными, а очки покрылись испариной. Ему даже пришлось снять их и протереть стекла.

Холлингсворт снова зевнул.

— Позвольте поинтересоваться: не будет ли кто-либо из вас возражать, если я отлучусь на несколько минут?

Не получив ответа на свой вопрос, он встал, застегнул пиджак, церемонно кивнул каждому из нас и вышел из комнаты.

Ленни и Маклеод некоторое время сосредоточенно изучали пол у себя под ногами. Затем Маклеод поднял голову.

— Ну что ж, пока ваш друг-приятель подслушивает под дверью, я полагаю, вы захотите что-то сказать.

Ленни вздрогнула. Внешняя безучастность давалась ей нелегко, и теперь она с испугом оглядела комнату, словно впервые видя эти стены и мебель. Заговорила она не сразу, и ее слова показались мне более чем странными. Сторонний наблюдатель мог бы предположить, что последние полчаса ее не было с нами в комнате, где шел такой напряженный разговор.

— Ваша жена сказала мне, что здесь открыто, — сказала Ленни Маклеоду, подняв наконец глаза и встретившись с ним взглядом, — а еще она разрешила мне снять эту комнату буквально за бесценок, потому что мои финансы, по правде говоря, поют уже не романсы, а заупокойную службу.

Эта попытка пошутить, судя по всему, окончательно лишила Ленни сил. Говорить она продолжала уже совсем слабым и дрожащим голосом.

— Вы же понимаете, что эта комната, естественно, дешевле, чем та, которую я снимала раньше. Так вот, ваша жена, она такая любезная и понимающая женщина... В общем, она согласилась пересчитать уже внесенную предоплату и даже вернуть мне часть денег, как только я перееду сюда. А деньги мне сейчас очень нужны. — С этими словами она вновь отвела взгляд в сторону. — Но мне не нравится эта комната, я не могу здесь находиться, — неожиданно резко заявила она, — она какая-то унылая, как неживая. Здесь даже гниет все как-то не так, как обычно. Здесь как будто бы никто никогда не жил, а под этой крышей птицы никогда не вили себе гнезда.

Маклеод глядел на нее невидящими глазами. Его губы при этом шевелились, словно он машинально посасывал лимонный леденец. «Птицы не вили гнезда», — повторил он негромко и вдруг зашелся в приступе едкого, язвительного смеха. Затем он перекатился мне за спину и растянулся на кровати, подложив руки под затылок. Лежа неподвижно, он словно отгородился от всего того, что могла сообщить ему Ленни.

Она же, в свою очередь, явно больше не могла сидеть неподвижно. Я увидел, как она встает, проходит по комнате, с минуту стоит спиной к нам у самой двери, а затем возвращается вновь к окну.

— Я так давно и так долго хотела встретить вас, познакомиться с вами, — сказала она через плечо, причем поначалу я даже подумал, что она обращается ко мне. — Это продолжалось все то время, пока девушка в очках сидела в углу и записывала все, что я говорю, а потом относила эти записи в зеленый кабинет, где хранятся папки с нашими делами. Остальные же — все как один в белых халатах — лапали и лапали меня своими руками. Это они — истинные правители

мира, и мне было интересно, как же выглядит тот, кто у них главный. Впрочем, я уже тогда должна была догадаться, что он, наверное, похож на вас — с глубоко посаженными глазами и глубоким-глубоким ротовым отверстием черепа. Это же вы организатор революции, а теперь менять что-то уже поздно. Головастики уже запустили в пруд, и скоро они станут взрослыми лягушками. Люди живут по часам, по строгому расписанию и готовы в едином порыве прокричать трехкратное ура, заковывая себя при этом в цепи. Люди, люди, кругом одни люди, они везде.

Маклеод, слушая это, даже побледнел. Не без усилия придав своему лицу цинично-безразличное выражение, он процедил сквозь зубы:

— Вы только послушайте ее: настоящая революционерка.

— Да, — не задумываясь, на одном дыхании согласилась она, — вокруг меня люди, которым плохо, и я хочу изменить их жизнь. Сделать так, чтобы они жили полной жизнью. Вот только сил у меня маловато: вокруг меня погибающая от засухи трава, а в моем распоряжении лишь чайная ложка воды.

Усилием воли заставив себя прервать поток речи на полуслове, она подошла к кровати и посмотрела на Маклеода сверху вниз.

— Они сказали мне, что я рано или поздно найду вас. Они — это его мистер Вильсон и его мистер Курт. Они были так добры ко мне, они вытащили меня из той страшной комнаты и рассказали мне обо всем. И я сама попросила их о том, чтобы они позволили мне найти вас — чтобы просто посмотреть вам в глаза.

А теперь, когда я вас наконец увидела, я поняла... Я поняла, — закричала она, — что я бы сидела и спокойно смотрела, как какие-нибудь костоломы насмерть забивали бы вас дубинками! Впрочем, нет, я бы не сидела спокойно, я бы визжала и улюлюкала, чтобы ободрить их, потому что я знаю, что вам нет пощады. Сначала я боялась. Мне казалось, что мне станет вас жалко, а жалость — это самое унижительное из чувств, которые может испытывать человек. Я боялась, что, посмотрев вам в глаза, я скажу: «Хватит, он уже достаточно настрадался». Но вот что мучило меня больше всего: вызвавшись помогать им, что полезного на самом деле сделала я для них? Вы же... Вы похоронили революцию, и есть высшая справедливость в том, что те, кто существует благодаря вам, те, кто многого достиг здесь благодаря тому, что вы уничтожили революцию там, что именно они обретут право освежевать вас живьем и перемолоть ваши кости. Я же... Я буду лишь аплодировать им.

Маклеод начал тихо, едва слышно хихикать. Он закусил поднесенный ко рту кулак и стал едва заметно перекатываться на спине вперед-назад.

— Я так и думал, так и думал, — пробормотал он, вынув кулак изо рта. — Девочка, да я же тебя с самого начала просчитал. — Было видно, что на самом деле ему вовсе не весело, что изнутри его терзает невыносимая боль. Но, отказываясь сдаваться и проявлять слабость, он лишь качал головой и растягивал губы в улыбке.

— Пока он был жив, — продолжала шептать Ленни, — революция не была полностью подчинена человеку с трубкой. Ох и не нравилось такое положение дел обожаемому вами папе Джо. Он послал к нему наемного убийцу, и познакомила их именно я. Вот почему потом я, не сопротивляясь, сдалась людям в белой форме, и теперь они не могут жить без меня, потому что если они лишатся возможности пытаться и мучить меня, то немедленно сами сцепятся в смертельной схватке друг с другом. Они — это все, что у меня осталось, и я должна, я просто обязана любить их. Потому что если я не смогу любить... — Ленни замолчала и поднесла палец к губам. — Я любила его, любила как человека, как мужчину. Никого на свете я больше не любила так, как его, — не телом, а всей душой. Я восхищалась этим человеком, всем, что в нем было, даже его бородой, хотя, по правде говоря, выглядел он с нею глуповато. Это великий,

гениальный человек, и я любила в нем все, включая и эту дурацкую бороду. И вдруг — ледоруб в голову, лужа крови, — и он больше никогда не увидит горячее мексиканское солнце. Это ваши люди занесли тот топор, под которым пролилась последняя кровь несостоявшейся всемирной революции, кровь этого несчастного человека, кровь, залившая ковер в том мексиканском доме. — К этому времени Ленни подошла к кровати вплотную и продолжала шептать, наклонившись вплотную к лицу Маклеода, который как замороженный слушал ее заклинания. — Вам когда-нибудь доводилось, — спросила она, — самому открыть ту дверь, за которой стоит пришедший по вашу душу убийца?

— Отвали от меня! — закричал вдруг Маклеод.

Видимо, этот всплеск эмоций вконец обессилил его, и он вновь рухнул на кровать с приклеенной к липу напряженной улыбкой. Лежал он неподвижно, словно парализованный. Нет, скорее как человек, все тело которого намертво свело сильной судорогой.

Дверь открылась, и в комнату вошел Холлингсворт.

— Перерыв окончен, — объявил он.

Ленни, похоже, не слышала его. Она, едва не падая на Маклеода, шипела:

— Убийца!

— Уберите ее от меня, — потребовал Маклеод.

— Убийца!

Холлингсворт взял Ленни за плечи и отвел ее в сторону.

— Перерыв закончен, — повторил он и оценивающе посмотрел на Маклеода. Он явно прикидывал, насколько эффективным оказался примененный им прием, и пытался просчитать, насколько пошатнулась казавшаяся незыблемой уверенность Маклеода.

— Что вам от меня нужно? — хрипло спросил Маклеод, обращаясь к Холлингсворту.

— Куда вы ее спрятали? — спросил тот в ответ.

— Я же говорил, у меня ее нет, — сказал Маклеод.

— Сядьте.

Было видно, что Холлингсворт с трудом удерживается от того, чтобы применить силу. Маклеод медленно и с явной неохотой привстал и сел на край кровати.

— Ну что еще вам от меня нужно? — переспросил он. — Забирайте меня к себе, и не будем больше валять комедию.

— Вы знаете, где находится эта вещь?

На какое-то мгновение мне показалось, что Маклеод собирается утвердительно кивнуть, но он сумел удержать себя от такого проявления слабости и, мрачно глядя в пол перед собой, буркнул:

— Нет, не знаю.

— Может быть, вы скажете, что это такое? Что это за предмет, что за маленькая, но столь ценная вещица? — В голосе Холлингсворта явственно слышались раздражение и беспокойство.

— Понятия не имею, — усталым, измученным голосом произнес Маклеод.

Холлингсворт распрямился, расправил плечи и с такой силой воткнул острие карандаша себе в ладонь, что казалось, еще немного, и он проткнет себе кожу.

— Нет, это недопустимо, — выдохнул он, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружающим.

Он, похоже, прикидывал, как вести себя дальше, и, наверное, секунд десять стоял неподвижно. При этом из всех нас стоял он один, потому что Ленни тем временем села, подперев голову руками, на отведенное ей место. Ее трясло. Не лучше чувствовал себя и Маклеод. Из всех сил стараясь сохранить внешнее спокойствие и вновь обрести внутреннюю уверенность, он машинально проглаживал ногтями складки у себя на брюках — вверх, вниз,

вверх, вниз...

— Вообще-то, следовало бы вас заверить, — прокашлявшись и сменив тон, заговорил наконец Холлингсворт, — что я вовсе не так строг и суров по отношению к вам, как большинство моих коллег по отношению к своим подопечным. Среди причин, которые побуждают меня вести себя именно так, — при этих словах в голосе Холлингсворта промелькнуло что-то похожее на нормальные человеческие чувства, — тот факт, что вы в свое время были известны как потрясающе талантливый артист, мастер своего жанра. Образно выражаясь, всегда увлекательнее вести борьбу с достойным соперником. У вас, наверное, сложилось впечатление, что вы мне не по душе, и это, уверяю вас, неправильно. Я даже испытываю... Ну, скажем, что-то вроде если не сострадания к вам, то по крайней мере понимания той сложной ситуации, в которой вы сейчас находитесь.

Ленни при этих словах подняла голову и удивленно посмотрела на Холлингсворта. Затем, придя, видимо, к какому-то выводу, она натужно улыбнулась и согласно закивала.

— Вы, наверное, полагаете, что ваше положение безнадежно, — продолжил Холлингсворт, — но моя цель убедить вас в обратном. — С этими словами он обошел стол, наклонился над Маклеодом и стал что-то нашептывать ему прямо на ухо. Судя по тому, сколько он простоял в такой позе, одним-двумя предложениями его не предназначенная для посторонних ушей речь не ограничилась.

В ответ Маклеод начал смеяться.

— Да ну, — невесело сказал он наконец и, ловко вывернувшись из-под нависшего над ним Холлингсворта, встал с кровати. Его собеседник на несколько секунд так и остался стоять, наклонившись над матрасом, с выражением напряженного любопытства на лице. — Вот, значит, как дело обстоит.

— Как я и говорил, — подтвердил Холлингсворт, — окончательное решение еще не принято и для вас еще не поздно сделать выбор.

— Надо же, кто бы мог подумать, — медленно, почти по слогам произнес Маклеод.

— Вы ведь неглупый человек, — тепло, чуть ли не ласково заметил Холлингсворт.

Маклеод помял в пальцах кусочек пыльного ворса с кровати.

— Наверное, пора продолжить нашу беседу. — Сквозь застывшую маску напряжения и боли на его лице проступила наверняка не пришедшаяся Холлингсворту по вкусу улыбка. — Вы вроде бы хотели что-то прояснить, — напомнил собеседнику Маклеод.

— Ну что ж... — Холлингсворт заглянул в свои записи. — Что вы скажете о той истории с пропавшей маленькой вещицей, которую вы нам поведали, подойдя к этой басне непредвзято, но критично?

— Я бы сказал, что в ней правды ни на грош.

Соломенного цвета челка качнулась вверх-вниз, а в безжизненных голубых глазах Холлингсворта мелькнул огонек радости и удовлетворенности ходом событий.

— Похоже на то.

— Разумеется, — поспешил добавить Маклеод с видом человека, изо всех сил старающегося улыбнуться, — если хорошенько изучить, проанализировать и разложить по полочкам все, что я вам наболтал, в сухом остатке мы получим некое ядро правды, своего рода метафизическую истину.

Холлингсворт позволил себе страдальчески скривиться.

— Как вы сказали... метафизическую... Это еще что такое?

— Да вы не утруждайте себя, просто запишите, что я вам наврал, наврал от первого и до последнего слова.

— Я, в общем-то, не претендую на то, чтобы сравниться с вами в образованности, — сказал

Холлингсворт. — И по правде говоря, вы ведете себя некорректно, употребляя ученые слова, непонятные собеседнику, простому парню, который привык иметь дело не с абстрактными понятиями, а с реальными фактами. Что, кстати, не мешает мне быть на моем месте, а вам, увы, на вашем.

— Приношу свои извинения, — пожал плечами Маклеод.

— Ладно, не будем плакать по сбежавшему молоку. Лучше продолжим. Как я уже неоднократно говорил, откровенность и честность — вот ключики к моей душе. Так что давайте начистоту: что это за пропавший предмет и где он находится?

Маклеод покачал головой.

— Видите ли, Лерой, бывают такие ситуации, в которых ваша слабая теоретическая подготовка оказывается препятствием на пути к цели, а вовсе не надежной защитой от всякого рода неприятностей. Вот предположим, я вас спрашиваю: что такое консервная банка?

— Консервная банка — это консервная банка.

— А вот и нет, она не будет консервной банкой до тех пор, пока кто-то не сформулирует и не поделится с другими мыслью о том, что этот предмет сделан не только из жести, но и из похищенного или, скажем, несправедливо присвоенного кем-то труда рабочего. Вот, например, что вы скажете, если я заявлю вам, что весь физический мир на этом этапе истории человечества: все дома, заводы, еда, другие предметы — всего лишь результат процесса коагуляции похищенного в прошлом труда рабочего?

— У меня такое ощущение, что мы несколько удалились от предмета нашего разговора.

— А вот вам и предмет. Что вы скажете на то, что предмета разговора, может быть, и нет, а есть только контекст.

— Выполняя свои служебные обязанности, вынужден напомнить вам, — Холлингсворт произнес эти слова, играя со своей серебряной зажигалкой, — что вы так и не ответили на заданный мной вопрос.

— Я непременно на него отвечу, но я бы предпочел привычный и удобный для меня способ. — Маклеод вынул сигарету из пачки, перегнулся через стол, дотянулся до только что отложенной Холлингсвортом зажигалки и невозмутимо закурил. — Начнем с того, что так называемая маленькая вещица представляет собой контекст в чистом виде. Что это такое и откуда она взялась? Хорошо, Лерой, я отвечу на вопросы, но вам придется подождать. Сначала я хотел бы напомнить вам, что в создании этой вещи принимали участие очень крупные и значительные предприятия и государственные структуры. Этот своего рода конечный продукт был порожден миром, погрязшим в грязи, мерзости и разложении. Эта вещь — средоточие нашей вины, вещь, которая одним фактом своего существования может замарать все, что ей предшествовало. Вы следите за ходом моей мысли?

Холлингсворт не то медленно моргнул, не то просто прикрыл глаза в знак согласия и вновь открыл их. Всем своим видом он давал понять Маклеоду, что может себе позволить немного подождать.

— Ну, предположим, эта вещь оказалась бы в моем распоряжении. Куда бы я, спрашивается, ее спрятал? Вы, как последний, не побоюсь этого слова, болван, предположили, что я завернул ее в оберточную бумагу и положил в карман своих штанов. Максимум, на что хватило вашего воображения, это предположить, что я закопал упомянутую вещь где-нибудь в саду. Но вам, в силу вашей ограниченности, и в голову не могло прийти, что я бы мог хранить эту штуковину здесь, — он постучал себя пальцем по голове, — в моей собственной черепушке. Впрочем, возможен и другой вариант: никто, абсолютно никто не знает, что это такое. Уверяю вас, такое тоже возможно. Вовсе не обязательно знать, что собой представляет та или иная вещь, чтобы по достоинству оценить ее значимость и ценность. Это можно отследить по тому, как

этот предмет взаимодействует с другими вещами и вообще с окружающим миром.

— Не будете ли вы столь любезны предоставить собеседнику хотя бы парочку наглядных примеров?

Маклеод сделал вид, что эти слова оскорбили его до глубины души.

— Все, о чем я только что распинаясь, наилучшим образом иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Нет, если вы настаиваете, то я, конечно, могу осквернить все еще более подробным разжевыванием, но смею вас заверить, толку от этого не будет. Лично я придерживаюсь той теории, согласно которой никто, повторяю, никто на свете не знает, что это за хрень такая.

Холлингсворт покачал головой.

— Нет, но это ведь просто смешно.

— Зато, поверьте, абсолютно разумно. Вот вы, спрашивается, знаете, что это такое? — Маклеод сделал паузу и, не дождавшись ответа от Холлингсворта, хихикнул: — Ну разумеется, нет. Вас послали туда, не знаю куда, чтобы принести то, не знаю что. И уверяю вас, в этом и состоит прелесть происходящего. Мы в этой ситуации похожи на тех самых слепых карликов, которым дали потрогать слона с разных сторон и у каждого из которых сложилось свое представление о том, что это за диковинное животное. По всей видимости, та должность, которую вы занимаете, не подразумевает полного доверия к сотруднику. Вот вам и вручили в качестве образца для поиска слона волосок с его хвоста. А ваш непосредственный начальник, думаете, он более информирован? Уверяю вас, если он и знает чуть больше вашего, то именно чуть-чуть, не более того. Он ведь тоже не является доверенным лицом. Предмет наших поисков создает вокруг себя крут знакомств, и понять, что это за штуковина, мы, познакомившиеся благодаря ей, можем только все вместе. Вот это, Лерой, и называется коллективным знанием. Иным оно в наше время и быть не может.

— Откуда вы знаете, что это такое? — спросил Холлингсворт.

— Лично я ровным счетом ничего не знаю. Это вы, и только вы один, почему-то настойчиво предполагаете, что мне что-то известно.

— У меня есть основания полагать, что вы говорите неправду.

— С моей стороны, было бы глупо играть в такие игры. Я имею в виду — как прятать у себя столь дорогую игрушку, так и вводить вас в заблуждение по поводу своей осведомленности относительно природы этого столь ценного предмета. Да на меня мгновенно спикировала бы стая разъяренных фурий, позволь я себе такое кощунство. — Маклеод перевел взгляд на Ленни. — Как вы думаете, что современные боги в наше время считают страшнейшим грехом и чудовищнейшим святотатством? — Ответ на этот вопрос Маклеод дал после секундной паузы: — Полагаю, это и есть та самая ситуация, которая сложилась на данный момент: крохотный, но важный предмет, местоположение которого остается невыясненным. Неизвестность — вот чего не может выдержать ни один бог, особенно с учетом коллективного характера божественности в наше время.

— Вы так говорите, словно стараетесь подвести меня к мысли о том, что были бы рады избавиться от этой вещи, представься вам такая возможность, — заметил Холлингсворт.

— Уверяю вас, я теоретически вполне представляю себе человека, который был бы готов потратить всю свою жизнь на то, чтобы разорвать узы, связывающие его с этой вещицей. Теоретически да, но на практике возникает некоторая заминка. Покажите мне того человека, который действительно удовлетворял бы всем требованиям, которые предъявляются ему согласно условиям нашей задачи.

Маклеод и Холлингсворт смотрели друг на друга в упор и старательно улыбались.

— Впрочем, все это — всего лишь теоретические умозаключения, — продолжил Маклеод, — ибо ни у меня, ни у вас этой штуковины нет. Более того, я готов повторить то, что

уже говорил в ходе нашей беседы: только безумец мог бы взять на себя такую ответственность. Я имею в виду, присвоить себе столь ценную вещь. Скажите мне на милость, с какой стати я стал бы так рисковать? Что могло заставить меня совершить такое безумие?

— Чувство вины, — неожиданно прохрипела Ленни. Она вся подалась вперед и пристально смотрела на Маклеода. Ее глаза с темными кругами выглядели, надо сказать, страшновато. Не отводя взгляда от Маклеода, Ленни машинально провела рукой по своей не густой и порядком засаленной шевелюре.

Было видно, что ни Маклеод, ни Холлингсворт не ожидали, что кто-то прервет их разговор. Едва заметным движением головы Холлингсворт дал Ленни понять, что предпочитает чтобы она продолжала молчать и не лезла бы не в свое дело.

— Да, да, в самом деле, — пробормотал он себе под нос, восстанавливая прерванный ход мысли, — тут есть о чем подумать. Я имею в виду все то, что вы мне наговорили. Человек вы, конечно, упрямый, но тем не менее в отчете я, не покрывив душой, укажу на то, что в общем и целом вы проявили готовность к сотрудничеству. — Собрав со стола бумаги, он добавил: — Ладно, о необходимости продолжить нашу беседу я сообщу вам дополнительно. Ну а пока что рекомендую вам хорошенько подумать обо всем этом на досуге. — Бросив взгляд на Ленни, он сказал: — Мисс Мэдисон, угодно ли будет вам проследовать за мной?

Ленни встала со стула, но в ее намерения, оказывается, не входило уйти из комнаты без скандала. Холлингсворт что-то почувствовал и положил руку ей на плечо, но она оттолкнула его и, шагнув в мою сторону, дрожащим от гнева голосом сказала:

— Майки, ты просто дурак. Беги отсюда, пока цел. — Наши взгляды встретились, и она еще более эмоционально, хотя и сменив тон на менее агрессивный, продолжила: — Пойдем с нами, это единственное спасение. Другого пути нет.

Холлингсворт попытался вывести ее из комнаты, но она выскользнула из-под его руки и ткнула пальцем в сторону Маклеода.

— Это он! — вскрикнула она. — Это он все портит! От него все зло!

— А ну пошла вон отсюда! — рявкнул на Ленни Холлингсворт.

Он практически силой вытолкнул ее за дверь, и где-то на пороге все то, что кипело в душе Ленни, вдруг куда-то схлынуло, и она вновь стала послушной девочкой и прилежной ученицей своего учителя. На площадку она вышла уже молча и покорно.

— Приношу вам свои извинения, — сказал Холлингсворт.

Маклеод кивнул.

— Любому нормальному человеку понятно, что эта вещь у вас, — улыбнулся Холлингсворт с порога, — но, полагаю, было бы невежливым начинать вас вновь об этом расспрашивать прямо сейчас. — Кивнув мне на прощание, он вышел за дверь вслед за Ленни.

Мы остались в комнате вдвоем с Маклеодом. Он отошел к окну и некоторое время простоял так, молча глядя на улицу. Через какое-то время я собрался было не прощаясь уйти, но тут он оглянулся.

— Знаете, Ловетт, а ведь слова этой девушки не так безумны, как это может показаться. Не последовать ли вам ее совету?

Я отрицательно покачал головой.

— Вы имеете хоть малейшее представление о том, чем все это кончится?

— Именно это я и собирался выяснить, ради чего, собственно говоря, я здесь с вами и сижу, — убежденный в своей правоте, заявил я.

— И все-таки, зачем вам это нужно?

— Я и сам, по правде говоря, не знаю. Но когда всей душой что-то чувствуешь...

— Вы что, хотите сказать, что вы на моей стороне?

— Нет, я в этом не уверен. То, что я не с ними, — это точно, но довериться вам во всем и стать на вашу сторону... Нет, это тоже не по мне.

Маклеод потер ладонью подбородок.

— И в этом вы абсолютно правы, мой друг. Слушайте, Ловетт, постарайтесь понять меня правильно: я ни в коем случае не настаиваю на вашем присутствии, но должен признать, что мне оно очень по душе. В каком-то смысле вы здорово помогаете мне. Но учтите, что может настать такой момент, когда я сам попрошу вас покинуть эту комнату.

— Это почему же?

— Вы понятия не имеете о том, что он мне нашептал. А уж насколько это соблазнительно, лучше даже не говорить, — неожиданно задумчиво произнес Маклеод.

— Тогда зачем я вам здесь нужен? — поинтересовался я. — Какой вам с этого прок?

Маклеод помолчал, затем кивнул, словно соглашаясь сам с собой, а когда заговорил, я даже опешил от неожиданности.

— Совесть, — сказал он, — совесть.

Глава двадцать вторая

В тот вечер погода стала совершенно невыносимой. Я был уверен, что рубероид на крыше над моей головой уже расплавился и представляет собой мелкую лужу густой зловонной смолы. Дул ветер, но дул он не с моря, а со стороны раскаленного солнцем города и не приносил облегчения. Асфальт проминался под ногами, воздух представлял собой тяжелую удушливую массу, и я, предвкушая надвигающуюся грозу, с трудом добрался до своей комнаты и повалился на кровать, укрытую мокрой от моего собственного пота простыней. До меня доносилось едва слышное шелестение листьев за окном. Вдали у самого горизонта стали играть зарницы. Я поймал себя на том, что лежу и смотрю в потолок в ожидании очередной вспышки. Почему-то всякий раз молнии высвечивали новый узор из трещин, покрывавших густой сеткой потолок моей комнаты. Задремал я уже под приближающиеся раскаты грома.

Приснилось мне это или привиделось наяву, я не знаю. Галлюцинация, фантазия или сон — скорее всего, да. Однако я не посмею утверждать, что все это не происходило со мной на самом деле. Я увидел себя вновь в казарме... Нет, не в казарме, скорее в каком-то бараке. Этот барак был одним из сотни ему подобных, окруженных заборами из колючей проволоки. Пол в этом строении был земляным, весь в норах и рытвинах. Дощатые стены тут и там пронзали сквозные щели. Мы, двести обитателей этого барака, спали вповалку на досках, уложенных на грубо сколоченные козлы. Каждый день, а дело было зимой, нас поднимали в пять утра, и мы шли колонной, наверное, целую милю к огромному сараю, где каждый получал кусок хлеба и кружку горячей воды, если повара были в хорошем настроении, и миску безвкусной несоленой каши. Мы жадно сжирали эти помои и вновь выстраивались в длинную колонну. Рассвет мы встречали в пути: нас вели по дороге, огражденной забором из колючей проволоки и со сторожевыми вышками вдоль обочин. Путь был чудовищно тяжелым, и в конце концов мы попадали на огромный завод, почти новый, но почему-то с выбитыми стеклами и даже не то с разобранной, не то с так и не достроенной крышей над одним из цехов. Станки и другие механизмы на этом производстве почему-то постоянно ломались и портились. Там мы и работали — за рычагами прессов и штамповочных машин, а рядом — совсем близко, в пределах видимости, но при этом не разговаривая с нами — трудились другие рабочие. Отличались они от нас тем, что у них была особая карточка-пропуск и жили они не в лагерных бараках, а в общежитии, находившемся прямо на территории завода. Кроме того, у них было право свободного выхода в близлежащий городок после работы. Нам же все время обещали, что самых достойных из нас переведут туда, в те, почти свободные бригады, если только... Если только мы будем работать лучше и выдавать продукции больше, чем наши товарищи.

У меня там был друг — старый, истощенный и не ждущий от жизни ничего хорошего человек. Частенько он представлялся как рабочий с шестидесятилетним стажем. «Фактически меня отдали в рабство еще восьмилетним мальчишкой. Зарабатывал я тогда, как сейчас помню, два шиллинга в неделю. Моя сестра умерла от чахотки прямо на рабочем месте, в пошивочном ателье. Крючки выпали из ее охладевших рук, и кружево для бального платья какой-то богатой дамы доделывала уже другая девочка. Я всю жизнь был бойцом резервной армии труда, и большую часть этого времени я оставался безработным. Шестьдесят лет я состою в этой армии и остаюсь в ней на действительной службе по сей день. Если честно, то быть в резерве не так уж плохо. По крайней мере, тебя не поднимают ни свет ни заря и не гонят на работу под конвоем. Я уж не говорю о некоторых других радостях, которые даны безработному или же поденщику. Я, например, свою первую девчонку завалил на гору стружек и опилок за пилорамой, когда мне было всего двенадцать лет».

Одурманенный утренним солнцем, я с трудом проснулся. Мне в глаза бил свет, комната уже успела по-полуденному раскалиться, а мое лицо покрывал слой налетевшей через открытое окно сажи. Я лежал в полном оцепенении, наверное, до самого полудня. Лишь когда жара стала совсем невыносимой, я начал подумывать о том, чтобы все-таки выбраться из постели.

В жарком влажном воздухе кружилась одинокая муха. Время от времени она пронеслась на бреющем полете над моей грудью, делала пикирующий заход мне на ноги, а затем снова отправлялась в свободный поиск на просторах предоставленной в ее единоличное пользование чердачной комнаты. Наконец она смогла разжиться в какой-то щели розовым гниловатым комочком чего-то съедобного. С этой добычей она спикировала на пол прямо перед моей кроватью. Я повернулся на бок и стал смотреть за тем, как муха обстоятельно и методично, как это и полагается насекомым данного вида, пережевывает добычу, придерживая передними лапками то, что не влезло в рот сразу. Минуты шли одна за другой. Насекомое набивало себе брюхо под мое присвистывающее дыхание, через окно в комнату доносился приглушенный городской гул.

Я, наверное, снова уснул, потому что, открыв в какой-то момент глаза, обнаружил, что муха исчезла, а под мою дверь кто-то пытается просунуть листок бумаги. Сначала над порогом появился белый уголок, затем он подергался в разные стороны, и вскоре по эту сторону двери оказалась уже как минимум половина листа. У меня было более чем достаточно времени для того, чтобы встать с кровати и выглянуть на лестничную площадку, но это потребовало бы от меня слишком больших усилий. Я просто лежал и тупо глазел на то, как, пошевеливаясь влево-вправо, лист белой бумаги постепенно заползает ко мне в комнату. В какой-то момент он замер, и я услышал, как мой невидимый корреспондент, стараясь не производить лишнего шума, тихонько спускается вниз по лестнице.

Я потряс головой и стал собираться с духом, чтобы наконец встать, подойти к двери и ознакомиться с таинственным посланием. Сделать это быстро мне не удалось. И каково же было мое изумление, когда бумажка вновь зашевелилась и, сгребая с порога пыль и грязь, стала уползать обратно под дверь. С того времени как записка появилась, прошло буквально несколько секунд. Зачем тому, кто ее подsunул, было вынимать бумагу обратно, я, убей бог, придумать не мог. Пока я размышлял над этой загадкой, постепенно понимая, что все утро изрядно торможу, не вписываясь в реальный ход времени и событий, записка, к моему величайшему изумлению, вновь появилась из-под двери. Естественно, через несколько секунд я вновь имел удовольствие прослушать звук удалявшихся по лестнице шагов.

С учетом столь странного и таинственного появления, я, по правде говоря, ожидал от содержания послания чего-то значительного.

Записка была от Гиневры. Мелким, аккуратным почерком — столь несоответствующим, по моему мнению, ее характеру — она вывела бледно-синими чернилами несколько фраз:

*Дорогой Майкл,
может быть, Вы забыли, что нам с Вами есть о чем поговорить. Загляните ко мне. Умираю от желания увидеть Вас.*

Подписано сие послание было, как и следовало ожидать, в том же вульгарно-куртуазном духе, свойственном Гиневре во всем. «Беверли Г. Маклеод», — значилось в нижнем углу листа.

Я пожал плечами и положил листок на письменный стол, приняв решение проигнорировать приглашение Гиневры. Вялый и плохо соображающий от жары, я принял душ, оделся и перед выходом из комнаты, повинувшись какому-то внезапному импульсу, положил в карман записку. За завтраком я перечитал ее и еще больше утвердился во мнении, что нужно идти домой работать,

не отвлекаясь на посторонние разговоры. Поднимаясь по известняковым ступеням крыльца, я играл в кармане мелочью, полученной на сдачу в буфете. Неожиданно у меня в пальцах оказался бумажный комочек, живо напомнивший мне о том, как забавно и неуверенно появилась у меня под дверью эта записка.

В тот же момент, посмотрев вверх, я увидел, что из окна лестничной площадки второго этажа на меня смотрит Ленни. Естественно, она в ту же секунду подалась назад и скрылась из поля моего зрения. Она явно не горела желанием, чтобы я узнал, что она за мной наблюдает. Комбинация из скомканной записки и непрошенного соглядатая заставила меня изменить принятое решение. Я повернулся и позвонил в дверь Гиневры.

На этот раз я был встречен не мешаниной из белья, бретелек, молний и обнаженной плоти. Гиневра была одета как для выхода на улицу. На ней было цветастое шифоновое платье, небольшая шляпка и туфли на каблуках. Более того, ее руки почти до локтя покрывали тонкие перчатки в сеточку. «Ах, Майки, ты такой милый», — сказала она, пригласив меня войти. При этом ее накрашенные губы изобразили весьма двусмысленную, если не сказать провокационную, улыбку. Меры в пользовании духами Гиневра, естественно, не знала. Она передвигалась по комнате в почти видимом и осязаемом облаке душных, тяжелых ароматов. Она благоухала как тропический цветок, — жадно, сильно, целой симфонией беспокоящих запахов, к которым обязательно примешивается и вонь, исходящая от перегной тропической почвы.

— Ах, я так волнуюсь. — сообщила мне Гиневра.

Она выдержала паузу и, напустив на себя таинственности, как бы невзначай осведомилась:

— Знаешь, куда я иду? Попробуй угадай.

Я напрямую спросил, куда она собралась.

— Помнишь того врача, о котором я тебе рассказывала?

Я лениво покопался в грудях сохранившихся в моей памяти басен, сказок и просто придуманных Гиневрой историй.

— А, ты имеешь в виду того... Ну который из твоего романа?

Гиневра многозначительно кивнула.

— Да, он самый. Хотя, как ты теперь и сам понимаешь, персонаж он куда более реальный, чем придуманный. Не знаю уж, каким ветром, но его занесло в наши края, и я собираюсь повидаться с ним. — Наклонив голову набок, она с придыханием в голосе добавила: — Ох и будет нам чем заняться...

— А ты думаешь, тебе здесь нечем заняться?

— Эх, Майки, ничего ты не понимаешь. Этот врач, он особенный. — Она лениво подтянула перчатку. — Ах, что за мужчина, в нем есть все, что только может пожелать женщина.

Я был вынужден выслушать настойчиво навязываемое мне описание как внешности доктора, так и его душевных качеств. Особое внимание было уделено его мужественности, его смелым проектам, его внимательности и вежливости в обращении. Излагая мне свой трактат, Гиневра — ни дать ни взять певичка, исполняющая непристойную песенку, — облизывала языком губы, а в ее глазах нет-нет да и загоралась не то жадность до новой добычи, не то — неужели? — самая обыкновенная похоть. В целом же у меня сложилось впечатление, что точно так же она могла бы описывать какой-нибудь понравившийся ей домик в пригороде, где она побывала в гостях. «Ах, там такая зеленая лужайка, такая зеленая. А окошечко, вид из него такой живописный. А мебель, вся такая мягкая, плюшевая, современная, но очень элегантная». Я слушал, слушал и слушал и уже вполне представлял себе доктора в виде такой цветущей орхидеи, невесть откуда взявшейся посреди сада камней.

— Знаешь, как я его называю, когда мы остаемся наедине? — под конец рассказа

поинтересовалась у меня Гиневра. — Герой-любownik, ни больше ни меньше. — Она чуть наклонила голову и прикоснулась к щеке затянутым в сеточку пальчиком. На меня она при этом смотрела полуприкрытыми глазами, из-под ресниц.

— А что будет делать ваш муж, пока вас не будет дома?

— Он-то? Да он спит, — ответила Гиневра, — он же со вчерашнего совсем никакой. Видел бы ты, на кого он был похож, когда вернулся домой. Я даже поинтересовалась, не участвовал ли он без меня в каком-нибудь танцевальном марафоне или еще в какой-нибудь дурацкой затее. — Вздохнув, она добавила: — Он принял несколько успокоительных таблеток, а я ему еще лишних добавила. Думаю, пусть поспит хорошенько. В общем, он уже часов шестнадцать дрыхнет — свернулся калачиком и знай себе посапывает.

— Зачем вы хотели меня видеть? — спросил я.

— Ну вот. чуть что, сразу быка за рога. — Голос Гиневры, ее глаза — все мгновенно покрылось тончайшим, как амальгама, слоем опасливой осторожности. — Может быть, я не совсем ясно выразилась. Сам знаешь, Майки, тема для разговора всегда найдется. — Немного помолчав, она осторожно напомнила мне: — Ты, кстати, так и не рассказал мне о том, что происходило у вас там наверху, ну, во время этой вашей конференции, или уж не знаю, как назвать эти посиделки.

— Вы же прекрасно знаете, что я не буду вам этого рассказывать. Зачем тогда было нужно приглашать меня сюда?

Гиневра откинулась на спинку стула и притворно рассеянно поправила шляпку на голове. Затем, посмотрев на меня широко раскрытыми голубыми глазами, она неожиданно сменила тему:

— Ах, как я соскучилась по своему доктору.

Внезапно меня осенила догадка, которую я на время постарался отбросить.

— Я, наверное, вас задерживаю.

Она посмотрела на часы.

— Нет, я скажу, когда мне нужно будет уходить.

Мы посмотрели друг на друга. Пауза в нашем разговоре была весьма неприятной. Я встал со стула и начал прохаживаться по комнате.

— Ты что, не можешь спокойно посидеть? — ни с того ни с сего рявкнула она на меня.

— А вас это нервирует? — парировал я.

— Меня нервирует?

Я остановился и посмотрел на нее в упор.

— Значит, говорите, доктора только что занесло в наши края?

Гиневра рассеянно кивнула.

— Что-то мне не верится, что он существует на самом деле.

Гиневра пожала плечами:

— Твое дело, не хочешь, не верь.

Тем не менее она следила за моими перемещениями по комнате более чем внимательно. Ее глаза, быть может, даже помимо ее воли следовали за мной повсюду. В какой-то момент все это стало напоминать несколько затянувшуюся детскую игру. Мне даже стало казаться, что Гиневра вот-вот начнет корректировать мою траекторию в соответствии с универсальной системой координат «горячо — холодно».

В какой-то момент мой взгляд упал на щель между косяком и приоткрытой дверью гостиной. Там, зажатый в этом узком пространстве, стоял невесть откуда взявшийся чемодан. Я не поленился, открыл дверь, взял чемодан и протянул его Гиневре.

— Тяжелый, — холодно заметил я, — помощь не потребуется? Могу поднести.

Судя по всему, чемодан собирали в большой спешке: из-под крышки в районе задних петель торчали не то бретельки, не то подвязки.

Сделав вид, что принимает трудное для себя решение, Гиневра сняла шляпку, положила ее на стол рядом с собой и негромко произнесла:

— Я так и знала, знала ведь, что ты его найдешь. Ты, Ловетт, парень умный. — Судя по голосу, она была совершенно спокойна, только вот губы ее почему-то дрожали.

— Возвращаться-то собирались? — буднично спросил я.

Она словно ждала этого вопроса.

— Ну конечно, а ты что подумал? Я вовсе не собиралась уходить, тем более навсегда. Я, в общем-то, намеревалась просто выйти из дома, ну, на пару часов, например, а чемодан...

— Да, кстати, а зачем же тогда чемодан?

— Ну, понимаешь, это что-то вроде... Вроде репетиции с подбором костюмов, — туманно ответила она, — я просто хотела почувствовать, каково это — собираться в дальнюю дорогу.

Эти слова уже просто вывели меня из себя.

— Значит, так, вы вроде как собираетесь на свидание к какому-то придуманному врачу, кроме того, вы набиваете чемодан всяким барахлом, как будто собираетесь сбежать с этим доктором, вы подсыпаете мужу снотворное, а потом — чтобы уж наверняка сохранить все в тайне — приглашаете меня в гости, да так, чтобы я точно все понял и выяснил. Господи, Гиневра, ну объясните мне, в конце концов, что за дурацкую игру вы затеяли.

Сдерживать эмоции и дальше она уже не могла. В глазах Гиневры появились слезы.

— Слушай, Ловетт, оставил бы ты меня в покое. Я хочу побыть одна.

— Тогда почему вы не уходите, все же готово.

— Ты же мне всю жизнь ломаешь! — в сердцах воскликнула она.

— Ничего страшного не случилось, просто на самом деле вы уходите и не собирались.

Гиневра бессильно опустила руки, и они повисли вдоль ее тела как плети.

— Ну почему, почему я всегда должна все сама решать? — сказала она чуть не плача и скривив по-детски недовольную физиономию.

— Вы никогда сами ничего не решаете, наоборот, вы все время ждете, что за вас это сделает кто-то другой.

Гиневра беспомощно посмотрела на меня.

— Уйди, оставь меня. Уйди, наконец.

Я не успел выполнить это требование Гиневры. Отсрочка исполнения последовала в виде стука в дверь. Судя по всему, Гиневра оказалась готовой, чтобы в мгновение ока взять себя в руки.

— Вот ведь прицепился как банный лист, — зашептала она, — опять приперся. Это он, он, я уже знаю, как он стучится. — Она оглядела гостиную, как бы прикидывая, что делать дальше, но на самом деле решение у нее уже было готово. — Ах, что же делать? Что же делать? Все, я придумала. Ты, Ловетт, должен спрятаться, и никаких возражений. Спрячься, и всё.

— Не собираюсь я никуда прятаться, — сказал я ей и вдруг понял, что выполню ее просьбу, потому что против своей воли уже говорю шепотом, включаясь в разыгрываемый Гиневрой спектакль.

— Майки, не спорь со мной. Давай быстро за дверь.

Господи, ну и фарс. Меня затолкали за дверь гостиной — туда, где только что стоял набитый чемодан. Его, кстати, Гиневра оставила практически посреди комнаты. Сама она, одной рукой поправив волосы, а другой переставив стул и направив свет торшера в сторону, пошла к входной двери. По пути поправив ногой складку на коврик, она прошептала:

— Да что же это такое, почему меня всегда застают, когда я не в форме?

Стук в дверь повторился.

— Иду, иду, чего ломиться-то, — громко произнесла она, а затем прошептала в щель между дверью и косяком: — А ты стой здесь и не высовывайся, ясно, черт тебя подери? Не вздумай высунуться.

Я понимал, что обнаружь я себя — и ее битва была бы проиграна. Она, как храбрый командир, могла возглавить лихую атаку, предъявив в качестве передового кавалерийского отряда свой внушительный бюст. Но без поддержки партизан, засевших в чаще леса, вся ее операция была обречена на провал. В общем, мне оставалось только ждать. Как я и предполагал, за входной дверью оказался Холлингсворт.

Гиневра разыграла свою роль как по нотам. Едва Холлингсворт переступил порог, как она громко — во всеуслышание — продекламировала:

— Ах ты ж мой герой-любовник, как долго мне пришлось тебя ждать.

Я услышал, как он прошел в гостиную, и представил себе, как он оборачивается и подозрительно смотрит на Гиневру.

— Дорогой, ты все еще любишь меня? — с театральными интонациями в голосе обратилась к нему Гиневра.

Такого Холлингсворта я еще не видел, а точнее, не слышал.

— Да, я люблю тебя, — сказал он совершенно новым, полным незнакомых мне интонаций голосом. Используя язык как катапульту, он забрасывал Гиневру все новыми и новыми комплиментами и признаниями в любви. В его словах было столько похабщины и непристойности, сколько я, пожалуй, никогда в жизни не слышал за столь короткое время. Не менее живописно и вместе с тем вульгарноотталкивающе, чем описывала Гиневра своего доктора, Холлингсворт перечислил, по-моему, все до единой части ее тела и в подробностях описал, что он бы с превеликим удовольствием сделал с каждой из них. Он сообщил о том, как он разорвал бы что-то здесь и зажал что-то там, съел бы то-то и то-то и выплюнул вот то-то вот там-то. Выяснилось, что он с превеликим удовольствием нарубил бы ее крупными кусками и заодно нарезал бы тонкими ломтиками, сделал бы отбивную, перемолол в мясорубке, содрал шкурку, и все это он обещал сделать с нею с каким-то странным придыханием и присвистыванием. Мне показалось, что всю эту похабную чушь он нес, слегка прикусив язык. Впрочем, я вполне живо представил его себе прогуливающимся вдоль подвешенной на крюке, уже частично освежеванной туши Гиневры и вытирающим окровавленный рот тыльной стороной ладони. Завершилось это пиршество кровожадного воображения банальным вздохом Холлингсворта и столь же банальной фразой:

— Какая же у тебя шикарная задница!

— Ах-ах, — причитала в ответ Гиневра, — нет, я не могу..

В ее голосе я слышал некоторую искусственность. Вполне возможно, что она одновременно играла две роли, одну для Холлингсворта, а вторую для меня. Я услышал, как она подошла на пару шагов к двери, словно желая дать мне понять, что она помнит обо мне, затем, вновь обернувшись к Холлингсворту, громко, со стоном в голосе заявила:

— Любимый, я готова сделать для тебя все что угодно.

— Правда? — промурлыкал он в ответ.

— Я буду работать для тебя, я стану твоей рабыней, — продолжала она урок декламации, — я встану перед тобой на колени и буду делать всю грязную работу.

— Ну это, пожалуй, чересчур, — заметил Холлингсворт уже более привычным для меня тоном.

Судя по всему, предложив ему любые унижения со своей стороны, Гиневра непроизвольно повернула какой-то выключатель в его голове. Холлингсворт снова обрел дар говорить

церемонно и даже в некотором роде официально.

— Да, я полагаю, что это вряд ли окажется востребованным, — повторил он ту же мысль на иной лад.

Затем он хихикнул:

— Интересно, что бы сказал твой муж, услышь он, как мы тут с тобой развлекаемся.

— Не называй этого типа моим мужем! — потребовала Гиневра.

Похоже, Холлингсворт не желал лишаться такого рычага воздействия на собеседницу.

— Нет, нет, он твой муж, но от этого все то, что я тебе сказал, не становится менее важным, — судя по всему, к этому моменту он заключил ее в свои объятия, — и мы оба прекрасно знаем, что он необычный человек. Я вполне себе представляю, что девушка может потерять из-за него голову. — Его голос неожиданно дрогнул, и следующая фраза прозвучала совсем иначе: — Да, в свое время он был большим человеком.

— Ты, между прочим, ничуть не хуже, — откровенно польстила ему Гиневра.

Холлингсворт не обратил внимания на ее слова и продолжил:

— Ты сама знаешь, что я, как бы это сказать, пользуюсь успехом у женщин. Но с тобой у нас все по-другому.

Словно и не был только что оглашен подробный гастрономически-порнографический список, Холлингсворт вновь пустился в рассуждения о том, с каким бы удовольствием он съел Гиневру по частям и всю целиком. В его интонациях сквозила неподдельная похоть, а может быть, и чуть более высокое чувство — плотская страсть. По-видимому, его разбирало любопытство, и я не ошибся. Вскоре последовал вполне ожидаемый вопрос:

— Ну и какой он в постели? Давай расскажи.

Гиневра выпуталась из его объятий и отошла на несколько шагов в сторону.

— Ты каждый раз об этом спрашиваешь, — возмутилась она.

— А ты никогда мне ничего не рассказываешь.

— Давай сменим тему, — сухо предложила она.

— Ну да, конечно, ты ведь его жена.

— Да, жена.

— Вот-вот, именно жена, — повторил он и, вероятно, вновь подошел к Гиневре и стал обнимать и ласкать ее.

— Ну хватит, — сказала Гиневра, хихикнув, — давай лучше покурим.

Послышалось уже знакомое мне, похожее на лязг затвора клацанье зажигалки Холлингсворта. Я представил себе, как он дал ей прикурить, закурил сам, а затем они оба сели в кресла и, затянувшись, выпустили струи дыма прямо в лица друг другу. К моему величайшему облегчению, Гиневра действительно решила сменить тему.

— Видел? — робко спросила она.

— Что?

— Как что, чемодан, — все так же робко и ласково сказала она.

— Ну видел, — буркнул Холлингсворт.

Похоже, Гиневра была готова бросить в наступление свои главные силы.

— Предположим, я бы предложила тебе уехать со мной куда-нибудь, уехать прямо сейчас. Ты бы поехал?

— Куда?

— Все равно куда, на край света, в Страну варваров — очень уж мне нравится, как звучит это название.

— Я бы лучше взял тебя с собой. Да, взял бы.

— Тогда поехали, прямо сейчас, — с плотоядным придыханием сказала Гиневра.

Холлингсворт прокашлялся.

— Ты же прекрасно знаешь, что мы не можем уехать сейчас. У меня, в конце концов, есть некоторые обязанности.

— Никуда ты меня с собой не возьмешь, — в театральном отчаянии взвыла Гиневра, — я ведь тебя насквозь вижу! Все твои слова — это песни сирены.

— Нет-нет, мы уедем, уедем вместе, — голос Холлингсворта звучал неожиданно убедительно, — ты, главное, верь мне. Вот увидишь, закончу это дело, и меня командируют в Европу, и уверяю тебя, задания у меня будут не такие, как сейчас. Нет, я буду решать задачи особой важности.

— Никуда тебя не пошлют.

— Нет-нет, ошибаешься, меня оценят по моей работе, — чуть более робко заверил он ее. — А работать я умею. Вот, например, сегодня я уже закончил писать первый отчет.

— Надеюсь, ты его не отправил? — притворно вкрадчиво поинтересовалась она. — И надо полагать, не собираешься?

— Даже не знаю, — встревоженно пробормотал он. — Ты же понимаешь, что, с одной стороны, я обязан это сделать, а с другой — я прекрасно понимаю, что со мной будет, если я этого не сделаю.

— Слушай, — сказала Гиневра, вкладывая в свой голос всю доступную ей страсть, — эта штукавина, она же целое состояние стоит, кучу денег.

— Да кто его знает, — попытался отмахнуться Холлингсворт.

— Я знаю, и я тебе врать не буду. Я же прожила рядом с этим человеком все эти годы, и поверь мне, эта вещь всегда была у него, ну или, по крайней мере, где-то рядом. Мы найдем эту штуку и станем настоящими миллионерами, заживем как короли.

— Не знаю, никак не могу решиться, — колебался Холлингсворт, — я-то знаю, а ты — нет, как оно все может обернуться. — Он произнес эти слова с такой тяжестью в голосе, что я почти физически ощутил всю значимость стоящей перед ним дилеммы. Вдруг в голосе Холлингсворта послышались раздраженные нотки: — Ничего-ничего, я еще им всем покажу. — С этими словами он, судя по звуку, встал с кресла. — Ладно, уже поздно, и если мы еще не передумали заглянуть в наш отельчик, то, по-моему, сейчас самое время отправляться в дорогу.

Она, наверное, положила руку ему на плечо.

— Ах, дорогой, — ее голос звучал слабо и жалобно, — я совсем запуталась. Ты ведь подскажешь мне, как быть дальше и что теперь делать. Обещай, что ты всегда будешь говорить мне, как поступать и что делать.

Голос Холлингсворта лился как сладкий бальзам, мгновенно наполнявший собеседницу новыми силами.

— Уж это я тебе обещаю. Ты всегда будешь знать, что делать. Всегда, день за днем, я буду говорить тебе, как поступать и что делать.

— Поцелуй меня еще раз, — попросила она.

И вновь я стал свидетелем их патологически сюсюкающего обмена комплиментами. Красной нитью через мешанину охов и вздохов проходил ритмичный пунктир бесконечных «ты его жена» и «да, я его жена». Эта «его жена», казалось, могла насытить их обоих дальше некуда, а все остальные нежности и непристойности были для них лишь соусами и приправами, разнообразящими основное блюдо.

— Я ведь его жена, — подытожила почти бездыханная Гиневра и, оттолкнув Холлингсворта, вполне бодро распорядилась: — Ну все, хватит, пойдем, а то поздно будет.

Уставшая, не замечающая ничего вокруг, она, должно быть, споткнулась о чемодан.

— Ой, подожди, подожди минутку, — прохрипела она вслед Холлингсворту, — дорогой,

ровно секунду, я только уберу с дороги эту штуковину. Я тебя сейчас догоню, честное слово.

Холлингсворт остался ждать ее у двери, она же тем временем подтащила чемодан к моему углу и, сунув его мне в ноги, на мгновение посмотрела мне в глаза. В этом взгляде я прочел и страх, и гордость за одержанную победу. Чем-то она напомнила мне ребенка, которого взрослые подбрасывают в воздух, а он изо всех сил заливисто смеется, чтобы не показать окружающим, как ему страшно.

— Лерой, — обратилась она к Холлингсворту, стоя практически бок о бок со мной, — но ведь с ним ничего такого не будет?

— Да ничего с ним не будет, — видимо, не в первый раз пробубнил Холлингсворт, — мы уговорим его, он будет с нами сотрудничать.

— Я так и думала. Главное, чтобы ему ничего не было, — заявила Гиневра и, повернувшись ко мне спиной, вышла из дома вслед за Холлингсвортом.

Ее последний вопрос к нему объяснил мне, зачем я был ей нужен здесь, в ее квартире. Противоречивая натура, она, понимая, что увязла во лжи и каких-то двуличных играх, попыталась объяснить передо мной, явно движимая чувством вины.

Глава двадцать третья

Прежде чем уйти из квартиры, я заглянул в спальню. Маклеод действительно спал беспробудным сном, свернувшись, по выражению Гиневры, калачиком. Впрочем, вряд ли ее образное сравнение можно было назвать стилистически адекватным. Сон Маклеода был тяжелым. Он лежал, прижав руки и ноги как можно ближе к телу и закрыв лицо ладонями. Ощущение было такое, словно он подсознательно старается занять наименьший возможный объем в пространстве. Дышал он будто с трудом, пропуская воздух на вдохе и выдохе через крепко сжатые губы. Лицо его было напряжено, как крепко сжатый кулак. Я вдруг осознал, что не имею права видеть его таким — обездвиженным и беспомощным. Узнай Маклеод, что за ним подсматривают во сне, он наверняка пришел бы в ярость.

Рядом с ним, голова к голове, спала Монина. В отличие от отца, она дышала спокойно и ровно. Обняв ручкой предплечье Маклеода, она откинулась на спину, и ее золотистые волосы разметались по подушке. Отец и дочь спали вместе на одной кровати, но, глядя на них со стороны, я видел, что это единственное, что их в этот момент объединяет: слишком уж они были непохожи друг на друга. Особенно резкий контраст был между нежной кожей ребенка и грубой, покрытой щетиной шкурой Маклеода, обтягивавшей его тяжелый подбородок. Никогда раньше я не замечал, насколько он, оказывается, стар. Даже щетина, покрывавшая его небритые щеки, и та была наполовину седой. В какое-то мгновение его губы разомкнулись, и из груди спящего великана вырвался тяжелый, полный боли не то стон, не то рык. Он стал что-то бормотать, возражая и протестуя во сне против чего-то неприятного и страшного. Руки его непроизвольно прижались к туловищу еще сильнее.

Я вышел из спальни, прошел через гостиную, где мне пришлось стать свидетелем чужих разговоров, и вышел из квартиры. За дверью меня ждала Ленни.

Сколько она там простояла, я не знаю, но, судя по силе, с которой она вцепилась мне в руку, терпение ее было на исходе.

— Мне нужно поговорить с тобой, — хрипло сказала она, воровато озираясь, — пойдём ко мне в комнату. — Ленни была напряжена как пружина и готова в любой момент взорваться.

Поднимаясь вслед за ней по лестнице, я обратил внимание на то, что ее костюм был только что отглажен, а волосы уложены во вполне сносное подобие прически.

— В чем дело-то, что случилось? — спросил я.

— Подожди минуту, я тебе все расскажу

Ленни дождалась, пока я зайду в комнату, и заперла за мной дверь. Когда она обернулась, я сумел разглядеть ее вблизи. На этот раз она неплохо привела себя в порядок и даже успела накраситься. Впрочем, мне почему-то сразу стало ясно, что эта «свежая штукатурка», наложенная поверх старой, продержится недолго. Это сквозило во всем: вот и первые складки отпечатались на потертой, засаленной ткани юбки, вот разошелся один из локонов, вот проступили пятнами неровно наложенные румяна и неумело, неравномерно нанесенный слой пудры. И без того не украшавшие Ленни крути вокруг глаз проступали сквозь макияж, пожалуй, даже страшнее.

Сунув руку в нагрудный карман пиджака, она вытащила оттуда несколько банкнот и протянула их мне.

— Держи, я тебе была должна.

Я попытался скрыть свое изумление за демонстративным пересчитыванием денег. На самом деле общая сумма была на несколько долларов меньше той, что я дал ей, но почему-то мне показалось, что Ленни действительно вряд ли помнит, сколько именно денег брала у меня в

долг. Возвращала она их скорее всего наугад, прикинув примерно, сколько я мог позволить себе выделить ей сравнительно безболезненно.

— Где ты их взяла? — спросил я ее.

Ленни несколько секунд молчала, а затем выдала мне в ответ гневную тираду.

— Ты дал мне денег в качестве жеста благотворительности по отношению к пьяной и ущербной девчонке, — сказала она с горящими глазами. —

Я восприняла это как оскорбление, причем оскорбление, нанесенное абсолютно сознательно. Вот я и решила, что не буду отвечать тебе тем же, то есть не стану оскорблять тебя тем, что будет для тебя болезненным. Тебе нужны твои деньги? На, получай их обратно. — Ее трясло от злости и, быть может, от чего-то еще. Я заметил, что та рука, которой она отсчитывала мне деньги, сведена судорогой, и Ленин, чтобы скрыть это, подсознательно убрала ее в карман пиджака.

— Ну и о чем же ты хотела со мной поговорить?

Ленни молча отошла к шкафу, порылась в нем и извлекла на свет полную, еще не открытую бутылку виски. Ее непослушные пальцы скользили по целлулоиду пробки, пытаясь поддеть его, но — безрезультатно.

— Слушай, давай лучше я открою, — предложил я ей.

Вместо ответа она впилась зубами в пробку и вытащила ее из горлышка. Насколько при этом пострадали зубы Ленни, я старался даже не думать. В нерешительности посмотрев на бутылку, она попыталась хлебнуть виски из горлышка, но поперхнулась.

— Подожди, я подышу тебе что-то вроде рюмки.

На полке в буфете я обнаружил несколько пыльных стаканов под виски, а на полу, в самом углу, — главное сокровище Ленни: целый ящик с бутылками. Ленни подошла ко мне сзади, с ужасом понимая, что ее тайна открыта. Не зная, что сказать, она зачем-то вырвала стакан у меня из рук. «Где ты взяла столько денег?» — хотел было спросить я, но тут же осознал, что ответ очевиден. Тогда я взял деньги, которые она вручила мне, и выложил их на стол.

— Ну уж нет, после всего, что было, мне эти деньги не нужны.

В ответ Ленни чуть не закричала на меня:

— Что? Да по какому праву... Да как ты смеешь...

— Я знал, что ты ходишь за ним по пятам, — полный негодования, бросил ей я, — знал, что ты не посмеешь послушаться его — из страха или по какой-то другой причине. — Я так много хотел сказать ей и прекрасно понимал, что самое главное останется невысказанным. — Но мне и в голову не могло прийти, что он тебе платит. Брать у него деньги...

— Ты просто идиот! — закричала она и машинально опрокинула себе в рот содержимое стакана, в котором плескалось как минимум на дюйм виски. — Подумаешь, брать деньги. Да деньги — это самое чистое, что может быть в этом мире. Нет, скажу даже так: деньги — это и есть средоточие чистоты мира. Вот только кто-то вбил тебе в голову сказки про оборот денег и их метаморфозы наподобие тех, что происходят с лягушками и головастиками. В общем, вы дошли до того, что называете деньги мерилком пролитой за них крови. Как же жаль, что великий мыслитель погиб, что сегодня его нет с нами, он бы рассказал тебе о фабрике чувства вины и о падении курса обмена любви. — В голове Ленни явно все перемешалось, и теперь на поверхность ее сознания всплывали обломки кораблекрушения давно рухнувшей и уже почти исчезнувшей цивилизации. — Все теряется на фоне крови, таков закон денег, которые, кстати, тоже являются всего-навсего товаром. — Залпом проглотив остатки виски из стакана, Ленни чуть успокоилась и почти мечтательно произнесла: — Ты ведь тоже у кого-нибудь взял бы деньги.

— Да, у кого-нибудь, наверное, взял бы.

Было похоже, что виски начинает на нее действовать. Ленни изо всех сил пыталась убедить меня в своей правоте.

— Тебе, по всей видимости, никто никогда не говорил, что быть сентиментальным — значит совершать преступление. Ты, кстати, знаешь, что он натворил?

Я покачал головой.

— Ты, конечно, надеешься на то, что в конце концов все образуется. Что тебе убедительно продемонстрируют, что наш общий знакомый мухи не обидит. Так вот, уверяю тебя, ты ошибаешься. — В ее голосе слышалась нарастающая волна ненависти. — Он разрушил этот мир, можешь ты это понять или нет? Он убийца лучшего и лучших. Только убивая лучших, он может представить себе, что сравнялся с ними, что стал одним из них. А мой друг — он убийца худших, и вот почему он тебе не нравится. Одного за другим, одного за другим, он, тот, которого ты так защищаешь, убивал лучших, устранял их, расправлялся с ними. Каждый вечер он возвращался домой и падал ниц перед портретом человека с трубкой. При этом он говорил: «О мой повелитель, я грешен, ибо в мыслях своих я преступил закон твой». А затем он плевал на портрет, плевал что было сил и повторял после каждого плевка: «Сколько преступлений совершил я во имя твое». И затем вновь плевал, плевал и плевал, до тех пор, пока слюна не иссыкала и не наступал черед слез. Он хныкал перед портретом человека с трубкой, не сводившего с него глаз, и ждал, пока тот придет за ним. «Прости меня, мой повелитель, — восклицал он, — ибо я не ведаю, что творю».

Я молча слушал Ленни.

— Ты что, не веришь мне? — спросила она.

— Не знаю. Я имею в виду, что не знаю, как его оценивать, что про него думать.

Даже по ходу разговора было видно, как обвисает и мнется костюм Ленни, как распрямляются в засаленные патлы ее кудри, которые она безотчетно раскручивала пальцами. Пепел вновь сыпался ей на пиджак и на юбку, а на блузке появилось свежее пятно от пролитого виски.

— Я сам не знаю, зачем я во все это ввязался, — признался я ей, — от этого ведь только хуже будет. Я хотел быть в стороне от всего, но у меня не получается. Тогда скажи, зачем ты притащила меня сюда, зачем завела этот разговор? — я не то требовал у Ленни отчета, не то умолял ее дать мне ответ. — В чем ты пытаешься убедить меня? В том, что рядом с ним не должно быть никого? Неужели тебе так плохо оттого, что у человека есть хотя бы один если не друг, то, по крайней мере, сочувствующий? — Посмотрев на Ленни в упор, я, судя по всему, неожиданно для нее сказал: — Нет, это ты не меня пытаешься убедить.

— А кого же? — удивилась она.

— Ты хочешь убедить в чем-то саму себя.

Мои слова произвели на Ленни некоторое впечатление. По крайней мере, для начала она от души рассмеялась.

— Я пытаюсь убедить себя? — переспросила она. — Ну уж нет, Майки, меня убеждать не нужно. В дураках пока что остаешься только ты. Ты дурак, потому что ничего не понимаешь. Точно такой же душой была и я когда-то, но пришло время, и я прозрела. А ты... Ты так и не узнаешь, что все эти годы, с тех самых пор как величайший из всех мыслителей сидел, обложившись книгами, в библиотеке Британского музея, у нас была возможность создать свой мир, а теперь, когда времена изменились, мы поняли, что ошиблись. Мы опоздали, и теперь современный мир сожрет тот, другой, еще не родившийся, который мы так хотели бы построить.

— Но мы же не знаем этого наверняка, — попытался возразить я.

— Не знаем? — Одна эта мысль, похоже, была способна вызвать в душе Ленни бурю

негодования. — Послушай-ка меня. Мы никогда ничего не знаем и не понимаем. Так вот, мир, тот, который мы видим вокруг себя, устроен так: это огромная тюрьма, ворота которой то открываются, то закрываются. Вот только почему-то с течением времени они все чаще и чаще оказываются запертыми. Ты что, забыл? Ты забыл о том, как беднейших из бедных и несчастнейших из несчастных тысячами и тысячами убивали в газовых камерах? Как это происходило и с каким достоинством мы умирали? Давай я тебе расскажу. Охрану и исполнителей для этого дела подбирали по особому списку. Их вызывали с кухни, где они набивали себе брюхо, и они являлись в кабинет к офицеру, где тот отдавал им последние распоряжения. По ночам наливали по лишней рюмке, и они отправлялись на территорию лагеря собирать заключенных, уже отобранных другими людьми, присвоившими себе право миловать или отправлять на смерть несчастных. Обреченные шли под конвоем колонной. Если кто-то из них и весил с полсотни килограммов, то он выглядел настоящим откормленным великаном по сравнению с остальными. Они шли и заискивающе улыбались и пытались заглянуть в глаза конвоирам. А те были пьяны, и знал бы ты, Майки, каким счастливым может быть человек в таком состоянии. Они-то знали, что комедия еще только начинается. Приговоренных заводили в так называемый предбанник — большое помещение с серыми стенами и без единого окна. Здесь — мужчины направо, женщины налево, снять одежду и построиться. Дождавшись, пока заключенные разденутся, стражники гнали их дальше, похлопывая несчастных по обтянутым кожей костям, пытаясь ущипнуть их за дряблую кожу. А еще конвоиры переговаривались друг с другом и издевались над заключенными, не уставая повторять, что от тех страшно воняет. Ох, как им было весело. Им, в голове которых играло выпитое бренди, им, которые до смерти хохотали над несчастными, обнаженными, спотыкающимися живыми скелетами. Приговоренных загоняли в последнюю комнату, где, как можно было бы подумать, они пытались настроиться на то, чтобы с достоинством встретить неминуемую смерть. Заметь, сюда, в эту камеру, они шли долгой дорогой. Той дорогой, на каждом шагу которой над ними издевались и обманывали их.

Но на этом моя история еще не закончена. — Ленни предупреждающе подняла руку. Ее глаза смотрели на меня не мигая, а говорила она отчетливо и громко, будто декламировала знакомый текст в пустой комнате перед зеркалом. — У охраны было еще одно любимое развлечение. Перед тем как запереть дверь в камеру, они зачитывали якобы полученное от начальства сообщение. В нем говорилось, что государство в силу своей бесконечной милости обещает жизнь и свободу одному из приговоренных, а именно сильнейшему из них.

Тот, который победит всех остальных, получит отсрочку. Эту шутку придумал экспромтом один из конвоиров, хотя, по правде говоря, по духу она вполне соответствовала тому, что могло предложить заключенным то самое государство. Что начиналось потом, сам понимаешь. Охрана через окно наблюдала за тем, как один голый пигмей рвет волосы на голове у другого, как кровь ручьями течет там, где, казалось, уже и самой крови не могло остаться. Вскоре половина из заключенных уже лежала на полу: одни мертвые, а другие при смерти. Они напоминали оглушенных обухом топора свиней, ждущих ножа, которым им перережут горло. Остальные же продолжали царапаться, стонать и кусаться, а охранники тем временем потихоньку пускали газ в помещение. Ох и потешались же они над безумцами, которые думали, что хотя бы один из них будет спасен, и ради этого съедали друг друга заживо.

Такой он, этот мир, понял, Майки? Может быть, и был среди них кто-то, кто сказал: «Остановитесь, давайте умрем достойно», но его уже не слышали, ибо газ уже разъедал им глаза, а губы слипались от засохшей на них крови ближнего.

— Значит, было уже поздно, — промямлил я.

— Да пойми ты, — мягко, почти ласково сказала она, — когда ветер треплет траву, мы с

готовностью погружаемся в сладостные детские воспоминания. На самом деле поздно что-то менять было не тогда, поздно — сейчас. Можешь ты понять это или нет? Возможности изменить что-то у нас уже не осталось. Выхода нет, есть только исключения из правил. Вот почему в этом мире нет для нас ни добра, ни зла.

— Если бы все было так, то зачем же рассказывать мне эту чудовищную историю?

Губы Ленни изогнулись в презрительной улыбке:

— Ты, похоже, так и не понял, зачем мне это было нужно. Ты так и не попытался взглянуть на мир иначе. Готова поспорить, что ты, естественно, назовешь тех лагерных охранников злодеями. Так тебе легче понимать мир: не надо ни над чем задумываться, все ясно. А я тебе скажу, что именно они были в высшей степени гуманны.

— Гуманны?

— Да, ибо они дали людям возможность умереть в пламени, пусть маленькой, но огненной страсти, а это гораздо лучше, чем умирать якобы с достоинством, но всем вместе, одним стадом. Умирая в толпе, человек испытывает чувство унижения, он проиграл. Так умирает большинство из нас. Постарайся понять, Майки. Стражники действительно совершили преступление, но не то, о котором ты подумал. Нет ни невинных, ни виноватых, есть только страсть и сила воли, благодаря которым мы совершаем поступки или же бездействуем в силу отсутствия воли. Единственное преступление конвоиров состоит в том, что им, для того чтобы совершить поступок, требовалось спиртное, ибо их сознание в силу неразвитости и пустоты не могло позволить им совершить поступок на трезвую голову. В той, прошлой, жизни они были мелкими клерками, в этом же облики они пребывают и сейчас, когда миг величия остался позади. Более того, многие из них сейчас внутренне раскаиваются в том, что творили. Вот в чем их преступление — в пьянстве тогда и раскаянии сейчас.

— Я бы скорее сказал, что в этом их, да и наша, надежда на спасение.

Подобное возражение привело Ленни в ярость.

— Ты, кажется, хотел знать, — она с трудом сдерживала себя, — почему я взяла у него деньги.

— Да, почему именно у него?

— Да потому, что он один из них. А ведь именно они позволяют тебе снимать угол за приемлемые деньги, именно благодаря им я могу жить так, как хочу. Вот что я повторяю себе, когда меня убеждают в том, что я всегда буду неопрятной уродиной.

— Не понимаю, кто такие «они»?

— Как кто? Наши охранники, конечно. — Она села, вжав выпрямленную, напряженную спину в спинку стула так, словно от нашего разговора у нее страшно разболелся позвоночник. — Они — охрана, стражники той страны, в которой мы живем, а твой друг точно такой же конвоир, но служащий другой стране. Рано или поздно все они встретятся и состоится большая битва, победитель в которой будет только один. Вот тогда-то им и станет страшно. Понимаешь, они так настроены на победу, так поклоняются ей как идолу, что совсем забыли о том, что для победы нужно приложить усилия, нужно собрать все резервы и ресурсы. Я же буду питать их страх. Они обернутся, посмотрят на меня, они будут искать меня взглядами.,

Заметив произвольную улыбку, мелькнувшую у меня на лице, она словно прочитала мои мысли и поправилась:

— Ну хорошо, пусть это буду не я, пусть кто-то другой. Но кто-то же должен перевязать их раны, кто-то должен вырвать у них из рук бутылку с рюмкой. Я единственный человек, который по-настоящему хочет, чтобы и другие продолжали жить. Кроме меня, этого больше никто не понимает.

Я принялся машинально вышагивать взад-вперед по комнате.

— А что если я не захочу выбирать себе тюрьму?

— Тебе придется, и ты сделаешь это с превеликим удовольствием. Это тайна, тайна, у которой нет объяснения.

— Но ведь в этой битве не будет победителей, — сказал я, — они просто уничтожат друг друга, да и нас всех заодно. И почему-то мне кажется, что ты хочешь увидеть именно это.

Ленни скользнула по мне отсутствующим взглядом.

— Кто знает, чего мы хотим на самом деле. Быть может, нам нечего больше любить, ну разве что огонь. — Она запрокинула голову и, глядя в потолок, сказала почти умоляюще: — Майки, пойдем со мной, ибо если и есть у нас какое-то будущее, то оно — с ним.

— Ну да, и ты, в силу собственной убогости, так и норовишь утащить за собою всех вокруг.

Она пожала плечами и погрузилась в молчание.

— Вот скажи ты мне, — продолжил я, — следить за Гиневрой, подсматривать за мной, читать чужие записки — все это вменяется тебе в служебные обязанности, или же ты это делаешь для себя, по доброй воле?

Выражение ее лица не изменилось. Она как будто не слышала меня.

— Ленни, зачем ты подслушивала за дверью?

— Для себя, я делала это только для себя самой, — пробормотала она. Было видно, что мой вопрос оказался для нее очень болезненным. Она крепко сжала в руке стакан для виски, а потом так же неожиданно отпустила его и уронила себе на колени.

— Они ушли вместе? — спросила Ленни.

Я кивнул.

— Господи, какая же она сука, какая сука, сука. — Ленни смотрела на меня, побледневшая, измученная, истерзанная, — усталость и измученность на ее лице уже не могла скрыть никакая пудра. — Сука, — повторила Ленни, — она застала меня врасплох. Вот к этому-то я совсем не была готова.

Глава двадцать четвертая

Если одним дается больше, то лишь за счет того, что отбирается у других. Если один велик, то другие ничтожны. Надо же было такому случиться, что я, человек без прошлого, а следовательно, не ведающий и будущего, человек, не вступающий ни в общественные, ни в экономические отношения с другими людьми, человек, в памяти которого не хранятся заученные истины, и вследствие этого обладающий привилегией не размышлять и не рассуждать, именно такой человек оказался вынужден вновь усваивать и переваривать те мысли, которые мне не принадлежали. Которые однажды уже были выучены, а затем крепко забыты. Я мгновенно окунулся в учебу. Все внешние признаки студенческой жизни были налицо: я поглощал урок за уроком, я зубрил все новые и новые определения, я ставил полученные знания под ружье, и они были готовы ринуться за меня в бой.

Я сел за стол и стал перечитывать учебник. Итак, рабочий продает свой труд. За время работы он производит продукт, стоимость которого выше, чем его заработная плата. А в день седьмой, когда пролетарий отдыхает, капиталист может спокойно подсчитать прибыль, потратить ее часть на потребление и поискать подходящее место, куда можно было бы с выгодой вложить оставшиеся деньги. Так гласила Книга Бытия моей Библии, той самой, которая когда-то была мною многократно прочитана и осмыслена. С этого псалма начиналось путешествие длиной в две тысячи страниц, переходившее на бескрайние просторы множества других книг, описывающих историю и экономику последних трехсот лет. Того самого времени, когда повсюду, от горизонта до горизонта, росли все новые фабрики и заводы, прокладывались железные дороги, приумножались города — любой ценой, пусть даже за счет обесценивания великого товара прошлого — любви.

Я продирался сквозь все новые выкладки, уравнения и примеры. Есть рабочий, и есть машина. Чем более значимой становится машина, тем меньшую ценность представляет собой человек. И вот мы уже слышим откуда-то похоронный марш, под который нам нараспев декламируют, что любой, кто рожден, должен и умереть. Вот только перед смертью из него почему-то обязательно нужно выжать все соки. Под такой аккомпанемент приговоренный прекращает сражаться со своим соперником, с машиной, и соглашается с тем, что настало время уходить из этого мира. Работник и машина, зарплата одного против стоимости другого. Переменная сумма и единожды уплаченное: чем больше угасает один, тем сильнее разбухает второй. И вот наступает момент, когда человек, у которого можно похитить часть затраченного им труда, становится никем перед машиной, у которой ничего не нужно воровать. Она сама с готовностью отдает весь произведенный ею продукт, не требуя ничего взамен. А чтобы выполнить то, что пока не подвластно машине, владельцы заводов и фабрик мечутся по всему миру в поисках дешевой рабочей силы для производства каких-нибудь консервных банок, которые будут навязаны этим людям в качестве объекта потребления. Миллионы людей из сотней колоний и зависимых территорий будут чуть ли не силой вырваны из лагун, хижин и нор, в которых они жили, и перенесены в новые жилища — в камеры и бараки.

Кто бы мог подумать, что денежные мешки оказываются в этом мире в очень незавидном положении. А дело обстоит именно так. Сначала им нужно непременно реинвестировать присвоенную стоимость прибавочного продукта. До какого-то момента прибавочная стоимость является источником их богатства и внешней экспансии, а затем закономерно оборачивается корнем всех бед и причиной их же уничтожения. Я сидел, думал, и мне приходилось заново осваивать то, что не удавалось реконструировать в памяти. Я вновь и вновь вгрызался в очередные хитросплетения терминов и понятий. Мне предстояло самому заново осознавать

принципы и законы создания стоимости с поправкой на условия монополистического капитализма. От меня требовалось вновь понять, почему производство ограничено в своем росте и как формируется искусственное ограничение цены. Я постигал, почему стандарты жизни большей части человечества не могут быть в значительной мере повышены за короткое время, ибо если бы это оказалось возможным, то где бы монополии взяли того Петра, который ограбил бы Павла и при этом еще и заплатил бы ему. Я бился лбом о понятие золотого стандарта и его соотношения с реальными деньгами. Я постигал принципы формирования тарифов, и когда мне казалось, что все это безрезультатно и что мне никогда не набрать необходимого количества знаний, в моей больной голове вдруг возникло осознание всеобщих мировых противоречий и понимание того, как промышленные технологии, с одной стороны, обеспечивают миру существующий уровень потребления, а с другой — прямо у нас на глазах разрушают единый мировой рынок.

Листая страницы, я следил за тем, как они — те самые охранники — суетятся, обманывают нас и друг друга, сталкиваются лбами в разных частях света и накапливают в качестве необходимого инструмента, именуемого ими политикой, все новые горы оружия и наращивают численность армий. Я перелопатил историю той Первой мировой войны, которая закончилась, судя по всему, еще до того, как я появился на свет, и Второй — весьма занятно прожевавшей и выплюнувшей меня, ни на миг не поперхнувшись. Пришло время задуматься и о третьей, последней войне — той, к которой как раз шли приготовления во всем мире. С каждым этапом истории человек становился все меньше, а машины все росли и росли — как в размерах, так и в своей значимости. Вплоть до горизонта все пространство вокруг нас застраивалось новыми и новыми заводами, которые тянулись трубами вверх, к небу, и уже громоздились друг на друга. Но при всем этом производство продуктов и товаров, которые может потребить нормальный человек, сокращалось год за годом. Главным потребителем на мировом рынке становилась война и приготовления к ней. Этому потребителю требовались особые товары, а самим товарам — свои особые потребители. Каждой пуле, каждому снаряду полагался свой личный потребитель — вражеский солдат. Этот рынок мог существовать вечно, его устойчивости, пожалуй, уже ничто не угрожало. Он вливал свежую кровь в одряхлевший организм промышленного производства. Он обеспечивал занятость миллионам людей и предоставлял другие миллионы, одетые в военную форму, в качестве потребителей произведенных товаров и услуг. Капиталист мог больше не заботиться о том, что делать с присвоенной прибавочной стоимостью и куда ее реинвестировать. Я почесал в затылке и понял, что, судя по всему, настал последний год, когда люди, даже те, у кого есть деньги, могут без проблем купить то, что им нужно. Пожалуй, ностальгия об этих последних годах свободного потребления надолго сохранится в памяти большей части человечества.

Денежный же мешок, да-да, мой старый добрый, уже классический денежный мешок будет чувствовать себя ничуть не лучше остальных. Более того, он уже заранее знает о той опасности, которая ему грозит. Он чует ее нутром, читает о ней между строк в своих же газетах, видит в глазах тех людей, которых обкрадывает, и чувствует по все усиливающейся власти чиновников и бюрократов, которой он так привык злоупотреблять. Он чувствует, что уходит, уступая место на сцене им. С каждым полученным от правительства чеком и с каждой партией произведенного товара, отправляемого на правительственные арсеналы, денежный мешок все явственнее понимает, что его роль и значимость уменьшаются, в то время как могущество тех самых лагерных охранников лишь усиливается. Нет-нет, его пока никто не трогает. У него еще есть год-два спокойной жизни. Вполне возможно, что он неплохо проживет до конца войны и, может быть, даже чуть дольше. Но он прекрасно понимает, что конец уже близок. Неумолимо приближается тот день, когда рабочим придется платить меньше, заставляя их при этом

работать больше. Реализовать такой фокус может только правительство, которое говорит от имени рабочего. То правительство, которое рабочий будет считать своим. Что же остается денежному мешку, кроме рыданий и причитаний в приступе запоздалого раскаяния? Слабым утешением для него будет осознание того, что новые лидеры урвут для себя свою, немалую, долю прибыли, что государство, став единственным капиталистом, будет покупать рабочую силу всего населения страны и распределять полученную прибавочную стоимость по куда большей ставке для очень немногих и по значительно меньшей, почти нищенской, — для всех остальных. Столь же слабо утешит его понимание того факта, что демократии в этом новом обществе будет не больше, чем в армии, а равенства — не больше, чем между простыми прихожанами какой-нибудь церкви и ее высшими иерархами. Никто, никто не будет его слушать. Никому не будет дела до того, кто посеял ветер и теперь пожинает бурю. Враг был создан. Враг беспощадный и не заслуживающий пощады, кровожадный и не достойный снисхождения. Враг, глаза которого были зеркалом будущего. Монополия, казалось, отгораживала денежный мешок от врага. Враг становился тем самым Петром, который кормил Павла, и оба они были настолько выжаты на работе, что ни о каком восстании или сопротивлении и помышлять не могли. И вдруг все они куда-то исчезли, а их место заняли враги. Враги, рожденные в войнах, начатых по заказу монополий, войнах, которые приближались к неизбежному концу. Враги держали в руках зеркало, отражавшее общее будущее. Победителя в этой войне узнают по могильному кургану, насыпанному над ним побежденным.

Я думал о рабочих, которые еще долго будут терпеть ублюдочное отродье тех, кто когда-то организовывал и претворял в жизнь великую социальную революцию. Сначала они поверят в то, что им будут обещать. Более того, поначалу часть обещаний даже выполняют, уровень жизни поднимется до невиданных высот — до свиной отбивной ежедневно. А затем вдруг, в одночасье, вновь все рухнет. Рабочие будут думать, что к власти пришла их партия, а затем очень быстро обнаружат, что государство, вместо того чтобы стать, как было обещано, инструментом в их руках, обернется их жестоким и безжалостным хозяином. Тот свободный союз свободных производителей и свободных потребителей, о котором они когда-то мечтали, обернется жестким трудовым договором между ними и партией и государством. Рабочие разных стран будут мечтать о всемирном братстве трудящихся, но и сами не заметят, как одна половина мира сойдется в смертельной схватке с другой. Свобода при социализме — величайшая из всех разработанных концепций свободы, — к ужасу тех, кто за нее сражался, обернется рабским трудом в трудовых армиях. Разум рабочего будет одурманен потоком пропаганды, и он всерьез будет повторять, что даже супружеские обязанности — это долг перед обществом. Великое наследие прошлого будет растрчено, промотано и присвоено немногими. И начальник, и наемный рабочий, и теоретик-фабианец^[3] будут пожирать те крохи, что достанутся им при дележке общего пирога. Денежный мешок умрет, но не на плахе под топором палача. Он постепенно зачахнет, раздираемый собственными противоречиями. Он сварится в собственном соку в густом вареве затеянных им самим войн. Так оно все и будет. Или, по крайней мере, так я видел это будущее. Мне уже грезилась армии, выходящие друг против друга на смертный бой под практически неотличимыми лозунгами.

Что же будет потом? Здесь ответов было еще меньше, чем среди тех вопросов, с которыми я уже пытался разобраться. Если поначалу я еще и собирался возражать Ленину, приводить ей свои доводы, то вскоре отказался от этой затеи, опасаясь, что в ответ услышу лишь эхо собственного голоса. Мне было что сказать, но я решил придержать свои знания при себе, утешаясь тем, что мне удалось восстановить в памяти все то, что когда-то было мною прочитано и изучено. Я сидел неподвижно и отдыхал, как телом, так и измученным тяжелой работой мозгом.

Прошел, наверное, час, и я стал вновь погружаться в размышления, бросая камешки в гладь пруда собственного сознания и следя за тем, как расходятся по нему круги. Наверное, это состояние можно было назвать временным параличом разума, оцепенением мысли.

Сколько бы еще это могло продолжаться, я не знаю. Из оцепенения я вышел не сам — мое одиночество было нарушено. К дверям моей комнаты подошел Холлингсворт и, поздоровавшись со мной почти дружески, напомнил, что собирается продолжить прерванную накануне беседу с Маклеодом. Собеседование, если мне было угодно так называть эту встречу, должно было начаться через четверть часа, и Холлингсворт даже выразил надежду на то, что я найду возможность присутствовать при продолжении разговора.

Я не искал эту возможность. Я воспринял свое присутствие в соседней комнате как необходимость, как долг. Я пересек лестничную площадку и оказался в комнате Маклеода первым. Сам Маклеод, Холлингсворт и Ленни вошли в помещение следом за мной, буквально один за другим. Мы заняли те же места, что и раньше, и посмотрели друг на друга. Маклеод сидел лицом к лицу с Холлингсвортом, Ленни — с торца стола почти между ними, я же вновь занял место на кровати.

— Хотелось бы поинтересоваться, — начал разговор Холлингсворт, — к какому выводу вы пришли относительно того предложения, которое я сделал вам в ходе нашей предыдущей беседы.

Задав вопрос, Холлингсворт аккуратно высморкался в чистый носовой платок. Маклеод пожал плечами и словно впервые задумался над словами Холлингсворта. Его собеседник тем временем перебирал на столе какие-то бумаги.

— Это предложение — чистая формальность, — заявил Маклеод, — в нем нет ничего конкретного. Самое главное, я не получил никаких разъяснений по поводу того, каким образом я буду защищен от дальнейших преследований.

Время тянулось медленно, и мне даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы сосредоточиться на происходящем.

— В любом случае, — продолжил Маклеод, — я мшу сказать, что принял вполне однозначное решение: я отклоняю предложенную вами сделку.

Холлингсворт постучал карандашом по столу.

— Ну что ж, хорошо, — он сделал пометку в одной из бумаг. — В таком случае, я думаю, нам следует перейти к более детальному обсуждению некоторых интересующих нас вопросов. — Он покосился на Ленни и не мог не заметить, что она почти сползла со стула и едва ли не спит. — Мисс Мэдисон, я могу для вас что-нибудь сделать? Может быть, подать вам сигареты? — В шутливых интонациях Холлингсворта чувствовалась плохо скрытая злость и раздражение.

Ленни вздрогнула и подняла глаза. Выглядела она просто ужасно — даже хуже, чем тогда, когда мы виделись с нею в последний раз. Говорила она не просто хрипло, а еще и сбиваясь и едва ли не заикаясь.

— Нет-нет, спасибо, мне ничего не нужно, — пробормотала она, виновато оглядываясь. Затем Ленни попыталась удобнее сесть на стуле, но все было напрасно: принять комфортное положение ей так и не удалось. К тому же она вздрагивала и испуганно моргала при каждом более-менее резком или неожиданном жесте Маклеода или Холлингсворта.

Тем временем Холлингсворт вынул из пачки нужный ему лист бумаги с плотным машинописным текстом и вздохнул:

— Ну что ж, детали так детали. Итак, не будете ли вы столь любезны поведать мне о том, каким образом вы оказались в той самой организации, на которую работаю я.

Этот вопрос, который прозвучал для меня как гром среди ясного неба, похоже, ничуть не

удавил Маклеода. Какое там, он явно его ждал. Тем не менее его рука непроизвольно потянулась к клапану кармана на рубашке, словно он вновь хотел спрятать от посторонних глаз подсунутую ему Холлингсвортом и изорванную в клочья бумажку.

— По-моему, нет смысла пересказывать очевидное, — сказал он после паузы. — Я думаю, этот этап моей жизни известен вам едва ли не лучше, чем мне самому.

— Позвольте мне воспользоваться теми методами, которые я сочту нужными, — почти по-змеиному прошипел Холлингсворт.

Маклеод в ответ лишь пожал плечами:

— Все очень просто. Я прекрасно понимал, что если останусь на старом месте еще хотя бы немного, то меня, скорее всего, привлекут к суду и последствия будут для меня более чем плачевными. В то время как раз был заключен довольно значимый военный пакт. Я не считал для себя возможным поддерживать разработку и принятие этого решения. Разумеется, я ни слова не сказал об этом кому бы то ни было, но, как говорится, слухами земля полнится. Кто-то что-то узнал обо мне, а мне удалось разжиться информацией о том, что я попал в немилость у начальства и что вскоре на меня публично наедет один из весьма высоких чинов в нашей организации. Вот почему, испытывая скромное и, по-моему, весьма объяснимое желание сохранить свою жизнь — по крайней мере, в то время я так внутренне мотивировал свои поступки, — я навел кое-какие справки, и мне передали, что я могу рассчитывать на то, что получу паспорт с визой в эту страну. С одним вполне предсказуемым и понятным условием... — Маклеод сделал паузу и продолжил: — Условие же было таково: я должен был поступить на работу в вашу организацию. Ценой за полученные мной чистые документы была подробно изложенная информация о некоторых известных мне событиях, происходивших в... Ну, скажем, стране за океаном. Разумеется, у меня запросили информацию и по довольно обширному персональному списку. Хорошенько подумав и взвесив все «за» и «против», я решил предоставить запрашивающим органам необходимые им сведения.

Губы Ленни привычно искривились в брезгливой ухмылке, а затем она, не сдержавшись, истерично рассмеялась.

— Так я поступил на эту работу, — сухо, без эмоций продолжил свой рассказ Маклеод. — Через некоторое время мне не только выделили отдельный стол и кабинет, но и назначили мне в помощницы секретаршу.

Холлингсворт позволил себе внеслужебную шутку:

— Я так понимаю, как статистик вы зарекомендовали себя с лучшей стороны.

— Является ли необходимым дальнейшее обсуждение этой темы? — копируя официальный тон Холлингсворта, поинтересовался Маклеод.

Его собеседник поцокал языком.

— Нет, при том, конечно, условии, что мы с вами придем хотя бы к подобию общего мнения по поводу, той самой вещицы.

— У меня ее нет, — негромко, но упорно, как заклинание, повторил Маклеод.

— Ну что ж, с этим мы еще разберемся, — вздохнул Холлингсворт и посмотрел в потолок. — Ну, что у нас дальше? — Он вытащил из пачки бумаг перед собой один лист — якобы наугад, словно карту из колоды; затем разыграл мини-спектакль, делая вид, что внимательно читает документ, и, покачав головой, негромко, словно обращаясь к самому себе, констатировал: — Да, да, именно так. Вот с этого и начнем. — С этими словами он поправил галстук и громко, официальным тоном произнес: — Не возьмете ли вы на себя труд дать нам необходимые пояснения по поводу того, как именно вы ушли от нас? Позволю себе напомнить, что вы в один прекрасный день попросту испарились. Я бы даже сказал — бесследно.

Маклеод пристально разглядывал костяшки пальцев. Наконец, собравшись с мыслями, он

заговорил:

— Я пришел к выводу, что это существование уничтожает меня как личность. — Заметив, что Маклеод слегка повернулся в мою сторону, я понял, что обращается он к Холлингсворту и ко мне, как минимум, в равной степени. — Я был вынужден жить совершенно иной жизнью. Сами понимаете, после десятилетия бурной революционной деятельности для человека, который решил отойти от дел, смысл имеет только один поступок, только одно желание — сохранить свою жизнь. Вот только во имя чего ее нужно так беречь? Раньше я никогда не считал свою жизнь ценной самой по себе, и это как раз и стало мучить меня с тех пор, как я был принят на работу к вашим коллегам. — Маклеод осторожно провел кончиком языка по губам, словно желая удостовериться, что они по-прежнему остаются на своем привычном месте. — Нет нужды перечислять те духовные, моральные и, более того, психологические кризисы, которые я пережил за это время. Достаточно сказать, что в конце концов, осознав свое положение, я принял решение уйти — уйти, не прощаясь и взорвав за собой все мосты.

— В общем, вы приняли решение исчезнуть.

— Именно так.

— И уходя из нашей организации навсегда, вы случайно не прихватили с собой ту самую вещь, о которой мы говорим?

— Нет.

— Но она пропала, причем пропала именно в то самое время, — напомнил ему Холлингсворт.

— Совпадения бывают порой очень странными, но как бы подозрительно они ни выглядели, они остаются именно совпадениями.

Холлингсворт вежливо кивнул и осведомился:

— Могу ли я сказать своими словами, что вы вновь решили посвятить себя радикальной революционной деятельности? С той лишь разницей, что на этот раз — в меньшем масштабе?

Маклеод покачал головой.

— Я ничему себя не посвящал. Я тихо-мирно дрейфовал по жизни, стараясь держаться как можно дальше от политической активности какого бы то ни было рода.

— Похоже, Маклеод, вы меня совсем за идиота держите, — со злостью в голосе проговорил Холлингсворт. Затем, придвинув к себе папку, он стал читать вслух то, что было написано на листе бумаги, приколотом к картонной обложке.

В связи с интеграцией рабочего класса в огосударвленную экономику обоих противостоящих друг другу колоссов перспектива наступления эпохи варварства становится все более близкой.

Чтение этого текста явно давалось Холлингсворту с трудом. Порой он делал ненужные паузы и шевелил губами, словно намереваясь произнести очередное мудреное словечко «с разбега», прорепетировав его про себя; в этот момент он напомнил мне школьника, читающего по слогам взрослую книгу и при этом делающего вид, что он в ней все понимает.

Рассуждая о трагедии двадцатого века, историк социалистического будущего сконцентрирует свое внимание на тех нескольких годах после Первой мировой войны, когда революция в странах Западной Европы не состоялась и молодой гигант международного рабочего движения, получив смертельную рану, неизбежно деградировал до состояния предсмертной агонии, коррупции, предательства и поражения.

Холлингсворт оторвал взгляд от бумаги и спросил;

— Продолжать?

— Если это вам нужно.

В настоящее время — в момент приближения третьей мировой войны, — с точки зрения технологии и методологии, варварство подготовлено как нельзя лучше. Говоря о грядущей варварской эпохе, мы мысленно фокусируем наше внимание на панорамах концентрационных лагерей, наотработанных механизмах уничтожения всякой оппозиции силами тайной полиции и на умело прикрываемой пропаганде войны, ведущейся, согласно официальным лозунгам, во имя мира. В свою очередь, перспектива революционного перехода к социализму сводится если не к нулю, то, фигурально выражаясь, к масштабам точки на недостижимой линии политического горизонта. В этих обстоятельствах нельзя забывать о том, что после войны, которая представляется неизбежной, оба изможденных колосса рухнут и погребут друг друга под своими же обломками. При этом возможно возникновение таких условий, при которых мировая пролетарская революция все же одержит победу. Будучи ответственными социалистами, а не прожектерами, мы должны отдавать себе отчет в том, что описанная выше ситуация представляется одной из возможных, не более того.

Холлингсворт оторвал взгляд от текста и с торжествующим видом посмотрел на Маклеода:

— Вы признаете за собой авторство этого текста?

— Нет.

Холлингсворт откашлялся, прикрыв рот сложенным носовым платком.

— Вероятно, вам покажется небезынтересным тот факт, что именно благодаря этой статье мы смогли вычислить ваше местонахождение. Мы, кстати, потратили на это несколько месяцев. Ну, сами понимаете, сколько веревочке ни виться... Ротапринт, бумага, смысловая и стилистическая связь с другими статьями, написанными этим же человеком, знание принципов функционирования нашей организации и наших коллег за океаном — все сложилось в единую картину. — Вынув из портфеля увесистую папку, он протянул ее Маклеоду: — Вот, можете проглядеть, здесь собраны все доказательства.

Маклеод углубился в предложенные ему на рассмотрение бумаги, а Холлингсворт, довольный собой, стал поглаживать лежавший перед ним портфель, ни дать ни взять воспринимая его как ящик Пандоры, из которого он чудесным образом мог извлекать именно то, что требовалось ему для достижения цели в данный момент.

— Ну хорошо, — признался Маклеод, — эту статью написал я.

— А остальные?

Я подался вперед всем телом, с нетерпением ожидая ответа. К моему собственному удивлению, сердце у меня в груди забило гораздо быстрее и сильнее, чем обычно.

— Я написал их все, — сказал Маклеод, чем вызвал у меня в душе чувство, чем-то напоминающее щенячий восторг. Забыв, что происходит вокруг меня, я торжествующе обернулся к Ленни:

— Ну что, видишь?

Реакция Ленни повергла меня в еще большее изумление.

— Он этого не писал, — заявила она, вскочив на ноги, — он врет.

— Сядь, — негромко, но строго скомандовал ей Холлингсворт.

— Нет, не мог он этого написать. Он обманывает нас всех, он издевается над нами.

Не зная, что еще сказать, Ленни замолчала и так и осталась стоять между столом и стулом — словно окаменевшая. Холлингсворт тоже встал, предложил ей сигарету и, соблюдая все меры предосторожности, дал ей прикурить.

— Я же говорил, что дело будет нелегким — с неожиданными поворотами и ходами, — ровным голосом произнес он.

— Да я понимаю, я все понимаю, — пробормотала она.

Холлингсворт вновь занял свое место за столом.

— Я настаиваю на прекращении несанкционированного вмешательства в разговор, — строго сказал он. — Продолжать эту беседу я готов лишь на том условии, что мистер Ловетт будет хранить молчание. — Не дождавшись ответа, он вежливо улыбнулся мне, словно желая подсластить пилюлю столь суровых слов, и тотчас же продолжил говорить с Маклеодом, как ни в чем не бывало: — Итак, вы утверждаете, что последние несколько лет своей жизни посвятили написанию подобных статей.

— Да, я писал статьи и изучал теорию.

— И ничего больше?

— Ничего.

— Предполагая, что человек, подобный вам, даст на мой вопрос именно такой ответ, я специально подготовил историческую справку по биографиям многих известных революционеров. Так вот, мне не удалось найти ни единого случая, когда партийный деятель, или, используя ваше же выражение, политический бюрократ, ограничивался бы написанием статей и изысканиями по теории большевизма...

— По теории марксизма.

— ...после того как провел столько лет в той стране. — В голосе Холлингсворта слышались едва ли не извиняющиеся нотки. — Вот почему у меня вполне логично возникло подозрение, что, быть может, эти занятия являются для вас не целью, а своего рода прикрытием какой-то другой деятельности, если вы, конечно, понимаете, к чему я клоню.

— Не понимаю.

— Вполне вероятно, что вы занимаетесь революционной теорией только для того, чтобы замаскировать тот факт, что вы по-прежнему принадлежите к той самой организации, из которой якобы вышли перед тем, как переехать к нам. В конце концов у стороннего наблюдателя возникает резонный вопрос: почему они от вас не избавились?

— Они меня просто не нашли.

Холлингсворт понюхал свои пальцы и возразил:

— Это маловероятно.

— Лерой, вы утверждаете, что та маленькая вещь находится у меня, так вот, если она у меня, то как я, по-вашему, могу по-прежнему оставаться в рядах...

— Большевиков, — закончил за него Холлингсворт.

— Если бы я принадлежал к этой партии, я бы давно отдал им это сокровище.

Холлингсворт с торжествующим видом захлопнул хитро выстроенную ловушку.

— Но вы ведь утверждаете, что эта маленькая вещь не у вас?

Маклеод только рассмеялся:

— Неплохо сработано, коллега.

— Да, полагаю, что кое-чего добиться нам все же удалось, — вздохнул Холлингсворт, — предлагаю подытожить: либо то, что мы ищем, находится у вас и вы при этом не принадлежите ни к какой организации, либо же этой вещи у вас нет, но вы никогда не нарушали присягу, данную под знаменем враждебного нам государства. В таком случае вы просто пытаетесь заставить нас поверить в то, что мы имеем дело с добропорядочным гражданином, искренне

раскаивающимся в своем бурном прошлом. По-моему, в данной ситуации нам приходится выбирать лишь из этих двух вариантов. Можем ли мы продолжить работу над выбором того, который соответствует истине?

— Это будет напрасной тратой времени.

Холлингсворт вынул из кармана перочинный ножик и стал точить карандаш. Делал он это обстоятельно и не торопясь. Маклеод непроизвольно следил за каждым его движением. Закончив, Холлингсворт сгреб со стола ладонью стружку и ссыпал ее на пол.

— Ой, прошу прощения, — сказал он и растер мусор подошвой.

Маклеод кивнул, не разжимая губ.

— Если бы кто-то из нашей организации решил покинуть ее ряды и заняться теоретическими исследованиями, — стал вслух рассуждать Холлингсворт, — с какой стати ему могла бы потребоваться одна маленькая, но очень ценная вещь?

— Надеюсь, вы ожидаете полупить от меня чисто теоретический ответ?

— Ну да, разумеется, о присутствующих речь не идет.

— Видите ли, Лерой, решение и этой задачи целиком и полностью зависит от контекста. На первый взгляд, это было бы со стороны такого человека весьма глупым поступком. Обнаружив пропажу, его бывшие коллеги, несомненно, заподозрят его и рано или поздно найдут, что никак не могло входить в его планы. И все же давайте попытаемся разобраться в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Этот человек собирается полностью изменить себя и свою жизнь. Он должен отказаться от всего того, к чему привык за последние десять с лишним лет. Между прочим, следует отметить, что путь назад ему отрезан. Более того, ему заказан путь в любую из политических организаций, программа которых ему, быть может, даже импонирует. В общем, ситуация складывается таким образом, что этот человек обречен на одиночество, и подобная кража может помочь ему наполнить жизнь новым смыслом. Действие всегда наполняет необходимым балластом теорию. Впрочем, есть и другие соображения, которые нам следует принять во внимание. Если отсутствие этого объекта у властей обеих сверхдержав наносит вред им обеим, то лишить их права обладания и пользования этой вещью становится в некотором роде деянием, преисполненным высокого нравственного значения.

— На мой взгляд, все это слишком надуманно, — сказал Холлингсворт.

— Можете принимать на веру лишь то, что вам хочется.

— Эта штукавина у вас?

— Нет.

— А вот этого я как раз на веру принять не могу. — С этими словами Холлингсворт вытащил из портфеля очередную папку. — Давайте-ка посмотрим на кое-какие документы и попытаемся выяснить, способен ли такой человек, как вы, на благородные, бескорыстные поступки. Для этого я предлагаю вернуться к одному нашему общему балканскому знакомому. Я имею в виду того самого, которого я представил вам во время предыдущей беседы. Вы по-прежнему будете отрицать, что знаете этого человека?

Прежде чем ответить, Маклеод долго молчал.

— Я тут подумал на досуге, — наконец произнес он, явно стараясь оттянуть время, — и пришел к выводу, что, скорее всего, мы с ним где-то встречались, раз или два, не больше.

— И всё?

— По крайней мере, я больше ничего не помню.

— Ладно, а теперь давайте обратимся к фактам. — Холлингсворт произнес эту фразу с явным удовольствием. — Этот господин балканского происхождения появляется в некой средиземноморской стране в году так, скажем, тысяча девятьсот тридцать шестом.

Вышеупомянутая страна в то время погружена в глубокие внутренние конфликты, да что там, давайте откровенно: в этой стране идет гражданская война. Держава, которую представляет наш знакомый, оказывает всяческую помощь одной из противоборствующих сторон — между прочим, той самой, которая отстаивает интересы законного правительства страны. Наш друг занимает не последнее место в иерархии управления одной из добровольческих бригад, весьма пестрой по своему национальному составу. Отвечает он ни много ни мало за контрразведку в масштабе всей бригады. Просматривая собранную о нем информацию, мы неизбежно натываемся на тексты речей, произнесенных им в то время, которые, смею предположить, довольно четко и объективно характеризуют его тогдашние убеждения и позицию. Если вы никуда не торопитесь, то я позволю себе зачитать один отрывок.

Холлингсворт аккуратно извлек из папки очередной лист бумаги и положил его на стол прямо перед собой.

Просто работать для революции — этого недостаточно. Каждый из нас должен полностью погрузиться в пучину революционной борьбы. Каждый должен быть готов выполнить любые задания, даже те, которые на первый взгляд противоречат самому духу наших социалистических убеждений. Любой из нас с воодушевлением принял бы участие в создании обобществленного производства, в индустриализации отсталых районов и в других благородных делах. К сожалению, революционеру приходится порой выполнять куда менее приятные задачи. Верность делу революции проверяется по тому, с какой готовностью боец берется за выполнение самых сложных, неблагодарных и порой весьма болезненных для непривычного сознания заданий. Вот почему я, с величайшим уважением относясь к нашей службе безопасности, этому цепному псу революции, с готовностью и превеликой радостью принимаю на себя новые обязанности, исполняя которые, мне придется быть в самом пекле революционной борьбы где каждый из нас будет стократно, нет тысячекратно проверен на крепость и верность общему делу.

Холлингсворт замолчал и, покивав, добавил:

— Руководство той страны отзывалось об авторе этих слов весьма и весьма лестно.

— Не думаю, что сейчас эти оценки были бы столь же восторженными, — заметил Маклеод.

— Как знать, как знать, — прокашлявшись, произнес Холлингсворт. — Так вот, наш герой заявляет, что хочет проверить себя, подвергнуть себя самым суровым испытаниям, и, учитывая, что находится он в стране, объятой гражданской войной, возможностей для этого у него хоть отбавляй. Первый такой случай, попавшийся мне на глаза в отчетах, в общем-то, не стоит особого внимания. На фоне великой революционной борьбы это частность, если не сказать — мелочь. Дело обстоит так: бойцы его бригады держат фронт бок о бок с представителями других политических сил, доктрину которых они, прямо скажем, не вполне разделяют. Должен признать, что причина их разногласий мне неведома, ибо во всей этой мозаике политических групп, течений и партий сам черт ногу сломит, да, в общем-то, и не к чему мне это. Впрочем, я вполне четко уяснил, что те самые отряды, которые взаимодействовали с интербригадой нашего знакомого, состояли в основном из местных рабочих, клявшихся в своей революционности и, кстати, очень любивших об этой революционности поговорить. По-моему, их политическая организация так и называлась: не то «Болтуны», не то «Говоруны». Напомню лишь одно: их революционность, с точки зрения бойцов интербригады, была не совсем правильной революционностью. Так вот, поступает, значит, в бригаду и соседние с ней подразделения

партия оружия и боеприпасов. Все это, естественно, поставляется из arsenалов той самой страны, которая в открытую поддерживает интербригадовцев. И вот это немаловажное в боевых условиях имущество распределяется таким образом, что болтуны-говоруны не получают ровным счетом ничего. Затем враг переходит в наступление, говоруны обращаются в беспорядочное бегство, фланг бригады остается открытым, и все соединение вынуждено отступить, выводя основные силы из-под вражеского удара. В результате занятая было ими территория вновь переходит к противнику. В бригаде назревает недовольство. Бойцы хотят выяснить, почему их соседи с фланга оказались безоружными. Напряжение растет, но, будучи людьми дисциплинированными, бойцы не поднимают мятеж, а отправляют делегатов к нашему балканскому другу. Он затевает с делегатами спор, пытается их в чем-то убедить, а в чем-то переубедить, но все напрасно. В итоге, как вы сами понимаете, ему ничего не остается сделать, кроме как арестовать их и отправить в распоряжение бригады сообщение о том, что зачинщики беспорядков, как выяснилось, являются вражескими агентами. Более того, наш друг объявляет безосновательными слухи о том, что болтуны-говоруны не получили оружия. По его словам, оружие им было передано, но они продали его противнику и бежали с поля боя не из-за отсутствия боеприпасов, а просто по причине собственной трусости. На распространение этой версии в бригаде брошены лучшие силы пропагандистов. В порыве откровенности наш балканский знакомый признается одному из своих ближайших подчиненных и соратников в том, что была допущена грубейшая ошибка: нельзя было оставлять говорунов безоружными, несмотря даже на то, что они не правильные революционеры, а в некотором роде анархисты. Но при всем этом — и здесь я позволю себе привести точную цитату: «Лучше прорываться вперед вопреки всем совершаемым ошибкам, чем топтаться на месте, а то и возвращаться назад, признавая свои просчеты и неудачи». Ну и что вы теперь скажете об этом человеке?

— Он был продуктом системы, — пробормотал Маклеод.

Я вдруг заметил, что его лоб покрылся испариной.

Холлингсворт протянул собеседнику сигарету, но тот от нее отказался.

— Как видите, наша информация полна и точна. Уверяю вас, нет ничего удивительного в том, что кое-кто из подчиненных нашего друга считал своим долгом регулярно отправлять подробные отчеты о его деятельности на его родину. Опять же нет ничего удивительного в том, что мы, используя некие особые контакты, смогли заполучить копии этих отчетов. Просмотрев их в очередной раз, я решил ознакомить вас с еще одним случаем. Речь идет о довольно известном в то время и в той стране лидере рабочего движения. Был ли он болтуном, говоруном или же просто анархистом, я точно не знаю. Так вот, этот лидер отказывается от сотрудничества и, более того, пытается подстрекать рабочих к тому, чтобы они начинали революцию, не дожидаясь окончания войны. Это идет вразрез с политической линией той державы, которая поддерживает одну из конфликтующих сторон, в частности снабжая ее оружием. В один прекрасный вечер рабочий лидер произносит пламенную речь на каком-то собрании или же совете болтунов. — Холлингсворт вздохнул и помолчал. — Суть речи можно свести к тому, что, по разумению оратора, война будет проиграна, если рабочие не проникнутся сознанием того, что воюют они за свою уже совершающуюся революцию, а не за ту, что им обещана в будущем. Атмосфера накаляется, и как поведут себя рабочие отряды в самое ближайшее время, никому не известно. Наш балканский друг также встревожен ситуацией и, получив соответствующие согласования от своего руководства, переходит к активным действиям. Через пару дней двое оплаченных убийц расправляются как с самим рабочим лидером, так и с несколькими его товарищами. Ну а за это время наш друг уже успевает сфабриковать документы, согласно которым погибший при весьма странных обстоятельствах рабочий лидер оказывается, естественно, не кем иным, как очередным вражеским агентом.

— Пролита кровь рабочего человека, — неожиданно произнесла Ленни. В ее голосе слышался какой-то замогильный холод.

Маклеод закурил и, чтобы не выдать дрожь в руках, оперся локтем о стол.

— Я внимательно изучил все документы, касающиеся этого господина с Балкан, — продолжил Холлингсворт, — и должен признать, что эффективность его деятельности не может не вызывать восхищения. Позвольте мне привести вам еще один пример.

Одним примером, впрочем, дело не ограничилось. Мой разум уже отказывался воспринимать новую информацию, а на меня все обрушивались события и всякого рода неприятные истории. Подделка документов сменялось перепродажей оружия, провокации — арестами и убийствами, за клеветой следовало предательство. Этот кровавый винегрет подавался под соусом из невидимых чернил, венгерских кинжалов и густой паутины, сплетенной все тем же персонажем с Балкан. Холлингсворт выкладывал свою информацию ровным бесцветным голосом, ни дать ни взять клерк, зачитывающий дежурный отчет перед начальством. Он знай себе загибал палец за пальцем, когда переходил от случая третьего к пункту четвертому и параграфу пятому. Вернув соответствующие документы на место в портфель, он освободил вторую руку и стал загибать пальцы на ней, в соответствии с ознакомлением аудитории с пунктом седьмым и вроде бы снова случаем восьмым. Маклеод ушел в глухую оборону: он молча слушал историю за историей, и постепенно пот покрыл не только его лоб, но и все лицо. Затем от пота промокла насквозь и рубашка у него на груди. Слушал он покорно и терпеливо — не перебивая и не пытаясь оспорить Холлингсворта. Порой я сам был готов возмутиться и опротестовать такое ведение допроса, но сдерживался, понимая, что не имею никакого права вмешиваться в это дело. Кроме того, мне казалось, что Маклеод молчит не зря: я ждал, что он вот-вот соберется с силами и нанесет ответный удар, зацепившись за какую-нибудь маленькую деталь, на которую я, по незнанию, даже не обратил бы внимания. Ленни слушала Холлингсворта с широко раскрытыми глазами и с отвисшей челюстью. Время от времени она качала головой и цокала языком — эдакая восторженная почитательница редкого таланта на спектакле в театре одного актера.

— А теперь я бы хотел перейти, — сказал Холлингсворт, — к одному инциденту, который привлек мое внимание, когда я работал с документами, готовясь к нашей встрече. Случай, в общем-то, заурядный, но я полагаю, что он достаточно занимателен, чтобы привлечь к себе наше общее внимание. Речь идет об одном молодом человеке, который работал в первичной организации той политической силы, которую представляет интересующий нас господин. Ну, работает он, значит, себе и работает. Парень хороший — судя по всем докладам и отчетам, — ну разве что чуть прямолинейный и непрактичный. Проходит примерно год, в течение которого молодого активиста то посылают на фронт, то отправляют на время в тыл, и он вдруг начинает вести себя если не странно, то по крайней мере неожиданно. В наших архивах сохранились отчеты, согласно которым молодой человек начинает серьезно о чем-то задумываться, а затем и вовсе суется ко всем подряд с весьма странными заявлениями. Говорит он, например, такие вещи: «Мы проигрываем войну, и виноваты в этом только мы сами. Мы убиваем невинных людей. Вот анархисты и говоруны — они и есть настоящие революционеры. Тогда возникает вопрос, кто же мы такие? Вот об этом-то я и хочу вас спросить». Потрясающе, насколько неосторожно и безрассудно ведет себя этот молодой человек. Его начальник, наш балканский друг, получает на парня донос за доносом. Впрочем, долго ждать не приходится: молодой человек сам приходит к нему и говорит ему о своих сомнениях и переживаниях прямо в глаза.

Холлингсворт сделал театральную паузу и по очереди заглянул в глаза всем троим слушателям.

— Так вот, поступают соответствующие приказы. Высшее руководство объявляет парня

контрреволюционером и приговаривает к смерти. Еще раз повторяю: для тех условий — ничего необычного, нормальная практика идеологической борьбы. — Холлингсворт аккуратно почесал себе нос стирательной резинкой с тыльной стороны карандаша. — И что же делает наш знакомый? Вовсе не то, что вы сразу подумали. Он поступает совершенно неожиданно: он не только не отдает приказ о расстреле парня, но, наоборот, прячет его на какой-то конспиративной квартире и отсылает начальству сфабрикованный доклад о приведении приговора в исполнение. Еще раз повторю: это очень, очень непохоже на нашего друга. Так непохоже, что никому и в голову не приходит его проверить. Еще немного — и такая шалость сошла бы ему с рук. Но, увы, шила в мешке не утаишь, и руководству становится известно о таком грубом нарушении дисциплины. Нашему знакомому недвусмысленно дают понять, что если он не разберется с приговоренным окончательно, то разберутся уже с ним самим.

— Ой! — воскликнула Пенни.

— Да-да, такие нравы. На этот раз наш герой предпочитает не рисковать и выполняет приказ беспрекословно. Юный «контрреволюционер» отправляется на тот свет. Вот только почему-то — по причинам, на мой взгляд, сугубо психологического толка — наш знакомый приводит приговор в исполнение весьма необычным для себя способом. Он убивает парня лично.

— Что же в этом необычного? — как бы невзначай поинтересовался Маклеод.

— Видите ли, раньше он всегда мог себе позволить не марать руки в крови расстреливаемых. Для грязной работы всегда найдутся небрезгливые подчиненные. Но сейчас он лично отправляется к находящемуся под его опекой парню, который, кстати, полностью доверяет ему, несмотря ни на что. Ну вот, проговорив с юношей несколько часов кряду, он приводит приговор в исполнение. Затем возвращается домой, садится за письменный стол и записывает всю эту историю — для себя самого, больше ни для кого. Разве мог он знать, что и эти дневниковые записи со временем окажутся в досье, собранном на него в нашей организации? Ну что, что вы на все это скажете?

— Это все так жестоко! — с ироничной улыбкой воскликнула Ленни.

Холлингсворт только покачал головой.

— Он был обречен на то, чтобы поступить именно так, и те, кто отдавал ему этот приказ, прекрасно об этом знали. Наверное, обсуждаемый нами господин должен был быть готов к... отклонению от пути истинного. Надеюсь, я правильно выразил свою мысль. Но, убив лично ни в чем не повинного парня, он — как я понимаю, полагало и его начальство — должен был стать более убежденным и прямолинейным. Да-да, именно прямолинейным. Причем настолько, что вскоре он лично совершает новое убийство. Да-да, сам, один, без посторонней помощи.

— И при каких же условиях совершается это новое убийство? — хриплым голосом спросил Маклеод.

— А, это и вовсе заурядная история.

На самом деле этот рассказ занял у Холлингсворта еще больше времени. Речь шла об одном старом друге обсуждаемого нами уроженца Балкан. Они дружили много лет и неоднократно вместе работали. Этого человека отправили на задание в столицу той самой средиземноморской страны, где уже некоторое время действовал наш главный герой. Задание тот человек получил со своей родины, как сказал Холлингсворт, и по его же словам выходило, что это задание было очень важным. Тем не менее не успел он пробыть в столице и двух недель, как все его знакомые заметили, что с ним творится что-то неладное. Он постоянно пил, он, человек, который раньше практически не притрагивался к спиртному. Его руки дрожали, руки человека со стальными нервами, ветерана другой гражданской войны. Он изменился даже внешне, причем настолько, что даже вся его старая одежда перестала ему подходить. В общем, задание свое он выполнил и

вернулся в гостиничный номер, где и просидел безвылазно три дня. Он никого не принимал, ни с кем не общался и лишь потреблял спиртное в огромных количествах. Вскоре для него передали паспорт, по которому он мог уехать обратно на восток, он же взял и переслал этот паспорт по почте своему балканскому другу, находившемуся в том же городе. Естественно, друг пришел к нему, и они — о чем с превеликим наслаждением в голосе поведал нам Холлингсворт, — как и в предыдущем случае, проговорили несколько часов кряду. Более того, судя по всему, они крепко поспорили. «Это мы и есть главные саботажники революции, — говорил старый друг, — мы сами пожрали самих себя. Мы не смогли устоять перед искушениями. Ложь погубила нас. Вот ты, например, помнишь о том, что равенство — это буржуазный лозунг и принцип? Мы ведь сами установили себе сдельные условия оплаты за революционную работу и стали зарабатывать столько, что наши жены ходят в мехах с головы до пят. В общем, мы набросали дерьма в молоко и яда в мед. Мы отбросили социализм на сто лет назад. Ты же сам понимаешь, что социалистическая мораль умерла, и, как я понимаю, это то самое острое иглы, на котором могут плясать только бесплотные, невесомые ангелы, но никак не та ложь, которую мы наворотили вокруг революции и самих себя». Вот так они и спорили, впрочем, точнее будет сказать — так говорил старый друг, а в конце концов он вдруг заявил, что не собирается возвращаться на родину, если его не заставят сделать это силой. В общем-то, он попросту просил своего балканского друга, чтобы тот применил силу и заставил его уехать.

— Разговор кончился тем, — сказал Холлингсворт, — что наш балканский знакомый убил своего старого друга-идеалиста. И это, повторюсь, так же выбивается из общей линии его поведения. Вы понимаете, что он этим поступком превысил свои полномочия. Ему было приказано лишь передать ДРУГУ паспорт, а расправиться с ним должен был кто-то другой.

— Я бы сказал, — заявил вдруг Маклеод, лицо которого к этому времени успело настолько осунуться, что казалось, кожа просто обтянула его челюсти и скулы, — человек, который ведет себя таким образом, скорее всего, потерял доверие начальства. Мучимый к тому же собственными, раздирающими его сомнениями, он мог решить эту проблему лишь одним способом — взяв на себя исполнение тех обязанностей, которые он теперь опасался поручить своим подчиненным.

— С сожалением вынужден не согласиться с вами, — негромко произнес Холлингсворт. — Дело в том, что я располагаю фактами, убедительно опровергающими данную точку зрения. Этот человек, даже по его собственному признанию, оставался в рядах своей организации до самого конца той неразберихи в Средиземноморском регионе и даже достаточно долгое время после. Есть весьма веские основания предполагать, что он и сейчас является действительным членом этой организации.

— Я — не он, — с отчаянной убежденностью произнес Маклеод.

— Как знать. Вы, например, его защищаете...

— Нет, я пытаюсь объяснить его поступки, — сказал Маклеод и быстрым движением языка стер капельки пота, скопившиеся у него над верхней губой.

— Это вполне возможно, — кивнув, заметил Холлингсворт. — Но вот что интересно: в обоих случаях, перед тем как звучал роковой выстрел, этот человек вел долгие беседы со своими жертвами. Полагаю, что во время этих разговоров произносилось немало любопытного.

На виске Маклеода под тонкой кожей бешено пульсировала жилка.

— А вы полагаете, что эти поступки он совершал хладнокровно?

Холлингсворт был по-прежнему невозмутим.

— За время своей работы я убедился в том, что значение имеют лишь дела и поступки, а не мысли и чувства. Человек, разумеется, может ощущать что-то так или этак, но мне в конце концов интересны лишь совершенные им действия. Так вот, в нашем конкретном случае

человек, о котором мы говорим, приходит на встречу с оружием. На протяжении всего разговора он помнит о том, что вооружен. Предположим даже, что пару раз за время дружеской беседы он искренне приходит к выводу, что не будет стрелять. Ну слишком уж хорошо он относится к тому человеку, которого собирался убить. И все же, что бы он там ни думал, дело заканчивается тем, что он нажимает на курок. И так, он приходит на встречу с механизмом, инструментом, орудием — называйте, как хотите, — используя которое по назначению, можно убить человека, — и уходит восвояси с той же штуковиной в кармане, вот только как минимум одного патрона в пистолете уже не хватает. Нет, адвокат на суде, конечно, стал бы говорить о хладнокровном или же нехладнокровном убийстве, но по мне, так если бы он не решил все заранее, то и не стал бы приходить на встречу с заряженным пистолетом. И вы знаете, думая об этом, я задаюсь одним вопросом.

— Интересно каким? — выдавил из себя Маклеод.

— А не выполняет ли этот человек ту же работу и по сей день. По правде говоря, я хотел бы получить от него убедительные доказательства противного. По моему скромному мнению, с чего бы ему бросать то дело, которое у него так хорошо получается. Не могли же так ошибиться в своем доверенном лице его начальники. Кроме того, моя точка зрения подтверждается данными статистики. Как я уже говорил, ни один из бывших партийных управленцев и активистов не становится впоследствии чистым теоретиком. Признаться себе самому в том, что ты неправ, это вовсе не значит вступить на путь исправления. Наоборот, если человек зашел слишком далеко, то почему бы ему не продолжать охотиться на других. На меня, например. Хотя я лично ничего плохого ему не сделал.

— Раз вы это предполагаете, то, наверное, чувствуете за собой какую-то вину, вину, которую вы сами расцениваете как достаточно серьезную, — медленно произнес Маклеод.

— Чувшь какая-то. Вы редкий человек. Надо же обладать таким даром превращать любой разговор в спор. Впрочем, позволю себе напомнить, что меня лично убеждают не слова, а поступки.

Маклеод пристально смотрел через стол на Холлингсворта.

— Я не служу никому, ни какой бы то ни было стране, ни партии.

— Тогда та вещь, которую мы ищем, находится у вас.

— Ее у меня нет.

— Вы — тот уроженец Балкан, о котором я говорил?

— Нет.

— А что бы вы сказали, если бы вы были им?

— Что одно из двух предположений, сформулированных вами, должно быть правильным.

— Ну наконец-то. — Холлингсворт с довольным видом откинулся на спинку стула и закурил. Впрочем, несмотря на то что руки его вроде бы безвольно лежали на коленях, а плечи опирались на спинку стула, было видно, что расслабляться Холлингсворт не собирается. Судя по всему, конец этой пьесы, развивающейся, как он был уверен, почти целиком и полностью по его сценарию, был уже близок, и он не желал слишком затягивать с развязкой.

— Мисс Мэдисон, — обратился он к Ленни, — будьте столь любезны покинуть помещение на несколько минут.

Ленни молча встала и повиновалась ему. Через несколько секунд дверь комнаты закрылась за нею. Холлингсворт наклонился вперед, резким движением протянул руку к лампе, включил ее и повернул абажур так, чтобы свет ее падал прямо на лицо Маклеоду.

— Вы же понимаете, что я испытываю к вам глубочайшее уважение. Да нет, что там, я просто восхищаюсь вами, — сказал Холлингсворт, — и поверьте, мне вовсе не доставляет удовольствия говорить с вами о столь неприятных вещах. Нет никакой необходимости

продолжать мучить вас. Все будет гораздо легче, если вы всего-навсего примете мое предложение. Одно ваше слово — и вы можете идти на все четыре стороны.

— Предложение не было ясно сформулировано, — с трудом размыкая губы, произнес Маклеод.

— Считайте его сформулированным так, как вам это больше понравится. Вы даже не представляете, какое уважение внушает мне такой человек, как вы, человек, который командовал столькими людьми. Человек, который запросто мог устроить свою жизнь так, что сейчас купался бы в роскоши. — В голосе Холлингворта слышались зависть и похотливая жадность. — Этот человек мог бы купить себе целую армию... — Вдруг изменив тон, он уже гораздо спокойнее сказал: — Просто так получилось, что для вас настали тяжелые времена. По-моему, незачем страдать, если страдать не за что.

Он замолчал и звонко щелкнул зажигалкой. В следующую секунду, явно по этой команде, в дверь не то постучали, не то поцарапались. Я уже слышал этот характерный стук несколько недель назад. Сейчас звук не прекращался. Невидимые пальцы продолжали выстукивать короткую, характерную дробь раз за разом с истеричным упорством. Пальцы впивались в дерево двери и, протыкая ее, вонзались нам в уши. Лампа светила прямо в глаза Маклеоду, пальцы за дверью выстукивали нервную дерганую чечетку, казалось, разрывающую тело Маклеода изнутри и доставляющую ему чудовищные страдания. Все это время Холлингсворт внимательно наблюдал за ним.

— Прекратите это, — поморщился Маклеод.

— Вам мешает этот звук?

— Нет.

Впрочем, Маклеод уже не старался изобразить равнодушие. Он вцепился обеими руками в край стола и изо всех сил пытался совладать с напавшим на него нервным тиком. Однако мимические мышцы уже практически не слушались его. Рот Маклеода искривлялся в неестественной гримасе, с которой, будь его воля, он ни за что не показался бы на глаза посторонним людям.

— Именно этот стук, — заметил Холлингсворт, — использовал наш господин с Балкан в ходе выполнения очередного секретного задания. Это был некий условный знак или, если хотите, пароль. Воспользовался он им в тот вечер, когда пришел навестить одного своего старого друга. Судя по вашей реакции, я с большой долей вероятности мету предположить, что этот звук не является для вас абсолютно незнакомым.

Маклеод не ответил.

— Тот так называемый человек с Балкан — это вы?

Прошло, наверное, с полминуты. Стук в дверь продолжался, лампа по-прежнему светила в лицо Маклеоду.

— Да, — выдохнул Маклеод.

— Вы действительно вышли из своей организации?

Маклеод кивнул.

— Значит, искомый маленький предмет находится у вас?

— Да, — повторил Маклеод.

— Где он?

— Нет, не могу, достаточно, ну хватит же! — закричал Маклеод. — Не сегодня, дайте мне время! — Полубезумный, он вскочил со стула и наклонился над столом. Мне показалось, что еще немного — и он зарыдает.

— Ну хорошо, хватит так хватит, — смягчился Холлингсворт. — Не берите в голову, все будет нормально.

К моему величайшему удивлению, он обошел стол и, оказавшись рядом с Маклеодом, похлопал его по плечу с видом старого приятеля, которому только что пришлось сообщить другу какую-то трагическую новость.

— Все нормально, все будет хорошо. Возьмите себя в руки, — успокаивающим тоном приговаривал он.

— Уйдите, — глухо сказал Маклеод.

— О времени нашей следующей встречи с целью продолжения разговора я сообщу вам дополнительно, — тихо и спокойно произнес Холлингсворт, — и кстати, позвольте поблагодарить вас, сэр, за содействие.

В последний раз прикоснувшись к плечу Маклеода, Холлингсворт сложил бумаги в портфель и вышел из комнаты.

Глава двадцать пятая

В течение двух вечеров — ближе к ночи в тот день, когда состоялся памятный разговор Маклеода с Холлингсвортом, и сутки спустя — Маклеод приходил ко мне в комнату и выговаривался. Говорил он по несколько часов кряду. Он вел себя так же, как человек, мучимый смертельной болезнью и знающий, что лекарства от нее нет и что дни его сочтены. Ему казалось, что его боль хотя бы на время стихнет, если он поделится ею с другими. Вот почему он мерил шагами мою комнату и говорил, говорил, говорил... Его речь в основном состояла из развернутого списка совершенных им преступлений с подробнейшими описаниями каждого из них. Остановиться и переключиться на что-либо иное он был не в силах, это желание выговориться было сильнее его. Я же, со своей стороны, точно так же не мог заставить себя ни выставить его, ни хоть как-то отвлечься или хотя бы заткнуть уши. Вечера были на редкость душными. Залетевшие в комнату насекомые лениво и в то же время обреченно бились о стены, тщетно пытаясь сориентироваться и найти то окно, через которое они залетели в эту унылую западню. На меня же ушат за ушатом выливались кошмарные истории, сдобренные бесчисленным количеством отягчающих и смягчающих обстоятельств. О местах, где все это происходило, я раньше едва слышал. Имена, которые называл Маклеод, и вовсе ничего мне не говорили. Он мучил себя, закапываясь все глубже и глубже в толщу воспоминаний и мотивов. Даже пытаясь оправдать себя, он приходил к выводу, что в каждом следующем случае его преступление было страшнее, чем все совершенные раньше, вместе взятые. Расписав в подробностях очередной этап своей жизни и получив вынесенный самим собой приговор, он, к своему (увы, не к моему) удовлетворению, тотчас же переходил к следующему эпизоду, по которому предъявлял себе обвинение. Если же я в отчаянной попытке оградить себя от этих кошмаров пытался так или иначе навести его на мысль сменить тему разговора, он, тотчас же почувствовав это, перебивал меня и начинал объяснять, что все вышесказанное было не совсем так, как он это описал. Что он с превеликим удовольствием поступил бы не так, как поступил тогда, что сложись все чуточку иначе, то он ни за что бы... Что даже тогда он всячески пытался... Что он не хотел... Что он даже... В общем, два вечера и большую часть двух ночей я слушал, слушал и слушал — не понимая толком, должен ли я что-либо говорить в ответ. Повествование Маклеода было адресовано не только и, быть может, не столько мне, сколько ему самому. Он сам себе был и прокурором, и адвокатом и пытался представить судье — по всей видимости, мне — полную и объективную картину случившегося, включая описания психологических и нравственных переживаний обвиняемого. Вот только результат этих «судебных слушаний» был заранее предсказуем. Даже если бы судья пришел к выводу о возможности помиловать подсудимого, тот сам отконвоировал бы себя к месту казни и сдался бы палачу.

— Вы, Ловетт, конечно, этого не замечали, — сказал мне Маклеод в какой-то момент, — но я наблюдал за вами в течение всего допроса. И знаете, я обратил внимание на то, с каким выражением на лице вы это слушали. Как я понял, вы попросту отказывались верить собственным ушам. У вас в голове не укладывалось, что вот этот самый Маклеод — человек из плоти и крови, которого вы знаете как соседа по дому, — мог совершить такие злодеяния. Вы всю дорогу надеялись на то, что я смогу возразить и убедительно опровергнуть выдвигаемые против меня обвинения. Я просто физически ощущал, как вы этого ждете. Вы и сейчас, по моему, полностью не верите в то, что я сдался и признался во всех этих грехах. Признание, явка с повинной — для вас это, наверное, магические слова, определяющие реальность. Я же использую их лишь для того, чтобы выстроить события в единую линию. Уверяю вас, мне не

стоило бы большого труда доказать вам, причем доказать наглядно, с датами и фактами, что я вовсе не тот «господин с Балкан», как назвал этого человека Лерой со свойственным ему весьма странным чувством юмора. Вот только что толку от этих доказательств. Гораздо важнее — и вскоре вы это поймете — тот факт, что между мной и Лероем заключен некий тайный договор, уговор, соглашение, называйте, как хотите. Кстати, наверняка со стороны вам показалось, что мы если не симпатизируем, то, по крайней мере, сочувствуем друг другу. А ведь нам пришлось договариваться в присутствии посторонних, и ладно бы речь шла только о вас, но ведь в комнате была еще эта девчонка, которая в любой момент могла сморозить очередную глупость. Разумеется, я отдаю должное и артистическим способностям и навыкам моего оппонента. Не знаю, случайно так получилось или по воле руководства организации, распределявшей ответственных за это дело, но вряд ли на месте Лероя мог оказаться более подходящий человек. Каких бы собак он ни навешивал на меня по поводу якобы залитого мною кровью Средиземного моря, на самом деле во всех этих обвинениях не было ни единого слова правды с чисто юридической точки зрения. Все эти преступления были мною совершены в мире иной, параллельно существующей правды, ибо если я не совершил того-то и того-то, то я вполне мог в это время брать на себя другие грехи — похожие на те, что мне вменяют в вину, или даже более страшные. Лерой же, не то в силу природной проницательности, не то благодаря хорошо скрываемым профессиональным навыкам, абсолютно точно привел меня в ту точку, где эта правда и этот вымысел оказываются слитыми воедино и неразделимыми. Он прекрасно знал, как яотреагирую на некоторые обнародованные им факты. Я скрывал их даже от себя самого — долгие годы, стараясь забыть о том, что натворил. Но сами понимаете, Ловетт, слово — страшная сила: все, что ты делаешь, кажется логичным, обоснованным и простительным — до тех пор, пока ты не выразишь свои поступки в словах. Если же утяжелить простое перечисление событий и фактов эпитетами и метафорами, то на тебя обрушивается всеокрушающий таран, проламывающий любую выстроенную тобой оборону. Все это время я, с одной стороны, наслаждался качественным и эстетически безупречным спектаклем, профессионально разыгрываемым Холлингсвортом, а с другой — следил сам за собой. Меня даже удивила собственная реакция на происходящее: на самом деле я вовсе не страдал и не мучился, а лишь пытался испытать подлинные страдания. Делал я это столь прилежно, что мне стало больно и тяжело от одних этих усилий. Вот до чего может довести себя человек в попытке выяснить, какие трудности и испытания ему под силу выдержать.

Маклеод замолчал, и мне вдруг стало ясно, что все эти доводы он приводил самому себе в, похоже, тщетной попытке восстановить хотя бы подобие уверенности в себе. Удалось это ему лишь внешне, да и то не полностью: он по-прежнему продолжал нервно ходить взад-вперед по комнате, не выпуская изо рта сигарету. Маршрут его передвижений по помещению был отмечен пятнами растертого подошвами пепла на полу. В его сознании, несомненно, по-прежнему проносились какие-то доводы, возражения, аргументы. Все это вертелось, смешивалось и закипало, грозя вот-вот взорвать сосуд, в котором готовилось это густое варево. Даже в минуты молчания лицо Маклеода, его поджатые губы — все это вполне наглядно демонстрировало мне, что именно он был готов сказать в тот или иной момент.

Безо всякого внешнего повода он вдруг вновь заговорил вслух:

— Я вот себя спрашиваю, случайно ли так получилось, что вы настолько поверили мне. Если не брать в расчет возможность того, что все это время вы меня просто обманывали, то остается предположить, что я здорово изменился за последние годы. Судя по всему, мне удалось создать о себе впечатление как о человеке внутренне цельном и способном на серьезные теоретические размышления. Ну не зря же вы, человек думающий, стали в какой-то мере на мою сторону. Вполне может быть, что мой внутренний потенциал не был растрочен

окончательно за время революционной деятельности, а если так, то, значит, есть надежда, что я, удайся мне освободиться от гнета сотен совершенных преступлений, еще смогу нанести ответный удар, причем весьма ощутимый, вместо того чтобы семенящими шажками пытаться уйти от столкновения с противником. Впрочем, нет, — с этими словами он сцепил ладони и потер их одна о другую, — это все рационалистские измышления. А поверить мне можно лишь для того, чтобы я помог соскрести остатки тухлого мяса с гниющих костей, чтобы разобраться в том, как я буду признаваться в своих преступлениях и пороках, или хотя бы для того, чтобы солидаризироваться со всеми несчастными, зависимыми от чужого мнения людьми, которые с не меньшим удовольствием следили бы за ходом расследования моего дела.

Так он и продолжал говорить, вероятно, пытаясь наверстать все то, о чем молчал долгими бессонными ночами — лежа в постели с ободранной кожей, обнаженными нервами и терзаемым болью телом. В этом полубреду, когда недодуманные, недоформулированные мысли сталкивались в его сознании одна с другой, мир вокруг превращался в череду символов, знаков и коннотаций. Какой-нибудь стоявший в углу стул мог представлять собой для него все его детство, а теплое мягкое тело Гиневры, спящей бок о бок с ним, могло стать для него воплощением всех тех женщин, которых он знал за свою жизнь. Вот только проявлялось в теле жены лишь то неприятное, что приносили ему эти женщины. Удовольствия же были скрыты где-то в другом, дальнем уголке памяти. Пытаясь найти эти воспоминания, он наткнулся на другие образы, и вот уже тело жены становилось символом любой человеческой плоти — плоти живой или мертвой, а значит, и мертвой плоти всех тех покойников, которых ему довелось видеть, а некоторых из них и превратить в мертвецов из живых людей.

— По его словам, я единственный, кто заявляет, что перешел от практической революционной борьбы к чистой теории. И он говорит это с причмокиванием и придыханием, так он доволен собой. Он, видите ли, знает, что говорит по этому поводу статистика, и ему этого достаточно. На этом он готов основывать все свои дальнейшие умозаключения. Вот только знает ли он, да и вы, Ловетт, понимаете ли вы, что это такое — вернуться назад? Да это, быть может, величайшее достижение всей моей жизни, — заявил вдруг Маклеод. — Подумайте об этом, представьте себе всю эту ситуацию, призвав на помощь все свое воображение. Попробуйте почувствовать, каково это — присягнуть стране, находящейся там, за океаном, и вдруг в какой-то момент прийти к выводу, что мы оказались неспособны решить те исторические задачи, которые стояли перед нами. Представьте, что вы вдруг поняли, что взялись делать мир лучше далеко не с лучшими людьми. Представьте, как день за днем вас терзают сомнения и крамольные мысли, как вы вконец запутываетесь и вдруг с мрачным и каким-то животным удовлетворением узнаете о том, что на вашу долю выпадает весьма неприятная, да что там, просто омерзительная работа и вам от нее уже не отказаться. Ситуация складывается тяжелая. Что ж, сделаем ее еще сложнее. Добьемся того, что она станет совсем невыносимой. Нужно выбить из себя остатки сентиментальности, выдавить последние капли розового сиропа, которые еще оставались в вашем сознании.

Маклеод вдруг остановился посреди комнаты и выжидающе посмотрел на меня. При этом он тяжело дышал, и у меня возникло ощущение, что, будь у него в руках стакан воды, он выпил бы его буквально одним глотком.

— Но это еще не все. Очень скоро вы узнаете, что и выполнение этого задания ставят вам в вину, и сомнения начинают вновь жечь вас изнутри, только на этот раз это уже не тлеющие угольки и не пронзительные искры, а полноценный пылающий костер. Нет, это самая настоящая топка. Вот вы, инвалид без памяти, — закричал он вдруг, обращаясь ко мне напрямую, — можете вы понять, почему мы пришли к такому состоянию, в котором реакционеры и контрреволюционеры практически задавили нас? У вас нет прошлого, нет прошлой жизни, а

значит, вам неведомо, что это такое — под воздействием обстоятельств и собственных размышлений отвергать то, что было когда-то смыслом всей жизни. Вам, человеку без опыта и груза воспоминаний, неведом ужас признания собственных ошибок. Ну, был я, мол, в чем-то неправ, да и ладно, с кем не бывает. Вот только мои ошибки стоят дороже. Я начинаю спрашивать себя, зачем было все то, что мы делали, за что погибли миллионы людей по обе стороны баррикад. В какой-то момент ты понимаешь, что обречен. Обречен действовать так, как ты действуешь, и никак иначе. Каждым своим шагом ты лишь подтверждаешь свою верность выбранному пути, раз и навсегда выбранным политическим взглядам. Знаете, как я бы охарактеризовал сейчас те политические взгляды, которые исповедовал всю свою сознательную жизнь? Отсутствием какой бы то ни было позиции. Понимание собственной неправоты превращается в постоянный кошмар. Ты видишь, как мир становится с ног на голову. Через некоторое время ты понимаешь, что единственный способ абстрагироваться от всего этого — продолжать делать то, что делаешь. Ни о какой религии и речи быть не может. К спасению ты карабкаешься по ступеням из собственных преступлений. И вот посреди этого безумия, этой бесконечной суетливой деятельности ты находишь в себе силы остановиться и собрать в памяти старые добрые постулаты; пользуясь, как инструментами, понятиями прибавочной стоимости, накопления капитала и эксплуатации одного класса другим, ты вспарываешь тушу дозволенного. Ты вспоминаешь о том, что частную собственность необходимо уничтожить, а следовательно... Ты лежишь посреди ночи и думаешь, а раз думаешь, то, следовательно, существуешь. Ты убеждаешь себя в том, что и социализм должен существовать, чтобы тебе ни говорили и какие бы безумные мысли ни посещали твою голову. И вот однажды я зачем-то записал на листке бумаги смешную, но показавшуюся мне тогда занятой мысль: «Историческое предназначение советской власти заключается в разрушении интеллектуальной составляющей содержания марксизма». А ведь в это время темные силы из потустороннего мира уже начали одолевать меня. Понимая неизбежность своего поражения перед их натиском, я ополчился на других. На тех, кто, по моему мнению, предал наше дело. Предатели не погибали, более того, у них появлялась возможность присоединиться к тем, кто смог ужиться с этим новым эксплуататорским обществом. Никто из них не стал теоретиком, как справедливо заметил Лерой, проанализировав колонку цифр в таблице на одной из своих бумажек. Неудивительно, что их головы оказались забиты не теорией, а бесконечной последовательностью фактов по принципу «а сколько у тебя дивизий». Правильный они сделали вывод или неправильный — уже неважно. Выбора-то, в общем, как такового у них и не было, слишком уж сильно раскачали они нашу лодку, слишком прогнившим оказалось ее днище. Вот и они, гордо называвшие себя моряками, униженно выползли на берег после кораблекрушения и постарались вжиться в тот самый мир эксплуатации одного человека другим, который еще недавно отвергали всей душой. И вроде бы все у них получилось как нельзя лучше. Вроде бы они смирились с окружающим миром, и он смирился с ними. Но тут является какой-нибудь Лерой Холлингсворт, и все вновь идет наперекосяк. Мир эксплуатации должен сражаться, чтобы выжить. Для того чтобы часть людей в этом мире жила вполне сносно, нужно, чтобы эти люди молчали и не пытались мыслить не так, как им полагается. А еще для этого требуется, чтобы остальная часть человечества жила в нищете. Ну а чтобы обеспечить выполнение этого условия, требуются миллионы тонн пушек и другого оружия.

Впрочем, тон его обвинительной речи мгновенно менялся, стоило его мыслям вернуться к его же собственной персоне:

— А я... что сделал я сам, лично? Исчез ли я раз и навсегда, бесследно, или же мне пришлось ломать комедию много лет, вплоть до этой омерзительной кульминационной сцены с Холлингсвортом? Да, конечно, работать на других меня вынудили. Как-никак меня приняли

здесь, в этой стране, в обмен на некоторые предоставленные услуги. Но все это слабое утешение. Поначалу, не поверите, у меня бывали моменты, когда я почти готов был вернуться, вернуться к тому, чем я занимался раньше. Впрочем, полагаю, мои новые злодеяния стали бы лишь бледной тенью того, что я творил раньше. Спасло меня, как ни странно, лишь то, что я в тот период просто пылал ненавистью. Ненавистью к той партии и к тому прошлому, на которое я потратил свои лучшие годы. Эта ненависть к другим спасла меня от ненависти и презрения к самому себе. И вот в таком состоянии, можете себе представить, чего мне стоило смириться и найти другой выход. Я имею в виду теоретическую работу. Это было бы честным отступлением и достойным поражением. Но какая уж там теоретическая работа, когда человек не доверяет самому себе. Внутренние противоречия сделали мою жизнь совершенно невыносимой. И вот, чтобы окончательно добить себя, я фактически имплантировал в свою плоть тот проклятый крохотный предмет, из-за которого за мной стали охотиться и бывшие соратники, и бывшие противники. По крайней мере, возвращение назад стало абсолютно невозможным. И несмотря на это, с присущим людям моего типа самомнением я презираю Лероя, который, став по воле судьбы моим судьей, размазывает меня, как чернильную кляксу по своим бумажкам. Во всей этой ситуации для меня неприемлемо и даже омерзительно только одно: этот человек не способен понять, что все те мучения, на которые он меня обрекает, — это ничто по сравнению с тем, что мне уже довелось выдержать в прошлом. Я убеждаю самого себя, что он не виноват, что у него мозги устроены, как у нормального полицейского, и он видит только убийства и реагирует на них. Какое в конце концов ему дело до всех тех поражений и капитуляций, выпавших на мою долю, при каждом воспоминании о которых я внутренне содрогаюсь от стыда. Меня то бросает в истерику, то просто трясет мелкой дрожью, а то и охватывает чувство почти сладостной боли. Я думаю обо всем, что натворил. О своих ренегатских контрреволюционных метаниях, бесконечных спорах и возражениях неизвестно кому неведомо зачем, обо всех тех шагах к предательству самого себя, которые я совершил, превращаясь из революционера неизвестно в кого. Ну а все те преступления, которые являются таковыми с точки зрения закона, — это лишь внешнее подтверждение моего внутреннего перерождения. Нет, точнее будет сказать — вырождения. Сейчас я уже готов признать, что Лерой, как это ни смешно, вполне вероятно, прав и мне уготована участь стать всего лишь еще одной закорючкой, ну, быть может, одной цифрой в его статистической таблице. Есть в этом, наверное, какая-то высшая справедливость, и было бы глупо ожидать благодарностей или сладостнопочетного наказания за все те грехи, которые висят на моей совести и о которых Холлингсворт даже не подозревает.

Главная же моя вина заключается в том, — он неожиданно схватил меня за плечо и развернул к себе, чтобы заглянуть мне в глаза, — что я не стал пытаться остановить процесс гниения и разложения нашего дела еще тогда, в самом начале, когда стал лишь догадываться об этом. Я ведь частенько вспоминаю того уже седого человека с ледорубом в голове. Того самого, от которого без ума ваша милейшая подружка мисс Мэдисон, что всю жизнь жила одним днем и никогда в жизни не поднимется до понимания чего-либо, кроме текущего момента. Я же впрямую во всем этом не участвовал.

То есть я хочу сказать, что в том деле мои руки кровью не запятнаны. Я был всего лишь шестеренкой в специально разработанной для этой операции машине. Мое дело было маленьким, ну, паспорт одному человеку раздобыть, да еще кое-что по мелочи. Я и не догадывался о том, ради чего все это было затеяно, или, скажем так, почти не догадывался. Выполняя свою, бесконечно малую, долю общей работы, я думал не о проводимой операции, а о своем внутреннем кризисе. Это было время заключения важного пакта, и я понял, что мой разум отказывается поверить в объективную реальность, в то, что происходит вокруг меня. —

Маклеод вдруг отвернулся и заговорил гораздо тише и менее разборчиво: — Нуда, я ведь сам ничего не решал. Договорился с кем-то, что-то уладил — вот и все. Ну не мог я знать и, кстати, не должен был догадываться о том, ради чего, даже ради кого проводилась вся эта операция. Так нет ведь, я же прекрасно понимал, что речь идет о нем, о том, кто находится там, в Мексике. Я все понимал, но при этом даже не попытался сорвать или хоть как-то притормозить приведение приговора в исполнение. А ведь именно в это время я по вечерам, крепко заперев дверь своей комнаты, с упоением и восторгом читал одну за другой его работы.

Я знал! — неожиданно он снова перешел почти на крик. — Я ведь все знал, и в этом и состоит мое преступление! Не веря в правоту своего дела, я продолжал претворять начатое в жизнь. Спросите меня зачем? Как было бы хорошо и просто ответить, что я делал это из страха. В конце концов, страх за свою жизнь — это весомое смягчающее обстоятельство при расследовании мотивов совершения любого преступления. Могу ли я взывать к тому, чтобы при решении моей участи было учтено мое простое человеческое желание сохранить собственную жизнь? Я не говорю о полном оправдании, но хотя бы о формальном понимании и выражении сочувствия к моей нелегкой доле. Но ведь все было совершенно не так. В то время я вообще ничего не боялся. Смерть долгие годы была неременной приправой к моей жизни, как соль в пище. Вся система моих взглядов и убеждений была пропитана смертью как чем-то не только неизбежным, но во многих случаях необходимым. Да, я ждал, что рано или поздно такая неприятность может случиться и со мной. Но страха в моей душе в то время не было. И все же я позволил убить его, не сделал ни малейшего шага, чтобы предотвратить эту смерть. Я допустил убийство лишь потому, что тайно ненавидел его. Причина этой ненависти заключалась в том, что, скрываясь за всей его чушью и словоблудием по поводу деградации государства рабочих и крестьян, он все же был куда ближе к истине, чем я со всеми своими умозаключениями. Это моя, а не его жизнь пропиталась насквозь ложью, и именно его работы, его мысли приводили нас всех в смятение и трепет. Я прилагал нечеловеческие усилия к тому, чтобы, прочитав очередную его статью, вновь восстановить в себе убежденность в собственной правоте. Делать это становилось все труднее. И до тех пор пока этот человек был жив, я не мог вздохнуть свободно. Его присутствие не позволяло мне жить спокойно, ощущая себя правым во всем. Вот почему мне вдруг так захотелось побыстрее покончить с этими мучениями, раз и навсегда избавиться от ненужных сомнений и терзаний.

На этом его размышления вслух не прервались. Более того, эффектно расписав самого себя как едва ли не величайшего злодея всех времен и народов, он решил не щадить и меня.

— Знаете, о чем я думаю, вспоминая те годы, что провел здесь, в комнате напротив? Знаете, что меня при этом мучает? Я сгораю от стыда из-за того, что полностью выпал из активной жизни. Величайшим препятствием, поставленным мною лично для своей же теоретической работы, я считаю свое полное одиночество. Вы только поймите: ты начинаешь писать теоретические работы, копишь какие-то мысли, время идет, год за годом, а в результате что? Сколько дивизий я собрал под свои знамена? Вот она, обратная сторона обмана: начинаешь ты что-то якобы по собственному выбору, а затем выясняется, что для достижения намеченной цели тебе нужен целый отдел или бюро со штатом помощников и секретарей. Не так, оказывается, легко отказаться от всего, что накопил за былые годы. Ты хочешь, чтобы к тебе обращались с тем самым прошитым буржуазным уважением, чтобы уважали то, что ты создал и чего добился. В своем самомнении я дошел до того, что теперь, как я уже говорил, больше всего меня мучает не что меня нашли и призвали к ответственности, а что на роль вершителя моей судьбы был назначен почти ребенок. Юноша, быть может, и весьма перспективный, но пока что не представляющий собой ровным счетом ничего. Судя по всему, его начальство решило, что большего я не стою. Видите, на что я вам жалуюсь? И знаете, почему мои жалобы столь жалки и

убоги? Во многом, вы только не обижайтесь, Ловетт, это связано с тем, что жаловаться мне приходится вам — человеку даже не осознающему, какую именно роль ему приходится играть в этом спектакле. Лично я воспринимаю вас или любого, кто оказался бы на вашем месте, как выслушивающего мою исповедь священнослужителя. Я, конечно, не католик — гори они в аду со своими сутанами, — но я был убежден, что своими грехами заслужил в качестве последней милости как минимум епископа, если не кардинала. Впрочем, к чему лукавить: в глубине души я был уверен в том, что вполне заслужил внимания самого папы римского, который должен был посещать меня в парадном бело-золотом одеянии и выслушивать мои разглагольствования о накопившихся на моей совести грехах. Можете себе представить, Ловетт, каким обманутым я себя почувствовал, поняв, что по мою персону прислали не знатока человеческих душ, умудренного жизненным опытом, а молодого монаха из какого-то заштатного сельского монастыря. И даже не монаха, нет, а юродивого послушника — без памяти и с обрезанной и начатой заново жизнью. Что толку мне от сочувствия этого неразумного младенца, от этого, прости господи, духовного кастрата. Не я пришел к нему за помощью, а он ко мне, чтобы набраться опыта, чтобы припасть к моим грехам и злодеяниям как к источнику знаний об этом большом и таком сложном мире, решительно непохожем на жизнь в монастыре среди других убогих, точно так же лишенных памяти.

Маклеод в тот миг был един в нескольких лицах: безжалостный воин, рыцарь-меченосец, он в то же время был и лекарем-целителем. Не успев нанести мне чудовищную болезненную рану, он немедленно взялся за ее врачевание.

— Как же далеко зашло мое внутреннее разложение, — сокрушенно вздохнул он, — что когда вы предложили мне свою дружбу, а случилось такое впервые за много лет, я осознал, что не готов принять ее. Что моя душа больше не способна воспринимать такое светлое и чистое понятие, как дружба. Если бы вы знали, как возликовал я тогда, на мосту, когда услышал ваши рассуждения. Мне показалось, что вы — представитель нового молодого поколения, несущего в себе унаследованную от нас культуру социализма. Я на какой-то момент почувствовал себя счастливым: да, мы уходим, но нам на смену приходят другие. Новые люди с новыми силами. Знали бы вы, чего мне стоило скрыть свое ликование под маской равнодушия. Я не мог открыться вам в тот вечер, я ведь не знал толком, кто вы такой, и более того, еще не просчитал, насколько хорошо проинформирован Холлингсворт и насколько грамотно он расставил свои капканы и сети. Ну а теперь, наверное, самое горькое для вас: радость моя была недолгой, огонек надежды, едва вспыхнув, тотчас же погас. Вы, Ловетт, не оправдали возложенных мною на вас надежд. Ваша подготовка оставляет желать лучшего, а главное, вы не готовы к борьбе. Вы, как и тысячи других, будете покорно и обреченно ждать мирового потопа. Что ж, это ваше право. В конце концов, что с того, что такой человек, как я, находит подобную позицию неприемлемой. Ну что заставило меня пересечь лестничную площадку и развлекать вас целый вечер своими стенаниями и разглагольствованиями? Ответ на этот вопрос прост и очевиден. Он кроется в другом вопросе, который я задаю себе здесь, рассказывая вам о своей жизни. Я спрашиваю себя... — Маклеод на несколько секунд замолчал и посмотрел мне в глаза. Его лицо при этом было, как когда-то раньше, абсолютно бесстрастным. — Ловетт, как вы думаете, почему я не пытаюсь спастись?

С готовностью и даже торопливо, словно опасаясь, что я начну отвечать за него, он продолжил:

— Чем больше я думаю над всем этим, тем больше восхищаюсь тем, с каким техническим совершенством Лерой проводит доверенную ему операцию. Я все больше склоняюсь к мнению, что он — идеальное воплощение полицейского. Ведь если разобраться, для того чтобы от его работы был толк, мало просто поймать подозреваемого и привести его в полицейский участок.

Нет, прежде чем захватить его физически, его нужно обложить со всех сторон, выбить почву у него из-под ног, как выбил он ее у меня. И вот, стоя на краю пропасти, я задумываюсь. Задумываюсь над тем, ради чего я сопротивляюсь, во имя чего продолжаю дергаться и брыкаться. Вы же сами видели, что меня загнали в угол, поставили в ужасное положение, подловив на моем же собственном противоречии. Ситуация складывается просто чудовищная. Если с учетом того, что было в моей жизни, у меня еще есть возможность существовать как нормальному человеку и при этом творить, писать, в общем, создавать что-то, что удовлетворило бы мои моральные аппетиты, что вносило бы вклад в будущую теорию революционного движения, то, как это ни парадоксально, у меня вообще не остается никакого выбора. Если я выкарабкаюсь, смело записывайте меня в покойники. А если я вновь сдамся? В конце концов, что такое еще одна капитуляция после сотен других позорных пленений? Если я приму его предложение и, быть может, в конце своего черного туннеля увижу свет? Что тогда? Мне придется плясать под его дудку, проклиная себя до конца своих дней. Ну уж нет, если придется выживать такой ценой, лучше умереть и избежать позора. Так что, как видите, Ловетт, я оказался перед более чем «соблазнительным» выбором: оставшись в живых, я стану по большому счету покойником, а погибнув, вроде бы буду жить. Так вот, я выбираю смерть, через которую обрету жизнь, а не наоборот. Так что наш уважаемый господин Холлингсворт рано торжествует победу. Пусть он и знает, что проклятая вещица находится у меня, но он даже не подозревает, с каким облегчением я признался ему в этом. Он полагает, что победил меня, но ему невдомек, что не только у меня, но и у него нет будущего. Я имею в виду политическое будущее. Сознание этого дает мне силы, и я ловлю себя на том, что и дальше собираюсь ломать комедию, сопротивляться его натиску и даже переходить в контратаку. Вот только, спрашивается, ради чего все это?

Маклеод перевел дыхание и продолжил:

— Есть одна причина, по которой я не могу позволить себе роскошь сдать прямо сейчас. Ирония судьбы заключается в том, что я, человек, который женился не совсем, прямо скажем, по доброй воле, а скорее по расчету — личному расчету, не связанному со шкурными материальными интересами, — вдруг обнаружил в себе страсть. Страсть не к этой женщине как таковой, а страсть к неведомому мне доселе чувству нежности и, быть может, даже любви. Не поверите, Ловетт, в отношениях с Гиневрой я веду себя в последнее время как влюбленный сопляк, который вот-вот наломает таких дров в отношениях с близким ему человеком, что, того и гляди, потеряет возлюбленную навсегда. Понимаете, Ловетт, я совсем запутался, и при мысли о возможной совместной жизни с Гиневрой в будущем — если, конечно, оно у меня есть, это будущее, — я лишь теряюсь, не представляя себя, чем и как я смогу заполнить такую жизнь. Если мы расстанемся, если она уйдет от меня, придется признать еще одно поражение в бесконечной череде моих неудач. Но дело даже не в этом. Я просто хочу понять, что нам с Гиневрой может быть нужно друг от друга. Что мы с ней построили за прошедшие годы, что рискуем потерять и что, в конце концов, все еще удерживает нас рядом друг с другом. Вот почему, — тут он подошел ко мне и схватил обеими руками за запястье, — я прошу, нет, я умоляю вас завтра, ну или, может быть, послезавтра, в общем, в ближайшие дни спуститься со мной туда, в нашу квартиру, и послушать, как мы с Гиневрой будем говорить. Постарайтесь понять, а если не понять, то хотя бы почувствовать, есть ли у нас с этой женщиной что-то общее, не растеряли ли мы с нею все то, что нас объединяло в ходе той гонки, в которую она оказалась втянута против своего желания, повинувшись лишь моей воле. Как бы я хотел понять, осталось ли в Гиневре что-то кроме желания ненавидеть меня и весь мир, а во мне — хотя бы что-то, хотя бы тяга к ненависти, или же в семейной жизни я уже окончательно превратился в пустое место.

— Подождите, но как я могу судить... — попытался возразить я.

— Действительно, как? — Маклеод отпустил мои руки и схватился за голову. — Но я не хочу, не могу

оставить все как есть. Я не хочу сдаваться. Поймите вы, Ловетт, я просто не имею права признать без боя еще одно поражение. Нет, возражения с вашей стороны не принимаются, — уныло пошутил он. — Вы пойдете со мной, потому что лучшего стороннего наблюдателя нам с Гиневрой не найти. На этом считаю наш разговор оконченным. Вот только... Что же мне теперь делать?

В первый раз за час с лишним он остановился, оглядел комнату и рухнул на стул как подкошенный. Он смотрел на меня так, словно рассчитывал на чудо — на то, что я найду способ дать ему спасительную подсказку, что именно я в силу своей молодости, неопытности и непонимания многого в этом мире смогу дать ему надежду хотя бы на какое-то облегчение его участи, участи человека, захлебнувшегося в нахлынувшей на него волне отчаяния.

Глава двадцать шестая

В общем, на следующий день я после обеда спустился на первый этаж и был вынужден вытерпеть примерно с час бессмысленного времяпрепровождения, которое Энгельс когда-то охарактеризовал как «то самое состояние свинцовой скуки, которое принято называть семейным счастьем». Гиневра сидела в кресле, заняв руки неким подобием шитья. Маклеод же устроился на безопасном расстоянии от нее во втором кресле. К нему на колени тотчас же забралась Мони́на. Разговор шел так: один из супругов подавал реплику, второй произносил несколько слов в ответ. После этого беседа вновь надолго прерывалась. Я, по всей видимости игравший роль случайного воскресного гостя, сидел на диванчике и переводил взгляд с Гиневры на Маклеода и обратно.

— Да, давненько, давненько мы вот так не сидели, — не без натуги выдавила из себя Гиневра после, наверное, десятиминутного молчания и множества неодобрительных взглядов в мою сторону. — Вот так, по-семейному, — добавила она.

Маклеод кивнул. Мони́на тем временем усиленно пыталась вскарабкаться к нему на плечи, для чего запустила к нему в волосы обе ручонки и уперлась ногами ему в живот.

— Да, — сказал он наконец, — давно мы вот так не собирались. — Безусловно, после того что ему пришлось пережить накануне, да и вообще за последнее время, он предпочел бы оказаться в роли ведомого в милой семейной беседе. Тем не менее, понимая, что помощи от Гиневры ждать не приходится, он все же попытался хоть немного оживить разговор. — Интересно, — обронил он как бы невзначай, — тебе нравится, когда мы собираемся вот так, как сегодня?

— Ну да, все нормально, — холодно ответила Гиневра.

Не знаю, что было тому причиной — мое ли присутствие или же яркий солнечный свет, прорывавшийся в полуподвальное окно и бивший в ковер под ногами под каким-то диковинным углом, — но Маклеод почему-то решил пообщаться с женой как человек совершенно ей посторонний. В общем, ни ему, ни ей не удавалось хоть сколько-нибудь убедительно скрыть терзавшую обоих скуку и обоюдное желание оказаться в этот момент где угодно, только не здесь и не в этой компании. Вследствие такого настроения и твердого желания преодолеть его между супругами завязался вялый, но затянувшийся надолго разговор — источник раздражения для нее и бессмысленная трата времени для него.

— Должен заметить, что большую часть своей жизни я старался избегать подобных моментов, — официальным тоном начал беседу Маклеод, — и не могу не признать, что в былые годы образ уютного домика-коттеджа где-нибудь в пригороде навевал на меня невыносимую тоску. Меня трясло от всех этих залитых солнцем лужаек, крыш с крылечками и, главное, от этих чертовых папаш-мамаш с потомством, распаханным по коляскам. Увы, в таком виде предстает окружающая реальность человеку, который решил, что его предназначение если не перевернуть этот мир, то как минимум значительно изменить его к лучшему. Живописная картинка семейного счастья повергала меня в ужас: неужели и я таким стану? Объективная же реальность была еще хуже: я отдавал себя отчет в том, что, окажись успешным то дело, которому я посвятил свою жизнь, и его конечный результат будет для меня чудовищем, ибо миллионы и миллионы прозябающих в нищете людей смогут жить весьма достойно с материальной точки зрения. Они получают возможность построить себе вот такие омерзительно уютные домики и преспокойно заживут в них, наводнив мир миллионами и миллионами провонявших детским дерьмом колясок. Это еще один аспект того бесконечного парадокса, который представляет собой жизнь профессионального революционера. Мы создаем тот мир, в

котором нам самим не будет места, мы просто не сможем существовать в нем.

Гиневра зевнула.

Монина зачем-то стала барабанить кулачком по его грудной клетке, и Маклеод, перехватив руку девочки, перенацелил обстрел на свое плечо.

— Вы, конечно, можете сказать, что гуманитарная функция социализма, — судя по всему, эти слова Маклеода были обращены уже не к супруге, а ко мне, — заключается в том, чтобы поднять, подтянуть человечество до страданий более высокого уровня, ибо, принимая во внимание гипотезу, что человеку изначально свойственны трагически неразрешимые внутренние противоречия, мы получаем выбор между пустым желудком и не менее пустой головой. Наполнить и то и другое, увы, практически невыполнимая задача.

— Ты опять за свое? — заметила Гиневра.

— Нет-нет, — заверил Маклеод, — я действительно что-то увлекся. На самом же деле я всего лишь хотел сказать, что становлюсь взрослее и, как бы это выразиться, мягче. Ибо несмотря на все то, что кажется мне в обывательской жизни неприемлемым, подобные семейные беседы, да и вообще время, проведенное в кругу семьи, уже не вызывает во мне былого раздражения. Рискну даже заявить, что такие семейные посиделки могут быть мне даже по душе, по крайней мере, если они не затягиваются чрезмерно.

Судя по выражению лица Маклеода, он сам далеко не был уверен в том, что произносит эти слова искренне. Его мрачный взгляд был устремлен куда-то вдаль, а губы непроизвольно искривились, словно он был вынужден глотать хинин или какое-то другое горькое лекарство.

Гиневра была напряжена до предела. Мне казалось, что руки ее заняты не шитьем, а плетением аркана.

— Вечно ты так говоришь, что я ровным счетом ничего не понимаю, — пожаловалась она.

— Ну что ж, может быть, тебе будет более понятно, если я скажу, что виноват во всем был только я, не ты.

Гиневра словно проснулась.

— Ты к чему это клонишь?

Она бросила быстрый взгляд в мою сторону, а затем вновь уткнулась в шитье.

— Беверли, я только хочу сказать, что признаю свою вину в том, что не уделял тебе достаточно внимания и нежности. Всего того хорошего, чего ты, несомненно, заслуживаешь. И еще: я обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы изменить свое поведение и свое отношение к тебе.

Она подозрительно посмотрела на него, затем на меня, а затем вновь на него. Когда она заговорила, голос ее звучал весьма недовольно.

— Я уже давно заметила, что ты любую элементарную мысль можешь превратить в настоящий кроссворд. Вот только скажи на милость, с чего это ты решил сообщить мне о том, что намерен начать новую жизнь, именно в тот день, когда у нас в гостях Ловетт?

Монина тем временем слезла на пол и стала играть с ботинками Маклеода. «Пух-пух-пух», — громко пыхла она и хихикала.

— Почему я заговорил об этом в присутствии Ловетта? Согласен, это вопрос. И мне почему-то кажется, что на этот вопрос есть несколько вариантов ответа. — Эти слова прозвучали напряженно и неестественно, пожалуй, слишком неестественно даже для Маклеода. Он чем-то напоминал какого-нибудь жреца, совершающего обряд возвращения молодости постаревшему ловеласу, но не знающего наверняка, есть какой-нибудь толк в его заклинаниях или нет. — Беверли, я давно хотел тебя спросить, ты еще помнишь, что ты чувствовала в то время, когда мы с тобой только-только поженились?

Гиневра напряглась и на миг так и застыла с иглой в поднятой руке, словно

прислушиваясь, нет, по-змеиному приноживаясь к какому-то новому запаху, появившемуся в комнате. Насторожившийся зверь наострил уши и превратился в зрение, обоняние и слух, не в силах до поры до времени понять, чего ждать от этого нового запаха — хорошего или плохого. Наконец ее губы — тонкие и бесформенные, отметил я про себя, впервые увидев их ненакрашенными, — невесело разомкнулись и прошептали:

— Может быть, что-то я и помню.

— Помнишь-помнишь, если постараться, то обязательно вспомнишь, и вспомнишь очень многое. К сожалению, я сам отбил у тебя охоту к таким воспоминаниям. Давай лучше я тебе сам напомню. Когда мы с тобой поженились, ты была готова разделить свою жизнь и судьбу с другим человеком, то есть со мной. Это был тот короткий период — наверное, единственный в твоей жизни, — когда, как мне кажется, ты действительно могла по-настоящему влюбиться. Я же предал твой порыв и убил в тебе эту способность. Тебе нужен был человек, способный дать тебе многое. Я же не дал тебе практически ничего.

— Да. — Судя по всему, признание Маклеода вызвало в ее душе лишь горькие воспоминания о потерянном счастье. Помолчав, она мрачно добавила: — У тебя был шанс.

— Я знаю, но мне нужен еще один.

— Еще один? — фыркнув, переспросила она. — Ну ты даешь.

— Я прекрасно понимаю, что у тебя есть все причины с недоверием относиться к моим предложениям, — сказал Маклеод, — но я уверен и в том, что тебе по-прежнему нужен тот тесный эмоциональный контакт, который я когда-то не смог тебе предложить. Беверли, вспомни, были ведь моменты в нашей жизни, когда ты не была со мной несчастлива. Ну, например, вспомни хотя бы то путешествие на какой-то старой полуразвалившейся машине, которую я купил буквально в первый же год после свадьбы. Помнишь, как было здорово?

Было похоже, что он сумел затронуть какие-то струны в ее душе. По едва заметно изменившейся позе Гиневры, по тому, как она чуть иначе сложила руки на груди, я почувствовал, что ее обуревают противоречивые чувства.

— В моей жизни было столько мужчин, которые дарили мне множество прекрасных минут и дней! — заявила она с вызовом в голосе. — Что бы там ни говорили, это женщина создает мужчину, а не наоборот.

Почувствовав по тону, с каким супруга возражала ему, Маклеод понял, что она страшно соскучилась по его просьбам и мольбам.

— Я прекрасно понимаю тебя, Беверли, и ты отлично знаешь, что, когда я произношу эти слова, я действительно так думаю. В конце концов.

прожитые нами годы чего-нибудь да стоят. — Я услышал эхо разговора, который мы вели с ним о его жене накануне. — Если хочешь, мы можем попытаться начать все заново.

Он снял очки и протер их носовым платком. За то время, что они находились у него в руках, его глаза успели пару раз моргнуть — тяжело и медленно, словно преодолевая резкую боль. Оба молчали, каждый пытался для себя понять, на что это будет похоже — попытка начать совместную жизнь заново. Каждый балансировал на грани весьма неприглядного прошлого и более чем туманного будущего.

— И что же мы будем тогда делать? — спросила наконец Гиневра.

— Нам придется уехать. Я имею в виду, это первое, что мы должны будем сделать.

— И как же мы будем жить?

— Скромно, очень скромно. Мы, понимаешь, будем в некотором роде скрываться, ну как бы перейдем на нелегальное положение. Не обещаю, что эта жизнь будет легкой и комфортной. — Судя по всему, Маклеод не собирался скрывать от Гиневры ничего. — Я уже подумывал о том, чтобы уехать без тебя, без вас, но, поверь мне, я слишком хорошо знаю, что

такое быть на нелегальном положении. Я... Если честно, я просто слишком устал и измотан для такой жизни, — признался он, — одному мне это не потянуть. Кроме того, вполне возможно, что уехать нам не дадут. Я, по правде говоря, не знаю, насколько серьезная слежка установлена за нами, но если уезжать, то делать это нужно как можно скорее.

— Значит, ты хочешь сказать, что уезжать нужно немедленно и жить мы будем так же, как сейчас, только тяжелее?

Маклеод кивнул:

— Да, с одной лишь разницей. Я буду другим человеком: настоящим нормальным мужем.

— А где мы будем жить? В квартирке вроде этой?

— Может быть, даже меньше.

Они сидели молча. Минуты уходили за минутами, маленькая гостиная все так же была залита солнечным светом, а у ног родителей все так же играл на ковре ребенок. И Гиневра, и Маклеод, судя по всему, представляли себе те дни и вечера, которые им предстояло провести вместе где-нибудь в такой же маленькой гостиной.

— Беверли, я люблю тебя, — на всякий случай добавил Маклеод.

— А ведь есть выход, — тихо сказала она.

— В каком смысле?

— Фокус-покус, ловкость рук и... В общем, я имею в виду обмен чего-то ценного, но не слишком полезного и нужного на наличные. — Эти слова Гиневра произнесла мягким вкрадчивым голосом, внимательно разглядывая при этом очередной стежок и тянущуюся от него нитку с иголкой.

Не знаю, готов ли был Маклеод выслушать и как-то ответить на это вполне ожидаемое предложение супруги. Как мне показалось, он решил попытаться потянуть время.

— Ты имеешь в виду... Продать эту штуку? — осторожно произнес он.

Она кивнула.

— Я только предлагаю, — почти ласково уточнила она, — ты вроде даже как-то намекал на это.

— Слушай, давай лучше просто уедем, — взволнованно произнес Маклеод, — уедем втайне от всех. Мы что-нибудь придумаем, и нам даже не придется отдавать эту штуку. ТУ понимаешь... — Лицо Маклеода стало словно каменным. — Я ведь уже пытался избавиться от этой вещи. Не получилось, и не думаю, что получится. Неужели ты не поедешь со мной только потому, что эта вещь останется у меня? — Энтузиазм, с которым Маклеод рисовал перед супругой радужные планы на будущее, на мгновение сменился смиренной мольбой. — Я кое-что понял. ТУ любила меня, когда мы поженились, а я смогу любить тебя сейчас. Вся энергию, которая еще осталась во мне, все свои силы я буду тратить на тебя и на ребенка. Понимаешь, о чем я говорю? Ты же будешь цвести перед моим восхищенным взором. Почему-то мне кажется, что часть тебя, часть твоего внутреннего «я» всегда мечтала об этом. — Маклеод не слишком умело пытался склонить женщину на свою сторону обещаниями и комплиментами.

Похоже, было уже поздно. Гиневра свой выбор сделала.

— Да как у тебя только наглости хватает? — взвизгнула вдруг она. — Любой другой на твоём месте предложил бы мне... Да мало ли что бы мне предложили, — запнулась вдруг она, — а ты не хочешь пожертвовать ради меня ничем, даже когда у тебя есть для этого все возможности.

Маклеод покачал головой:

— Беверли, послушай. Я достаточно хорошо знаю тебя, чтобы понять, как мучают и издеваются над тобой два твоих вечных спутника. Каждый из них представляет собой существование, полное неизвестности и страха. Никто, ни один из них не сделает ради тебя

ничего.

— Нет, заткнись! — закричала она.

Оба замолчали. В комнате повисло такое сильное, почти физически ощущаемое напряжение, что даже Монина отвлеклась от своих занятий и попыталась было всхлипнуть. Получилось это у нее как-то странно — тихо, почти беззвучно.

— Слушай, — сказала Гиневра, — слушай меня.

— Нет уж, это ты меня послушай.

— Да что б ты сдох! — ужасаясь сама себе, выкрикнула Гиневра.

Разговор опять на некоторое время прервался. Гиневра скомкала шитье, и я не удивился бы, швырни она в мужа и отправь вслед ткани и ниткам всю корзинку.

— Вот скажи ты мне, — неожиданно ласково произнесла она.

— Что сказать?

— Ты меня любишь?

Маклеод кивнул:

— Да, Беверли, я люблю тебя.

Губы Гиневры презрительно изогнулись:

— Ничего подобного, я просто оказалась твоей последней надеждой на спасение.

Маклеод побелел как полотно.

— Это неправда, — пробормотал он.

— Я твоя чертова надежда на спасение, — повторила она, — а тебе и этого не нужно. Стоишь на палубе тонущего корабля и преспокойно ждешь, когда он пойдет ко дну.

— Ты так думаешь? — спросил Маклеод, привставая с кресла. — Ну не знаю... Впрочем, возможно. Может быть, я веду себя именно так, — негромко произнес он.

Успокоить Гиневру уже ничто не могло. Никакие признания и комплименты не могли польстить ее самолюбию. Ощущение было такое, что она готова выгнать Маклеода из комнаты, и выгнать надолго — чтобы никогда его больше не видеть.

— Это вполне в твоем духе — прийти и начать вынюхивать, что к чему, когда на самом деле все уже решено. Почему ты не пытался разобраться в том, что происходит, раньше? Почему делал вид, что все в порядке? — Лицо Гиневры было искажено гневом. — Спроси лучше своего приятеля, что он тут видел? Спроси-спроси, ему есть что тебе рассказать.

— Я и слышать не хочу о каких-то там твоих любовниках. Все это просто смешно.

— Нет уж, пусть он поделится тем, что ему стало известно о моих отношениях с Лероем. Что, не нравится? Вот только он ничего тебе не скажет. И знаешь почему? Да потому что он и сам парень не промах. Он, между прочим, и сам падок на сладкое. Все вы, мужики, одинаковые. Все хотят только пользоваться мной и ничего не давать взамен. — Гиневра почти рыдала. — Шли бы вы оба отсюда.

Маклеод встал.

— О чем она говорит?

— Я думаю, сейчас нам лучше не вдаваться в подробности, — ответил я.

— Пошел вон отсюда! — закричала на мужа Гиневра.

Маклеод закурил и тяжело вздохнул. Я был готов поклясться, что лицо его посветлело, и ему, похоже, действительно стало лучше.

— Пожалуй, я действительно пойду прогуляюсь, — с облегчением сказал он.

— Давай-давай, проваливай.

За Маклеодом захлопнулась дверь, и Гиневра вновь рухнула в кресло, по ходу дела прикрикнув и на меня:

— Шел бы ты тоже отсюда!

— Хорошо, ухожу.

— Тебе просто нравится мучить меня. Тебе и ему тоже. Общаясь с вами, я чувствую себя полным ничтожеством. Да я... Я... — Образное мышление явно подвело ее на этот раз. — Как будто я — двухцентровая монета.

— Вам интересно, что с ним происходит? — спросил я ее.

Вопрос оказался для Гиневры явно не самым приятным. Она словно хотела прокричать, что ничего с ним не происходит и происходить не может. Вслух же она сказала:

— Ему, между прочим, абсолютно неинтересно, что творится со мной. Вот он, например, только что сказал, что любит меня. А как он себя при этом ведет? Разве так поступают влюбленные мужчины? Он сказал, что я ему нравлюсь? Сказал, что я красивая? Ты же был здесь и все слышал. Он хоть один комплимент мне сделал? — Гиневра почти плакала. — Вот так он меня всегда любил. Его любовь заключается в том, что он сплошь и рядом указывает мне на мои ошибки и недостатки. Даже не знаю, с чего это вдруг я когда-то решила, что он вежливый и обходительный мужчина. — Обхватив голову руками, она запричитала: — Господи, да что же это происходит? Во что меня втянули? Что с нами теперь будет? Господи, как же я устала!

Монина барабанила по полу обеими руками. В припадке неконтролируемого отчаяния она начала даже не плакать, а выть.

— А ну заткнись! — закричала на нее Гиневра.

— Монина не любит тебя, Монина тебя ненавидит, ненавидит, — сквозь слезы бормотала девочка.

Гиневра продолжала кричать, но при этом в ее голосе послышались какие-то просительные интонации.

— Ну хорошо, хорошо, пусть он будет хорошим, — повторяла она, — хороший он, хороший!

— Монина его тоже ненавидит. — После этой фразы девочка снова заплакала.

— Ах ты так! — завопила Гиневра. — А ну-ка заткнись, кому сказала! Я ведь сейчас ремень возьму!

Мне казалось, что она была готова рухнуть на пол рядом с ребенком и точно так же забиться в истерике.

— О господи, да заткнешься ты, Монина, или нет?

Монина притихла, но при этом продолжала бить по полу обоими кулачками.

Глава двадцать седьмая

Вот такую картину застала в гостиной Гиневры неожиданно вошедшая в комнату Пенни: я стоял в углу, и меня почти полностью скрывала от беглого взгляда тень от большого кресла. На полу в центре комнаты, все так же освещенная безразличным солнечным светом, пробивавшимся через полуподвальные окна, хныкала Моница. Ее плач к этому времени больше напоминал какое-то бесконечное унылое заклинание. Над дочерью нависла Гиневра, не знающая, как успокоить вконец изрыдавшегося ребенка.

Неудивительно, что Пенни сразу меня не заметила. Другое дело, что не заметить плачущую Моницу было нельзя, но это не отвлекло Пенни. Она спокойно прошла через комнату, обняла Гиневру и поцеловала ее в губы. На мгновение Гиневра вздрогнула и даже чуть отшатнулась — словно очнувшись неожиданно после долгого кошмарного сна и увидев рядом с собой незнакомца. Но в следующее мгновение она пришла в себя, узнала силуэт, нарисовавшийся словно из ниоткуда, — и заключила Пенни в объятия. Они встретились, как влюбленные, назначившие себе свидание где-то в темном уединенном месте. Нетерпение и предвкушение встречи зажигало их. Сердца бились учащенно, а страх быть увиденными мгновенно улетучивался при первом же прикосновении друг к другу.

— Я думала, он уже никогда не уйдет, — прошептала Пенни, — это было ужасно. А потом мы столкнулись на улице. Знаешь, он так улыбнулся, что я поняла: он все знает.

Чтобы привлечь внимание к собственной персоне, я решил прокашляться. Почему-то эта элементарная задача оказалась мне не по силам: вместо вежливого, но настойчивого кашля из моего горла вырвалось какое-то неестественное сипение. Обе женщины посмотрели на меня, не разжимая объятий. Пенни напряглась, и ее взгляд наконец сфокусировался на мне.

— Черт! — вырвалось у нее. — Ну какого черта тебе здесь нужно?

Гиневра подтянула халат так, чтобы он прикрыл бретельки бюстгалтера, и, выполнив задачу-минимум, уставилась на меня с глупейшим выражением на лице. При этом она начала хихикать.

— Ой, я и забыла, что ты должна была зайти, — зачем-то объяснила она Пенни, явно стесняясь и не понимая, как с достоинством выйти из этой постыдной, с ее точки зрения, ситуации. — О господи, — вздохнула она, и вдруг я понял, что ей с трудом удастся скрыть удовольствие от происходящего. С учетом того, что случилось в гостиной за последние пару часов, появление Ленни стало для нее как нельзя более своевременным отвлекающим моментом. Через несколько секунд Гиневра, немного придя в себя, и вовсе вздохнула с облегчением.

Ленни опустила в кресло, прикрыв ладонями лицо.

— Приношу свои извинения, — сказал я.

Несмотря на все желание не нарушать сложившуюся серьезную атмосферу, я непроизвольно начал смеяться. С учетом того, что даже прокашляться мне толком не удалось, смех, по всей видимости, должен был попросту добить меня. Я никак не мог остановиться и хохоток над Ленни, как над моим собственным двойником. Над Гиневрой, которая запустила все поезда на одну линию и никак не могла вспомнить, когда и в какую сторону идет товарняк и не мчит ли ему навстречу на всех парах какой-нибудь скорый. Хохотал я и над Маклеодом, который «благоразумно» сложил все яйца в одну дырявую разваливающуюся корзину. Я хохотал над наивностью, заполнившей, как вода, яму, вырытую нуждой. Смех разбирал меня и при мысли о том, как Ленни вынуждена часами подслушивать или караулить на улице с тем, чтобы появиться на сцене как черт из табакерки, в заранее просчитанный кульминационный момент.

А еще, увидев этих двух женщин вместе, я представил себя наедине с каждой из них и расхохотался уже совсем от души.

Ленни вцепилась в подлокотники.

— Да не смотри ты на него так. — Эта реплика относилась к Гиневре, которая уставилась на меня с отвисшей от удивления челюстью. Ленни же успела прийти в себя и настойчиво ее одернула: — Я тебе говорю, не обращай внимания. Он же идиот.

Гиневра посмотрела мне в глаза, но тотчас же отвела взгляд.

— Нет, вы все-таки сведете меня с ума окончательно! — закричала вдруг она.

Ленни закурила, и по тому, с каким трудом ее пальцы нашарили в коробке спичку и сумели поднести огонек к кончику сигареты, я понял, что она вновь на взводе.

— Нельзя так говорить, — заявила она Гиневре, — никогда не пытайся заручиться расположением того, кто тебе не ровня. Нет ничего более позорного, чем заискивать перед теми, кто этого не достоин.

— Ну не знаю. Чего ты от меня хочешь? Я же простой, самый обыкновенный человек, — заявила в свое оправдание Гиневра. При этом я заметил, что то самодовольство, с которым она делала обычно подобные заявления, на этот раз ее подвело. Даже я за короткое время знакомства успел заметить, что Гиневра любит строить из себя этакую несчастную в свой заурядности домохозяйку. Для нее это стало своего рода обманным ходом или хитрым приемом в словесном поединке, который она вела с собеседником. Человека легко спровоцировать на то, что он раскроет себя и свои истинные взгляды на жизнь, если начать причитать в его присутствии, что все мы, мол, одинаковы — не дураки и не экстремисты, не воры и не шуты... Кроме того, зачастую этот прием срабатывал еще и как средство выуживания комплиментов в свой адрес: собеседник так или иначе начинал убеждать Гиневру в ее необычности и незаурядности. Впрочем, на этот раз мне было понятно, что Гиневра не совсем удовлетворена результатом применения своего обычного заклинания. Ленни нанесла упреждающий удар и продемонстрировала Гиневре, что та уже давно готова быть и вором, и шутом гороховым, и экстремистом, и полной идиоткой и при этом наслаждалась бы ощущением новизны и свежими впечатлениями. — Я ведь такая же, как все, — повторила Гиневра, но в ее голосе слышалась некоторая хитрость: она явно играла в поддавки и ждала убедительного опровержения этого постулата.

Ленни ее не разочаровала:

— Ну почему ты такая глупая? Ты ведь не такая, как все, ты другая. Таких, как ты, больше нет. Ты — самая красивая. — Похоже, несмотря на то что все уже были проинформированы о моем присутствии, этот разговор не должен был предназначаться для моих ушей. — Я вот думаю о тебе, о том, какой ты была много лет назад, — проникновенным хриплым голосом продолжала ворковать Ленни, — и представляю, как бросались к тебе мужчины, которым хотелось только одного — воспользоваться тобой. Ты же, опьяненная новой встречей, думала, что любишь очередного поклонника. Но все это было неправдой. Ты была слишком красива для них, и что они могли знать о тебе? Как они могли понять тебя? Ну скажи на милость, что может знать сапог о земле под своей подошвой? Ты отдавала себя им и в то же время всегда оставалась свободной, потому что тебе было нужно больше, чем то, что они могли тебе дать. Порой ты соглашалась с ними и даже шла за ними по предложенной ими дороге, но тебе становилось больно и плохо, потому что никто из них не мог тебе дать то, что тебе было нужно. Ну как ты могла любить их, если на самом деле ты любила только саму себя? И это правильно, потому что мы рождены для того, чтобы любить себя. Вот главная тайна этого мира. Всю свою жизнь ты искала то зеркало, которое сможет достойно отразить твою красоту. Ты должна была видеть свою прекрасную кожу, свое роскошное тело. У тебя должна была быть возможность пропеть во

весь голос хвалебную песню самой себе. — Вот уж не думал, что хриплый голос Ленни может звучать так гипнотически, словно заклинание. — Но никто, никто не смог предоставить тебе даже подобия зеркала, даже какого-нибудь мутного исцарапанного осколка. Впрочем, это и неудивительно, ибо даже начищенному до зеркального блеска сапогу не дано отразить в себе подлинную красоту. Им, тем мужчинам, не надо было увидеть в тебе подлинную жизнь. Они даже не подозревали, что твое лицо может сиять, что душа твоя может петь. Они этого не знали, не видели, да это им было и не нужно. Они хотели лишь одного — уравнять тебя с собой, а еще лучше — унижить, вывалить в грязи и пользоваться, пользоваться, пользоваться тобой. Мысленно ты отгородилась от этого мира, ты перенеслась на далекий необитаемый остров, и чтобы докричаться до тебя теперь, нужно приложить немало усилий. Вот почему ты полюбила меня: я, только я могу стать твоим зеркалом. Спасение лежит лишь через следование за собственным отражением в зеркале. Только так можно выйти из того заколдованного леса, в котором мы с тобой оказались. Я сделаю так, что ты увидишь свою красоту. А ты полюбишь меня за то, что я буду восхищаться тобой и, в отличие от других, не буду просить ничего взамен. Мне нужно лишь одно: быть зеркалом, которое ты сожмешь в своих руках.

Гиневра слушала эти речи, приоткрыв рот и даже чуть закатив глаза. Ее обмякшее лицо расплылось в счастливейшей улыбке. «Да, — бормотала она, — да». И ее негромкий голос смешивался с протяжным счастливым вздохом. Сладостный нектар лести смачивал ее губы, попадал в рот, и она была готова захлебнуться им, приняв эту восхитительную смерть. Она непроизвольно положила руку себе на грудь и, вздрогнув, позволила себе это нескромное прикосновение. Будь это возможно, она бы покрыла поцелуями свою шею и плечи.

— Никто, никто на свете, — продолжала лить елей Ленни, — не любит тебя, как я. И моя любовь не требует от тебя ничего, ибо она бескорытна. Моя любовь — это преклонение перед твоей красотой.

— Никто... никто, кроме... — Гиневра машинально, нараспев повторяла отдельные слова очаровавшего ее заклинания.

— Тогда скажи, почему, — набросилась на Гиневру Ленни, застав ее врасплох, — почему ты обманываешь меня, изменяешь мне в темном углу с тем худшим, что есть в нашем блондине? Почему ты не видишь, что он, как и другие, бросается на худшее в тебе? Зачем вам нужна эта грязь, этот пот и трепет? Ни ты, ни он не получите от этого ничего хорошего.

Гиневра вздрогнула, и я заметил, как от злости у нее мгновенно покраснел кончик носа.

— Да помолчи ты, — рявкнула она на Ленни, — дай мне помечтать, дай подумать о будущем.

— Будущего нет, — заявила Ленни и, схватив Гиневру за руки, добавила: — Это же гнусно, гнусно и омерзительно — соблазнять его. Это... Это даже хуже, чем то, что он забывается и бросается к тебе.

— Отстань от меня.

— Я все равно не верю, не верю, что вы с ним на самом деле решили... Нет-нет, это невозможно! — кричала Ленни, обхватив голову руками. — Нет, так быть не должно. Послушай меня, — сказала она и погладила Гиневру по щеке, — в наказании других нужно помнить о благородстве. Торжество справедливости не должно иметь привкуса корысти.

— О наших планах мы с ним сами позаботимся, — огрызнулась Гиневра.

— Нет-нет, самое ужасное, — запричитала Ленни, — кроется в том, что красота обладает невероятной силой притяжения, но мой друг не имеет право бросить тех... Ну тех, с которыми он. Если же он сбежит от них, то это означает, что он боится за свое будущее. А я-то была так уверена, что они представляют собой непреодолимую, несокрушимую силу. — Она взяла себя в руки и уже спокойнее сказала: — Ну да, он заберет тебя с собой. Нас разлучат, а тебе нет до

этого никакого дела. А я, спрашивается, на что рассчитывала? Мне ведь даже с тобой остаться не позволят.

Я напрягся, ожидая бури гнева, которую, как мне казалось, неминуемо должны были вызвать эти слова в душе Гиневры. Ее лицо действительно потемнело, глаза широко раскрылись, она глубоко вдохнула, но вдруг с покорностью бросилась в объятия Ленни.

— Ну почему, почему вы все ко мне привязались? — снова повторила она. — Оставьте вы меня, наконец, в покое.

На этом этапе в разговор решила вступить Моница. Она сидела на полу неподвижно с того самого момента, как в комнату вошла Ленни. Естественно, она не понимала всего, что говорили при ней взрослые, но эмоциональную составляющую столь милой беседы скрыть от ребенка было невозможно. Она с ужасом и в то же время с интересом наблюдала за тем, как разворачиваются события. Затем, сидя все так же неподвижно, она вроде бы и шепотом, но в то же время достаточно громко для того, чтобы мы все ее услышали, заявила:

— Мама тебя ненавидит. Мама тебя ненавидит. — Чуть изменив положение головы, она прицелилась и изо всех сил плюнула в сторону Ленни.

— Моница! — закричала на дочь Гиневра.

— Ты с ней целовалась! Ты с ней целовалась! — Моница вновь разревелась, а затем, изо всех сил ударив кулаком об пол, сурово прищурилась и выпалила: — Мама умрет.

При этих словах Гиневра побледнела.

— А ну-ка заткнись, кому сказано! — привычно бросила она.

Ленни попыталась было снова прикоснуться к ее щеке — по всей видимости, чтобы успокоить истеричную мамашу, — но Гиневра с омерзением на лице оттолкнула ее руку. Впрочем, и сама Ленни поспешно прижала ладонь к себе, словно прикосновение к Гиневре обожгло ей пальцы.

— Ой-ой-ой, — застонала Гиневра, вновь став похожей на рыночную торговку, — да что же это делается. Я с вами с ума сойду.

— А ну прекрати! — прикрикнула на нее Ленни.

Я понял, что круг замкнулся.

Нет, Гиневра, конечно, еще попричитала: «Не знаю, не знаю, что делать», но было ясно, что делает она это лишь для того, чтобы заполнить паузу и дать себе время подумать. Спустя буквально секунду она резко обернулась к Ленни:

— Знаешь, девочка, шла бы ты отсюда.

— Мне уйти? — не то переспросила, не то повторила услышанный приказ Ленни.

— Не знаю, не знаю я, что делать, — опять затянула свое Гиневра, — не знаю, что и думать. Наверное, мы были неправы. Не стоило нам с тобой... Не знаю, из головы все равно не выходит. Такое так просто не забудешь. Слушай, ну уйдешь ты, наконец, или нет? — взмолилась она, обращаясь к Ленни. — Ну было нам с тобой однажды хорошо вдвоем. Спасибо тебе на этом большое, при случае я всегда смогу сказать, что пробовала в этой жизни все... — Почему-то при произнесении последней фразы ее передернуло.

Не знаю, умела ли Ленни хорошо держать удар и с достоинством признавать поражение или же еще не успела осознать всем сердцем случившееся, но повела она себя внешне предельно спокойно.

— Ну хорошо, я уйду, — сказал она с легкой улыбкой на лице.

Ленни направилась к двери. Моница внимательно и, я бы сказал, с подозрением во взгляде следила за ней. Ленни вдруг остановилась, узнаваемо бестолково покопалась в сумочке и наконец вытащила из нее несколько однодолларовых купюр.

— Знаешь, что я собираюсь с ними сделать, как я их потрачу? — спросила она у меня.

В ответ я лишь неопределенно покачал головой.

— Я куплю на эти деньги банку самой черной-черной краски. Знаешь зачем? А затем, что мне нужно кое-что закрасить. Тот мышонок, который явился мне и заявил, что он Иисус, так и не оставляет меня в покое. Сегодня утром я нашла его нору и теперь хочу закрасить ее намертво, пусть он там внутри подохнет. — Было похоже, что эта история с мышкой действительно не выходит у нее из головы. — Я возлагала на него большие надежды, но все это, — Денни сделала широкий жест, обводя рукой комнату, — убедило меня в том, что у такой мыши нет будущего. — С этими словами она вышла за порог и тихо прикрыла за собой дверь.

— О господи, — вздохнула Гиневра.

Она прошла по комнате, высыпала содержимое пепельницы в мусорную корзину, поправила сбившийся угол половика и за всеми этими занятиями явно несколько успокоилась.

— Это все я виновата, — заявила она, стоя спиной ко мне. Затем, неожиданно рассмеявшись, она добавила: — И как мне только удалось выпроводить его? — Отсмеявшись, она задумчиво почесала в затылке и обратилась уже напрямую ко мне: — Вот ты лучше скажи, почему я и ее выставила?

— Наверное, вы ее испугались, — предположил я.

Судя по всему, это сделанное наугад предположение не совпало с тем, что думала по этому поводу Гиневра. Она пожала плечами и ткнула пальцем в сторону Монины.

— Это все ты виновата. Ты и никто другой. Почему ты не можешь посидеть спокойно хотя бы минуту, почему все время лезешь во взрослые разговоры?

Монина выслушивала упреки в свой адрес со щенячьим восторгом на лице: ее глаза весело сверкали, а рот расплылся в улыбке от уха до уха.

— Знаешь, если без шуток, — обратилась ко мне Гиневра, — эта Ленни та еще штучка. Нет, я серьезно. Девчонка она интересная и при этом очень странная. — Гиневра решила повторить последние слова с видом продавца газет, выкрикивающего самые важные заголовки статей из свежего номера: — Интересная, но очень странная.

— Именно так, — согласился я.

— Нет, в ней несомненно что-то есть. Я тебе вот что скажу, Ловетт, мне с ней хорошо. Как-то она на меня положительно воздействует. Даже не знаю, как это описать... В общем, с нею я ощущаю себя так, как не чувствовала уже много лет. — Гиневра, как всегда, мгновенно становилась пленницей того, что придумывала и рассказывала собеседнику. — Знаешь, я верю в сказки с хорошим концом, и похоже... Наверное, я действительно люблю ее. — Судя по всему, в эти мгновения она действительно была искренне влюблена в Ленни.

— Вот и замечательно.

Момент влюбленности миновал, и Гиневра, язвительно похихикав, заметила:

— Не могу не признать, что навешать лапшу на уши она умеет. Я всегда считала, что умею выстроить разговор так, чтобы беседа шла по устраивающему меня плану. А с этой твоей подружкой, мисс Мэдисон, я просто теряю дар речи. Сижу и молчу как будто язык проглотила.

Все это она произнесла совершенно будничным тоном, как бы невзначай, так, словно я и не был свидетелем их сверхэмоциональной встречи.

— Моя подружка, говорите?

— Ну да. — В очередной раз я был просто очарован способностью Гиневры к преобразению. — И не говори, что у тебя с нею ничего не было. А то, можно подумать, я ничего не знаю. Да судя по тому, что мне довелось услышать, у тебя до сих пор уши от стыда должны гореть. — Покачав головой, она осуждающим тоном добавила: — Я поначалу восприняла как комплимент, когда ты стал за мной волочиться. Но, увы, мои прелести здесь ни при чем. Могла бы сразу догадаться. Ты просто готов подкатить свое мужское достоинство ко

всему, что шевелится. — фубо и гротескно спародировав голос и манеру Ленни, она протянула: — Ах, я не знаю, что делать. Ты меня та-а-ак измучил.

Эта реплика актрисы из самодеятельного театра прозвучала под аккомпанемент смеха Монины.

— Ага, — сказала Гиневра, — тебе тоже понравилось?

Монина кивнула и весело рассмеялась. Ее детские щечки вздрагивали в такт колыхавшимся щекам ее матери, чья молодость уже осталась позади.

— Ах ты чертовка, — ласково сказала Гиневра дочери.

В этот момент я и ушел от них.

Глава двадцать восьмая

— Нужно быть требовательным к самому себе, иначе не управишься со всеми стоящими перед тобой задачами, — разглагольствовал Холлингсворт, — вы сами знаете, у нас в организации проводят множество тренингов и курсов. Многие из них посвящены весьма заумным предметам, и это еще мягко сказано. Само собой, для успешной работы в той организации, в которой я состою на службе, необходимо хорошее знание психологии.

С этими словами он закончил подстригать себе ногти. Все, что было срезано, было тотчас же, немедленно ссыпано на клапан конверта, лежавшего на углу стола по левую руку от Холлингсворта. Противоположный, правый, угол занимал другой конверт, также открытый, на клапане которого покоились стружки, собранные после заточки трех карандашей, что было сделано Холлингсвортом перед началом беседы. Так он и сидел — под лампой, свет которой был направлен прямо в лицо Маклеоду, и с двумя конвертами по разные стороны от него, похоже служившими чем-то вроде символа весов правосудия.

— Я внимательно изучил и обдумал данные вами показания, — продолжил Холлингсворт, — но, помимо чисто фактической стороны, необходимо также задуматься и над психологической составляющей ваших заявлений. — Копируя жест, характерный для Маклеода, он соединил в воздухе кончики пальцев обеих рук и продолжил: — Наверное, это следует признать неотъемлемой частью расследования любого дела. — Он прокашлялся и поинтересовался: — Вы не будете возражать, если я немного поразмышляю вслух?

Прежде чем Маклеод успел что-то ответить, в разговор вмешалась Ленни.

— У меня вопрос, — сказала она негромко, словно с опаской.

— Не сейчас, — отрезал Холлингсворт.

— Да, конечно, но я хотела... — попыталась возразить Ленни.

— Я же сказал, не сейчас. — Перегнувшись через стол, Холлингсворт дал прикурить Маклеоду. — Вот, значит, как я вижу эту ситуацию... — задумчиво произнес он. — Мы имеем человека, которого, с одной стороны, можно назвать интеллектуалом, ну как вас например. И в то же время нельзя не признать, что во многих ситуациях этот человек ведет себя как, прошу прощения, последний дурак. Да, кстати, меньше всего на свете я хотел бы сейчас оскорбить или обидеть кого бы то ни было. — Лицо Холлингсворта в этот момент представляло собой ожившую маску благодушия и приветливости. — Но согласитесь, далеко не все его поступки укладываются в строгие рамки здравого смысла.

— Не могли бы вы уточнить, что именно кажется вам столь неразумным?

Маклеод сидел на стуле, постаравшись сползти при этом как можно ниже. Для этого ему пришлось упереться ногами в ножки стола, зато теперь, как мне казалось, опустил он руки, и его пальцы коснулись бы пола. Он мог бы показаться полностью расслабленным, если бы не было столь очевидно, что бьющий в глаза свет лампы изрядно утомил его.

— Давайте размышлять вместе. Лично мне кажется, что нечто разумное, чтобы называться таковым, должно быть сбалансированным. Ну, скажем так, одна сторона должна уравновешивать другую, противоположности должны компенсироваться.

— И что? Вы не видите здесь равновесия?

Вновь пальцы рук Холлингсворта соприкоснулись подушечками в воздухе.

— По правде говоря, вынужден признать, что равновесием здесь и не пахнет. — Холлингсворт рассоединил руки и положил ладони на стол. — По ходу одного из прочитанных нам на службе курсов мы узнали много нового о том, что принято называть философией большевизма. Так вот, нас учили, будто эти ребята думают, что могут изменить ход мировой

истории, и вполне естественно, что менять этот мир они собираются не просто так, а в лучшую сторону. И если говорить о том человеке, о котором мы, кстати, и говорим все это время, то он, несомненно, рассуждал именно так. Все, что он делал, служило цели изменения мира к лучшему. Какие бы чудовищные поступки, какие бы преступления ни совершались им, все оправдывалось великой, я бы даже сказал, священной целью преобразования этого мира. Судя по всему, именно эта убежденность в своей великой миссии и служила для него оправданием всех совершенных им неблаговидных поступков. — Холлингсворт неожиданно хихикнул. — Вот только надо было такому случиться, что наш несчастный общий знакомый вдруг прозрел и понял, что здорово ошибся в выборе жизненного пути и в товарищах по борьбе. В общем, он решил уйти от них. Спрашивается, какова же будет психологическая основа его поведения в данный момент?

— Вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос?

— Нет-нет, благодарю вас. Я, пожалуй, попытаюсь сам. Мы, несомненно, можем предположить, что чувствует он себя при этом, прямо скажем, некомфортно. Чего стоят одни только воспоминания о совершенных им преступлениях и мысли о том, как же исправить содеянное. Что ж, первым делом он начинает работать на тех людей, которых я в данный момент представляю. Но по всей видимости, этот шаг не решает его внутренних проблем. Более того, он чувствует себя еще хуже и, чтобы избавиться от психологических страданий, решает взяться за какое-то новое дело, выбрать себе новую цель, к которой он будет стремиться. И вот он принимается за эту новую работу.

— Это если не считать его теоретические занятия.

— Вот-вот, я, кстати, очень рад, что вы об этом упомянули. Если не считать его теоретические занятия. — Холлингсворт проворно и даже не без некоторого изящества покопался в своем портфеле и выложил на стол пачку отпечатанных на ротапинтере листовок. — Вот здесь у нас находится, наверное, самое полное собрание сочинений нашего общего знакомого. Я могу перечислить все затронутые в этих сочинениях темы и даже сгруппировать их по категориям. Впрочем, к чему утомлять вас рассказом о том, что вам и без того прекрасно известно. Куда интереснее результаты наших подсчетов реальной читательской аудитории, почтившей своим вниманием эти опусы. Начну с самой весомой цифры: листовка, занявшая в этом списке первое место, была прочитана ни много ни мало пятьюстами читателями. — Холлингсворт разложил листовки веером перед собой и стал тыкать в них пальцем, словно наугад, как в экзаменационные билеты: — Это сочинение прочитано ста пятьюдесятью читателями, с этим ознакомились двести двадцать пять человек, с этим — семьдесят пять, а вот с этим не более пятидесяти. — Зевнув, Холлингсворт пояснил: — Разумеется, все эти цифры приведены в округленном виде.

— И что вы хотите этим сказать? — осведомился Маклеод.

— Если честно, мне в этом деле кое-что не совсем понятно, — начал было говорить Холлингсворт, но в этот момент Ленни схватила из пачки листовок ту, что лежала сверху, и уткнулась глазами в заголовок. Затем, вернув лист бумаги на стол, она сказала, обращаясь к Маклеоду:

— Вы этого не писали.

Он кивнул.

— Нет, я серьезно, он же не писал этого, — сказала Ленни, вставая со стула. — Он же обманывает тебя! — воскликнула она, обращаясь к Холлингсворту.

— Нет, это он написал, — спокойно и тихо сказал Холлингсворт, изучающее глядя на Ленни.

— Но это же невозможно! — закричала она умоляюще. — «Межклассовые отношения и

противоречия за океаном» — так называется эта статья. Да, формально, может быть, он ее и написал. Может быть, оригинал написан его почерком, его чернилами, и ты готов с этим согласиться. Нет, ты даже убежден в этом. Но на самом деле он смеется над тобой сейчас точно так же, как смеялся, когда писал этот текст. Он же не верит ни единому написанному здесь слову.

Холлингсворт молча и явно недовольно смотрел на нее и, дождавшись, когда Ленни наконец выговорится, сурово напомнил:

— Я ведь тебе говорил, что легко не будет.

— Но ты же ошибаешься, — сумела произнести она.

— Очень хорошо, вполне вероятно, что я ошибаюсь, — сказал он и вдруг, явно не в силах больше сдерживаться, расхохотался прямо ей в лицо: — Да, я страшно ошибся, и это просто непоправимо.

Ленни вновь опустилась на стул, но ей было по-прежнему неуютно и неудобно. Она вдавила тело всем весом в сиденье и стала выковыривать грязь из-под ногтей, при этом она кусала то верхнюю, то нижнюю губу.

— Я только...

— Ты только хотела помолчать, — перебил ее Холлингсворт. С видимым отвращением он привел в порядок сдвинутые Ленни с места бумаги и заглянул в свой блокнотик.

— Применяя статистические методы, — сообщил он Маклеоду, — мы можем высчитать среднее количество читателей, ознакомившихся с этими памфлетами. Так вот, этот показатель равняется ста девяти восьмью целым и трем десятым читателя на каждую из представленных здесь единиц политической пропаганды.

Маклеод мрачно заметил:

— Мне всегда хотелось знать, сколько людей их читают.

— Вот к этому-то я и веду, — кивнул Холлингсворт. — Человек, который готов не спать ночами, чтобы изложить на бумаге свои мысли, судя по всему, должен задумываться и о сбалансированности затрачиваемых усилий и результата. Кроме того, по всей видимости, он и само написание этих статей воспринимает как некий положительный противовес тому негативу, который накопился в его душе за долгие годы. Вполне резонно предположить, что он пытается как минимум уравнивать плюсы и минусы, но вот тут-то мы и замечаем, что наш знакомый понимает арифметику весьма и весьма странно.

Насколько я могу судить, он скатился по отрицательной шкале на миллионы пунктов вниз, а по шкале со знаком плюс продвигается крохотными шажочками — по несколько десятков пунктов за раз.

— Разница между мною и вами, — сказал Маклеод, — состоит в том, что я обладаю способностью учитывать не только средние величины, имеющиеся в моем распоряжении на данный момент, но и потенциальную возможность их резкого изменения. Вот вы, спрашивается, кто такой, чтобы с уверенностью утверждать, что в ближайшие десять лет у нас не возникнет базы для новой волны революционного брожения?

— Я делаю этот вывод на основании сравнительного анализа количества плюсов и минусов, — монотонно, как заклинание, произнес Холлингсворт.

— За рамками этого анализа остается будущее. Если нам суждено вновь получить революционную ситуацию в обществе, если это общество породит новую генерацию профессиональных революционеров, то одним из важнейших факторов их успешной деятельности будет изучение наследия и уроков прошлой революции.

Маклеод сидел чуть сгорбившись и близоруко моргал, щурясь на яркий, бывший ему в глаза свет лампы. Похоже, он даже не замечал, что часть его лицевых мышц сведена судорогой, а по

щеке пробегает дрожь нервного тика.

— Почему вы вообще так упорно меня об этом спрашиваете? — не выдержав, раздраженно спросил он.

— Все потому, что вы захотели оказывать на людей влияние, — ответил Холлингсворт, — а как только где-то появляются люди, желающие влиять на других людей, я немедленно приступаю к работе. Как вы прекрасно понимаете, это входит в мои обязанности. — Он тяжело вздохнул и пояснил: — Я, кстати, обязан подвергнуть проверке и вашу квалификацию. Вот, например, что вы скажете о том, насколько подготовлен и компетентен был наш общий знакомый во времена своей активной деятельности в уже упомянутой нами средиземноморской стране?

— Что вы имеете в виду под компетентностью?

— Не придумали ничего лучше, чем отвечать вопросом на вопрос? — поинтересовался Холлингсворт. — Ладно, сформулируем вопрос иначе. Итак, наш знакомый кладет в карман револьвер и идет в гости к старому другу по революционной борьбе. Можете ли вы утверждать, что он не находит ни малейшего удовольствия в том, что происходит в течение этого вечера?

— Со всей уверенностью.

Холлингсворт осуждающе поцокал языком.

— Слушайте, вы же умный человек, неужели вы поверите, что можно провести с человеком несколько часов, беседуя с ним и даже споря, зная при этом, что собираешься его убить, и делать это безо всякой охоты, без какого бы то ни было изощренного удовольствия?

— Не знаю, не вижу я в этом никакого удовольствия.

— Совсем никакого?

Маклеод поднял руку и прикоснулся ладонью ко лбу.

— Я сейчас, наверное, не вспомню.

— Другими словами, что-то в этом все-таки было — что-то приятное. Если я ошибаюсь, поправьте меня. — Холлингсворт кивнул, словно подтверждая собственную правоту. — Так вот, у человека, о котором мы говорим, смею предположить, есть весьма неприятные, я бы даже сказал, нездоровые особенности психики.

— Ну хорошо, согласен.

— Эти нездоровые стороны сознания оказывают решающее воздействие на его поведение. По крайней мере, так утверждал мне один видный специалист по этой части. Нам кажется, что мы постигли некую идею, но это лишь наше субъективное мнение. Мы постигли то, что хотели постичь, а не то, что воплощает эта идея на самом деле.

— И с этим согласен, — бесцветным голосом произнес Маклеод.

— Занимаясь всем этим, можно уверовать в то, что политика — это редкостная чушь, замешанная на грязи и крови. Это, кстати, не только мое мнение.

— Согласен. Что дальше?

— А то, — наставительно сказал Холлингсворт, — что такой человек, на мой взгляд, вряд ли имеет право действовать и дальше во имя будущего, по крайней мере так, как он это себе представляет.

— Согласен, согласен, согласен, — несколько раз повторил Маклеод.

Холлингсворт поправил лампу, сдвинув абажур так, чтобы свет падал на стол между ним и Маклеодом. Разговор он продолжил куда более любезным тоном:

— Ну вот, между прочим, в отличие от большинства людей, я на такого человека свысока не смотрю. В конце концов, у каждого из нас свой характер, свои недостатки. Не нужно просто упрячиться и гордиться этими недостатками. Большую часть жизни вы были человеком глубоко несчастным, вам и по сей день не хочется признаваться себе в том, что так случилось только по

вашей собственной вине. Вот вы и обвиняете во всем общество. Уверяю вас, это не единственный способ решить ваши личные проблемы. Вы могли бы жить гораздо лучше и интереснее, могли бы и можете даже сейчас. Главное для этого — осознать, что люди вокруг вас ничем и ни в чем вам не уступают. Они такие же, как вы, и нет никакого смысла работать, как вы изволите выражаться, «на будущее». Не нужно пытаться изменить мир даже ради окружающих.

Холлингсворт положил руку на стол. Казалось, он ласково и нежно, как живую, поглаживает столешницу.

— Скромность — вот высшая добродетель, — напомнил он Маклеоду. — Больше скромности, дружище. Не нужно стремиться к недостижимому. Если бы тот человек пришел ко мне и спросил, как жить дальше, я бы отвел его в сторонку и сказал, что все может стать намного лучше, если он перестанет пытаться удовлетворить свое ненасытное тщеславие и будет жить как все. По крайней мере, как все нормальные люди. На самом деле, никому из нас неизвестно, что творится в глубине его собственной души. — Для большей убедительности Холлингсворт постучал себя ладонью по груди. — Иногда это незнание играет с нами злую шутку. Вот лично я, например, не дам и двух центов за все ваши статьи, вместе взятые. Я парень простой, без претензий, и именно поэтому я на самом деле умнее, чем сотня таких умников, как вы. — Его обычно бледное лицо покраснело. — Можете выбросить свою теорию на помойку, — неожиданно требовательно заявил он. — Вспомните простые как мир истины и правила: уважайте, например, своих родителей.

— Он абсолютно прав! — воскликнула вдруг Пенни. — И одновременно не прав. То есть... Я хотела сказать... — Она вдруг замолчала, явно удивленная тем, насколько быстро ее мысль куда-то спряталась при первых же звуках ее собственного голоса. Покраснев от осознания, что не может выразить в словах то, что хочет сказать, она уставилась на свои руки и, как обычно, стала сосредоточенно выковыривать грязь из-под ногтей.

Маклеод вымучено улыбнулся:

— У вас сигаретки не найдется? Похоже, я свои уже докурил.

— Почту за честь. — Холлингсворт одним движением протянул Маклеоду пачку с сигаретами и зажигалку.

— Скажите, вы можете назвать себя реалистом? — спросил Маклеод как-то мечтательно.

— По-моему, именно так и следует меня называть.

— Следовательно, с философской точки зрения вы верите в реальность этого мира.

— И под этими словами, — вздохнул Холлингсворт, — я готов подписаться.

— В тот мир, который существует отдельно от нас и независимо от нас.

— Да-да, именно это я и хотел сказать.

— А вот и нет, — вполне уверенно заявил ему Маклеод. — Я хочу обратить ваше внимание на то, что нельзя отрицать право кого бы то ни было на познание законов этого мира и принципов взаимодействия его частей. Психологический базис человека, о котором вы так упорно мне толкуете, может оказаться тем самым увеличительным стеклом, а впрочем, вполне вероятно, и кривым зеркалом, при помощи которого этот человек более полно увидит те самые отношения и законы.

— У меня такое ощущение, что вы пытаетесь меня запутать, — прищурился Холлингсворт.

Маклеод просидел молча, наверное, с минуту, а затем, судя по всему, воодушевленный пусть и небольшим, но вполне осязаемым успехом своей контратаки, посмотрел на Холлингсворта с улыбкой:

— Я хочу произнести речь в свою защиту.

— Нет, — отрезал Холлингсворт, едва не подпрыгнув на стуле. — Мы за сегодняшний день

ни к чему не пришли и не обсудили даже самые важные моменты, имеющие прямое практическое значение. В общем, мой ответ таков: речь в защиту вам не требуется.

— Я настаиваю на соблюдении своих прав.

— Для начала вы должны выполнить поставленные вам условия.

Маклеода опять бил тик. Один его глаз непроизвольно моргал, а вытянув перед собой руку, он ничего не мог поделывать с дрожащими пальцами.

— Я готов, — заявил он, — но я хотел бы знать, попадет ли эта вещь непосредственно к вам или же будет передана в распоряжение вашей организации.

— Я еще не решил, — сказал Холлингсворт, — но это не должно иметь для вас никакого значения. Вам придется добровольно согласиться с любым из оглашенных нами вариантов — или никакой речи в защиту.

— Хорошо, я согласен с любым из вариантов. — Маклеод пожал плечами. — Могу ли я продолжить?

Холлингсворт кивнул.

— Видите ли, — начал Маклеод, — когда-то я уже заготовил для себя последнее слово. Мне казалось, что я буду зачитывать его в несколько другой обстановке. Я даже составил себе черновой набросок. Начиналась моя речь так: «Сограждане, товарищи! Полагаю, величайшая несправедливость кроется в том, что такой ренегат, как я, подлый шакал, позоривший наше святое дело, получает возможность раскрыть свой поганый рот». — Рот Маклеода в эту минуту действительно открылся в каком-то беззвучном подобии смеха. — Одно из немногих преимуществ ситуации, в которой я оказался на сегодняшний день, состоит в том, что я могу позволить себе не тратить время попусту на извинения за то, что я натворил в прошлом. Что было, то было. А за время, что мне отпущено здесь и сейчас, я бы хотел сосредоточиться лишь на одном аспекте защиты того, что в моей жизни еще имеет смысл и что мне по-прежнему дорого. Я хочу успеть огласить те выводы, к которым я пришел на основании своего жизненного опыта, и, таким образом, придать ему некое интеллектуальное, а быть может, и нравственное обоснование. Я не собираюсь превращать прошлое в свою личную историю. Что же касается будущего, я попытаюсь обрисовать то, каким я его себе представляю. Мне кажется, что сделать это необходимо, ибо идеи не существуют сами по себе. Их жизнь продолжается только в том случае, если они передаются от человека к человеку.

Холлингсворт перебил Маклеода:

— Вы говорите как человек, который считает, что жить ему осталось недолго.

— Вы ошибаетесь, просто я в своей речи пользуюсь метафорами.

— Пользуйтесь чем хотите. Лично меня интересует только одно: мне нужно, чтобы вы сознались, — мрачно заметил Холлингсворт.

— Я же сказал, что вы получите мое признание, а сейчас могу я продолжить?

— Позвольте поинтересоваться, ради кого вы собираетесь сотрясать воздух, оглашая свою речь? — голосом капризного ребенка спросил Холлингсворт. — Вы собираетесь оправдываться передо мной, перед мисс Мэдисон? — Встретившись взглядом со мной, Холлингсворт лишь молча пожал плечами. — Что ж, если вы полагаете, что это стоит затраченного времени, валяйте. Учтите только, что я не разделяю столь высокой оценки, которую вы, судя по всему, даете своему юному другу. — Посмотрев куда-то в сторону, он побарабанил пальцами по столу и поторопил Маклеода: — Ну давайте говорите же. Мы ждем вашего заключительного слова, — вновь капризно проныл он, уже скорее не по-детски, но по-женски.

Глава двадцать девятая

— Могу ли я начать, — задал свой первый риторический вопрос Маклеод. — с оспаривания аргументов изошренного апологета? Всякий раз, когда на меня нападает задумчивое настроение и мне хочется разобраться в том, что я за свою жизнь сделал, я просто поражаюсь, сколько собратьев и товарищей по борьбе у меня когда-то было и какие разные дороги все они для себя выбрали. Так вот, из всех них лишь один типаж оказался востребованным сегодня. Это и есть тот самый апологет-соглашатель. Он сегодня очень популярен, если не сказать моден.

Этот господин охотно согласится с чем угодно. Он с готовностью подтвердит, что нельзя путать государственный капитализм с социализмом. По его мнению, новое общество, пусть и с оговорками, не должно становиться обществом без каких бы то ни было привилегий. И в то же время, смотри-ка, Маклеод, такой человек всегда готов поучаствовать в подведении любых итогов, причем делать он это будет со всей полагающейся убежденностью, беспристрастностью и даже безжалостностью. Он будет умудренно кивать поседевшей головой и соглашаться с тобой. Да, мировая революция провалилась. Политическая сознательность пролетариата так и не достигла необходимого критического уровня, и следует признать, вряд ли достигнет его в обозримом будущем. Но самое важное, как скажет апологет, не подготовить желаемые социальные потрясения, а сохранить существование цивилизации и обеспечить неприкосновенность высшей ценности этого мира — человеческой жизни. Таким образом, главной задачей нашего поколения становится не организация революции и даже не критика глобализации, милитаризации и всех тех тенденций, которые мы с тобой считаем не просто опасными для дела революции, но и к тому же омерзительными. Давай, Маклеод, соглашайся, мы же историки. Признайся в том, что равенства на земле нет и не было по крайней мере со времен первобытно-общинного строя. Что же касается свободы, то она время от времени оказывается в распоряжении тех, кто может себе ее позволить благодаря своему благосостоянию. Да и то лишь в выборе способа проведения досуга. Похоже, это и есть единственная на данном историческом этапе форма реального существования такой отвлеченной категории, как свобода. Итак, свобода это роскошь, а равенство — вообще мечта. Кроме того, сегодня мы должны согласиться с необходимостью апеллировать к среднему человеку, к его самым заурядным чертам и свойствам. Более того, нам на время даже стоит отказаться от попыток отыскать в современниках лучшие качества человеческой души и сознания. Ничего, рано или поздно этот этап безвременья кончится. Задача сегодняшнего дня — положить конец как острым, так и вялотекущим конфликтам внутри существующей экономической системы. Сам видишь, Маклеод, повторяет мой несуществующий, мифический брат, ничего ты в жизни не понимал и не понимаешь. Твои личные проблемы — это вовсе не проблемы человечества. Что сейчас важнее всего — накормить миллионы голодающих в Африке, а для этого вся мировая экономика, все производство должно работать по единому плану. Мы, старик, переоценили человека, его потенциал. Такой план не способен обеспечить то равенство, которое возможно лишь при социализме. Обидно, конечно, но, с другой стороны, какая, в общем-то, разница? Толпы голодных нужно накормить, причем немедленно — в приказном порядке. Иначе наш мир рухнет в самое ближайшее время. Таким образом, наша задача на данный момент — не покончить с эксплуатацией человека человеком, но снять самые острые внутренние противоречия существующего экономического порядка. Я, старик, выскажу мысль, которая покажется тебе крамольной: вполне вероятно, что все это время мы заблуждались, а как раз буржуазия и была права. Судя по нашему опыту, человек способен существовать только в том обществе, где ему обеспечены такие общечеловеческие ценности,

как неравенство и классовые привилегии.

Как я уже говорил, — продолжил Маклеод, — наш апологет-соглашатель готов признать что угодно. Да-да, вполне вероятно, скажет он мне, что вскоре начнется мировая война. В то же время не факт, что ее не удастся избежать. Кто его знает, старина, как все обернется. История — штука непредсказуемая. Ну как можно знать наверняка, будет война или нет? А даже если это и случится, не стоит паниковать и полагать, что все потеряно. Надо находить положительные стороны во всем, даже в войне. Сам подумай, случись такая неприятность, и уже будет не важно, какой ценой, какой жестокостью и какими страданиями окупится победа: одна сторона все равно возьмет верх и будет править миром. Разве это плохо? Когда еще человечество могло мечтать о если не вечном, то по крайней мере продолжительном и устойчивом мире во всем мире? Ну а осмотревшись, победители разберутся с родимыми пятнами эксплуатации человека человеком тем или иным рациональным способом. А собственно говоря, почему ты думаешь, что этого не случится? Наоборот, уверяю тебя, что при таком исходе все основные противоречия будут сняты раз и навсегда.

Слова Маклеода, похоже, всерьез заинтересовали Холлингворта.

— Если вы позволите мне высказать свое мнение, — перебил он Маклеода, — то я со всей ответственностью могу заявить оратору: отлично сказано. Нет, вы поймите, я человек далекий от политики, хотя и привык считать себя в некотором роде либералом. Тем не менее, задумываясь время от времени над этими материями, я пришел к выводу, что настоящая демократия — это когда правителю удастся убедить свое тупое стадо в том, что оно счастливо. Если же человек не дурак и не попадает под определение быдла, то он все равно не будет счастлив и доволен как непосредственно своей жизнью, так и окружающим миром. Нет, вы, конечно, можете возразить, — поспешил вставить Холлингворт, заметив, что Маклеод не подоброму нахмурился, — что тупая масса не может быть счастлива хотя бы потому, что эти люди, по вашему выражению, являются обманутыми и эксплуатируемыми. На это я вам вот как возражу: по-моему, люди не имеют ничего против того, чтобы их обманывали. Если они об этом не догадываются и если какой-нибудь умник не решит открыть им глаза. А вот когда они, вняв популистским речам, осознают свою обманутость и свое угнетенное положение, вот тут-то и выясняется, что терпеть они такое положение больше не намерены. — Холлингворт захихикал. — Что это я вдруг разговорился? — Бросив взгляд на часы, он обратился к Маклеоду: — Прошу прощения, а нельзя ли как-нибудь покороче?

Маклеод смотрел на Холлингворта, словно не узнавая. Судя по его лицу, он считал, что следовать изначально заданной нити этого разговора для него даже важнее, чем для всех нас. Стараясь не отвлекаться от той мысли, на которой перебил его Холлингворт, он не глядя сунул руку в карман и выложил на стол стопку небольших листков бумаги, на которых, как я понял, были конспективно изложены основные пункты его речи.

— Убедительность приводимых соглашателем аргументов основывается на весьма своеобразной логике, столь же привлекательной, сколь и поверхностной. На самом же деле все, что он говорит, — полная чушь. — Это заявление стоило выдержанной Маклеодом паузы. — Следует, кстати, отметить, что такой идеальный соглашатель — это всего лишь идеальная концепция. В жизни же он, гордо именующий себя реалистом, ведет себя весьма неприглядно: то и дело мечется от одной противоборствующей стороны к другой, предлагая им поочередно свои услуги. Естественно, выбор хозяина обусловлен для него тем, кто из оппонентов находится на данный момент в более выигрышном положении. Заняв свое скромное место в иерархии той или иной стороны, он начинает отстаивать ее точку зрения самым ревностным образом. Он готов, например, убеждать всех вокруг, что величайшим благом для человечества будет грядущая война, в которой неминуемо должны победить те, на чьей стороне он находится. Если

же спросить его, что будет, когда победят другие, он ответит: это станет мировой катастрофой, величайшей катастрофой всех времен и народов. Вот таким образом, соединив воедино две половинки истины, мы можем прийти к некоторым выводам.

В первый раз за все время разговора лицо Маклеода несколько оживилось. Он по-прежнему сидел на стуле, напряженно выпрямив спину, его руки все так же лежали на столе, придерживая бумажки с записями, очки были решительно сдвинуты на кончик носа, но, казалось, изложив введение в свой доклад, он сумел частично сбросить давивший на него груз накопившейся усталости.

— Смею вас заверить, что я не нуждаюсь в подобном жонглировании понятиями и политическом лукавстве для того, чтобы отстаивать свою позицию. Единственное, что мне требуется, — это возможность дать собеседнику полный, всесторонний ответ на его вопросы. Мои политологические построения основываются на твердой убежденности в том, что война неизбежна. Мне кажется вполне разумным допустить, что раз уж ни одна из двух мировых сверхдержав не способна решить собственные экономические проблемы без сползания к открытому военному конфликту, то война между ними рано или поздно разразится. Причем в том случае, если оба колосса находятся в состоянии кризиса и не способны разрешить свои внутренние противоречия одновременно, а именно это мы и наблюдаем в настоящее время, тезис о неизбежности войны лишь получает двойное гарантированное подтверждение.

Качественный анализ должен быть в буквальном смысле слова всеобъемлющ. Тем не менее мне уже было сказано, что мое выступление должно вписаться в некие временные рамки. Таким образом, я буду вынужден сузить охват своих рассуждений до комментариев по ключевым вопросам. Итак, ситуация в том блоке государств, экономический строй которых можно условно назвать монополистическим капитализмом, является критической. —

Маклеод перешел к описанию того, что я не так давно уже сам проштудировал по книгам: — Производственные мощности монополий становятся столь огромными, а их инвестиции в механизацию производства вырастают по отношению к стоимости присваиваемой рабочей силы в такой пропорции, что лишь открытие всеобщего мирового рынка для производимых ими товаров и услуг сможет решить проблему поиска новых возможностей для инвестирования и получения прибыли. Причем решение это будет, естественно, временным. «Затерянные уголки земного шара оказались вдруг зонами жизненно важных интересов монополистического капитализма», — продолжал бубнить Маклеод. — Без этих территорий монополии не смогут продолжать свою деятельность с прежним размахом. Без этих новых рынков у них нет иного выбора, кроме как включиться в бесконечную гонку производства оружия или же погрузиться в пучину глубочайшего экономического кризиса. При этом те самые удаленные и отсталые регионы неожиданно для самих себя обнаруживают, что их собственное развитие на пути к капитализму блокируется уже сформировавшимися монополиями. Монополистам выгодно тормозить развитие этих регионов, и они оказываются перед необходимостью, преодолевая жесточайшее сопротивление извне, совершить за какой-то исторический миг гигантский прыжок от феодализма к государственному монополистическому капитализму. Таким образом, мы на сегодняшний день получаем следующую картину: дорога к монополистическому капитализму для половины мира является закрытой. Другая же половина, номинально являясь носителем этой высшей формы развития капитализма, на наших глазах идет семимильными шагами по направлению к всеобщей национализации.

Наиболее глубокий кризис переживает как раз крупнейшая капиталистическая держава мира. Я не стану добавлять ко всему сказанному на эту тему что-то свое — исключительно для того, чтобы как-то отметить. Пожалуй, я сконцентрируюсь на ином, смежном с предыдущим, постулате: делов том, что социализм не может возникнуть просто так, по чьей-то доброй или

злой воле. Аксиома политэкономии гласит, что если в той или иной стране нет объективно существующих материальных возможностей за короткое время значительно повысить уровень благосостояния основной массы населения, то социалистическая революция, даже в случае победы, скоро вырождается в собственную противоположность. После того как стало ясно, что события тысяча девятьсот семнадцатого года не смогли спровоцировать аналогичные восстания пролетариата в большинстве западных стран, победившая революция в России оказалась обречена. Страна находилась в окружении врагов, и ее население прилагало титанические усилия к тому, чтобы поднять уровень производства, опираясь лишь на свои внутренние силы, без какой-либо помощи извне. Вскоре стало ясно, что всякая возможность построения социализма была утрачена в силу необходимости обеспечить элементарное выживание. Сектор экономики, ориентированный на производство товаров и услуг массового потребления, был сокращен свыше всякого разумного минимума. Чем больше в стране производилось средств производства, то есть всякого рода машин, инструментов, оборудования и прочего, что обеспечивало налаживание дальнейшего, уже вторичного производства, тем меньше материальных ресурсов выделялось на нормальное каждодневное потребление. Такого рода проект стремительного роста промышленного потенциала государства имеет шанс на успех, если его удастся реализовать в весьма сжатые сроки. В любом ином случае результаты подобного эксперимента будут плачевными. Если за тяготами и лишениями не последуют какие-либо осязаемые выгоды, производительность труда пролетария начинает резко снижаться. Человек способен участвовать в современном производственном процессе и делать это эффективно, с приложением всех требующихся от него навыков, кругозора, образованности и ответственности за выполняемую работу, лишь осознавая, что будет за это должным образом вознагражден. Рабочий готов к изматывающему труду, если он знает, что в обозримом будущем его уровень жизни значительно повысится, а более отдаленные перспективы и вовсе должны быть обрисованы ему в самых светлых тонах. Если лишить рабочего элементарных комфортных условий жизни и надежды на светлое будущее, его мастерство, его уровень квалификации стремительно деградируют. Какой, спрашивается, прок трудящемуся от того, что заводы и фабрики занимают все новые участки земли, если работа на этих предприятиях не может обеспечить ему приемлемый уровень существования. Следом наступают тяжелые дни и для чиновника-управленца, ибо неспособность экономики производить то, что теоретически может быть произведено на данных производственных мощностях, становится все более острой и трудно разрешимой проблемой.

Что, Лерой, сложно я изъясняюсь? Не удастся следить за моей мыслью? — неожиданно обратился Маклеод к Холлингсворту. Тот среагировал мгновенно: отвечать не стал, а лишь демонстративно зевнул. — Давайте рассмотрим те проблемы, которые встают перед управленцами государственного капитализма. Если они хотят сохранить свою власть и сопутствующие ей привилегии, то у них есть некий предел, ниже которого уровень жизни трудящихся масс, за чье благосостояние они и отвечают, опускаться не должен. В противном случае государство и монополии останутся один на один с малоэффективным рабским трудом, неспособным удержать производство, да и всю экономику в целом, от полного распада. При этом рабочий класс нельзя ни заставить, ни подтолкнуть к тому, чтобы он отдавал рабочую свою силу с интенсивностью, требующейся на современном этапе развития монополистического производства. Ну низок интеллектуальный, а главное, моральный уровень пролетариата, не хочет он вкалывать в поте лица своего, не получая взамен достойного вознаграждения. Пожалуй, лишь адреналин, впрыснутый в кровь рабочих последней войной вместе с навязанной пропагандой необходимостью сражаться против чужеземного захватчика, смог на время решить эту проблему. А теперь, вне зависимости от того, чем закончилась война

для той или иной стороны, вне зависимости от тяжести перенесенных страданий, вне зависимости от желания любого нормального человека жить в мире, долгий прочный мир становится невозможным.

Неизбежным следствием всего вышесказанного является тот факт, что государственный капитализм как форма общественной самоорганизации потерял всякую надежду на собственную способность в значительной мере повысить производительность труда и поднять уровень производства. Ему остается лишь экстенсивный путь развития, а именно — захват новых стран и территорий, присвоение материальных ценностей, принадлежащих другим народам, навязывание им особой формы экономики, способной какое-то время существовать лишь в условиях войны. В общем, все это напоминает разграбление армией мародеров захваченного города. Вот только, к величайшему сожалению для авторов столь блестящего проекта, складывается награбленное добро в какое-то бездонное хранилище, где и пропадает бесследно. Приобретенные, произведенные или отнятые материальные ценности должны быть немедленно конвертированы в новое и новое оружие. Уровень жизни при этом, естественно, не повышается, и этот циклический процесс повторяется раз за разом. Таким образом, каждый блок готовится к войне в силу объективной необходимости обеспечить собственное выживание, и процесс этот необратим.

Эту войну будут вести две системы, в равной мере эксплуатирующие трудящиеся массы. Вряд ли кто-то ответственно возьмется предсказать точное время начала конфликта, но вне зависимости от того, когда именно начнутся активные боевые действия, эта война неизбежно проявится именно в виде конфликта практически идентичных, зеркально отражающих друг друга форм эксплуатации. На историческую арену выходит единственный игрок — государственный капитализм. Государство — это и есть единственный эксплуататор, способный в течение довольно продолжительного времени поддерживать существование сверхвоенизированной экономики и полностью регламентировать жизнь рабочего класса. Государство мало-помалу поглощает монополии — либо мирным путем, либо в ходе коротких внутренних конфликтов ограниченной интенсивности. Альтернативы нет. Исторический императив состоит в сокращении до минимума производства продуктов потребления с целью расширения производства критически необходимого вооружения. Подобные изменения в экономике происходят на фоне военных потерь, поражений и разложения всей военной структуры. Народ, привыкший в какой-то мере к комфортному существованию, как больной к опиумному обезболивающему, вдруг оказывается перед лицом необходимости существовать в безжалостно аскетичном, лишенном каких бы то ни было удобств пространстве. Проблемы начинают накапливаться как снежный ком: люди работают и получают деньги, но производят при этом то, что не является продуктом потребления. Следовательно, деньги есть, а купить на них нечего. Нарастание инфляции может быть приостановлено лишь путем сокращения заработной платы и ужесточения эксплуатации. В результате желание рабочего полноценно трудиться сходит на нет, и экономическое развитие сначала замедляется, а затем и вовсе прекращается. В народе зреет недовольство, кое-где отмечаются случаи саботажа, а затем пролетариат выражает намерение вступить с властью в открытое силовое противостояние. Система полицейского контроля, уже сформированная и хорошо выстроенная к моменту вступления страны в войну, когда сотни тысяч политически неблагонадежных граждан были выявлены и отправлены за решетку, получает новый импульс к развитию. Полиция всякого рода проникает повсюду. Полицейские входят в состав профсоюзов, они оказываются в штабах военного командования. Наконец они занимают все ключевые места в правительстве и важнейших правительственных структурах. Полиция практически добивается такого уровня проникновения во все сферы жизни, что становится особым организмом, сосуществующим со

всем обществом одновременно. Государство контролирует прибыль и обеспечивает надзор. Нищета и благосостояние также поддерживаются и обеспечиваются государством. Да, чиновник-бюрократ ездит на лимузине, но он такой один. Пролетариат нищает. Рабочих в очередной раз обманули, обвели вокруг пальца. Они опять выступают в роли безмозглого стада, которое хозяин гонит по своей прихоти туда, куда считает нужным.

Маклеод говорил мрачно и монотонно. Его речь была так неспешна, что порой даже мне начинало казаться, что он не столько желает донести до слушателя свою мысль, сколько развлекается, передразнивая сам себя. Холлингсворт по-прежнему сидел через стол от него, всем своим видом выражая невыносимую скуку, которую навевали на него разглагольствования Маклеода. Он подпер подбородок ладонью, а свободной рукой лениво ковырялся в носу. С таким же успехом он мог, например, лежать на диване и есть виноград из поставленного рядом блюда. Ленни не то уснула, не то потеряла сознание. Она сидела, вытянув ноги и свесив голову. Дыхание явно не без труда вырывалось из ее груди. Глаза Ленни были плотно зажмурены — как бывает сжата в кулак рука, в которой дергается, пытаясь вырваться на волю, пойманная маленькая ящерица.

— При этом следует учитывать, — вздохнул Маклеод, — что этот процесс развивается стремительно. Народы, которые позже других подошли к новому этапу социальной организации, не имеют обыкновения повторять долгий и сложный путь развития своих предшественников. Более того, характер экономического производства в ближайшее время претерпит настолько глубокие изменения, что от нашей сегодняшней убудочной цивилизации мало что останется. Подумайте об этом хорошенько. Впервые в истории человечества его производство будет нацелено на обеспечение смерти. Людям будет дарована жизнь лишь до той поры, пока их труд является необходимой составляющей достижения этой зловещей цели. Несмотря на все трудности и извилистые пути развития самых различных культур и цивилизаций, предшествовавших нашей, естественной функцией их экономики было производство чего бы то ни было ради обеспечения жизни. Даже капитализм в своем неумном поиске все новых путей получения прибыли автоматически подразумевал, что прибыль и жизнь — категории как минимум совместимые. Наверняка кто-то полагал, что можно пожертвовать какой-то долей жизни ради увеличения нормы прибыли, но тем не менее главный закон оставался неизменным: большая часть производства была направлена на то, чтобы сам трудящийся и его близкие хотя бы оставались в живых. Сейчас же мы имеем уникальную ситуацию: на данном этапе развития государственного капитализма даже эта фундаментальная функция экономики подвергается пересмотру. Отныне и впредь целью общества больше не является сохранение жизни его членов. Более того, все меняется с точностью до наоборот. Основным вопросом, стоящим перед обществом, является необходимость каким-то образом избавиться от лишних сограждан. Причем избавиться самым радикальным способом. С вашего позволения, — вежливый кивок в сторону Холлингворта, — я бы хотел проиллюстрировать свои теоретические выкладки.

— Как вам будет угодно, — сухо сказал Холлингсворт.

— Ни в коем случае нельзя забывать о новом факторе, оказывающем влияние на экономическую жизнь. Я имею в виду перманентность экономического кризиса. Нет, поначалу при капитализме численность паразитирующих слоев общества действительно была сведена к минимуму. Но в настоящее время былых иждивенцев-потребителей с успехом заменила страдающая собственной гигантоманией бюрократия. Отныне и впредь уровень производства никогда не будет достаточно высоким для того, чтобы обеспечивать стабильный, постоянный рост экономики. Естественно, начинается поиск методов, способных стимулировать этот рост. Появляются различные субституты внутригосударственного соревнования и конкуренции.

Возникают искусственно созданные союзы различных государственных корпораций, что сопровождается активной работой всей государственной пропагандистской машины. В общем, все свободные силы государства тратятся на то, чтобы обеспечить соответствие общества и экономики растущим потребностям в производстве оружия и прочего военного снаряжения. На рынке труда вновь появляется и набирает популярность сдельная схема оплаты труда. Подобный процесс — это своего рода наркотик для экономики. Инъекции нужно делать все чаще, увеличивая при этом с каждым разом дозу коварного лекарства. В конце концов ценой за отказ от конкурентной борьбы в экономике становится, как это ни покажется странным, голова самого чиновника-бюрократа. Общество достигает первой стадии каннибализма: чиновничество оказывается перед лицом необходимости избавляться от части себе подобных, при том что этой части общества присуща изначальная тяга к самовоспроизводству и преумножению собственного количества всеми возможными способами. Пожалуй, впервые в истории наблюдается такая картина: класс, пришедший к власти, в тот же момент оказывается в условиях, при которых он вынужден инициировать процедуру самоуничтожения.

Холлингсворт тем временем был занят весьма важным делом: в уголке его рта обнаружилась какая-то крошка. Он аккуратно дотянулся языком до нее, поддел и смахнул в рот. Затем, чтобы завершить начатую гигиеническую процедуру, он основательно почистил языком стык губ, после чего на всякий случай провел им целиком и по верхней, и по нижней губе.

— Вы должны понимать, — сказал ему Маклеод, — эти господа подвергаются очень сильному давлению. Эти люди и подумать не смеют о том, чтобы сделать что-нибудь, что не совпадало бы с интересами государства. Вот только интересы данного общественного института имеют тенденцию беспрестанно меняться, в результате чего блюсти их становится настоящей пыткой. Чиновники-управленцы прекрасно понимают цену любой своей ошибки и в своей деятельности предпочитают обходиться без излишних, с их точки зрения, проявлений инициативы. Тем не менее нельзя забывать, что от каждого из них постоянно требуют демонстрации оголтелого служебного рвения. Им некогда даже подумать о том, что могло бы понадобиться им самим, — так велико их желание исполнить свой долг перед государством. Возникает конфликт между желанием чиновника обустроить свою частную жизнь и его общественными и партийными обязательствами. Их работа ориентирована на обеспечение коллективного благосостояния. В какой-то момент каждого из них начинает терзать искушение, связанное с мыслями об обогащении личного характера. С точки зрения психологии рано или поздно наступает момент, когда кажется, что пришло время получить по счету. На этом этапе бюрократ оказывается склонен к личностному самовыражению через антиобщественные поступки.

В этот момент Маклеод словно запнулся и замолчал. Вместе с Холлингсвортом они несколько удивленно посмотрели друг на друга. Ощущение было такое, словно оба понимают, что один из них наговорил много лишнего, а другой — выслушал это лишнее, даже не пытаясь перебить его.

— Я слушаю, слушаю, — почему-то шепотом заверил Маклеода Холлингсворт, продолжая обследовать языком уголки рта.

— Они чувствуют непреодолимую тягу к тому, чтобы совершить... — Маклеод сделал паузу и продолжил говорить, приняв, как я понял, решение отрезать себе все пути к отступлению. — ...стремление совершить какое-нибудь антигосударственное деяние. Какое именно, не важно. Достаточно того ощущения, что этот поступок не логичен, ничем не обоснован и, самое главное, губителен для них самих, если о нем станет известно карающим органам государства. Как видите, наши чиновники-управленцы теряют самоидентификацию и начинают бессознательно сотрудничать с государством, когда оно приступает к

восхитительному в своем безумии пожиранию своего же обслуживающего персонала.

Но позвольте мне не оплакивать тяжелую и трагическую судьбу этих уважаемых джентльменов. То, что с ними происходит, — не более чем мелкомасштабное отражение процессов разрушения, происходящих как в ходе столкновений между армиями, так и внутри экономик обеих противоборствующих сторон. Война становится единственным методом накопления как капитала, так и других материальных ценностей. Благодаря умелой пропагандистской аранжировке вечной безумной оперы патриотизма, этот дикий способ производства некоторое время сможет поддерживать существование государства. Но что же дальше? Следует учитывать, что по мере того, как рабочий класс истощается под воздействием потогонной системы, действующей на предприятиях, качество и объем выполняемой каждым сотрудником работы неизменно сокращается. Наступает момент, когда эффективными оказываются лишь самые жесткие, даже жестокие меры поддержания экономики на плаву. Государство задействует механизмы принуждения к труду. Появляются обязательные работы, а затем как венец концепции принудительного труда — этот ад, как и полагается, внутренне структурирован и разделен на отдельные круги — от имени государства создаются концентрационные лагеря.

— Да-да, и газовые камеры, — громко, но как-то неосознанно произнесла Ленни. По всей видимости, она только что не то проснулась, не то вышла из какого-то оцепенения.

— Концентрационные лагеря, — повторил Маклеод, — и их двойник — тайный закрытый город, где для государства куется новое оружие невиданной доселе разрушительной силы. Эти явления сопутствуют одному из важнейших, но не сразу заметных разрушительных процессов, происходящих в обществе, — деградации знаний. В прошлом наше коллективное понимание было ограничено лишь способностями человеческого разума воспринимать новую информацию. Теперь же его ограничивает общественный механизм, интересы которого требуют, чтобы большинство населения пребывало в невежестве. Таким образом, мы получаем следующую картину: миллионы людей будут уничтожены в концентрационных лагерях, в то время как немногие будут преспокойно жить своей прежней жизнью буквально в нескольких милях от этих фабрик смерти. И при этом не будут знать о происходящем ничего, ну или почти ничего, за исключением каких-то обрывков информации и слухов.

Чудовищный опыт предыдущей войны дает лишь слабое представление о том, что грозит нам в будущем. Как всем известно, во время предыдущего мирового кризиса была сделана квазисистемная попытка уничтожить ту часть населения страны, которая была неспособна к производительному труду в государственной экономике. Эксперимент в чистом виде не удался: критерии отбора были размыты по всякого рода религиозным, национальным и политическим категориям. По мере нарастания угрозы новой войны, а уж тем более после того, как она начнется, общество и вовсе не сможет позволить себе роскошь присутствия в своем составе даже малого количества людей, не участвующих в общем производстве. Иждивенцы любого рода станут неприемлемыми для общества. Старики и даже дети будут уничтожаться в массовом порядке, и это отбор станет началом всеобщего конца. Сначала будет создан орган отбора, который будет являться составной частью общественной структуры. Отказаться от него будет не легче, чем отказаться от руководящей роли государства. Если Молоха не кормить, то с его голодной смертью наступает и крушение последнего круга ада, нет, всей его сложной концентрической структуры. Итак, год за годом ненужные граждане будут уничтожаться, сначала тысячами, а затем и миллионами — до тех пор, пока в конечном обострении противоречия в ненасытную топку этой чудовищной машины не пойдут и сами производители. Менять что-либо будет уже поздно: как-никак от этого процесса будет зависеть стабильность в обществе.

Маклеод перевел дыхание.

— Война — перманентное состояние общества в будущем. А значит, последний аргумент апологета и соглашателя ничем не лучше, чем первый. Если один из блоков и сумеет уничтожить противника полностью, то и сам понесет тяжелейшие потери. Все это приведет к полнейшему обнищанию выжившего населения. Вновь возникнет необходимость, пусть и на более скромном уровне, прибегнуть к войне как к единственному способу решения экономических и политических проблем при развитом государственном капитализме. Победившая в войне сторона обнаружит, что для обеспечения экономики достаточным количеством рабочей силы стандартных технологий и методов эксплуатации ей уже не хватает. Следовательно, остается прибегнуть к самым нестандартным, экстравагантным, изощренным способам эксплуатации не только оставшихся в живых побежденных, но и немало поредевшего личного состава армии-победительницы. Потребности пытающегося выбраться со дна пропасти государства будут столь велики, а эксплуатация столь жестока, что в обществе вмиг назреет новое противостояние — уже неважно, по какому формальному признаку. Вновь начнутся военные столкновения — уже с иным распределением сил и союзнических группировок, что в сочетании с голодом, гражданской войной и парализованной, разрушенной экономикой довольно быстро повергнет жалкие остатки человечества в состояние варварства.

— Ваша речь закончена? — грозно спросил Холлингсворт.

— Итак, вы очень скоро придете к власти, — сказал Маклеод, словно не заметив вопроса, — но вы получили в свое распоряжение не здоровый организм, а раковую опухоль кризиса. Что ж, остается лишь посмотреть, как вы будете вкушать эти прекрасные плоды.

— Хватит, прекратите! — скомандовал Холлингсворт.

Эхо окрика Холлингсворта стихло, и в комнате вновь воцарилась тишина.

— Я считаю себя обязанным обсудить перспективы, вырисовывающиеся перед социализмом, — медленно произнес Маклеод, — это займет еще несколько минут, и на этом я закончу свое выступление.

Холлингсворт откинулся на спинку стула и мрачно заявил:

— Я здесь не для того, чтобы выслушивать ваши оскорбления. Извольте выразаться так, чтобы ваши замечания не носили личного характера.

— Существует возможность обратить вспять тот процесс, который я только что обрисовал перед вами. Это средство на данный момент не является сверхпопулярным, но другого у нас попросту нет. Я говорю о той идеологической платформе и разработанной на ее базе программе, которую можно весьма вольно назвать революционным социализмом. Данная концепция подразумевает создание общества, где весь народ владеет и управляет всеми средствами производства, в противовес тому, что существует во всем мире в настоящее время. Кроме того, эта идеология основывается на концепции подлинного равноправия: в этом обществе каждый работает в соответствии со своими возможностями и каждый же получает в соответствии со своими потребностями. Речь идет об обществе без эксплуатации, об обществе торжества справедливости. Как видите, это полная противоположность тому, что я только что вам предсказывал.

Спрашивается, как же этого достичь. Вот тут-то мы и подходим к поворотному моменту во всей истории человечества. Мы, к сожалению, слишком долго полагали, что победа социализма неизбежна. Эта ошибка привела к тому, что мы расслабились и в итоге оказались неспособны бороться за торжество своих идей. Социализм, конечно, неизбежен, но при одном условии, а именно — при наличии цивилизации. Нам просто как-то в голову не приходило, что нужно рассматривать историческую перспективу, в которой это условие может и не соблюдаться. Социализм, как я уже говорил, это вам не коврик, о который политики могут вытирать ноги,

предварительно вырезав его ножницами из куска ткани себе по вкусу. Наступление эпохи социализма зависит от потенциала человечества, а это, между прочим, вопрос открытый. В привычных философских терминах и категориях его не решить. Вполне вероятно, что некоторые необходимые условия для возникновения социализма так никогда и не появятся, по крайней мере одновременно. Ну не соберется вместе достаточное количество людей с необходимым уровнем развития сознания и достаточным желанием изменить этот мир. Можно сказать, подумав, — не сейчас, так рано или поздно наберется критическая масса человеческого материала нужного качества. Только ждать этого момента, может быть, придется лет сто, если не больше, а как раз именно времени у нас сейчас и нет. За сто лет, вполне возможно, рухнет весь этот мир. Все то, что было создано человечеством за века и тысячелетия истории.

До сих пор я говорил в самых общих, отвлеченных терминах, и, наверно, это звучало не слишком убедительно. Так вот, я со всей ответственностью заявляю, что на данный момент мы находимся в практически безнадежной ситуации. Идеология революционного социализма существует в настоящее время лишь в виде разрозненных фрагментов и осколков. Мы погружены в темные времена. Мировой пролетариат инертен и словно впал в историческое оцепенение. Самое страшное, что рабочие разобщены и четко делят друг друга на принадлежащих к одному блоку или же к другому. Вдали, за горизонтом, на самом отсталом на планете континенте революционные ферменты провоцируют некоторое брожение. К сожалению, даже там революционные силы уже подавлены как извне, так и изнутри представителями государственного капитализма. С началом войны, как вы понимаете, ситуация вряд ли улучшится. Судя по всему, деградация гуманитарной составляющей цивилизации произойдет даже быстрее, чем распад государства. И к тому времени, когда два великих колосса начнут кромсать друг друга, порождая на свет сотни окровавленных лилипутов, вряд ли можно будет рассчитывать на то, что революционный социализм будет выступать в качестве одной из ведущих идеологий во множестве, несомненно, грядущих гражданских войн. Уничтожение большей части производственных мощностей на планете станет неразрешимой проблемой для всего человечества. Одна надежда на то, что государство разложится и деградирует быстрее, чем человеческая мораль и сознание. Тогда в противовес чудовищной несправедливости и неравенству государственного капитализма в людях сохранится сила воли и твердая убежденность в том, что так жить больше нельзя. Я полагаю, что при таком ходе развития событий массами, в первую очередь трудящегося населения, будет воспринято революционное сознание. Был ведь уже даже на нашей памяти случай, когда локомотив истории помчался с невероятной скоростью. Мы сами были свидетелями тех десяти лет, которые пронеслись как один день. И наоборот, тех считанных дней, каждый из которых был равен по значимости как минимум десяти годам. Опираясь на этот опыт, я смею предположить, что Ленин завтрашнего дня может появиться, стремительно обогнав за час целое столетие. Я лишь надеюсь на то, что революционная решительность и убежденность, равной которой еще не знала история, вычистит Землю, пройдет по ней, как метлой, освобождая ее от всей нечисти. И тогда все эти слова и мысли, сложные, заумные, трудные порой для понимания, найдут свой отклик в сердце даже самого дремучего и неграмотного крестьянина. Я верю, что настанет день, когда теоретик социализма не будет подстраивать свою мысль под язык масс, а наоборот, миллионы людей смогут легко, опираясь на свой жизненный опыт, умом и сердцем воспринять его идеи.

Роль теоретика в такие времена возрастает многократно. Культура революционного социализма не создается в один день. Кроме того, немногие из нас доживут до того времени, когда наши идеи станут востребованы массами. Тем не менее кто-то должен дожить, кто-то должен будет возглавить революционное движение. В переломные моменты истории, в дни

революции роль личности также оказывается решающей. Сейчас речь не идет ни о создании мощной партии, ни о привлечении на нашу сторону армии сочувствующих. Мы не будем пытаться затмить зарево доменной печи государственной пропаганды нашей свечой. Сейчас нам нужно другое: мы должны упиться, должны осваивать навык работы с теми немногими, кто верит нам и в наши идеи, и если некое ядро нашего движения переживет этот чудовищный ураган, то мы окажемся на гребне волны грядущего революционного движения, ибо только у нас будет накоплен огромный опыт выживания и столь необходимый багаж знаний о недавней истории, расстановке сил и настроениях в обществе. Да, мы окажемся единственными, кто будет готов реально шагнуть на авансцену истории с готовой программой действий.

Да, проблем у нас будет предостаточно. Нас будет преследовать призрак проигранной войны и погибшей революции. Что ж, мы не отказываемся от нашей ответственности. Пусть этот призрак всегда остается с нами. Ибо если мы забудем о том, что совершили раньше, если вдруг вновь решим, что наша партия всех партий может дать ответ на все вопросы, все наши подвиги и страдания, а также самопожертвование и борьба миллионов людей во всем мире вновь окажутся напрасными. Мы не имеем права замыкаться на каких-либо идеях как на догме. Мы не должны использовать государственную машину и юридические процедуры для принуждения. Есть лишь два незыблемых принципа: свобода и равенство. Без них мы ничто. Попрание одного из них неизбежно выхолащивает смысл другого. Этот урок нельзя забывать. Да, конечно, наша решимость и наша борьба будут приводить к кризисам. Вокруг нас будут раздаваться голоса, которые нам не захочется слышать. Будут и работающие вхолостую машины, и отказывающиеся трудиться люди. В какой-то период возможна неразбериха, разруха и падение производства. И если мы при поддержке масс сможем преодолеть это, то победа революции будет неизбежной. Но если ради преодоления трудностей мы пойдем на попрание священных принципов свободы и равенства, революция вновь погибнет. И тогда какой-нибудь бесстрашный теоретик запишет в своем дневнике: гуманитарный потенциал человечества оказался неадекватен масштабам предложенных историей вызовов.

Если же все пойдет так, как я это вижу, если мы все же победим, то какое славное время настанет для всех нас. Нет, я не пророк, грезящий наяву райскими кущами. Я вовсе не утверждаю, что мы одним скачком, без лишних усилий перенесемся из кромешного ада в рай на земле. Но по крайней мере у нас под ногами окажется твердая почва, ступая по которой мы сможем сами выстраивать сюжет и драматургию той пьесы, в которой будем играть главную роль. Это будет время разительных контрастов, время отчаяния и время надежды. Время, когда даже та несправедливость, с которой вроде бы уже будет покончено, попытается вновь найти себе место в отношениях между людьми. Это будет время, когда... Мы сейчас даже не представляем себе, что откроется нам, что окажется в нашем распоряжении после победы революции. На самом деле мы так мало знаем о себе и о мире и к тому же теряем драгоценное отпущенное нам историческое время в борьбе друг с другом и с природой. Так вот, новое время даст нам возможность оглядеться и заняться подлинным познанием мира. Мы должны наконец разобраться в том, что все-таки сможем понять, что рано или поздно постигнем, а что останется на веки непознанным и недостижимым. Может быть, мы наконец сумеем понять, дано ли человеку организовать свою жизнь, во-первых, в согласии с природой, а во-вторых — в согласии с требованиями, выдвигаемыми разумом, или же нам суждено так и оставаться самой большой ошибкой природы, самым бестолковым животным на планете. Впервые в мировой истории человек освободится от враждебного воздействия окружающей среды и сможет в конце концов разобраться, какие подлинные проблемы познания мира и самого себя стоят перед ним. Да, как бы мне хотелось дожить до этого дня! Уверю вас, жить в те времена будет гораздо интереснее, чем сейчас.

На лице Маклеода блуждала улыбка. Он словно забыл, кто он, где находится и почему здесь оказался. Ощущение было такое, что он мысленно перенесся куда-то туда, в будущее, которое раскрылось перед ним во всей своей красе, — то будущее, которое должно стать новой весной человечества, захватывающим путешествием в неизвестное и заслуженной наградой. Вдруг Маклеод непроизвольно напрягся и несколько раз моргнул. Казалось, этот сладостный мираж так и норовил исчезнуть прямо у него на глазах.

И тут заговорил Холлингсворт. При этом голос его был весьма недовольным:

— Да вы, оказывается, любите побаловать себя. Вы только посмотрите, — он даже похлопал в ладоши, — взрослый серьезный человек — и балует себя приятными пустячками. Ну прямо дитя малое.

Речь Маклеода была закончена. Наваждение ушло, и его лицо вновь стало серым, словно каменным. Его по-своему оживлял лишь нервный тик, по-прежнему заставлявший вздрагивать одну щеку. Мрачным, глухим голосом он произнес:

— Похоже, я несколько увлекся.

— Увлеклись, говорите? — Холлингсворт был вне себя от злости. — Да вы просто решили проверить мое терпение на прочность. И спрашивается, ради чего все это? Ради чего злоупотреблять моим хорошим отношением? То вы, видите ли, вещаете мне об одном великом проекте, то перескакиваете на другой. Да если бы я не был человеком вежливым и воспитанным... — Эту фразу Холлингсворт договаривать не стал. — Вы мне лучше вот что скажите, — проникновенным голосом обратился он к Маклеоду, — неужели такой человек, как вы, с учетом всего накопленного вами жизненного опыта, неужели вы ничуть не устали?

Маклеод, видимо, не до конца понял, к чему клонит Холлингсворт, и решил не отвечать на этот вопрос. Он ограничился тем, что отрицательно покачал головой.

— Неужели вы всерьез думаете, что человеку, которому выпала и без того нелегкая, насыщенная событиями жизнь, действительно хватит запаса сил, чтобы дожить до тех светлых дней, которые вы нам так ярко обрисовали? Согласитесь, это же бред. Все, что вы рассказываете, — всего лишь типичная для вас, революционеров, пустая болтовня. Вы, Маклеод, человек, конечно, немолодой, но, по-моему, называть вас стариком было бы преждевременно. Так нет же, посмотрите вы на него, — Холлингсворт явно не на шутку рассердился и был готов перейти на личности, — сидит как какой-нибудь старый пень и знай себе твердит, как, мол, все было хорошо в годы его молодости. И это было прекрасно, и то замечательно... С одной лишь разницей: вы с упорством, достойным старого маразматика, твердите нам не о прошлом, а о прекрасном будущем.

Вероятно, Маклеод ожидал этого ушата холод ной воды. Ругань Холлингсворта не произвела на него, по крайней мере внешне, никакого впечатления. Он мысленно все еще был там — в том прекрасном мире, который он только что описывал слушателям. Холлингсворт же не унимался:

— Ну хорошо, предположим, что вы дожили до своего светлого будущего. Собрались все революционеры вместе и стали гадать, как быть дальше. Вы-то там что делать будете? Кому вы, спрашивается, будете там нужны? Мы ведь не зря тщательно проверили все ваши контакты и связи. Впрочем, проверять особо было и нечего: нет у вас ни связей, ни контактов. На это, кстати, есть более чем веские причины. Взять даже эти ваши писульки. Вы же посылали их анонимно тем людям, которых эти рассуждения, по вашему мнению, могли заинтересовать. Маклеод, вам же стыдно за самого себя! — почти прокричал Холлингсворт. — Вот вы думаете, что вы весь из себя такой выдающийся и необыкновенный. Вы и на меня по-прежнему глядите свысока. Но я, между прочим, по крайней мере снисхожу до того, чтобы говорить с вами, а ваши замечательные революционеры не захотят иметь с вами ничего общего, даже если вдруг у них

появится возможность иметь хоть какие-то дела друг с другом или с кем бы то ни было. Вы для них — никто, вы вышли из их касты, и путь обратно вам заказан. Особенно — попрошу не забывать об этом — с учетом вашего досье, в котором собрано слишком много того, что говорит не в вашу пользу, с точки зрения ваших товарищей по революционной борьбе.

— Ну, положим, забыть об этом мне не позволят. Для этого, например, у меня есть вы, — попытался отшутиться Маклеод. — Впрочем, это все правда, — прошептал он. — Что еще вам от меня нужно?

— Я хочу, чтобы вы сделали признание, — повторил Холлингсворт.

— Я же сказал, что признаюсь.

— Да, я помню, но я и вас неплохо знаю. Все то время, пока вы тут нам проповедовали, где-то в глубине души у вас теплилась надежда, что признаваться вам не придется, что вы сможете гордо отвергнуть мое предложение. А по мне, уговор есть уговор, и я буду настаивать на его формальном исполнении.

Глядя себе на руки, Маклеод спросил:

— Признание будет оформлено на вас лично или на ваш отдел?

— Пишите как хотите, это не имеет большого значения, — все так же раздраженно ответил Холлингсворт. — И не пытайтесь запугать меня обращением к моему начальству. Неужели вы думаете, что там у нас вам предложат лучшие условия? Уверяю вас, это не так. Я — ваша лучшая сделка со следствием, я — ваш главный гарант и... В общем, эту вещь вы передадите мне.

— Хорошо, я признаюсь, — вздохнул Маклеод.

Ленни вдруг захныкала и сквозь слезы закричала:

— Да что же ты делаешь!

Я так и не понял, к кому из них были обращены ее слова.

— Теперь, я полагаю, у нас с вами состоится частный разговор без свидетелей, — сказал Холлингсворт. — Я думаю, какое-то время это займет.

Маклеод согласно кивнул:

— Что ж, я ничего не имею против, если это будет не пустая болтовня, а действительно деловая беседа. — Не глядя в мою сторону и точно так же стараясь не встречаться взглядом с Ленни, Маклеод негромко сказал: — Ловетт, я буду вынужден попросить вас покинуть помещение.

— Но я не хочу уходить, — возразил я, — не смейте отдавать ему эту вещь.

На этот раз он повернулся ко мне и посмотрел на меня какими-то пустыми глазами.

— Но... Просто иного выхода нет. Ловетт, вы все-таки идите.

Ленни перестала хныкать, вытерла глаза и с каменным лицом направилась к двери.

— Да уйдете вы, наконец, или нет?! — раздраженно воскликнул Холлингсворт.

Мы вышли из комнаты. Какое-то время я вместе с Ленни постоял на лестничной площадке, затем мы расстались. Она пошла в свою комнату, я — в свою. За нами оставался пейзаж после битвы, там подсчитывали потери и выторговывали условия.

И почему-то стыдно было мне.

Глава тридцатая

Я пролежал на кровати не смыкая глаз всю ночь. Большую часть времени я провел в темноте, но иногда включал свет, словно пытаюсь таким образом заглушить страх, которым был пропитан каждый звук, проникавший в мою комнату. Да, в ту ночь привычный городской гул и уже хорошо знакомые звуки, раздававшиеся в доме, я воспринимал как нечто ужасное, как знамение грядущей беды. Я то и дело вздрагивал, а сердце мое наполнялось печалью и унынием. Я даже не стеснялся своего страха — как ребенок, оставленный в одиночестве в огромном пустом здании.

В какой-то момент я услышал, как они вдвоем вышли из комнаты, пересекли лестничную площадку и молча спустились вниз. Потом, ощутив, как по моей коже пробежал холодок, я услышал, как кто-то плачет. Этот звук почти не напугал меня, ибо я и сам не знаю как удерживался от того, чтобы не зарыдать, уткнувшись в подушку, изливая в слезах переполнявшую меня тоску и печаль. Где-то — было ли это у нас в доме или же в одном из соседних зданий — надсадно кричал младенец. Его голос перекрывал даже сопровождавший его звуковой фон пьяной ссоры.

Все они не по од ному разу прошли передо мной — такие взрослые, такие серьезные и такие возвышенные. Каждый посчитал своим долгом произнести передо мной монолог, единственным слушателем которого был я. Каждый что-то оправдывал, что-то или кого-то обвинял, каждый просил о пощаде и в то же время был безжалостен. Дело дошло до того, что меня от них всех затошнило. Обливаясь потом, я лежал на кровати, почему-то представляя себя на палубе корабля, попавшего в шторм в душную ночь где-то в районе экватора. Ленни пела какую-то однообразную песню, Холлингсворт хихикал, а Маклеод, как всегда, посасывал свою неизменную карамельку, неизвестно откуда бравшуюся у него за щекой. Откуда-то издалека до меня донесся его голос: «Не унывай, приятель. От судьбы не уйдешь, вот в чем все дело».

Гиневра держала Монину на вытянутой руке, а та молотила кулачками воздух и отчаянно визжала, безмерно расстроившись из-за того, что ее удары не достигают цели. Гиневра тем временем весьма недовольным тоном, словно протестуя против чего-то, обратилась ко мне: «Между прочим, Ловетт, я еще молодая женщина, а молодой женщине не пристало превращаться в няньку при собственном ребенке, потому что она, как я уже сказала, женщина еще не старая, но надо же какое дело этот ребенок — да я ее могу задушить в объятиях, но она от меня уже никуда не денется, как, впрочем, и я от нее».

Так они и танцевали передо мной, сменяя друг друга. Ночь все больше напоминала пылающую топку печи. Моя голова горела.

Рассвет я встретил с такой головной болью, тошнотой и омерзительным привкусом во рту, словно накануне провел бурный вечер и напился до смерти. С каждой минутой в комнате становилось все жарче. Все мое тело словно запекалось в духовке. Ночь выдалась тяжелой, но и день не обещал принести с собой облегчения. Интересно, подумал я, неужели мы с ним проговорили всю ночь напролет? Неужели кто-то из них действительно приходил ко мне в комнату и присаживался на край моей кровати? По крайней мере одного персонажа из этой череды ночных призраков я хотел увидеть наяву. Вспомнив про Ленни, я вдруг испугался, что уже поздно, что поезд уже ушел и что опоздал я буквально на считанные минуты. Наскоро одевшись, я вышел на лестницу и вдруг понял, что, прежде чем куда-то идти, мне нужно вернуться в свою комнату. Я и сейчас толком не понимаю, почему в тот момент я решил ни в коем случае не оставлять дома пишущую машинку. Я зачем-то упаковал ее в чехол и взял с собой. Примерно через час я сдал ее в ломбард и, повинувшись этому внутреннему импульсу,

зачем-то назвался не своим именем и оставил в квитанции адрес с несуществующей улицей. Оставался недописанный роман. Я положил его в большой конверт и отправил до востребования на главпочтамт, указав, естественно, свое новое имя. Через пару дней, ну или, быть может, через неделю я смог бы получить рукопись обратно. Покончив с делами, я почувствовал, что могу наконец вернуться домой и заглянуть к Ленни.

Дверь в ее комнату была не заперта, и, постучав, я почувствовал, как она слегка приоткрылась. Я заглянул внутрь, и тут кто-то невидимый не то опустил передо мной плотный темный занавес, не то, наоборот, поднял его и открыл моему взору более чем странную картину. Я словно вернулся в измучившую меня ночь. Едва оправившись от боли и страха, я вновь окунулся в эту мрачную атмосферу, что, впрочем, не помешало мне усмехнуться при виде того, как преобразилось жилище Ленни. Я замер на пороге и стал рассматривать комнату. Это потребовало некоторого времени и труда, потому что разглядеть детали было достаточно сложно.

Комната была погружена во тьму. Солнечный свет не проникал в помещение, а под потолком горела одинокая тусклая электрическая лампочка.

Ее мертвенный свет никак не нарушал общего впечатления наступившей в этой части пространства вечной ночи. Кроме того, в комнате было очень душно. Запах скипидара и краски смешивался с вонью от пролитого на пол спиртного. Черная краска была повсюду: пятна покрывали ковер, стены, даже на полу разлилась приличных размеров лужа.

Ленни убила своего мышонка.

Окна были покрашены черной краской. Вверх, вниз, справа налево и обратно, кистью она водила, по всей видимости, яростно, нимало не заботясь о том, чтобы хоть как-то упорядочить свою работу. Слезы, наверное, душили ее, и она размазывала краску по стеклам, как кровь принесенного в жертву не то мышонка, не то Спасителя. Замазанные крупными мазками в несколько слоев, окна таращились ослепшими глазницами мне в лицо. Краска еще не успела высохнуть и черной кровью стекала по рамам. Тяжелые капли то и дело срывались на подоконник.

Наконец я увидел Ленни. Она, как всегда, сидела на диване — в какой-то неестественной, неудобной позе — и глядела в стену перед собой. Она не пошевелилась, судя по всему, не заметив ни моего появления, ни звука открывшейся двери. Я прокашлялся, но, поняв, что этого явно будет недостаточно, захлопнул за собой дверь с такой силой, что, наверное, разбудил бы даже наркомана, забывшегося в опиумном дурмане. Однако Ленни не была без сознания. Просто все ее чувства и реакции были заторможены, проявляясь едва ли в четверть силы. Услышав громкий стук, она медленно обернулась ко мне с легким удивлением на лице. Можно было подумать, что я тихонько вошел и ласково поздоровался с нею.

— А, Майки, это ты. Привет, — сказала она замогильным голосом. Затем подняла голову и подставило лицо под тусклое «солнце» — электрическую лампочку.

В этот момент она представляла собой на редкость непривлекательное зрелище.

— Что с тобой случилось? — воскликнул я.

— А что, что-то случилось? — не слишком внятно переспросила она.

Ее лицо опухло, а одна скула и вовсе раздулась от набухшего под глазом здорового синяка. Ленни кособоко улыбнулась мне, при этом один из уголков ее рта даже не пошевелился.

— Что случилось? — повторил я свой вопрос.

Ленни посмотрела на меня отсутствующе, и я вдруг осознал, что она сильно пьяна. Рядом с диваном валялась пустая бутылка. Ленни стала катать ее из стороны в сторону, поддевая пальцами то одной, то другой ноги.

— Сейчас еще утро? — спросила она.

Несмотря на то что Ленни по всем признакам была здорово пьяна, на какое-то мгновение мне она показалась абсолютно трезвой. В конце концов, это неровное дыхание и заторможенная, не совсем членораздельная речь могли быть следствием эмоционального напряжения и накопившейся усталости. Ведь чтобы так перемазать всю комнату, тоже нужно было изрядно потрудиться. Я обратил внимание на то, что Ленни по ходу малярных работ не пощадила и себя. Брызги краски достаточно равномерно покрывали ее лицо и волосы, вдоль подбородка с одной стороны протянулся жирный черный мазок.

— Знаешь, мне кажется, что через час-другой я, наверное, смогу уснуть. — не без труда размыкая губы, произнесла Ленни.

— Где это тебе так досталось? — настойчиво продолжал я расспрашивать.

Она пожала плечами:

— Это было, наверное, несколько часов назад. Думаю, ранним утром, хотя я, конечно, могу ошибаться. Я помню, что, когда он ушел, дневной свет показался мне невыносимым. Похоже, еще до этого он спустился ко мне и принес бутылку, вот эту. Между прочим, с его стороны это было очень любезно. Это же он забрал у меня тот ящик с виски, который сам же мне и принес. Ну а сидеть в своей комнате, там, наверху, в одиночестве, он просто не мог. Слишком напуган он был своей победой, ему нужно было выговориться. Он говорил, говорил — до тех пор, пока все подозрения, которые только могли появиться у меня в душе, не подтвердились, да что там, пока они не стали больше чем правдой. Да, ничтожество восторжествовало. Посредственность и ничтожество стремятся быть законопослушными, только настоящая личность способна совершить большое преступление. Вот мы с ним выпили, поговорили, и я рассказала ему все, что думаю, по поводу этого дела и по поводу того, за что он любит... Ну, в общем, ее. Я сказала ему: тили-тили-тесто, жених и невеста, влопался, мол, влюбился как мальчишка — так помалкивай. Ну а он как это услышал, так раз — и вlepил мне оплеуху. Видал, какой синяк? Чует мое сердце, он понимал, что мне это понравится. Ну а когда он ушел, я вспомнила, что накануне купила краску. Знаешь, я в магазине расплакалась, а продавец еще спросил, недоверчиво так: мисс, неужели квартиру — в черный цвет? Вот я и взялась за работу. Терпеть не могу эти окна. Впрочем, нет, это они меня ненавидят. — Посмотрев на черные стекла, она словно удивилась: — Надо же, все действительно черное. Глупо это, конечно. Черный цвет — он такой, никуда не денется. Вот только я почему-то думала... — Пенни посмотрела мне в глаза и, помолчав, продолжила: — Думала, что он исчезнет, как все остальное. Да, зря я все это затеяла, я имею в виду — покраску.

— Значит, это он тебя?

— Да какая разница? Ну что ты стоишь как дурак последний, сядь, наконец. Не видишь, устала я, тяжело мне смотреть, как ты стоишь.

— Ну ничего, за это он рассчитается, — разозлился я.

Пенни медленно покачала головой.

— Майки, какой же ты глупый. Пойми, я на него не в обиде за то, что он сделал. Никаких претензий, понимаешь? В конце концов, за мной перед ним должок был. Между прочим, это не ты пришел ко мне и предложил выпить, когда мне было так одиноко.

Пенни смотрела на стену прямо перед собой. Я молчал, и через несколько секунд она вновь заговорила, похоже даже не отдавая себе отчета в том, что между ее фразами прошло довольно много времени.

— Как же я ею восхищалась, — сказала она, аккуратно прикасаясь пальцами к синяку на скуле. — Я помню, как впервые увидела ее роскошные рыжие волосы, ее нежную розовую кожу ее почти детские складочки там, где скопился лишний жирок. Давно не испытывала я такого восторга. Я просто растаяла, как масло на солнце, как мед. Ну надо же, подумала я, какая

сладость — сладость, сладость, мерзость, сладость, жирная сладость. — Губы Ленни болезненно искривились. — Так нет же, он не захотел отдать ее мне. Он меня предал. Не то чтобы я была к этому не готова, нет, я прекрасно знала, что, если нужно, он предаст и собственную мать, а я лишь буду аплодировать ему при этом. Но он ведь предал не меня, а самого себя. Я, конечно, понимаю, что за ним стоят другие люди, да и над ним их немало, но мне казалось, что внутренне он все равно свободен и презирает своего начальника точно так же, как того презирал бы любой человек, имеющий представление о чувстве собственного достоинства. Когда же он ударил меня на этот раз... Да конечно, я стерпела бы это, и притом — с удовольствием, но... Если бы он ударил меня, чтобы выразить свое презрение или хотя бы просто так, повинувшись собственному капризу... Но, увы, он открыл мне свое подлинное лицо, и оно оказалось попросту омерзительным. Это ж надо — победить меня и при этом так бояться. Я не хочу терпеть боль, если меня бьют со страха. Жаль только, что он все-таки оказался сильнее меня. Сильнее и к тому же еще противнее, чем я предполагала. — Вздох раскаяния сорвался с ее губ. — А потом он стал грязно шутить, отпускать в мой адрес сальные комплименты и вообще попытался представить все дело так, что и выпивка, и этот «дружеский шлепок» были с его стороны если не одолжением, то, по крайней мере, подарком. Он якобы просто сделал все, чтобы я, с учетом моих странных вкусов, осталась довольна.

На пороге комнаты появился Маклеод. Он не то улыбнулся, не то презрительно поджал губы, увидев, во что Ленни превратила окна, да и всю комнату.

Ленни вздрогнула и села, выпрямив спину.

— Что вам нужно? Что вы здесь делаете? — сухо спросила она.

— Да вот, хотел поговорить с вами, — сказал он мягко и даже как-то ласково.

Маклеод осторожно принялся, явно пытаясь разобраться, чем помимо краски пахнет в комнате. При этом на Ленни он посмотрел буквально один раз, да и то искоса, явно не желая спровоцировать всплеск ее недовольства.

— Вам, кажется, было нехорошо, — осторожно заметил он.

Ленни просто окаменела. Она уже была готова расценить вопрос Маклеода как издевку, но искренняя забота, прозвучавшая в его голосе, сделала свое дело. Ленни устало кивнула:

— Нет-нет, все в порядке, спасибо.

Ощущение было такое, словно Ленни воспринимала Маклеода как угрозу до тех пор, пока он считал ее больной. Чтобы доказать обратное, она как могла энергичнее встала с дивана, расправила плечи и даже растянула губы в улыбке.

— У меня все в порядке, — повторила она. — Я отлично позавтракала, и у меня полно денег. Представляете себе, стою я, значит, на улице, а мимо меня проходит какой-то человек — и раз, сует мне пятидесятидолларовую купюру прямо в руки. Пока я сообразила, что происходит, его уже и след простыл.

Видимо, чтобы доказать, что не все из сказанного ею выдумка, Пенни сунула руку в нагрудный карман и вытащила из него скомканную банкноту.

— Значит, он тебя бьет, а ты берешь у него деньги! — не выдержав, воскликнул я.

— Это был незнакомый мне человек, — сказала Пенни.

— Отстань от нее и вообще уйди, — неожиданно резко обратился ко мне Маклеод.

— Да я только...

— Уйди, говорю, — повторил Маклеод, положив мне на плечо руку. По правде говоря, я давно не видел на его лице столь пугающего выражения. — Уйди и сделай одолжение, ты, ничего не чувствующий, ничего не помнящий, не знающий, что такое страдание... — На мгновение Маклеод замолчал, не в силах сразу придумать какой-нибудь эпитет пообиднее в мой адрес. — По какому праву ты решил, что можешь во что-то вмешиваться?

Рука Маклеода дрогнула, и он вдруг отдернул ее, словно испугавшись того, что делает. Он развернулся спиной ко мне, постоял так некоторое время, а когда вновь обернулся, его лицо приобрело привычное — суровое, но не пугающее — выражение.

— Я взяла деньги, — сказала Пенни, обращаясь, похоже, в большей степени к самой себе, — потому что деньги — это ничто, и ему доставило удовольствие сделать мне доброе дело. А потом... Потом он просто убежал по улице, видимо устыдившись своей доброты.

Маклеод кивнул.

— Шли бы вы спать, — сказал он почти по-отечески нежно, — когда проснетесь, уверяю вас, жизнь покажется вам гораздо лучше.

Какое-то детское выражение появилось на лице Пенни. Она словно перенеслась туда, в то далекое прошлое, когда была еще маленькой девочкой. Она аккуратно прикоснулась к синяку на лице, но пронзившая ее при этом боль развеяла все чары. Сжав зубы, она посильнее надавила на больное место, словно пытаясь преодолеть боль и исцелить таким волшебным образом ноющую рану. Она нажимала все сильнее и сильнее, но в какой-то момент, не выдержав, застонала и одернула руку.

Если кто-то и рассказывал ей об этом волшебном средстве, то на сей раз оно оказалось бессильным.

— Не смейте быть добрым ко мне! — закричала она на Маклеода. — Я сейчас доброту не вынесу.

— Именно она вам сейчас и нужна, — негромко произнес он в ответ.

— Это я должна дарить доброту другим, а не наоборот, — всхлипнула Пенни.

Она вздрогнула и как-то неловко, на негнущихся ногах сделал несколько шагов в сторону Маклеода. У меня было ощущение, что она вот-вот закачается и рухнет на него, позволив не то поддержать, не то обнять себя. Впрочем, с той же долей вероятности она могла неожиданно наброситься на него с кулаками. Ни одна из моих догадок не подтвердилась. Пенни остановилась, жалобно застонала, приложила ладонь ко лбу и прошептала:

— Зачем вы пришли сюда?

Маклеод внимательно рассматривал пепел, скопившийся на кончике его сигареты. Вроде бы он даже собирался что-то ответить, но, похоже, передумал. На долгие секунды его губы крепко сжались и даже успели побледнеть от напряжения. Наконец он покачал головой:

— Я сам не знаю.

— Почему ко мне?

— Потому что, — медленно выговорил он, словно формулируя эту мысль для самого себя, — потому что не он, а вы меня окончательно сломали.

К моему изумлению, при этих словах Ленни с готовностью кивнула и напрямую, уже ничего не опасаясь, спросила:

— Но вы ведь были с ними совсем недолго, правда? — В ожидании ответа она глядела себе под ноги.

— Правда, — сказал Маклеод.

— Я так и знала, я знала! — закричала Ленни. — Я знала, и все-таки... — Она сделала паузу и вдруг с ужасом спросила: — Что же я наделала?

В следующую секунду ее мысль побежала еще дальше, и Ленни, не услышав ответа на предыдущий вопрос, уже задавала следующий — на другую тему.

— Значит, вы отдали ему эту вещь, — с уверенностью в голосе заявила она. — Вы ему ее отдали. Тогда, спрашивается, зачем вы сейчас ко мне пришли?

— Я ему еще ничего не отдавал, — произнес Маклеод так тихо, что мне пришлось податься вперед, чтобы разобрать, что он говорит. — Я сказал ему, что мне нужно время, и он снизошел

до того, чтобы пойти мне навстречу. Так что, по его милости, время у меня есть — до вечера или даже, быть может, до завтрашнего утра.

— И вы теперь не знаете, что делать? — с надеждой спросила она.

— Я не могу отдать ее ему, — задыхаясь, прошептал Маклеод, — и в то же время мне почему-то кажется, что я это сделаю.

— Ни в коем случае, — заявила она, — вы не имеете права, не отдавайте.

Он шагнул к ней и взял ее руки в свои.

— Но зачем мне сопротивляться? К чему все это, ради чего? — Отпустив ее руки, он посмотрел куда-то в сторону. Только сейчас я понял, что он всячески избегает моего взгляда. — И все-таки я пришел именно к вам, — обратился он к Ленни. — Именно вас я почему-то захотел увидеть. Ради чего я это сделал, что я мшу от вас ждать — поддержки, ободрения? В общем, хотите верьте, хотите нет, но я сам не знаю, почему оказался здесь. — Почесав в затылке, он негромко добавил: — Если бы я сумел убедить вас в этом раньше... Я клянусь, что...

— Не нужно мне ни в чем клясться, — глухо сказала она, — я ничего не знаю, ничего не знаю.

Ленни начала плакать. Ревела она с каким-то детским достоинством: слезы текли по ее щекам, а она стояла, словно по стойке «смирно», высоко подняв голову и вытянув руки по швам. Скрывать свои чувства она и не пыталась — для нее это было бы унижительно. Она заговорила быстро, словно стараясь обогнать саму себя. Ее истерзанное лицо было искажено не то от физической боли, не от нравственных страданий.

— Сколько же лет прошло, и все это время они работали надо мной. Они — это те люди в белом.

Если тебе суждено быть убитым, ты должен полюбить своего убийцу. Кого еще любить, если больше в этом мире у тебя никого нет. Они приготовили вас для меня, они позволили мне ненавидеть вас и сделали так, что эта ненависть стала самым важным чувством в моей жизни. Несмотря на это, когда я увидела вас в первый раз, я подумала... А теперь я точно знаю, да, знаю наверняка, что вы — не тот человек, которого они мне представили в вашем обличе. Раньше я видела вас как преступника, а теперь понимаю, что вы невиновны. Вот только... Как мне признаться в этом, если они приставили ко мне этого, с соломенными волосами. Он должен был привести и увести меня отсюда, должен был прикрывать меня от вас и от других опасностей. Это все он... Постарайтесь понять и простить меня.

Не переставая плакать, она вдруг опустилась перед Маклеодом на колени, а затем, потеряв сознание от терзавших ее чувств, повалилась всем телом на пол, даже не пытаясь смягчить падение руками. Ее голова ударилась об пол с глухим стуком.

Мы подняли Пенни на ноги и отвели ее к кровати. Но стоило нам уложить ее, как она вздрогнула и тотчас же попыталась встать. Мы с трудом удержали ее в сидячем положении.

— Вы спрашиваете меня, что вам делать. Ни в коем случае не отдавайте эту вещь ему. — Ее лицо вновь исказила гримаса боли, и она продолжила говорить уже другим, срывающимся и хрипящим голосом: — Я прошу вас об этом, и, несмотря на это... Пусть и мне кто-то поможет. Я же не могу, я должна сказать вам, что даже сейчас, когда все признания уже сделаны, я не могу... Я не могу найти в себе силы, чтобы побороть ненависть, которую зажгли во мне по отношению к вам эти люди. — Было похоже, что последние слова вконец истощили ее силы, она откинулась на подушку и закричала, обращаясь к Маклеоду: — Уходите! Уходите отсюда.

Он встал, явно собираясь выполнить ее просьбу. В какой-то момент он вновь замер и негромко, словно смущаясь, обратился к Ленни:

— Вы только скажите, вы тоже думаете, что я окончательно выпал из обоймы и что я теперь чужой для всех, с кем сражался бок о бок? — Поймав в глазах Ленни утвердительный

ответ на свой вопрос, он попытался переубедить ее и пустился в сбивчивые объяснения: — Раньше в нашем движении меня очень уважали. Меня называли интеллектуалом с сердцем воина. Я смогу вновь добиться такого же отношения к себе. Мне нужно только немного отдохнуть и, наверное... Наверное, собраться с мыслями и силами. Ведь если все снова начнется, если все еще не погибло, а ведь вы вчера сами слышали, что это не так, то я еще им понадоблюсь. Я просто уверен, что я еще смогу быть полезен. Или... Неужели они будут так жестоки? Неужели мне откажут в праве быть с ними, бороться за наше общее дело вместе с ними?

Ленни вздрогнула и поморщилась, как будто голос Маклеода причинял ей боль. Затем шепотом, чтобы не оглушить саму себя, она начала умолять его:

— Уходите отсюда. Уходите, уходите.

С мудрой, печальной улыбкой на лице он поцеловал ей руку.

— Я пойду. — Затем он обернулся ко мне: — Ловетт, а с вами мы увидимся позже. Надеюсь, увидимся. — С этими словами он вышел из комнаты и закрыл за собой дверь.

Ленни встала с кровати и сделала несколько шагов.

— Он ушел? — спросила она, приложив дрожащие пальцы к подбородку. — Ты тоже уходи, уйдите все.

Она резко обернулась, и ее тело не успело выполнить столь стремительно отданную команду. Покачнувшись, Ленни потеряла равновесие и рухнула на пол, сильно ударившись при этом головой. Не поняв толком, что произошло, и еще не почувствовав боли, она попыталась было встать, приподнялась на руках, но координация опять подвела ее, и она вновь ударилась головой об пол, кажется уже в третий раз за короткое время. На этот раз приложилась она, правда, не виском и не затылком, а лбом. Ленни упорно пыталась встать, но когда я подошел и попытался приподнять ее на руках, она впиалась ногтями мне в запястье и закричала:

— Отстань от меня, уйди!

В общем, дальше дело пошло так: я стоял сложа руки и наблюдал за тем, как Ленни пытается перемещаться в пространстве. Процесс этот был для нее делом нелегким. Координированности в странных движениях ее рук и ног было не больше, чем в трепетании вырезанной из бумаги фигурки на ветру. Вспотев от напряжения, она все же добралась до кровати и легла на спину, уставившись пустыми глазами в потолок. Я лишь беспомощно наблюдал за этим мучительным процессом, а когда Ленни успокоилась, присел на краешек кровати у нее в ногах.

Потянулись долгие часы жаркого дня. Ленни лежала на кровати, а я все так же сидел рядом. Постепенно мне передалось ее состояние. Я чувствовал, как у нее начинается жар, и в ту же минуту понимал, что и у меня пылает лоб и краснеет лицо. Если Ленни вздрагивала, меня била дрожь. Если она непроизвольно сгибала затекшую руку или ногу, мои конечности тотчас же начинали ныть, как у старика перед дождем. Время от времени Ленни стонала и что-то бормотала во сне. Иногда она срывалась на крик и сама просыпалась от собственного голоса. Я же за все это время не проронил ни слова и не издал ни звука. В горле у меня пересохло. Миновал полдень, день клонился к вечеру. Солнце било в слепые черные окна, и в комнате было просто невыносимо жарко. Не выдержав, я в какой-то момент подошел к окну и не без труда оторвал приклеенную краской фрамугу от рамы, приоткрыв ее буквально на пару дюймов. Ворвавшийся в помещение луч света так перепугал Ленни, что она с криком вскочила на кровати, и мне ничего не оставалось, как вновь захлопнуть окно. Над городом стали сгущаться вечерние сумерки. Об этом я, впрочем, мог лишь догадываться — по тому, как в комнате становилось все более мрачно и неуютно. Контуры предметов стали сливаться со стенами, а черный свет, все-таки проникавший сквозь закрашенные окна, уступил место мрачной,

неподсвеченной изнутри темноте. В какой-то момент я не столько понял, сколько почувствовал, что на улице совсем стемнело и наступила ночь.

Ленни вновь открыла глаза и, повернув голову набок, почти не мигая смотрела на висевшую под потолком лампочку.

— Я устала, очень-очень устала, — тяжело дыша, прошептала она.

— Отдохни еще немного, — сказал я ей, увидев, что она собирается сесть.

— Брось, какой там отдых, отдыха нет и больше не будет. — Она ощупала лицо. — Вот тебе и грустная сказка про принцессу, которая искала не счастье, а горе и печали — просто потому, что никакого счастья в ее мире не было.

Отдела она на меня в упор, но я вовсе не был уверен в том, что она отдавала себе отчет в моем присутствии. Признаться, смотреть на ее опухшее, перемазанное краской и обезображенное синяком лицо было не слитком приятно. Впрочем, мне показалось, что ее последняя фраза была адресована мне, и я задумался над тем, что сказать в ответ. Ленни не стала дожидаться реакции с моей стороны и, глядя в стену мимо меня так, словно увидела врата в рай, заговорила сама.

— В наше время существует столько умных теорий, — голос Ленни звучал неожиданно мелодично, как колокольчик, — столько способов привлечь людей на свою сторону, но никому не приходит в голову просто побыть с принцессой, пока она если не умрет, то хотя бы заплачется вволю. — Пошарив в кармане пижамы, она достала помятую сигарету, в которой оставалось, похоже, не больше половины обычного количества табака. Я дернулся было за зажигалкой, но она покачала головой: — Не надо, это последняя. Больше у меня все равно курить нечего. — Помяв сигарету пальцами, она высыпала большую часть остававшегося табака себе в ладонь. — Принцесса с удовольствием переделала бы свой мир, отдав каждому то, что полагалось ему по праву, и заставив отдавать другим то, что он был должен. Они, ее порочные под данные, должны были бы гордиться, осознавая, какая красота и какое благородство выросли на почве их вины и пороков. — Напевное звучание голоса Ленни сменилось уже привычным хрипом: — Вот только случилось так, что все, к чему она ни прикасалась, делалось неправильно. Она и свои цветы сажала бутонами в землю и корнями к небу. Поняв ее беспомощность, окружающие стали пользоваться этим, превратив ее в орудие в своих недобрых делах. Вскоре она стала их служанкой. Нет, ради какого-нибудь светлого дела она готова была снести любые тяготы и унижения, но они использовали ее, а когда всем, и ей в том числе, стало ясно, что служила она грязному и позорному делу, они убежали, оставив ее в одиночестве, не забыв предварительно сорвать повязку с ее глаз. Вернувшись же к своей принцессе, они стали обвинять ее в том, что она зря старалась и что ничего в этом мире скорби и печали ей изменить не удалось. Ты такая же, как мы, кричали они, ты ничем не отличаешься от нас. Ты — та же грязь, что и любой из нас. Никакая ты больше не принцесса. И тут ударил гром, небо потемнело, принцесса увидела себя и закричала: оказывается, не была она вовсе никакой принцессой, а была лишь ничем. Она... Она была ну вот этой вот сигаретой — полупустой, помятой и больше всего на свете боящейся спички...

Глава тридцать первая

Посреди ночи мне приснился сон. Впрочем, вполне возможно, что я нарисовал себе эту картину, еще бодрствуя. Дело было так: я стоял в толпе людей в каком-то огромном зале, причем стояли мы сначала на одной ноге, а затем, по команде, на другой. Перед нами выступал какой-то человек, сразу видно, очень важный. Говорил он долго, никак не меньше часа. Мы слушали его, опустив глаза и разглядывая плевки, окурки в кулечках из обрывков газеты и прочую грязь, устилавшую пол. Стоило докладчику сделать паузу, как раздавался условный сигнал, и по этому сигналу мы, как по команде, начинали кричать «ура» и аплодировать. Немного освоившись, я стал разбирать, о чем говорит человек, стоящий на трибуне.

— Меня называют наемником и шпионом. У тех, кто это говорит, есть на то свои причины, ибо они как раз и есть саботажники и агенты нашего противника — той страны, которая является нашим заклятым врагом. Слушайте же меня, сограждане: плевать я хотел на этих сукиных детей, на шпионов и наемников, которые любят не свою родину, а чужую страну. Если вы обнаружите среди вас такого человека, хотя бы одного, немедленно повесьте его. Слышите, немедленно повесьте его! Меня называют наемником и продажным двойным агентом. Говорят, что раньше я работал на наших врагов. Но это же все ложь. Я клянусь в том, что это неправда. Клянусь жизнью моей покойной матери, да хранит ее Бог.

Мы, естественно, заорали «ура» и зааплодировали — так было положено при упоминании Бога.

— Я работаю в поте лица своего для того, чтобы вы зарабатывали больше денег, — вот вам святая правда. Но, сограждане, идет война. Красные, черные, чурки, косоглазые и прочая нечисть — нам нужно воевать со всеми ними одновременно. Я работаю для того, чтобы вы получали больше денег, и то, что вы сейчас получаете меньше, это лишь случайность, непредвиденное стечение обстоятельств. Я тут слышал, что кое-кто из вас поговаривает о революции. Соотечественники, выкиньте из головы эту чушь. Труд — вот что должно занимать ваши умы. Нам нужно работать, а не устраивать революции. Революция — ничто. Производство ради победы в войне — всё. Да, мы подчиняемся ускоренному темпу производства. Да, каждый из вас работает все больше, но все это — сугубо добровольно. «Добровольно» — вот ключевое слово для нас с вами. И мы не критикуем за это никого, потому что ускорение — это увеличение производства. А чем выше уровень производства, тем выше ваше благосостояние. Отдельные агитаторы, которые находятся среди вас, смеют заявлять, что оружие это не то, что повышает благосостояние. Но это, говорю я вам, неправда. Оружие как раз и дает нам благосостояние. Это наше богатство, и притом — я хочу особо подчеркнуть это — богатство, которое принадлежит всем нам вместе и каждому по отдельности. Так что пусть эти агитаторы заткнут свои поганые пасти.

Неожиданно докладчик вытянул вперед руку, и его указующий перст нацелился прямо в мою сторону.

— Вы, Ловетт, вы, это вас я имел в виду.

В отчаянии понимая, что все кончено, я лишь закричал в ответ, видимо стараясь заглушить обвинения в свой адрес:

— Это вы смутьян и зачинщик. Это вы своей агитацией вводите рабочих в заблуждение. Это вы обманываете трудящихся...

Я же все кричал и кричал, но теперь уже от боли: мне заломили руки за спину и потащили вон из зала, на улицу, где уже поджидали меня люди в форме.

А затем стены этого странного здания, должно быть, рухнули, потому что я вдруг не то

проснулся, не то очнулся и убедился в том, что лежу на своей кровати, полностью одетый, уткнувшись лицом в подушку и вцепившись обеими руками в металлические прутья спинки.

Сколько же было времени? Желание выяснить это не давало мне покоя, и я, шатаясь как пьяный, встал с кровати и попытался найти в темноте будильник. Стоя посреди комнаты в холодных туфлях на босу ногу, я вдруг услышал такой знакомый мягкий и вкрадчивый голос:

— Маклеод, эй, Маклеод, это я. Нам пора.

Это был Холлингсворт. Я приоткрыл дверь и заглянул в образовавшуюся щель. Маклеод стоял перед запертой дверью своей комнаты, похоже не без труда удерживая свое тело в вертикальном положении. Ощущение было такое, что он вот-вот упадет ничком на пол. Поддерживал его Лерой или нет, мне не было видно, но я не удивился бы, что Маклеоду в его состоянии удастся устоять на ногах лишь с посторонней помощью.

— Долго же вы тянули с ответом, — посетовал Холлингсворт.

— Я думал.

Холлингсворт посмотрел на часы.

— Я, кстати, поднялся к вам, чтобы сообщить, — извиняющимся тоном сказал он, — что через пятнадцать минут вы должны спуститься вниз. Вас перевезут в положенное место.

Маклеод вытер одну руку о другую и, к моему удивлению, усмехнулся:

— Вы же давали мне время подумать до завтрашнего утра.

— Приношу свои извинения.

— Я так понимаю, у вас возникли некоторые трудности, — заметил Маклеод.

Постучав носком по полу, Холлингсворт покачал головой:

— В конце концов, любой человек имеет право передумать и изменить принятое ранее решение.

Маклеод ухмыльнулся:

— Вас, похоже, вызвали в офис, причем потребовали вашего присутствия немедленно. И это, как я понимаю, неспроста. Я прав?

— Да как же это можно. У них нет никакого права... — Холлингсворт говорил таким тоном, словно сам не верил в то, что с ним происходит.

— Не имеют права подозревать вас? — Маклеод не по-доброму усмехнулся. — Долго же до них доходило.

Холлингсворт посмотрел ему в глаза, сделал рукой какой-то неопределенный жест, словно собирался что-то сказать, но в последний момент забыл, что именно хотел сообщить собеседнику, и вдруг совсем по-детски пропищал:

— Нет уж, вы меня послушайте! — Из груди Холлингсворта вырвалось что-то похожее на всхлипывание: — Ну почему так получается, почему все хотят сделать так, чтобы мне было плохо?

У меня возникло твердое ощущение, что передо мной не взрослый человек, а двенадцатилетний мальчишка.

— Вы ведь тоже очень устали, — тихо сказал Маклеод.

— Я просто не могу вернуться и продолжать работать на них как ни в чем не бывало, — неожиданно для меня и для Маклеода выпалил Холлингсворт, — довели они меня, просто довели. Сидишь, бывало, на работе и думаешь: «В конце концов, кто я такой?» Вы понимаете, что я хотел сказать? А впрочем, уж кто-кто, а вы-то точно понимаете. Вы удивительно понимающий человек, — с нежностью в голосе произнес он. — К чему все эти неприятные разговоры, которые были у меня с некоторыми коллегами, к чему все эти проблемы? Они ведь ни за что, ну или, скажем так, из-за каких-то пустяков следят теперь за мной и за моими друзьями. Они думают, что они не такие, как мы, что они другие. На самом же деле они ничем

не отличаются от нас, только почему-то этого не понимают. — В какое-то мгновение фонтан эмоций, бывший из Холлингворта, затих, и он, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, снял с головы канотье и, сунув его себе под мышку, наклонился, чтобы размять кожаные носки своих мокасин. Разогнувшись, он сказал: — Я должен принести вам свои извинения за то, что здорово извел вас... Ну, я имею в виду — тогда. Но вы, надеюсь, поймете меня. Я же видел, что вы пошли общаться с мистером Ловеттом, и мои чувства были уязвлены. Сегодня я готов вновь повторить, что восхищаюсь вами. Вы необыкновенный человек. У меня такое ощущение, что, сложишь обстоятельства немного иначе — чуть более благоприятно для нас обоих, — и мы вполне могли бы стать хорошими друзьями. — С этими словами он положил ладонь на руку Маклеода. Тот, в свою очередь, неспешно, но настойчиво высвободил руку и сухо сказал:

— Прошу прощения, но, боюсь, мне было бы трудно избавиться от некоторых предубеждений.

Холлингворт не стал обижаться и с деланной легкостью произнес:

— Впрочем, это неважно, я думаю, мы еще повидаемся с вами — когда все это немножко успокоится. Ну а пока я постараюсь позаботиться о вашей жене. Противоположности притягиваются, как она любит говорить. Но на самом деле противоположности бывают очень и очень похожи. — Он задумался, явно сомневаясь, стоит ли говорить то, что крутилось у него на языке, но, видимо, решил, что другой возможности ему в ближайшее время не представится: — Вы даже не догадываетесь, как я рад, что вы все-таки решили передать эту вещь в мои руки. Если бы не ваше согласие, пришлось бы отвезти вас к нам, и поверьте, радости бы мне это не доставило. Я даже когда только обдумывал свое предложение, понимал, что оно интересно не только мне, но и вам. Да что там говорить, для вас ведь, если честно, оно стало настоящим спасением. — Он произнес эти слова вкрадчивым мягким голосом, наклонившись поближе к Маклеоду. — Вы такой упорный, такой принципиальный и стойкий, — восхищенно мурлыкал он, — мне всегда нравились такие люди, как вы, и в глубине души — нет-нет, не отрицайте, мне лучше знать — я уверен, вы смогли бы оценить меня и мы, несомненно, подружились бы. — На этой фразе Холлингворт перебил сам себя и строго скомандовал: — Ну все, сентиментальная часть закончена. Через пятнадцать минут я жду вас внизу, постарайтесь не задерживаться.

— Как вы уже, наверное, заметили, я человек точный и исполнительный.

— Это верно, и главное — берегите себя, продумайте дальнейшие планы. Постарайтесь уехать в то же время, что и я. Рискну дать вам совет: не засиживайтесь, уезжайте быстрее.

Он вроде бы собрался пожать Маклеоду руку, но в последний момент передумал и, резко развернувшись, стал спускаться вниз.

Маклеод вернулся в свою комнату. Я подождал, пока шаги на лестнице стихнут, и вышел на площадку. Толкнув незапертую дверь, я увидел Маклеода, сидевшего на стуле. Он сидел в той же позе и на том же месте, как тогда — во время допроса. С той лишь разницей, что место Холлингворта по другую сторону стола пустовало.

Маклеод взглянул на меня:

— Всё слышали?

Я кивнул.

Маклеод снял с брюк приставшую к ним соринку.

— Я принял окончательное решение.

— Я понял.

— Я ему ничего не отдам.

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— И что же вы собираетесь делать? — спросил я наконец.

— Через несколько минут я спущусь к нему.

— Тогда почему же вы... — начал было я, но не стал договаривать фразу.

— Почему я не исчезну? — Маклеод усмехнулся. — Ну, если честно, то боюсь, на это у меня сейчас ни физических, ни душевных сил не хватит. Он же ждет там, внизу, и уверяю вас, не следует недооценивать его предусмотрительность. Ждет он, кстати, не один. С ним женщина, которая была мне женой, и, кстати, мой ребенок. Я думаю, они уже готовы. Все вещи давно упакованы, и они ждут только одного — последнего поступка с моей стороны.

— Так как же Гиневра?

Маклеод устало пожал плечами.

— Всю свою жизнь я любил идеи. Вот и любовь к жене стала очередной возлюбленной мною идеей. По-моему, к ребенку это относится в той же мере. Увы, Ловетт, я должен иметь мужество признаться себе в этом. А раз так, то и выбора у меня не остается. У меня такое ощущение, что я специально добивался неудач и поражений буквально по всем направлениям — просто для того, чтобы лишить себя выбора. Именно возможность выбора подрывает волю человека, не дает ему принять единственно верное, пусть и тяжелое решение. — Вздрогнув, он добавил: — Впрочем, нет, есть одна альтернатива, которая помогает собрать волю в кулак.

— Что теперь будет? — спросил я и уточнил: — Я имею в виду сейчас, в ближайшие минуты.

Маклеод глумливо посмотрел на меня:

— Мне кажется, вы ждете чего-то слишком необычного. Ну что ж, могу вас обрадовать. Сначала будет разыграна эффектная театральная сцена, а затем... Затем я исчезну.

Он произнес эти слова таким тоном, что мне стало не по себе.

— И вы ничего здесь не оставите?

— Ничего.

— Отдали бы вы эту штуковину мне, — осторожно предложил я.

Маклеод вскочил со стула и схватил меня за руку.

— Вы уверены? Я хотел сказать, вы понимаете, что говорите? — напряженным голосом спросил он.

Сердце бешено колотилось у меня в груди. Мне казалось, еще немного, и я просто не смогу выдавить из себя что-то членораздельное.

— Я много думал об этом, — наконец сумел произнести я, — нет, конечно, я не храбрец и не герой, но я знаю, что... — Наконец-то настало время произнести главные слова. — В общем, у меня нет будущего, а раз так, то я могу его себе выбирать. И если даже оно окажется коротким — это не имеет большого значения.

Маклеод шутливо ткнул меня кулаком в грудь.

— Ну, Ловетт, ну, сукин сын. — Улыбка сияла на его лице. — Эх, как жалко, что у нас так мало времени, мне столько всего нужно вам рассказать. Вы, молодой человек, романтик. Это дело опасное, себя нужно беречь. Кроме того, вы еще очень неопытны и простодушны. Вам предстоит многому научиться. — Он нервно зашагал по комнате. — За пару минут всех советов дать не успеешь. Впрочем, есть такие вещи, которые можно постичь только на собственном опыте. — Не в силах больше сдерживаться, он обнял меня и воскликнул: — Я горжусь вами! — Затем, рассмеявшись, он усадил меня за стол и сказал: — Ну ладно, приступим. Времени у нас действительно немного — буквально несколько минут, — а мне еще нужно вам объяснить самое важное. Детали, условия, характеристики — все это вы усвоите и продумаете потом, на досуге, если, конечно, он у вас будет. — Лицо Маклеода вновь посерьезнело, в голосе появились преподавательские интонации. — Как сказал Ленин попу Шпону: «Учитесь, святой отец, учитесь, а то недолго и голову потерять». Ловетт, вы следите за ходом моей мысли?

Я кивнул.

— Это хорошо. Тогда, можно сказать, я свое дело сделал. Все, мне пора.

— Я пойду с вами, — сказал я.

Маклеод уже встал из-за стола, но при моих словах замер на месте, а затем замахал руками:

— Нет-нет, ни в коем случае, не вздумайте сейчас все испортить. — Я вдруг понял, что он действительно злится. — Если пойдете туда вниз вместе со мной, то все будет кончено, причем для нас обоих. Так что без глупостей, дружище. — Притянув меня к себе за ворот рубашки, он буквально буравил меня горящими глазами. — Я человек старый и, не побоюсь этого слова, опытный. Неужели вы думаете, что я за последние несколько дней не продумал для себя кое-какие вопросы, скажем, тактического характера? — Он говорил, глядя на меня в упор. Я даже ощущал на своем лице его дыхание. — Так что можете быть спокойны. Или вы действительно решили, что я собираюсь просто взять и спуститься к нему, не обеспечив себе какой-нибудь страховки? Нет, я разработал целую схему, в которой вам, мой юный друг, на сегодня места нет. Поверьте, я говорю это не ради красного словца: если вы появитесь там, внизу, вместе со мной, то большей медвежьей услуги вы мне не окажете никогда в жизни. — Отпустив меня, он уже без эмоций, по-деловому пояснил: — Значит, вы остаетесь здесь, а если что-то пойдет не так, а подобная вероятность существует, оглянитесь и выходите из дома. Я буду ждать вас в переулке, там, в самом конце нашей улицы.

— Ну, если вы так считаете... Вы действительно так решили?

Маклеод наклонился ко мне и театрально заговорщицким шепотом — словно пьяный актер, разыгрывающий дурной спектакль, — сказал:

— Сынок, только не вздумай туда соваться. Если появишься внизу раньше времени, операция пойдет насмарку. Все будет нормально, вот увидишь. А когда я вернусь, мы с тобой все обсудим, и я тебе в подробностях расскажу, как хитрая лиса Маклеод опять урвала себе очередную гроздь вкусного винограда. — С этими словами он неожиданно сунул мне в руку конверт. — Тут буквально несколько слов. Я хотел оставить эту записку у вас под дверью. Не нужно открывать конверт прямо сейчас, прочтете потом.

Он закурил, вышел на лестничную площадку, похлопал ладонью по перилам и через секунду скрылся из виду.

В течение нескольких показавшихся мне невыносимо долгими минут я усилием воли соблюдал распоряжение Маклеода. Сжав зубы, я остался сидеть в темной комнате, с удивлением ощущая, что в помещении становится все менее жарко, что от стен начинает веять холодом и что воздух у нас на чердаке, тот самый воздух, который душил меня все это лето, стремительно становится ледяным и затхлым. У меня потекло из носа, руки стали замерзать, но больше всего на нервы мне действовала тишина, повисшая в доме. Я ждал — ждал до тех пор, пока не расслышал в этой тишине едва уловимый звук капающей из крана воды. Я попытался определить, откуда он доносился — из нашего ли умывальника на чердаке или же, кто знает, из соседнего дома, — и вдруг почувствовал, что каждая капля причиняет мне адскую боль, как будто вода капает мне на темя уже в течение многих часов. Так я и сидел в пустой комнате, словно в пещере, ощущая, как вокруг меня на полу начинают расти сталактиты.

Не в силах больше выносить это безмолвие, я вышел из комнаты Маклеода, намереваясь вернуться к себе. В тот момент, когда я проходил мимо лестницы, до моего слуха вроде бы донесся знакомый вкрадчивый голос Холлингсворта. Я остановился и машинально спустился на полпролета. Вдруг, как мне показалось, я услышал чьи-то шаги. Впрочем, вполне вероятно, что это просто скрипнула одна из ступенек старой лестницы. Повторяя про себя, что в любом случае не нарушу данное Маклеоду обещание и что вот-вот вернусь обратно к себе в комнату, я спустился сначала на третий этаж, а затем на второй и остановился у комнаты Ленни. Из-под ее двери пробивалась полоска света. Вероятно, там, в комнате, так и горела одинокая тусклая

лампочка, свет которой только подчеркивал мрачную неестественную темноту, царившую в этом помещении. Ленни, скорее всего, по своему обыкновению, лежала на кровати или сидела на диване, запрокинув голову и глядя прямо на лампу. Краска, наверное, еще до конца не высохла, и ее потеки, должно быть, по-прежнему сползали вниз по окнам, меняя узор этих чудовищных, мрачных, абсолютно непроницаемых для дневного света занавесок. Здесь я простоял еще минуту-другую, словно набираясь сил у последнего пограничного поста перед марш-броском на территорию противника.

Внизу, в холле первого этажа, на потертом исцарапанном столе стояла пыльная лампа. Под ее абажуром в пятне света кружилось какое-то насекомое. Оно словно изучало разбросанные по столу отправленные не по тому адресу счета и письма, адресованные каким-то людям, разыскать которых уже не представлялось возможным. Я подошел к столу буквально на цыпочках. Остановившись, я машинально перевернул конверты, даже не глядя на то, кому они адресованы.

Они говорили. Здесь, на ступеньках, ведущих к дверям квартирки Гиневры, я мог разобрать их голоса. Впрочем, нет, даже не голоса, а шепот. Темп, в котором они обменивались репликами, наложение аргументов и контрдоводов друг на друга — все это выдавало напряжение, в котором происходил диалог, и спешку. Оба собеседника явно хотели завершить эту беседу как можно скорее. Они шептались все громче, а время от времени до моего слуха доносились и приглушенные возгласы Гиневры; один раз я отчетливо услышал, как заплакала и тут же почему-то замолчала Монина. Я почти припал к замочной скважине. Те двое спорили все яростнее, никто явно не хотел уступать оппоненту, и вот когда, судя по интонациям, дело подошло к кульминации, я разобрал, как Холлингсворт, перейдя с шепота на жалобный голосок обиженного мальчишки, не то произнес, не то простонал:

— Вы... Вы меня обманули. Вы меня обманули.

— «Поплачь, малыш, поплачь», — запела вдруг Монина.

Что они там делали, мне было неизвестно, но за дверью вновь воцарилась полная тишина. С таким же успехом я мог подслушивать, сидя у себя в комнате наверху и отсчитывая капающие из крана в раковину капли.

— Вы обманули меня в лучших чувствах, — сказал Холлингсворт невероятно ровным и даже кратким голосом, — и я считаю себя обязанным сурово покарать вас за это.

Не знаю, что так напрягло меня в тот момент — интонации ли Холлингсворта или же звук, который я услышал вслед за его словами. Выносить дальше эту тишину лестничной площадки я не мог. Я слышал все, каждое потрескивание пола, каждый шорох, и в ту минуту не зрение, а слух обрисовал мне тревожную картину: я почти увидел доставаемый пистолет и взводящийся курок. В тот же миг там, за стеной, от слов перешли к делу. Они набросились друг на друга, я услышал чей-то крик, звук удара — и, не выдержав, распахнул дверь и вбежал в комнату. Я успел увидеть перед собой падающего Маклеода. Затем, буквально через долю секунды, меня, судя по всему, ударили сзади по голове. Ощущение было такое, словно в черепе у меня что-то взорвалось, и я вдруг увидел, как навстречу мне опрокинулся пол. Я упал ничком с такой силой, что на время потерял сознание.

Я успел выставить перед собой руки, но это не слишком помогло смягчить удар об пол, который закружился вместе со мной, словно плот, попавший в водоворот. Голоса тех, кто находился в комнате, слились в какой-то протяжный звериный вой, но доносились до меня при этом как будто откуда-то издалека. Сначала я разобрал визг Гиневры. «Мне конец, мне конец», — повторяла она, а затем я услышал проклятия и ругань Холлингсворта, который то перебегал, то переходил, а то и перепрыгивал какими-то звериными прыжками из одного угла комнаты в другой. «Машина ждет! — услышал я его окрик. — Мы должны уходить!» Затем

вновь всхлипывания и рыдания. «Уезжай, я остаюсь. Оставь меня, пожалуйста», — умолял кто-то женский голос. Я даже не сразу понял, что это были слезы и мольбы Гиневры. «Оставь меня, умоляю, мне нужно лечь», — хныкала она, но он, насколько я понял по звукам, схватил ее обеими руками и потащил к дверям. «Мы уезжаем, — прохрипел он, — нужно торопиться, времени совсем нет. А эта чертова вещица, она никогда никому не достанется. — Он судорожно сглотнул и повторил: — Никому она не достанется, но что же я наделал? — В конце концов он сорвался на яростный крик: — А ну живо сюда! Давай бери ребенка, хватай ее, я кому сказал!» Надо мной послышалась какая-то беготня, но охота продолжалась недолго. Кто-то споткнулся о мою неподвижную голову, и я услышал, как Монины в ужасе завизжала. Потом она тоже упала на пол с глухим стуком. Кто-то схватил ее и, крепко сжав, передал кому-то другому на руки. Затем я услышал, как все они выскочили за дверь, а потом — голос Гиневры: «Нет, это невозможно, это не должно было случиться», а буквально через мгновение я, несмотря на непрекращавшуюся качку, от которой пол плясал подо мной как сумасшедший, услышал звук какого-то работающего механизма. Я напряг слух, постарался сосредоточиться и вскоре понял, что это работает двигатель автомобиля. Они уезжали. Последнее, что отпечаталось в моей памяти, — жалобные стоны Монины и ее умоляющий голос: «Я хочу к папе!»

Затем машина исчезла, а пол, прогнувшись и резко спружинив, как батут, сначала подбросил меня и опустил на четвереньки, а затем легко, как пушинку, перевернул на спину.

Глава тридцать вторая

Наконец я смог встать и даже понял, что, расставив руки достаточно широко, могу удержаться на ногах, несмотря на то что качающиеся пол и стены всячески старались вывести меня из равновесия. Я сделал несколько неверных шагов и опустился на колени перед телом Маклеода. Его длинные тонкие руки скрывали от меня его лицо. Я даже не стал пытаться увидеть, с каким выражением и с какими чувствами он принял смерть. Я лишь прикоснулся к расслабленным пальцам, а затем встал и прислонился спиной к стене — держаться на ногах, опираясь на надежную ровную поверхность, было гораздо легче. Мне захотелось тотчас же открыть конверт и прочитать то, что было написано Маклеодом и адресовано непосредственно мне.

В комнату вошла Ленни. Она была одета в ту самую пижаму, которая давно уже превратилась в засаленные черные лохмотья. Она обвела комнату рассеянным взглядом, причем я даже не был уверен в том, что она может сносно ориентироваться в пространстве — так плотно прикрывали ей глаза то и дело спадавшие на лицо волосы. При этом Ленни едва слышно напевала какую-то непонятную — без намека на мелодию — песенку. Сначала она увидела Маклеода, затем меня. Не преставая петь, она на некоторое время замерла на месте — точь-в-точь музыкальная кукла в каком-то странном наряде. Наконец она вновь пришла в движение и, подойдя ко мне, заглянула мне в глаза.

— Ты теперь мой брат, — тихо и почти ласково сказала она. — У тебя на щеке кровь, его кровью мы с тобой породнились. — С этими словами она протянула мне руку.

Мы вместе стояли около стены и молчали. Вдруг на нас обрушился целый водопад звуков: к нашему дому одновременно подъехали сразу несколько машин. Один автомобиль пронесся по улице, с визгом затормозил у парадного крыльца, и сноп света от его фар на мгновение превратил для нас ночь в яркий день. Следом, словно ниоткуда, появился брат-близнец первого автомобиля. Точно так же сверкнув фарами, он занял место рядом с первой машиной перед крыльцом нашего дома. Когда из-за угла появилась третья машина и, надрывая мотор, помчалась к тем, что уже выстроились перед крыльцом, я оторвался от стены и потащил Ленни за собой в спальню Гиневры.

Захлопали дверцы машин. По тротуару и крыльцу затопали несколько пар башмаков, со звоном распахнулась калитка, и в прихожую ворвались полномочные агенты той страны, в которой мы живем, — трое спортивного сложения мужчин в деловых костюмах и серых фетровых шляпах. Я слишком поздно сообразил, что следовало бы зажать ладонью рот Ленни. Она вдруг снова не то запела, не то заныла и, чтобы облегчить задачу удивленно переглянувшимся непрошеным гостям, встала со своего места и вышла из темноты спальни им навстречу.

— Я смотрю, вы пришли, — сказала она подчеркнуто громко, так, словно говорила со слабослышащими стариками. — Что ж, я готова принять гостей.

Ленни протянула в сторону визитеров руки, и я заметил на ее запястье зиявшие, как стигматы, следы от погашенных о кожу окурков.

Один из агентов внимательно посмотрел на Ленни и сказал:

— Упакуйте ее.

Его товарищи сделали по шагу вперед и вздрогнули от неожиданности, когда Ленни улыбнулась им:

— Я люблю вас, даже когда вы меня пытаете, вот только, мучая меня, вы страдаете сами.

Ленни прошла вслед за агентами в слабо освещенную прихожую, и тут я заметил, что, как

бы ни старалась она держаться бодро и спокойно, на ее лице все же был написан тщательно скрывае́мый страх.

— Ой, — негромко произнесла она, ежась всем телом, — я, кажется, бегу по полю, поросшему высокой травой. И вдруг я падаю. Задохнусь ли я здесь, в этой траве, или просто усну?

Они вывели ее на улицу, и их место заняли другие агенты. Впрочем, было бы преувеличением сказать, что я справился с ролью гостеприимного хозяина и оказал вновь прибывшим радушный прием. Едва новая смена непрошенных визитеров показалась на пороге входной двери, я, постаравшись не привлекать к своей персоне слишком много внимания, вылез через окно, выйдившее во двор, и к тому моменту, когда эти люди начали исполнять положенный суетливый ритуал над свежесобраным трупом, я был уже в дальнем конце нашего переулочка.

Глава тридцать третья

В конверте находилось завещание Маклеода.

Майклу Ловетту, по отношению к которому я в самом конце жизни и едва ли не впервые за все прожитые годы испытал нечто подобное рудиментарным бескорыстным дружеским чувствам, я завещаю остатки своей социалистической культуры.

Внизу, словно постскриптум, было приписано:

Дай Бог ему дожить до того дня, когда Феникс восстанет из пепла.

Так это наследство перешло ко мне — не думаю, что, будь у Маклеода выбор, он остановился бы на мне как на лучшей кандидатуре. Кроме унаследованных идей мне досталась и та самая маленькая, но очень ценная вещь. С этим багажом я и вышел в большой мир. Сбежав темным переулком из того дома, я лишь перебрался в другую съемную комнату, а затем еще в одну, и так — до бесконечности. Теперь я вынужден жить в постоянном ожидании новых признаков, подсказок и предзнаменований, дающих мне понять, что пора готовиться к очередному переезду.

Вот так идет время, я работаю, учусь и постоянно с опаской поглядываю на входную дверь.

Одновременно и жизнь проходит своим чередом: огромные армии противостоят друг другу, готовые сойтись в смертельной схватке, мир вертится вокруг своей оси, одинокий путник хватается за сердце. Главное противоречие в распределении продукции, произведенной при помощи несправедливо присвоенной рабочей силы, остается неразрешимым. Вследствие этого мир все стремительнее приближается к порогу войны, в которой погибнут миллионы и миллионы. Мне остается только надеяться, что на место ушедших придут новые люди — созданные новым миром и этой чудовищной войной. Как знать, может быть, тогда я и обнаружу рядом с собой братьев по духу, которых, как мне сейчас кажется, в этом мире уже не осталось.

Пока что шторм не бушует, он лишь надвигается, возвещая о своем приближении раскатами грома. Я вижу, что наш корабль сносит все ближе и ближе — вот только к спасительному берегу или же к губительным рифам? Я знаю, что дальше слепые поведут за собой слепых, а глухие будут выкрикивать команды, адресованные другим, лишенным слуха. Они будут кричать, кричать и кричать до тех пор, пока их голоса не сгинут в безмолвии.



Норман Мейлер (1923–2007) — американский прозаик, публицист, кино-режиссер, дважды удостоенный Пулицеровской премии — за романы «Нагие и мертвые» (1948) и «Песнь палача» (1979).

«Берег варваров» (1951), признанный критиками одним из самых неоднозначных произведений писателя, построен на смешении различных жанров и разворачивается на фоне кафкианских и оруэлловских декораций.

Главный герой романа обнаруживает, что его сосед по дому — участник знаменитого убийства Льва Троцкого и проповедник экстремистских идей. Основной конфликт строится вокруг вечного вопроса — оправдано ли достижение благородной цели любыми средствами? Что, если в предчувствии третьей мировой войны человечество превратится в племя настоящих варваров...

WWW.AMPHORA.RU

издательство
амфора



9 785367 010572
ISBN 978-5-367-01057-2



Норман Мейлер (1923–2007) — американский прозаик, публицист, кинорежиссер, дважды удостоенный Пулицеровской премии — за романы «Нагие и мертвые» (1948) и «Песнь палача» (1979).

«Берег варваров» (1951). признанный критиками одним из самых неоднозначных произведений писателя, построен на смешении различных жанров и разворачивается на фоне кафкианских и оруэлловских декораций.

Главный герой романа обнаруживает, что его сосед по дому — участник знаменитого убийства Льва Троцкого и проповедник экстремистских идей. Основной конфликт строится вокруг вечного вопроса — оправдано ли достижение благородной цели любыми средствами? Что, если в предчувствии третьей мировой войны человечество превратится в племя настоящих варваров...

notes

Престижный зеленый район на западе Бруклина, застроенный кирпичными домами конца XIX века. Расположен на берегу пролива Ист-Ривер в районе Бруклинского моста, Атлантик-авеню и Бруклинской набережной.

Пиво из корнеплодов: газированный напиток из корнеплодов с добавлением сахара, мускатного масла, аниса, экстракта африканского лавра.

Фабианство — философско-экономическое течение, представители которого полагали, что преобразование капитализма в социалистическое общество должно происходить постепенно, в результате институциональных преобразований.